А.С.СЕРАФИМОВИЧ

А.С.СЕРАФИМОВИЧ

4

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
КЛАССИКА

А. С. СЕРАФИМОВИЧ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ТОМ 4

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
1980

Издание выходит
под общей редакцией
Г. Ершова

Составление
И. Попова

Иллюстрации художника
П. Пинкисевича

РАССКАЗЫ
ОЧЕРКИ

СКИТАНИЯ

У ХОЛОДНОГО МОРЯ

Нас было шестеро.

Высокий, черный, с острой бородкой клинком, в мягкой шляпе, очень похожий на француза или на итальянца, бывший студент технологического института. Красавец — и когда пел басом, под окнами толпой собирались слушатели.

Небольшого роста, коренастый, рябой, с серыми глазами, в которых искрились задор и насмешка, рабочий, ткач, с одной из фабрик центральной России. И у него жена — простое круглое лицо. И когда на нее смотришь — на душе просто, спокойно и ясно. Если б мужа вели на казнь, она пошла бы вместе в петлю так же просто и спокойно, как шла развешивать белье на дворе или в кухню готовить на всю нашу братию обед.

Четвертый — барин, с тонкими, аристократическими чертами, всегда корректно, изысканно одетый, необыкновенно изящный, человек с огненной речью, но сквозь очки глядели крохотные, подслеповатые, почти свиные глазки, и это портило красивое лицо. Мы звали его Патрицием.

Пятая... что сказать? Коса по спине, карие глаза, стройно охватывающий кожаный пояс. Как часы таинственного мастера с чудесной мелодией и с маятником, на полувзмахе остановившимся. Куда-то мимо нас глядела она со спокойно-невозмутимым лицом, куда-то мимо той жизни, которою мы жили. А может быть, никакой и мелодии не было, и мы напрасно ждали,— все равно маятник был неподвижен, и мы ничего не знали.

Да и все мы — как остановившиеся на ходу часы. Наши сердца, мысли, чувства оборвались, замерли, когда нас вырвали из родной обстановки, из родных горо-

дов, от семей, от деятельности, от милой товарищеской среды, от всего уклада торопливой, молодой, бурливой жизни. Мы ходили, смеялись, работали, бывали и столкновения, мирились, но все это было пока, временно, точно настоящее остановилось, замерло под слоем повседневно-неизбежных мыслей, забот и дел, замерло в молчаливо-напряженном ожидании, когда снова пойдет качаться маятник настоящей, цельной, полной жизни.

Шестой...

Шестой — это я.

В моих жилах несомненно течет древняя скифская кровь. Иначе отчего же я так тоскую по милым степям, без предела и границ раскинувшимся в сухой и жаркой дымке, кругом облегающей? И небо так же без предела и границ раскинулось, подернутое неуловимо-сухой, горячей дымкой.

Да, скифская-то скифская, но когда я гляжу в зеркало, оттуда глядят на меня широчайшие скулы самого недвусмысленного татарского или калмыцкого происхождения и рассевшийся между скулами необузданных размеров нос. И я, сдвинув брови, отворачиваюсь от зеркала — нет, никогда никто меня не сможет полюбить.

Я отворачиваюсь и иду работать — у нас столярная мастерская. Визжит пила, свистит рубанок, но без песен сумрачно, и обыкновенно за работой мы наперебой заливаемся, как чижи. Или, подымаясь к себе на чердак, который почему-то все звали мезонином, где моя комната, и, заперев двери, тайно пишу, а чаще подхожу к окну и сумрачно гляжу в тусклые стекла.

Отсюда виден весь громадный город — в нем полторы тысячи жителей, одна улица, два переулка и густо и сочно поросшая травой площадь, и он весь — из старого, прогнившего дерева. Деревянные провалившиеся, почернелые крыши, почернелые срубы домов, деревянные с выпавшими досками тротуары, деревянная колокольня, темненькая церковка, потемнелый деревянный острог.

Точно старый, проросший, обомшевший черный гриб.

А за городом могучая северная река несет полные воды и верстах в двадцати смешивает с тяжелыми холодными водами океана.

Оттуда приходят к нам косматые метели, оттуда ды-

шат даже иногда летом морозы — и осыпается листва, и никнет побелевшая трава.

И океан, тяжко вздымаясь изо дня в день, стихийно дышит. Дважды в сутки вздымается он, неизмеримый, и шумные воды буйной толпой устремляются вверх по реке,— река несется всей массой воды от устья к истокам своим, затопляя и переполняя берега, как в половодье. А через шесть часов спадает грудь гиганта, и с неохватимой скоростью устремляются воды в океан, а по реке обнаруживаются мели, топи, песчаные косы до следующего вздоха. Так каждый день, годы, века, так тысячелетия от мироздания.

По ту сторону реки — угрюмо темнеющие леса, без конца и края, без человечьего жилья, лишь холодные болота под низко, сумрачно нависшими мохнатыми ветвями.

По эту сторону — от века молчащая под вечно холодною, сырою мглой тундра...

Нет, никогда меня никто не полюбит...

Все равно, как бы там ни было, когда мы собирались, шел оживленный разговор, рассказывали, читали, спорили. Два раза в неделю кто-нибудь бегал на почту, притаскивал ворох газет, и за чаем читали вслух. Потом расходились по своим комнатам или работали в мастерской.

И каждый по-своему. Наш «француз» набрасывался на все горячо, с азартом. С визгом ходил рубанок, сыпались из-под пилы тучи опилок, резко летела под ударами щепа из-под стамесок, стон стоял в мастерской. Француз был страшно серьезен, сосредоточен и терпеть не мог, когда ему мешали. После всеохватывающей страстной работы оказывалось, что дыры пробиты не там, где нужно, шипы поотпилены, доски поколоты и никуда не годятся. Рубанок, пила, стамески летят в разные стороны. Француз взволнованно кричит, что это черт знает что такое, волнуется и кричит так, как будто все кругом виноваты, а не он; и товарищи, посмеиваясь, мягко уговаривают, как будто действительно виноват кто-то другой. Француз все забрасывает, идет к себе, заваливается на кровать и начинает читать без отдыха напролет дни и ночи.

Патриций работал по-аристократически. На юридическом факультете, откуда он был изъят, не преподавалась ни одна из наук ремесленного труда, и тем не менее он работал артистически, но все внимание, всю энергию направлял на безделушки. И за работой изысканно и безукоризненно одетый в противоположность нам, лохматым, в золотом пенсне, он целыми днями возился над какой-нибудь шкатулочкой или резной полочкой. Сделает, поставит на высоком месте и любуется действительно тонкой, артистической работой, и нас подводит и заставляет любоваться, а потом отдыхает и читает свои многочисленные книги по юридическим и общественным наукам.

Я работал на совесть и брал трудные и новые работы. Выучился хорошо делать изящные стулья, научился прекрасно оклеивать фанерой, шлифовать, точить на токарном станке, но как только овладевал новой работой и приобретал навык и практику, работа становилась постылой, и я искал другой. А так как новизны было мало, то я уходил к себе в мезонин, где тайно писал.

Женщины в мастерской не работали.

Оставался Основа. Его хриповатый, козлиный и необыкновенно сильный тенор с утра и до ночи в стуке, визге и громе инструментов носился по мастерской:

Услы-ша-ли та-та-ры,
Ну, ду-ма-ют, не трусь,
На-де-ли ша-ро-ва-ры
И дви-ну-лись на Русь!..

Голос его так отчаянно-заразительно разносился по мастерской, что мы не выдерживали и дружно подхватывали:

...На-де-ли ша-ро-ва-ры
И дви-ну-лись на Русь!.

А когда всех покрывал великолепный бас Француза, под окнами останавливались слушать импровизированный хор.

Но петь-то все пели, а работал почти один Основа, между тем заработок мастерской составлял около сорока процентов нашего общего бюджета.

Странные отношения у нас с ним были. Мы все его горячо любили и искренно ценили. В мастерской он у нас был царь и бог. Бывало, напорешь чепухи, изве-

дешь лесу, который, конечно, стоил денег, и стоишь в недоумении и отчаянии над каким-нибудь комодом, который похож не на комод, а на беременную свинью.

Основа быстро вскинет серыми глазами, как будто невзначай — подойдет, мягко возьмет пилу или рубанок:

— Нет, тут вот, видите, немножко нужно подрезать...

И подрежет, спилит, подгонит — глядь, а уж это не свинья, а настоящий комод. И все это мягко, любовно, незаметно, точно все это ты сам сделал, а не показывали, не учили тебя.

И все-таки стоишь перед ним дурак дураком. Ткач он был по профессии и, когда прислали сюда, рубанка не умел взять в руки. Через три-четыре месяца это был превосходный столяр. Никто ему не показывал, никто не учил, до всего доходил сметкой. И сметлив же был! Удивительная инициатива и находчивость!

За то, что в мастерской мы чувствовали себя перед ним идиотами и дураками, жестоко мстили, конечно бессознательно.

Вечерами, после чая, все вместе что-нибудь читали. Одно время перечитывали Маркса, а вообще — по общественным и политико-экономическим вопросам. И надо было видеть эти широко открытые серые глаза, с упорным вниманием и в то же время робко глядевшие на читающего.

Он молчаливо признавал наше превосходство, и мы так же молчаливо соглашались с этим признанием,— и это было сладкой для нас местью. Он очень много читал и еще больше думал, но по какому бы теоретическому вопросу ни заговаривал, все это невольно и молча признавалось нами книжным, взятым из чужих рук, мы же то же самое умели блестяще и ловко излагать, точно до всего дошли своим умом. И он невольно пред этим преклонялся.

День, заполненный разговорами, движением, суетностью забот, кончается; мы расходимся по своим комнатам, и начинается то, настоящее, что молчаливо ждало.

Тускло глядит мертвым глазом бесконечно долгая северная ночь.

И льют ли беспредельные черные осенние дожди, носятся ли, изгибаясь и белея, метели, разговаривают в трубе, раскалывают бревна в срубе, приникая безжизненным призрачно-фосфорическим лицом к морозным стеклам, все равно в комнате — одиночество, молчаливо прислушивающееся к остановившимся часам жизни с замершим на полувзмахе маятником. И весь день стоит налицо — печальный, задумчивый, ибо не настоящее он.

И нет любви, нет радости, не бьется навстречу счастью сердце.

Сон бежит от очей, только визг и вой просящейся в комнату метели.

Долга ночь!..

А завтра опять...

Мы жили колонией, но был в городке у нас и еще товарищ.

На большой площади, где стояла церковь и паслись лошади и гуси, жила Александра Ивановна Печурина. Жила она в мезонине, и когда приходили к ней, было в ее комнатке как-то особенно уютно, чисто и светло.

Встречала ласковой сдержанной улыбкой, точно была рада, и отдавала товарищам всю душу, но только, так сказать, в общественной сфере. Было что-то у нее интимное и особенное за тонкой перегородкой сдержанности, куда мы не умели да и не пытались проникнуть.

Белая, высокая, крепкая, чуть дородная, с каштановыми свернутыми волосами и открытым русским, как рисуют боярынь на старинных картинах, лицом и говорила нараспев, северным говором.

Когда встречались с ней, говорили, смеялись и позади обыкновенных слов, жестов и звука голоса вставали непроизносимые, молчаливые, дремлющие, но никогда не тухнущие слова любви и счастья,— ее спокойные, ясные серые глаза мягко и с затаенной ласковостью говорили: «Нет».

Она была замужем, но мужа ее сослали в Якутск, а ее сюда.

Внизу жил хозяин с большой семьей и большой благообразной седеющей бородой. Он был богобоязнен,

не пропуская, каждый праздник ставил во время службы перед ликом спасителя и божией матери толстые, на зависть и удивление всем, свечи; дома любил тишину, порядок и чистоту и не отпускал ни одной работницы, не наградив ребенком. Вел большую и разнообразную торговлю и торговал, когда приходили к нему в лавку, честно, не запрашивая лишнего, а самоедов, привозивших оленину, морошку, меха, и поморов, доставлявших рыбу, беспощадно спаивал и брал за гроши то, что стоило десятки рублей.

К Александре Ивановне, как и ко всем нам, относился с величайшим уважением Во-первых, Александра Ивановна всегда аккуратно платила за квартиру, и, во-вторых, мы, мужчины, никогда не засиживались у нее одни допоздна,— хозяин не знал, что она замужем, и называл барышней.

— Вот,— говорил он при встрече, низко снимая свой нахлобученный картуз,— опять нонче уголовные свой профит оказали: замок висячий в три фунта весом на амбаре у батюшки сломали. Без образования и без совести. Я так полагаю, что вас правительство сюда присылает на поучение: дескать, пущай народ обучается, как правильно, по-божески надо жить, а уголовных ссылает тоже на поучение: вот, дескать, какие есть мошенники на свете... Одного только не одобряю...

И, стараясь смягчить осуждение и поглаживая патриаршую бороду, говорил наклоняясь:

— Таинства брака многие из ваших отрекаются и живут гражданственным сожитием,— одно пятнышко на белизне вашей.

К нему, как и к большинству обывателей, замкнувшихся в крепком, раз навсегда застывшем укладе, который, казалось, ничем никогда не разбить, мы относились сдержанно, официально. Все у нас было иное — и небо, и солнце, и говор леса, и весь душевный мир, из которого строится жизнь.

Мы приглашали Александру Ивановну жить вместе, но она мягко отказалась и поселилась отдельно. Мы виделись часто — то заходили к ней, то она к нам.

По профессии она была акушерка и, хотя практиковать ей не позволяли, шла к бабам по первому зову, и ее очень любили.

Из-под низко надвинутого темного картонного абажура кругло и резко падает на стол желтым пятном свет на разбросанную бумагу, карандаши, на высунувшийся из темноты угол книги.

Подымаешь глаза — на темном потолке дрожит маленький кружочек над лампой, опускаешь — у стола желтеют три наклонившихся лица, и непокорно выбивающиеся волосы обвивают наклоненную головку со сбегающей назад косой. Тихонько шьет, слушая. Поодаль смутно белеет фигура Александры Ивановны, и неясным силуэтом чудится в сторонке, согнувшись, Варвара — беззвучно, почти не шевелясь, чистит картошку к ужину.

— «...Как олень жаждет свежей воды в пустыне, так капиталист жаждет прибавочной стоимости...» — Патриций читает красивым, отчетливым голосом, и очки его поблескивают при движениях.

И я гляжу на него во все глаза — он, искривившись и покачнувшись, тускнеет, расплывается... Звенит ветер, звенит весенний пахучий ветер над далеким степным привольем... По степным речкам белеют слободы и хутора... Кричат пролетные птицы... Люди с грубо загорелыми лицами живут своей особенной простой и жестокой жизнью, как и эти птицы... И я им говорю...

«...Централизация средств производства и обобществление труда достигают напряжения, при котором капиталистическая оболочка не выдерживает. Она лопается. Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторы экспроприируются...»

...Я им говорю, говорю вне всяких программ и партий: протяните руку только... и какая чудесная, прекрасная жизнь может быть... какая чудесная, прекрасная страна, благословенная хлебом, виноградом, скотом — всем, что может дать земля и небо! И я с радостью, почти со слезами хожу за ними и твержу одно и то же в восторженном ожидании, что вдруг все поймется, все перевернется и засияет неизведанным счастьем человеческая жизнь... А они, нагнувшись, копаются в черной земле, и солнце раскаленно жжет их спины, и надвигается пустыня, засыпая пашни, сады, высыхающие реки, и стоит тяжелым угаром все та же звериная, пьяная старая жизнь...

В темноте комнаты, с колеблющимся желтым кружком на потолке, водворилось молчание. Я встряхиваю головой и подозрительно-торопливо обегаю всех — не заметили ли мою дремоту. Все сосредоточенно думают, вероятно о прочитанном, и на меня не глядят. Только Аня бегло блеснула лукавым взглядом и опять шьет. Патриций протирает очки, потом спокойный голос его опять звучит.

И я напряженно караулю себя, не давая воли воображению, не давая уходить мысли.

Но опять Патриций расплывается, и я с усилием стараюсь собрать его черты вместе. Какое-то проклятие тяготеет над моим мозгом, который не умеет долго сосредоточиться ни на чем и растекается мечтаниями, смутными, неясными. Быть может, это тяжкое проклятие детства и юности, растленных и проклятых школой.

И, заслоняя Патриция, звук его голоса и могучее содержание книги, встает гимназия белым, врезавшимся на всю жизнь в память зданием, встает бесконечно-длинным, неуклюжим, приземистым каменным сараем университет. Я приехал туда истинным дикарем и пошехонцем и привез тяжелый камень неостывающей ненависти к учителям — наставникам жизни, и увез холодное отчуждение от профессоров — наставников науки, и равнодушие к университету, слившемуся в памяти с каменным длинным сараем.

— Я не знаю большей поэзии, не знаю грандиознейших образов, чем у этого великана,— вспыхивает Француз.

Белое здание гимназии, приземистый сарай университета пугливо пропадают, и я настораживаю уши.

— ...И имейте в виду, он орудует отвлеченными понятиями, как бронзой, отливая их в чудовищные по выпуклости и невытравимости формы.— И Патриций, уверенно сверкнув очками, переворачивает страницу и набирает воздуху, чтобы начать новый период.

И вдруг в тишине:

— Да, всегда так... всегда и при всяких условиях барство найдет себе место.

Кто это? Чей незнакомый голос в темной комнате?

Я подымаю глаза, лица ее не видно, она откинулась в тень. Только низом из-под абажура свет падает на стройно выбегающий из кожаного пояса темный стан.

Мы все чувствуем, что это совсем из другой оперы и не имеет никакого отношения к тому, что сейчас делаем, над чем думаем, что волнует.

— То есть что вы хотите сказать? — чеканно звучит голос Патриция.

— Какое это все имеет отношение? — вспыхивает Француз.

Я выжидательно молчу, стараясь уловить в темноте ее лицо. Основа свернулся в свою улитку отчуждения и несмелости, что делает каждый раз, как мы схватываемся в споре. Белея, молча ложатся возле Варвары одна за одной очищенные картофелины. Смутно-неподвижна в стороне фигура Александры Ивановны.

— Барство, да!.. Мы не имеем права это делать...

— Выражайтесь яснее. Нельзя бросать обвинение с легкостью наивности...— захлебывается Француз.

— Да, и чтоб логика не страдала.— И Патриций насмешливо и ядовито слегка играет брелоком золотой цепочки.

А ее голос так же беспощадно:

— Там мы вносили барство даже в нашу работу, в наши отношения к рабочему, к крестьянину, тут — в отношения между собою. Мы получаем деньги из дому и отдаем на расходы, не ударив пальца о палец, а Основа, наш же товарищ, член нашей товарищеской семьи, бьется в работе в мастерской с раннего утра до поздней ночи, отдает свои силы, свой труд... Вон, руки у него все в мозолях.

Все вскакивают, и темнота комнаты наполняется взволнованными, сердитыми шагами. Только на потолке невинно дрожит и колеблется маленький кружок от лампы да на столе, на бумагах, на книге углом лежит яркое желтое пятно, и от этого кругом еще темней, и все заполняется возбужденными и беспорядочными голосами.

— Вы не имеете права так ставить вопрос...

— Мы не профессионалы... Работаем, как умеем...

— Да вы сами-то заглядываете в кухню?.. Или Варвара есть...

— Перестаньте... да будет... Ну, о чем разговаривать... ей-богу, вот вздумали!..— мечется Основа от одного к другому.

Ее лицо также в тени, только еще больше наклонилось над шитьем.

Варвара вступается.

— Ну, еще чего нужно, еще чего выдумали! Не дам ни за что...

Гневные шаги, голоса мечутся по темной комнате.

Мы ее почти ненавидим, эту стройную девушку, лица которой почему-то никак не представишь в темноте, ненавидим не столько за сказанное ею, сколько за только что сказанное нами самими,— ведь она нас всех обшивает и работает не меньше Варвары.

Чтение, конечно, расстроилось, а у нас поохрипли голоса.

Поздно, когда за стенами весь мир непробудно спит, мы одеваемся с Французом и выходим немного пройтись.

Чудесно хрустит синевато сверкающий мириадами блестков снег. Небо, так же морозно-сверкающее, кажется тоже хрустит под бесплотными шагами. А из-за горизонта, таинственно дыша проносящимся по небу, как бесплотный дым, неведомым дыханием, встает странная игра холодных огней северного сияния.

— Я не понимаю,— говорит Француз, крупно шагая, чтобы согреться,— не понимаю, чего ей нужно. Когда приехала, откровенно говоря, я был рад... Женщина согревает и освещает жизнь... А теперь черт знает что такое!.. Я ее терпеть не могу!

Я гляжу на его благородный правильный профиль с черной эспаньолкой. Да, он красавец. Вздыхаю, и мы идем молча рядом.

— А ночь-то, ночь божественная... Трите, трите нос! побелел... Ну, и морозище...

Да, идет какая-то борьба у нас с этой девушкой странная и нелепая. Отношения самые товарищеские: смеемся, говорим, читаем, поем, но постоянно подкарауливаем, в спорах отпускаем шпильки. Ловкая и изворотливая, она всегда старается поставить нас в нелепое, смешное положение, а мы платим ей тем же, и под пеплом обыденных разговоров и отношений всегда таится пламя готового вспыхнуть раздражения.

Впрочем, все равно — маятник все в том же замершем на полувзмахе положении, и, быть может, это только фальсификация жизни.

У меня есть спасение. Я незаметно прокрадываюсь к себе на мезонин, тщательно запираю дверь на ключ, сажусь к столу, вытаскиваю спрятанную рукопись и начинаю писать.

Ах, как трудно!.. Как трудно мелькающие, колеблющиеся, зыблющиеся образы схватить словами, запечатлеть на бумаге. Нежные, в тающих красках, живые — они осыпаются, как крылышки мотылька, при прикосновении к холодному белому полю бумаги, ложась на него неровным, извилистым, мертво чернеющим почерком.

И все-таки я не могу оторваться. Жизнь среди этого тонко мелькающего, эфемерного, тающего и вспыхивающего царства картин и образов, так же неверных, как неуловимо дрожащее марево на горизонте, словно пьянящий напиток, дает сладкую муку — и, вкусив, не оторвешься.

Кусочек по кусочку, капля по капле, тщательно скрывая свою тайну от товарищей, многие месяцы я бьюсь над рассказом. И когда осторожно крадусь по лестнице на чердак, чтобы писать, сердце бьется, словно пробираюсь на свидание.

И только одно — только б никто не проник в моя святая святых.

С Патрицием что-то неладно. Он задумчив, угрюм, уходит куда-то надолго, в мастерской работает молча. Мы деликатно обходим, не лезем с расспросами, а он ничего не говорит, но, кажется, и без того всем ясно — Александра Ивановна.

При воспоминании о ней у меня больно сжимается сердце. Как-то в разговоре, желая купить ее тонкостью наблюдательности и оригинальностью суждений, я сказал, что мы, как часы, которые насильственно остановили.

А она, спокойно и ясно улыбаясь:

— Да, за исключением Основы,— он не часы, а человек, и всегда живет.

Чтобы не одному проглотить пилюлю, я рассказал товарищам. Патриций насупился и молча вышел из комнаты. Француз накинулся на меня:

— Это уж вы целиком на свой счет принимайте.

Аня неудержимо и весело хохотала.

На наших чтениях было всегда шумно и весело. Патриций веско и наставительно делал замечания; Француз страстно спорил; Основа приводил примеры из своей практики и жизни рабочих; Аня наивно и искренно спрашивала разъяснений; я, делая вид, что слушаю, думал о поездке на оленях в тундру, а Александра Ивановна слушала молча, опустив глаза, не принимая никакого участия.

Казалось, она или не интересуется, или не понимает. Но нередко, много спустя, когда мы уже забывали о прочитанном, она ставила вопрос или делала замечание, такое дельное и меткое, что мы невольно возвращались к прочитанному и пересматривали свои выводы и впечатления.

Тайна, которая упруго и призрачно окружает самое существо женщины, усугублялась около нее чем-то неуловимым и неразгаданным. Мы давно повыложили друг другу, кто что делал на воле, как и за что попал сюда, а она ни слова не обронила и не то чтоб скрывала, а просто так выходило, что не было случая. Из писем же мы знали, что она была большой спокойный работник, всегда бравший на себя самое ответственное дело.

Бедный Патриций!..

Время идет. Тронулась зима. Потянулись через холодный, тяжко шумящий океан рыдающие метели в неведомые околополярные страны, оставив нам рыхлые, осевшие, проваливающиеся снега, почернелые по дорогам и улице, и солнце с каждым днем все дольше и дольше ходит над домами.

Солнце, чудесное весеннее солнце! Правда, нежное и слабое, как хрупкая, бледная женщина с просвечивающими жилками, не то солнце, что буйно разметалось над далекими родными степями, от которого стучит кровь в висках, толчками бьется сердце и не хватает короткого дыхания. Но все равно: оно светит бледной улыбкой, оно любит землю, и земля, тихонько и не спуская глаз, тянется навстречу.

С кряхтением, шипя и осыпаясь, тяжко переворачиваясь, неуклюжими толпами продвигаются льдины в изгнание в океан, к отцу своему, восседающему на по-

белевшем троне предвечного холода И уходит с ними ропот зимы и тяжело колышущийся ледяной туман.

Уже поднялся из-под воды почернелый, илистый луг. И уже на другой день он изумрудно зелен буйной зеленью.

Бледно северное солнце, слабы его ласки, но, быть может, нигде не могуче так материнство его, как на севере. Бледны ласки его, но почти целый день ходит оно над землей, отдавая их ей... И каждая травинка, каждый стебелек, каждый листочек жадно спешат упиться ими.

На глазах человека лопаются почки и, вздрагивая, разворачиваются клейко-смятые лепестки. И травы скачками прибавляют рост свой, и, сегодня голые, завтра шумят листвой березы.

Целыми часами простаивали мы над рекой, над зазеленевшим лугом, а вверху бесчисленные стаи тянули дальше на север, и неся оттуда таинственный и непонятный говор.

Француз почти каждый вечер исчезает и на другой день с помятым, сумрачным лицом смотрит вкось, мимо, не встречаясь с нашими глазами.

Мы понимаем. Ведь всего двадцать три—двадцать четыре года. Кровь бунтует и бьется в горячих висках тяжелой, густой, как жидкий свинец, волной, но как не хочется, как мучительно не хочется идти туда, где светлый призрак любви и счастья волочится в позоре купли и продажи.

Не во имя морали и велений нравственности — нет, для меня они не повелительны, и в моем прошлом я уже знаю все,— нет, а во имя счастья, светлого, омытого слезами, не омраченного поздним раскаянием и нестираемым воспоминанием купленного тела счастья. Только счастья!..

Еще маленьким мальчиком я думал о том, я ждал того, что называется счастьем. Тогда, в то далекое чудесное время, я, замирая, ждал небольшой живой лошади, белой, с черною челкой и черными щетками на ногах, маленькой живой лошадки, которую мне обещал купить отец для верховой езды. И раз, проснувшись ночью, я ясно, отчетливо, своими собственными глазами в темном углу, где стоял платяной шкап, увидел белый круп и изогнутую лебединую шею настоящей живой

лошадки. Я сидел, полуприподнявшись, уцепившись за края кроватки, и глядел. Потом лошадка расплылась, как сон, и была только темнота. Долго после того я просил разбудить меня среди ночи, чтобы еще раз увидеть, но меня не будили, говорили — будет голова болеть от бессонницы, а сам не умел проснуться.

Когда сравнялось одиннадцать лет, я часто глядел с горы на полотно и на станцию железной дороги, где виднелись крыши в длинных вереницах вагонов. Посвистывали паровозы, таяли белые клубки дыма. Я глядел,— поезд, становясь все меньше, все короче, черточкой пропадал на исчезавшем за далеким поворотом полотне, и только рельсы дружно парой бежали бесконечно. Сладко томительная грусть сжимала сердце. Высшим счастьем для меня было бы уноситься с этим поездом. Куда?

По железной дороге мне приходилось ездить, но это не то. Стенки вагонов, видневшиеся сквозь стекла скамейки, диванчики — говорили о чем-то далеком, смутном, неясном, влекущем. Иные города, иные ландшафты, деревья, люди, неведомое и недоступное мне. Только вагоны, молчаливо стоявшие на путях, знали об этом и уносили в говоре колес туда счастливцев.

Над губой пробился пушок — уже не мальчик, а юноша, и немеркнущим представлением, воплотив в себе счастье, во всем обаянии встала женщина. И что бы ни говорил, что бы ни делал, чем бы необузданно ни увлекался,— на дне души, то задремывая, то подымаясь бушующим пожаром, всегда неиссякаемо жила жажда найти, встретить ее — неведомую, осиянную ослепительным ореолом и тайной.

И быть может, эта девушка с длинной косой по спине, со смеющимися глазами, такая спокойная, то веселая, то насмешливая, быть может она напоминает, что светится, как алмазная искорка, светится оно где-то, готовое вспыхнуть и забушевать пожаром. А пока остановились часы и маятник на полувзмахе.

Но ведь я не люблю ее, эту девушку с длинной косой.

Отчего?

Отчего не придет любовь — пусть не разделенная, пусть полная муки и отчаяния, но мир бы зазвенел, но я бился бы в неисходной тоске между надеждой и

отчаянием, я бы убегал в лес, я со всей страстью отдался бы творчеству, чтобы найти забвенье с тайной надеждой победить ее.

Счастье!..

Вот и пришел бесконечный день, странный и непонятный, когда тени делают полный круг около домов, когда травы, не отдыхая, растут двадцать четыре часа в сутки, когда не знаешь, куда деваться от этого бесконечного света, так нервирующего и отгоняющего сон. Одиннадцать часов ночи — смотришь, а солнце глядит во все глаза.

Книги мы свои забросили. Только в мастерской стоит стук, гром, визг рубанков и в открытые окна рвется отчаянный хор:

Умре Владимир с горя, порядка не создав,
И тотчас начал править премудрый Ярослав.
При нем хотя порядок, пожалуй, бы и был,
Но из любви он к детям всю землю разделил...

Часто мы уходили в реденький, корявый березнячок с влажными, ярко зеленеющими полянами и гуляли здесь.

Аня как-то сердито и капризно выговорила нам всем, что мы все, как старички, необыкновенно чинны и чопорны.

— Хоть бы игру какую-нибудь затеяли,— говорила она, поправляя упавшие на лицо волосы,— бег какой-нибудь, в мяча, что ли, а то, право, так непроходимо скучно...

Француз горячо принялся за дело и артистически сшил великолепный кожаный мяч. В мастерской выстрогали палки и отправились играть в лапту. На беду, Француз позвал с собой Полкана — небольшую дворнягу, шалую и неповоротливую, которая день и ночь спала у нас в мастерской на стружках, а во время обеда сидела под столом и утаскивала, когда зазеваются, хлеб и кушанья.

Все были оживлены и веселы. Основа засучил рукава и взял палку, приготовляясь хорошим ударом загнать мяч в поднебесье. Загудела лапта, глухой удар — и черная точка мяча скрылась в вышине. И только через минуту, далеко впереди, шумя, он слетел откуда-то с высоты и бухнулся о землю, высоко подскочив.

— Отлично!..

— Вот так удар...

— Превосходно!..

Я, Патриций, Француз побежали за мячом. Полкан нас опередил и с усилием и неуклюже взял мяч в рот и во все ноги пустился бежать. Наше настроение разрушалось самым грубым образом.

— Полкан... Полканчик... хорошая собака... на-на-на!..

Мы всячески улещали его, осторожно подходя, маня, предлагая хлеба. А он, положив мяч между передними лапами, глядел на нас ласково и доверчиво. Но когда подходили, он снова неуклюже забирал мяч в рот, отбегал и опять ложился и глядел на нас.

— Убббью!..— заревел не выдержавший Француз и как буря понесся за Полканом.

А тот, поджав хвост, торопливо забрав в распялившийся рот мяч, пустился во все ноги.

Взбешенные, мы что есть духу неслись за Французом: я, Основа с лаптой, Патриций, даже в этих исключительных обстоятельствах все такой же корректный, со слегка поднятой головой, чтоб не свалились с носа золотые очки, Аня, раскрасневшаяся, с бьющейся по спине косой, приподняв юбку, а позади всех Варвара гремела чайником, который впопыхах позабыла положить.

Так мы неслись по лужайке, потом между березками, прыгая через кочки, напрягая все силы, точно были поруганы наши священнейшие права.

Наконец Француз, задыхаясь, остановился.

— Не могу!..

Мы тоже остановились, тяжело дыша, едва переводя дух. Аня глянула на нас, упала на траву и закатилась неудержимым хохотом. И когда мы посмотрели друг на друга, на наши побледневшие, задыхающиеся лица, по которым катился пот,— раздался дружный хохот.

Это был самый веселый наш день. А всему виною Полкан. Многое ему за это простилось.

Дверь странно широко распахивается, и ко мне торопливо входит Основа. С секунду мы глядим друг на друга.

— Где железная лопата?

Такой простой вопрос, но отчего-то сердце забилось тревожными толчками.

— А?

Лицо у него землисто-серое, нижняя челюсть прыгает.

— Железная лопата... Наших надо разыскать — в лес, должно, ушли.

А я уже торопливо продеваю непопадающими, дрожащими руками в рукава.

С лестницы доносится скрипуче удаляющийся шепот и голос Основы:

— Идите сейчас же к Александре Ивановне...

Я не иду — я бегу, бегу по улице, и прохожие оборачиваются на меня.

«Вздор... пустяки... ничего нет... он бы сказал...»

Огромным усилием воли сдерживаю себя, иду шагом... Нет, опять бегу, ноги несут сами, и я ничего с ними не могу поделать.

Площадь, трава, зеленое болото, пасутся лошади, гуси. Вот и большой почернелый деревянный дом. Лавка, хозяин низко снимает картуз. Сверху из мезонина глядят ее окна.

Подымаюсь по крутой, полутемной лестнице. Стучу. Оттуда: «Войдите». Отворяю дверь, сердце на мгновение успокаивается,— все, как всегда, чисто, прибрано, уютно. Только Александра Ивановна, одетая и причесанная, лежит на прибранной кровати и не подымается мне навстречу. Я жму ее горячую руку.

— Вам нездоровится?

В ту же секунду со вновь родившейся тревогой вижу, как запали в глубокой кайме ее глаза и горячечный румянец нервно пылал на щеках.

И вдруг голос ее, голос, как всегда спокойный:

— Ночью... я... родила...

Пол уходит. Смертельный холод плывет по ногам, охватывает руки, голову, проникает в сердце.

«Сошла с ума!.. сошла...» А губы, кривясь, судорожно бормочут:

— Успокойтесь... воды... выпейте воды... ничего... выпейте...

«Сошла с ума... сейчас же надо разыскать всех...»

— Я... ночью...

— Да... ничего... всё... воды...

Я подымаю руку и притрагиваюсь к поту, который холодной росой выступил у меня на лбу.

— Боже мой... какие муки!.. Нет, я не хотела их звать... Я грызла подушку, чтоб не кричать... грызла... Вот угол, пух лезет... Только постучать в пол... пришли бы... нет, не хотела... не хотела я их... Ах, какие боли!.. Девочка... ребенок, мой ребенок... он трепетал, трепетал на моих руках... Пуповина обвилась вокруг шейки... никак не могла распутать... Задохнулась на моих руках... Трясла... качала... всё напрасно...

Я крепко запускаю ноготь в щеку, чтобы разбудить себя, и оттуда падает капелька крови.

А она шепчет:

— Девочка моя, дочка... семи месяцев... Они выживают, семимесячные... в вату, уход... Ах, как бы я смотрела за ней, за моей дочуркой...

Я все еще колеблюсь в сомнении между правдой и безумием и бегаю торопливо глазами по комнате: вот *оно* на столе в углу, завернутое в разорванную белую простыню, этот странный белый сверток, от которого я не могу оторваться.

А она говорит спокойным голосом, и глаза ее блестящи и сухи:

— Пришло внезапно... ночью... Хотела позвать кого-нибудь из вас... Варвару... схватки... не в силах... невыносимо...

Потом молчание. А меня охватывает одна мысль, которая не дает покою: как мы не заметили, как же мы ничего не заметили, и женщины?.. Ну, Аня так, а Варвара? Очевидно, она и ей ничего не сказала. Но как же мы не заметили? И по фигуре ничего не заметно было...

— Я вчера получила письмо... Очень долго шло... неожиданное... Доктор один... Мы с ним давно... Он все присматривался ко мне, такой странный... медлительный, тяжелый... а уж если решил — как железный... Пишет, эти годы думал... пишет, любит меня и без меня жить не может и не хочет... В эту ночь его уже нет, срок дал для ответа... письмо долго шло... Да и что бы я ответила ему?.. Что?..

Она опускает веки на все такие же сухие глаза, как будто ждет от меня чего-то.

Что же я ей скажу: «Успокойтесь... выпейте воды»?

Она вдруг приподнимается, опираясь на локте, чуть не с ненавистью глядя на меня, и почти кричит:

— Я люблю мужа, слышите, люблю!.. Он ждет... он ждет своего ребенка...

Чувство ужаса слабеет во мне, и я почему-то считаю своею обязанностью, долгом перед этим несчастьем удержать в себе всю напряженность, всю остроту его — и не могу, точно все во мне обмякло, обвисло, и невольно назойливо две мысли толкутся в голове. Одна: «Как же это мы ничего не заметили?..» И другая: «Отчего же все... в комнате так прибрано и чисто после всего случившегося?..»

Не знаю, чутьем ли она угадала, или это было написано на моих глазах, или случайно — только она говорит:

— Я потом... когда мертвый на руках... встала... сделала, что нужно... вымыла... прибрала... оделась... Вот он лежит на стуле.

Она закрывает глаза и так лежит. Я сижу не дыша. Кто-то нервно, торопливо и больно выстукивает. Прислушиваюсь — сердце у меня стучит. У нее всё закрыты глаза. Я тихонько приподымаюсь, не шелохнув стулом, и на цыпочках, балансируя руками, пробираюсь к дверям.

Отворяю их осторожно, чтобы не скрипнули, и в последний момент, когда затворяю за собой, в суживающейся щели на меня блеснули с кровати сухим блеском глаза. Дверь беззвучно затворилась.

В темноте прыгаю через три-четыре ступени, как будто пожар.

«Надо позвать... надо сказать... нельзя же так...» — било у меня в голове, и опять: «Но как же мы не заметили?.. Как же мы ничего не видели?..»

Я торопливо иду по площади и ловлю зубами нехватающий воздух. Кто-то окликнул. Основа. Я прошел возле и не видел.

Мы повернули. У него такое же землистое лицо и лопата в руках. Мы идем молча. Вот он, этот дом. Два окна наверху. Хозяин что-то говорит нам любезное из дверей лавки и поглаживает бороду.

Подымаемся по темной лестнице, осторожно дыша,

и останавливаемся у дверей с бьющимся сердцем,— оттуда рвутся неудержимые рыдания.

— Девочка моя... дорогая моя... ребенок мой... крошка моя родная... Ты не слышишь меня, ты ведь не слышишь меня, не слышишь, не слышишь. О, мука!.. Я никогда, никогда не забуду, никогда... мое родное дитя!..

И захлебывающиеся, подавляемые, лающие, стиснутые звуки — должно быть, подушку зубами закусила. Я пытаюсь постучать в дверь, но Основа сжимает мне плечо.

— Слышищь?..

— Слышу.

— Не надо стучать.

Мы стали у двери.

— ...Деточка... девочка моя... только два раза... два раза дохнула... о-о-о-о!.. Хха-ха-ха! Хха-ха-ха!..

Я осторожно стучу, и мы входим.

Александра Ивановна молчит и смотрит на нас горячечными глазами. Потом говорит:

— Возьмите... там... в лесу... где елки... похороните на бугорке...

Мы оба подходим, громко стуча сапогами, хотя идем на носках. Я протягиваю руки и беру сверток. Что-то тяжелое, как студень, ходит под пальцами. Я опускаю в плетеную сумку.

Мы идем к двери, не оглядываясь, и, так же не глядя назад, закрываем дверь и останавливаемся, напряженно прислушиваясь. За дверью та же неподвижная тишина.

— Ну, пойдемте.

Спускаемся, нащупывая невидимые ступени, и в сумке мертво и тяжело переваливается, как будто там налита ртуть.

Выходим. Площадь, болото, лошади, гуси. Позади молчащий дом, и два чернеющих окна провожают нас.

Основа несет лопату. Я с удивлением слышу его совсем другой голос:

— Вот... я никак... до сих пор... в себя не приду...

— А знаете...— говорю я,— бывают такие душевные явления... Многие люди видят, а на самом деле этого нет... и не проверишь — у всех одинаково... Посмотрите, на нас все смотрят...

В каждом стекле прилипли лица, руки, глаза. Баба развешивает белье, обернулась, смотрит. Сумка, что ли, особенно оттягивает руку и обращает внимание всех.

Смутно вырастает сознание: все знают, что́ мы несем.

В лесу Основа роет яму, роет быстро и деловито, как все, что он делает. Золотится чистый, янтарный песок, выбрасываемый лопатой.

Я сижу на пригорке. Возле — сумка с растопыренными боками. В просвете меж красных сосен сквозит неохватимо серебряная гладь озера; тысячи зеленеющих островков. Пахнет смолистыми сучьями. Тишина. Над головой сумрачно-молчаливая густота хвои.

— Надо глубже, а то собаки выроют,— говорит Основа, работая.

А я думаю с негодованием: «Чудак, словно по хозяйству в саду у себя копается».

Опускаем на дно тяжело отвисающую сумку. Песок сыплется, все выше и выше поднимаясь в узкой яме. Сравнялось. Основа нагребает сухой хвои и набрасывает сучьев, чтобы было, как кругом.

— Не надо говорить ей... Будет бегать сюда... Надо забыть место.

Но я чувствую,— у него, как и у меня, запечатлелось все до последней веточки, песчинки, и не вырвать во всю жизнь.

Потянулись сумрачные, унылые дни. Александру Ивановну мы перевели к себе. Она то неподвижно глядит в окна, то лежит на кровати, молча закинув руки под голову.

Мы ходим на цыпочках, говорим вполголоса, как будто в доме покойник. В мастерской не слышно голосов, только сдержанный стук инструментов.

И вот по дому проползает роковое слово, которое гнали от себя, о котором боялись думать:

— Температура подымается...

— Слышите ли, температура подымается...

Мы забираемся в дальние комнаты в углах:

— Сколько?

— Тридцать восемь.

— Что же это!..

Долго прислушиваемся к грозно и неотвратимо надвигающемуся.

Проходит мучительный день, проходит мучительная, не дающая сомкнуть глаз ночь.

И опять:

— Сколько?

— Тридцать восемь, четыре.

Вечером:

— Тридцать восемь, восемь.

— Господа, так нельзя. Это смерть идет, заражение крови.

— Необходимо доктора.

И все глаза обратились ко мне с Основой.

— Ну, разумеется, доктора,— проговорил я преувеличенно убедительно и горячо.

А Основа просто:

— Сейчас схожу.

С предосторожностями сообщили Александре Ивановне. Она посмотрела на нас спокойно и холодно.

— Не надо доктора.

— Но... Александра Ивановна, нельзя же запускать, ведь...

— Я сама знаю, акушерка... подождем.

И потянулись мучительные, удушливые часы ожидания.

— Тридцать девять.

Тогда решили позвать доктора помимо нее. Но она, очевидно, следила за нами.

— Я вам говорю — не надо доктора.

— Нет, уж как хотите, доктор необходим.

Она зло посмотрела на меня, на Основу и... расхохоталась. У меня мурашки по спине.

— Ха-ха-ха... какие благородные, какие великодушные молодые люди!.. Доктора!.. Доктор осмотрит и, конечно, спросит: «Где же ребенок?» Раз его нет, стало быть, надо подозревать наличность преступления... Разыщут!.. Найдутся свидетели, с радостью покажут — вы несли что-то в лес... А если откопают, сразу видно, ребенок родился живым... Я убила, вы — соучастники... Вам тоже каторга... Ха-ха-ха... молодые, благородные, великодушные люди!..

То, что она говорила, все время сидело у меня в глубине души смутным, несознанным беспокойством, которое я подавлял, как только оно шевелилось.

Основа вышел в другую комнату.

— Доктора я приведу... Насильно нужно.

Но слух ее был обострен. Приподнявшись, злобно блестя воспаленными глазами, хрипло крикнула:

— Все равно не дамся!..

Аня рванулась, обвила ее шею, спрятала голову на ее груди и заплакала тонкими беспомощными, детскими слезами. Больная гладила ее головку и говорила своим прежним, успокоившимся, сдержанным голосом:

— Детка моя, родная... дорогая моя... Хорошо, только немножко обождите... Я сама схожу к доктору, переговорю, а потом пусть приходит, лечит.

— Но, Александра Ивановна, вы взгляните, лицо у вас пылает...

— Я знаю, что делаю.

Она попросила на минутку нас выйти, собралась, потом вышла к нам,— на помертвелых щеках тлел румянец,— пожала всем руку, долго и мягко останавливая на каждом спокойно-грустные, подернутые горячечной влагой глаза.

И ушла.

Больше мы ее не видели.

Проходит час, два, три — нас охватывает неодолимое беспокойство. Бросились к доктору,— ее там не было. На старую квартиру, ко всем знакомым, во все уголки, где бывали,— никаких следов.

Провели всю ночь в поисках.

Утром Патриций, с белым лицом без очков, не сдерживая трепетания губ, проговорил:

— Надо искать... искать во что бы то ни стало... Разделимся на партии... Я — по тракту...— и ушел.

Мы разделились. Варвара и Аня должны обыскать весь прилегающий лес. Француз углубится в тундру, я — вниз по реке и по берегу губы. Основа — по деревушкам вверх по реке.

Не успели мы выйти за город, нас всех арестовали,— узнали о побеге Александры Ивановны и Патриция.

В эту же ночь Основа разобрал печку и дымовой ход и вылез на крышу. Его увидали, стащили и беспощадно избили.

Мы в своих клетушках стали бить стекла, скамьи, столы. Пришли и жестоко избили и нас.

Долго лежали мы, обмотанные тряпками, тупо-равнодушные ко всему. За стенами ругались и пели арестованные. На дворе пилили дрова. По потолку сновали тараканы, а с нар лезли и жгли клопы и вши.

Тягучие ненужные мысли тянулись, как мутная ленивая река.

Где Александра Ивановна? Может быть, тело ее уже растаскали медведи и лесные волки. Может быть, в жару и бреду мечется в какой-нибудь деревушке или отлеживается где-нибудь в глухом углу у товарищей, или была ложная тревога, болезнь не развилась, и она сидит теперь в гудящем и постукивающем на стыках вагоне. Всюду писали, но никаких о ней сведений ни от кого не получили.

Дня через три привели Патриция — исхудалого, дикого, неузнаваемого.

Через три недели нас выпустили. Мне, Французу и Основе накинули по году, Анне и Варваре обошлось без последствий, Патрицию прибавили два года.

Потянулись дни, месяцы, с таким ощущением, точно только вчера вернулись с похорон. Но время — да будет благословенно,— время, как ржавчина, съедающая величавый подвиг сердца и позор преступлений, понемногу стирало глубокие следы разрушения жизни. Что бы ни случилось — жить надо, надо читать, думать, разговаривать, работать, смеяться и ждать счастья, и ждать свободы, и ждать счастья.

Опять зима, опять долгие-долгие ночи, простор для мыслей, тоски и скуки.

Стол, чернильница, стопка белеющей бумаги и начатая страничка — все ярко озаренное из-под абажура, дружелюбно смотрит на меня, в тайном союзе готовое помогать.

И нет стен, потолка, окон, дверей,— комната бесконечно раздвинулась темнотой своей, и темнота зыбко наполнилась милыми, дорогими гостями — солнце, поле, люди, смех, красная луна, синеющий лес, милые раски-

нувшиеся степи, а из комнаты уцелел только кусок озаренного из-под абажура стола.

Иногда приходит черная гостья — отчаяние. Спокойно-холодной, бестрепетной рукой берет оно трепещущее сердце, тихонько все больше сжимая: никогда!..

О, какая боль!.. какая мука!..

Никогда не быть мне живым художником, творцом. Не придут на жизненный пир брачные гости моего творчества, моей фантазии. И тухнет солнце, и меркнут поля и леса, и уже нет степей, разошлись люди. В полутемноте, узко и тесно сдвинувшись, стоят стены низенькой комнатки, незряче глядит промерзшее окно, а на стол падает из-под абажура желтое пятно света, холодное, ненужное. Я хожу большими однотонными шагами из угла в угол и гляжу на мелькающие под ногами щели разошедшихся досок.

Однажды пришла другая гостья, никогда не приходившая, нежданная.

Постучались. Я торопливо попрятал свои писания.

— Войдите.

В полуоткрывшейся двери, как в раме, стояла стройная фигура с перехватывавшим кожаным поясом.

Всегда спокойный с ней, я почему-то тут засуетился бестолково и ненужно.

— Ах, это вы!..

Она вошла в комнату, поглядывая на опустевший стол и сдерживая игравшую на губах усмешку.

— Вы не колдуете тут?

Я засмеялся ненужно и деланно и вдруг насупился и замолчал, рассерженный на самого себя.

Она присела к столу, играя карандашом.

— Ужасно долго тянется время...

— А оглянетесь, пролетят годы,—угрюмо бросил я.

Помолчала.

— Читать не хочется и все валится из рук.

Сдавливая, тесно, узко и низко стояла полутемная комнатка.

— И в окна не хочется смотреть,— как мертвые глаза у мороженой рыбы.

И вдруг засмеялась, и искорки задорного девичьего смеха шаловливо забегали в глазках:

— А ведь вы пишете?.. контрабандой?..

Давно ночь. Еще в два часа потух последний отблеск зари.

Волнуясь, хожу по комнатке: читать или не читать? Кислые лица; начнут, удерживаясь, зевать; кто-нибудь скажет: «Дд-а, ничего...» А Француз, тот попрямее, брякнет: «У вас ни малейшей искры, ни малейшего дарования!..» Что же делать тогда? Как же я вернусь в свою комнату?

А вдруг Аня всплеснет руками и вскрикнет: «Да у вас талант!.. У вас огромный талант, боже мой!..» И все они ужаснутся, что жили бок о бок с таким огромным дарованием и не подозревали. И когда вернутся, будут всем рассказывать: «А мы ведь, знаете ли, были в ссылке со знаменитым писателем».

И я в необычайном волнении, с сердцем, готовым разорваться, все быстрее и быстрее хожу по комнате, поворачиваясь в углах; в глазах мелькают освещенные на столе бумаги, а лицо разъезжается в неудержимо блаженную улыбку. Голова идет кругом, стены плывут. Я останавливаюсь передохнуть и снова начинаю качаться, как маятник, сам не замечая того, все быстрее и быстрее, до головокружения.

А те ждут: уже два раза стучали снизу в мой пол. И не подозревают, что сегодня они — судьи мои, может быть палачи мои.

Я собираю листки рукописи, тушу лампу и спускаюсь по скрипучим ступеням. На половине лестницы скрип обрывается. Зачем я иду? Зачем? Вынести на базар ненужную тайну мою?

Долго стою в темноте. Холодно. И опять спускаюсь, и опять долго стою перед дверью. Из-за нее слышны их голоса; смеются; вот заспорили; чьи-то торопливые шаги к двери. И я, чтоб не быть пойманным подслушивающим, вместо того чтобы уйти, совершенно неожиданно для себя распахиваю дверь и вхожу. Они все вокруг стола и разом заговорили:

— Что вы запропали?

— Я говорю — он колдует там.

— Мы думали, уж не умерли ли.

А я с натянутой улыбкой говорю:

— Я вот... вот принес... почитать вам...— и поперхнулся.

— А-а... отлично, отлично!..

— Слушаем.

— А я и не подозревал... Ну, ну, ну, читайте.

Все задвигали стульями, рассаживаются поудобнее. Потом тишина, и слышно, как бьется мое сердце — до боли.

Я разбираю листки, и они трясутся, как в лихорадке. Нет, не могу... Кладу листки на стол, а руки прячу — слишком дрожат. Товарищи, из деликатности, кто смотрит в потолок, кто в пол.

Я глотаю слюну, и вдруг чей-то чужой, совершенно незнакомый срывающийся голос отдается в пустой комнате:

— «Над заброшенным городком занимался серый день, медленно проступая белесоватыми пятнами сквозь молочную мглу сумерек отступавшей на север ночи. Он тихонько забрезжил неясным просветом в узорчато-морозном окне маленькой комнатки, вползая туда мутными волнами побелевшего осеннего утра. Унылые стены печально выступили из поредевших сумерек, точно только что они откуда-то вернулись.

Одинокий жилец комнаты приподнялся с кровати на локте...»

Я перевожу дух, глотаю слюну и на секунду подымаю глаза: пять пар блестящих глаз, не сморгнув, смотрят на меня — больше я ничего не вижу в кромешной тьме, нас обступающей. И опять чужой, неизвестный, но к которому я уже привык, голос продолжает с неизъяснимым отчаянием:

— «...он подошел к реке; остановился. Кругом висела темная ночь и неподвижно глядела на него загадочным взором. Вверху тихонько ползли тучи, в береговых обрывах шелестел ветер, за рекой колебались белые призраки туманов...»

Никому не нужные беспомощные детские слова мучительно долго звучат около желтого пятна лампы:

— «...Ему страстно хотелось схватить, удержать покидавшее настроение, но неуловимую мечту не вернуть».

«И опять он остался один...»

Охрипший чужой голос оборвался, и я собираю дрожащими пальцами листки, прислушиваюсь к странно наступившей тишине и не подымаю глаз.

«Они меня теперь презирают...»

Кто-то отодвинул стул. От белизны бумаги, на которую ярко падает свет и на которую долго смотрел, кругом темно, и я ничего не вижу.

«Они меня презирают...»

Кто-то вздохнул. Отчего? Оттого ли, что тронул рассказ, или оттого, что хочется зевнуть?

Робко подымаю глаза,— Аня. Она смотрит на меня, не спуская глаз, должно быть насмешливо, и говорит, загадочно улыбаясь:

— Сентиментально.

И хотя жду наихудшего, это бьет меня, как острый нож.

— Да. По-моему, если тоска,— ну, пей, играй в карты, развратничай, что ли, а нечего антимонию-то разводить.

Из-под темных усов, как слоновая кость, вспыхивают у Француза белые зубы, и мы чувствуем — недолго, вероятно, остается: он этим и кончит.

— Да, с маленькими смутными настроеньицами не стоит возиться,— говорит Патриций, и, как всегда, все видят и чувствуют, что так оно и есть, как он говорит.— Только определенные, резкие, тяжелые столкновения человеческих душ, откуда вырастает или катастрофа, или безмерное счастье,— только такие явления психической жизни достойны художественного внимания.

Он снял очки, протер.

Аня смеется:

— Контрабандист.

И я смеюсь.

Около Варвары в полутьме белеют подбавляемые очищенные картофелины.

Я смеюсь, смеюсь лицом, которое для всех, к которому привыкли.

— Да, пустяки...— говорю я пренебрежительно,— от нечего делать...

А то, другое лицо — которое только для меня — смертельно бледное, в судороге боли и отчаяния кричит: «Кончено!.. все пропало!.. все напрасно... Они меня презирают... Из меня ничего не выйдет...»

Мелькнула знакомая черная гостья, просунула костлявую руку в грудь и сжала сердце, как никогда. Рванулось, забилось, затрепетало, но костлявый стару-

шечий кулачок так и остался. «Никогда... никогда не быть мне художником!.. Творчество не для меня...»

Я тихонько, осторожно подавил вздох и глянул: серые глаза Основы ласково глядят на меня.

— Вот вы,— говорит он,— у вас эта ночь... Я тоже... вот такая же ночь, когда фабрику-то подымал. Темно. Мальчишки у меня адъютантами были, везде шныряют, бегают, все разузнают и докладывают мне. Вот прибежали, говорят, собрались рабочие возле сгоревшей столовой, а против них солдаты. Говорят, колоть зараз будут. Я — туда. Грома-адная толпа рабочих, против — рота. Рабочие возбуждены, кричат, по лицам бегает пламя, пожар догорает. Вдруг рота двинулась, ружья наперевес. Я кинулся, как зареву: «Как!.. братьев?.. кровь!..» После говорили — оглушил всех, а я не помнил себя. Солдат мне в грудь штыком. Я схватился, вырвал — о камни приклад вдребезги. Должно быть, ошарашило, солдаты остановились, глядят, рабочие тоже. А я их назад осаживаю,— расходись, товарищи... Так постепенно разошлись, и меня не успели схватить.

Мы смотрим на него,— небольшого роста, обыкновенное рябое рабочее лицо, и в этой полутемной комнатке он растет, массивный, широкий, и мы смотрим на него снизу.

— А как пришел домой, стал раздеваться...

Это голос Варвары из темноты. Она улыбается — а она редко улыбается.

— ...Стал раздеваться. «Что-то, говорит, рубаха у меня как кол...» Снял, а она вся в крове, уж и высохла. Штык-то пробил полушубок, кафтан, жилет, пуговицу расколол, а он и не слыхал.

Аня смотрит на него блестящими глазами, потом ко мне:

— Вот бы описали.

Потом, как будто не в связи, начинает сама рассказывать о своей жизни дома, в семье. Потом Француз,— о том, как вылетел из института.

Эта полутемная комнатка с освещенным из-под абажура столом в этот странный вечер полна тихо встающих ласковых воспоминаний. Варвара — она никогда не вступает в наши разговоры — рассказывает, как была в девках, встретилась с Основой, вышла замуж, вместе работали.

Разлилась тишина. Сегодня ни споров, ни взаимного раздражения. Основа принес бунтовавший, весь в клубах, самовар. И за дымящимися стаканами и чашками опять тихо плыли воспоминания, далекие милые призраки. Только у меня по-прежнему в груди — безнадежно давящий костлявый кулачок: «Никогда!..»

Француз ходит по комнате и вдруг круто останавливается передо мной:

— А знаете что?..— Он пристально смотрит на меня.— Вы будете писателем.

Все засмеялись.

— Он котрабандист,— смеется Аня,— он потихонечку от всех писал. Никто не подозревал, а я знала.

Удивительно экспансивная и впечатлительная нация эта французская.

— Господа, а знаете, который час?

— Сколько?

— Четыре.

— Батюшки мои!.. Вот так засиделись.

— Ничего, успеете выспаться, солнце-то в одиннадцать всходит, семь часов еще.

Сразу пришла усталость и сон, и, зевая и потягиваясь, все разошлись.

Все разошлись. Я подымаюсь к себе,— рад, что, наконец, остался один. Надо что-то обдумать, решить. Давящий кулачок в груди: «Никогда!..»

Отворил скрипнувшую дверь. Вот она, постылая комнатенка. Только мертвый глаз мороженой рыбы смотрит тускло. Нет, не могу. И я торопливо одеваюсь, спускаюсь, осторожно нажимая на скрипучие ступени, долго вожусь с затвором, чтобы не стукнуть, чтобы не услышали мой уход, и выхожу.

Густой, неколышущийся мороз, обжигая, с трудом вливается в грудь, и рассыпанно сверкающие звезды плавают сверху.

Иду по улице. Угрюмо и черно выглядывают траурные срубы, все бело кругом. Крыши, стены завалены снегом. Ни огонька, ни звука.

Мертво.

И я рад, рад этому безграничному одиночеству. Да, надо что-то обдумать, что-то взвесить и решить. Что

же? Словно потерял любимую женщину, и все кончено, и с тоской мечешься, с тоской и странной, глубоко теплящейся где-то неосуществимой надеждой.

В густом морозе и белизне снегов потонул сзади черным пятнышком городок, потонул, и обступил белый лес. В белом трауре неподвижны сосны. Дыхание стынет у лица.

Я иду по глубокой дороге, и плечи мои вровень со снегами.

На сотни верст ни жилья — все лес, такой же неподвижный, траурный лес. И под траурно отягченными махрово-белыми ветвями неподвижно-густая синева. Точно первозданный холод безжизненно разлился по земле, все застыло. И это безжизненно-холодное одиночество медлительно вливается в сердце, и стынут в нем и отчаяние и надежда.

«Да, так вот, решать надо... О чем же?.. Аня... всегда у нее черный кожаный пояс... коса до самого пояса... И Француз... всегда он зевает, когда читает Маркса... Не могу вспомнить его рожу, как пуля пулей летел за Полканом... А у Полкашки рот огромный — мяч там чуть не помещается,— и несется во все четыре ноги... Подлая собака... Да, обдумать-то надо и решить... Что я — бездарность, это решено... и они презирают меня...»

Подымаю голову,— те же смутные отягченно-белые сосны. Иду все дальше, глубоко засунув руки, втянув голову в плечи, окутанный дыханьем, и все тот же первозданный холод, все то же немое молчание.

Останавливаюсь. Хоть бы звук!.. Хоть бы тонкий живой писк... Хоть бы веточка сломилась и упала, цепляясь. Пустыня... Казалось, само недвижимое время застыло.

Из этого мертвого молчания, из этого мертвого холода робко вырастает жажда живого. И я прислушиваюсь к ней, к этой затаившейся, теплящейся где-то жизни.

Неподвижны колонны сосен, как в огромном холодном зале, но в дуплах — теплые комочки маленьких зверков. И если, проваливаясь по плечи, пройти целиком в лес, над заваленным доверху валежником тонкой струйкой колеблется из обтаивающего снега живое дыхание,— огромный зверь сосет, свернувшись под снегом мохнатой грудой, и теплая кровь тихо пробирается,

пульсируя, по жилам. Тысячи тысяч пернатых неподвижны в мохнатых ветвях, тая дымящуюся, незастывающую кровь.

Жизнь!

Я вздыхаю полной грудью, широким, свободным вздохом и поворачиваю назад. Ведь все еще впереди — годы, может быть десятки лет.

Иду широкими скрипучими шагами туда, в свою милую комнатку, с которой связано столько тайн.

И седые, махрово-белые отяжелевшие ветви отходят назад, и на их место другие, идут без конца,— далеко зашел.

А гостья? черная гостья. Ее нет. Сердце бьется свободно, радостно и ровно.

И чтобы насладиться его живым нетронутым биением, пускаюсь во весь дух по скрипучей дороге, захлебываясь густым холодным воздухом; и сосны, благословляя, осыпают меня белым оседающим инеем.

Ведь сказал же Француз: «Вы будете писателем...» — сказал же почему-то, никто его за язык не тянул, и человек он прямой и искренний. И отчего сегодняшний вечер мы провели так задушевно среди милых, тихих воспоминаний? Отчего?

Лес расступается. Чернея среди снегов, темной кучкой глядит городок. Весь дымится к побелевшему небу торжественно восходящим утренним дымом,— давно встали хлопотливые хозяйки.

Наш угрюмо чернеющий дом доверху завален снегом. Я осторожно подымаюсь по скрипучей лестнице. В дыму мороза низко и красно протянувшаяся заря глядит в окно.

Спать? О нет. Я торопливо достаю бумагу, чернила, перо. Скорее запечатлеть — и в этом неизъяснимая сладость,— запечатлеть и лес, и морозный холод, и всюду теплящуюся жизнь, и счастье, счастье, которое непременно должно прийти.

А время идет неуклонно и слепо. Ему нет дела до нашего маленького горя и бед, нет дела до колоссального горя, разлитого по лицу земли.

Растаяла и с плачем ушла зима, снова загорелся день, и без устали почти двадцать четыре часа, навер-

стывая, ходило солнце над горизонтом, не давая спать. Потом стало меркнуть. Потухали белые ночи, и приходили глухие и черные и подолгу стояли над землей. Зелень и листва еще держались, но уже печальные перед концом дней своих. И на севере подымались белые туманы и подолгу стояли сплошною стеной.

— Господа, лето кончается, необходимо попировать последний раз на лоне природы,— предложил Француз, инициатор всяких начинаний.

— Идет!..

— Прекрасно!..

— В самом деле, замуруемся опять на зиму.

Собрали провизию, наняли лодку и, дождавшись, когда прилив стал вздувать реку, погнал воду вверх и затопил все мели и илистые обнажения, оттолкнулись от берега.

Как щепку, подхватили лодку бешено несшиеся вверх по реке шумные воды, и берега мелькали, точно с парохода. Далеко темнел лес. Городишко, чуть чернея, остался позади. И отсюда только было видно, какой он крохотный и как со всех сторон неохватимо обступили его тундры, холодные воды, темные леса.

Долго бились, чтобы пристать к тому берегу,— бешено несло вверх. Наконец величаво, темно и молча простерлись над нами вековые ветви.

Стояла торжественная, ненарушимая тишина над водою, над лесами, в холодном воздухе, над сырой мглой, облегавшей горизонт. Царила тишина строгого молчания.

И как бы в тон этому печальному молчанию, не нарушая, а углубляя его, пронесся стон чайки, белой чайки: печальный протяжный крик резнул сердце неподавимой, щемящей тоской.

— Товарищи, ну что это... Зачем же приехали сюда?.. Скорее костер.

И все за Аней бросились собирать дрова. Варвара возилась с посудой.

Сумерки уже садились, как паутина, на лес, на реку, на берег, на лица, и уже бушевал огромный костер, бросая судорожно-багровые отсветы на людей, на деревья, и всюду засновали черно-трепетные тени.

Зазвенели стаканы, пришло веселье, то молодое ве-

селье, которое умеет зажечь жизнь разноцветными огнями и так же беспричинно уходит, как и приходит.

— Петь, петь, господа!..

И бархатный голос Француза могуче и нежно зазвучал под соснами и понесся над темнеющей рекой, долго не умирая. Он пел, как артист перед огромной залой, залитой огнями и людьми, и на лицах наших багрово трепетало пламя. И когда замолчал, долго еще звучал его голос где-то далеко над рекой.

Ночь нахмурилась.

Потом пели марсельезу,— все, какими голосами кто мог.

— «Pour la nation!..» [1]— густым эхом отдавалось в соснах. Патриций вскочил на пень и иллюстрировал текст. «Слышите ли гул стотысячной толпы?.. Идут, идут, и пламя факелов дымно мечется над ними...» И мы слышим гул сотен тысяч тяжелых шагов, и мы видим багрово мечущееся по лицам пламя дымных факелов. Потом Патриций обратился к этим гулко идущим толпам с импровизированной речью, и она дышала огнем и силой неподдельного красноречия, и Француз сказал:

— Вы будете знаменитый адвокат...

Потом мы всё съели и выпили, что привезли, потом... потом оживление ушло, как и пришло, и вдруг почувствовали, что это пока, так себе, часы стоят, маятник на полувзмахе, а настоящее где-то далеко и недоступно.

Ночь стояла такая густая и неподвижная, что в двух шагах ничего не видно было. Прогоревший костер взглядывал на нас тускло-мертвым глазом из-под пепла, а мы сидели вкруг и дожидались прилива, чтобы переехать назад.

Француз то и дело спускался к самой воде, и его сейчас же глотала темнота, и слышался голос:

— Вода подымается, скоро дойдет до лодки.

Мы стали все сносить и укладывать впотьмах на лодку, которую уже приподымала прибывающая вода. Француз разжег смолистый сук и высоко поднял над головой. Пламя буйно срывалось, роняя кипящую смолу, но, к удивлению, багровый свет его не в силах был преодолеть густо стоящей вокруг ночи и бессильно падал у ног Француза, освещая только одну его фигуру.

---

[1] Для народа!.. *(франц.)*

— Э-э, да ведь туман,— проговорил Основа.— Садитесь.

Мы взобрались на прыгающую под ногами лодку, не видя ни лодки, ни друг друга. И тотчас же подхватило и понесло бешеное течение прилива. Красный глаз догорающего костра мгновенно потух, одна густая, неколышущаяся тьма и такой же густой, тяжелый звук весел в воде, которые глотала эта сырая тьма.

Ус-лы-ша-ли та-та-ры...
Ну, ду-ма-ют, не трусь!..—

затянул Основа, мы все подхватили, и опять отчего-то сделалось беспричинно весело, но голоса наши звучали слабо и задушенно, точно мы пели в вату.

Основа и Француз гребли. Патриций правил. Лодка толкнулась и стала.

— Что это?

— Неужели уж переехали?

— Да не может быть.

Из густой темноты мертво глянул красный глаз.

— Слушайте, да нас опять прибило назад.

— Это наш берег, вот и костер.

Со смехом, с шутками Патриция разжаловали из капитанов. Сел править Француз. И опять погрузились в густую черную вату. Снова глухие всплески, какие-то далекие, не наши голоса, и снова толчок о невидимый берег, и сквозь тьму глядит красный глаз.

— Что же, господа, нас кружит. Отлив начинается, мы можем засесть.

Оттолкнулись. Густая, непроглядная, нешевелящаяся, глотающая все звуки, пропитанная туманом тьма. Время шло; весла без умолку работали, но не было ни берега, ни костра, ни звука; не было нас самих, потому что даже самого себя не видно.

Время тянулось, все было то же, и все та же густая черная вата, глотающая голоса и звуки. Уже не разговаривали, не пели, только невидимо и глухо опускались весла.

— А ведь нас несет в океан!..

Это голос Француза, сейчас же поглощенный неподвижной чернотой.

— Да, судя по времени, отлив давно начался, во тьме мы слепо кружимся по реке, и нас несет, а может быть, уже и вынесло в губу.

Я черпнул за бортом холодную воду, попробовал — солоновато.

— Вода — соленая.

Все молчали, как будто трудно было говорить в облегающей черной густоте.

— Это еще ничего не доказывает — приливом много вливается в реку морской воды, и она еще не успела сбежать,— говорит Патриций,— но разве это его голос?

— Мы, может быть, еще на реке.

И опять чей-то чужой, незнакомый голос:

— А-а... вот что!..

И все густо глотающая тьма и глухой, тяжелый, глотаемый всплеск весел.

— Слушайте, господа, но ведь надо же предпринять что-нибудь,— говорю я, как будто все виноваты,— нельзя же так.

— Что предпримете?.. Без компаса, без малейшей руководящей точки... Вот садитесь да гребите, вот и предпримете,— зло-насмешливо говорит Патриций.

— Нет, ничего, я сам...— голос Основы и скрип уключины: он все время гребет.

«Ах, так вот... так вот что!..» — и я широко гляжу в нерасступающуюся таящую мглу, и в ушах стоит печальный крик чайки над пустынной водой. Не хочется ни грести, ни выбиваться из этого положения — все равно не поможешь. Я сажусь поудобнее, совершенно один, начинаю думать. Я думаю о...

— Кто это?

Около меня кто-то сидит.

— Это вы, Анна Николаевна?

— Чуть не уснула... Долго мы так будем болтаться?

Я немного недоволен — нарушается мое одиночество, мои думы. А она говорит заглушенным, глотаемым ватой голосом:

— Вот и у вас *там* такая же ночь — тихая, неподвижная, всеобъемлющая. «И примолкла темная ночка, точно и ей чудилось, что в этой странной песне что-то билось... И смолк ветер, и темные тучи спустились и еще ниже нависли...»

Как электрическая искра пронизывает меня, и я весь задрожал. Так вот что!.. Так она помнит, она декламирует!.. И я жадно, с пересохшим горлом, прислушиваюсь к музыке ее голоса.

— «...Темная ночь неподвижно глядела на него загадочным взором ночной темноты...»

Но ее лицо?.. Только б взглянуть на ее лицо!.. Я делаю страшное напряжение: толстая коса по спине, крепко выбегающий стан из кушака, смех, голос, но я не помню ее лица. И это странно поражает: я не видел никогда ее лица. И с нечеловеческим напряжением я вглядываюсь в ее лицо. Нет, я один, как в одиночке, даже фигуры ее не вижу...

— Анна Николаевна...

Мы придвигаемся друг к другу и в темноте говорим, говорим о тысяче предметов, как будто над нами ясное небо, яркое солнце, поют птицы и говор и смех вокруг беспечной толпы.

Нет ни лодки, ни товарищей, ни холодного сурового океана, куда неудержимо нас уносит. И, должно быть, много часов прошло, потому что смутно стало брезжить вокруг. Чернота посерела. Мы дышали густым, непроницаемым туманом, по-прежнему глотавшим все звуки. С жадным напряжением всматривался я в ее лицо, но одна молочно-непроницаемая белизна, да порой чудилось, как будто блестели незнакомые глаза...

И в белой тьме нас неуклонно уносило...

Провожаем Аню. Все собрались, все пять человек: Основа, я, Француз, Патриций, Варвара. Мы стоим у самого обрыва. Аня на палубе, слегка опираясь о борт.

Мы смотрим на Аню не отрываясь. Она нам улыбается, и глаза ее светятся ласково и мягко.

— Так пишите же.

— Вы же пишите. Как приедете, сейчас же пишите.

— Плетенку захватили ли?

— А шкатулку мы вам вышлем. Как кончим, сейчас же вышлем.

Это наши голоса, но что-то звенит в них, как тонко и дрожа вонзившееся острие непреодолимой печали.

И я, смеясь, говорю и махаю ей шапкой, и кто-то кричит во мне беззвучным отчаянием: «Так вот она, эта Аня!.. Вот она, этот милый товарищ...»

И мне неодолимо хочется рвануться туда — к ней. Точно катаракт сняли, и я впервые увидел ее лицо, простое, милое, чистое девичье лицо, освещенное чудесными глазами.

Но ведь сейчас, через две минуты ее не будет, она скроется, быть может навсегда... Только впервые увидел ее лицо, просящее счастья, ждущее счастья... впервые...

— Вы же пишите... вы же пишите...— бормочу я, чтобы подавить беззвучно подымающийся крик отчаяния.

И те, что стоят возле, машут и кричат ей что-то, и она машет белым платком с становящегося все меньше и меньше парохода, и уже не слышно ее голоса, только белый платок, как трепетание чайки над пустынной водой.

«Так вот оно, это милое, чудесное лицо!..»

И мы стоим и долго смотрим на пустынную реку, на которой уже ничего нет.

Угрюмо и молча идем в постылый дом, глядя в землю, а Француз с закипевшей силой говорит:

— Убегу.

— Вздор!.. Осталось всего полтора года.

— Убегу, я не могу больше.

— Да,— говорит Патриций, отвечая на свои мысли,— жизнь не останавливается ни на одну секунду.

Да, да, и на мои мысли: взмах маятника жизни ни на минуту не прерывается, и уже ни одного дня, ни одного горького слова, ни одного радостного вздоха не воротишь.

Милое, чудесное лицо, ждущее счастья!..

В НОМЕРЕ

Окно в моем номере выходит в желтую, теряющуюся вверх стену. Она вся бесчисленно чернеет окнами.

Глубоко внизу темнеет асфальт двора и ходят маленькие люди... Слева слепая, без окон, низкая стена конюшен.

Одиноко, странно искривленное, протянув голые черные сучья, среди асфальта. каменных стен бесплодно стоит чудом уцелевшее дерево, как призрак, как темное

полузабытое воспоминание, неподвижное, безлистное, точно в отчаянии закрыв глаза.

У меня комод, стол, кровать, два стула, умывальник. Вдоль я могу сделать семь шагов, поперек только два,— номер длинный и узкий, как гроб. По вечерам под потолком мертвенно-сине горит электрическая лампочка.

Я как в одиночном заключении. Кругом каменная пустыня, бесчисленно перегороженная на отдельные клетушки. До меня нет никому дела, и мне нет ни до кого дела.

Эти обои, эта обстановка, это окно, выходящее в тупик, стены — как в десятках таких же номеров.

Я ничего не замечаю, ни темноты, ни застоявшегося запаха в коридорах, который только бывает в гостиницах, ни безглазой стены, которая слепо, не отрываясь, всегда смотрит в мое окно. После беготни в шумном, кипящем сотнями тысяч людских жизней городе, усталый, добираюсь до номера, рад перевести дух и валюсь на кровать, не замечая ни стен, ни обоев, ни замкнутости моей одиночки.

Все поглощает людское текучее море на улицах: громады домов, из-за которых не видно ни неба, ни воздуха; дворцы, строго отражающиеся в величаво студеной реке темные крепостные стены, в молчании которых чудится замерший стон; студеные воды, сады и парки, фабричные трубы, над которыми черный дым и вечная непроходящая мгла его над всем городом.

Все так огромно, так неизмеримо с интересами, с радостями, усталостью, горем отдельной жизни, что я тону, как в водовороте.

Тут уж не до обстановки.

Я приехал добывать счастье, удачу, улыбку жизни. В тощем чемодане у меня ни платья, ни белья, ни вещей, зато целая папка рукописей.

Знаю — тернист и тесен путь выходящего на заре жизни.

Что же — буду биться, буду добывать.

Меня, без имени, плохо одетого человека, встречают по редакциям холодно, молча, пренебрежительно и... и возвращают рукописи непрочитанными. Вдобавок еще лгут,— говорят, читали. Ничего, я буду биться,— тернист и тесен путь выходящего на утре своих дней.

Какое разнообразие в этом живом уличном водоворо-

те! У каждого свои глаза, свои мысли, своя торопливость, своя походка. Как будто и одинаково, но каждый по-своему одет. И у каждого своя жизнь.

Отчего они все так торопятся? Впрочем, и я иду, торопливо помахивая руками,— в этом бешено несущемся потоке нельзя терять ни секунды.

Когда вечером вспыхнут бесконечными огнями улицы, магазины, беспредельно рассеянные в вышине окна, понесутся слепящие фонари карет, автомобилей, как светляки замелькают красные, зеленые, оранжевые глаза трамваев,— это волшебство.

Черно сверкает вода. Таинственны озаренные деревья. И неумирающий шорох сотен тысяч шагов висит над всем.

Точно огромный, неизмеримой силы змей кольчато ворочается по бесчисленным извилинам.

Он могуч, ибо в нем — знание, в нем — мысль, в нем — творчество, воображение, изумительная сила техники, изобретательность и неукротимая настойчивость. И я — затерянная крохотная частичка его кольца — иду радостно и победно, ибо и я — частичка этой неведомой, неизмеримой силы... Шорох сотен тысяч шагов!.. Но в нем же и торговля человеческим телом, и девочки-проститутки, и омертвелые подвалы, гноящиеся нуждой, и озлобленные огоньки бледных лиц в тысячах фабрик и заводов, и в этом озлоблении революционность.

Бесконечными огнями уходя в сияющую мглу, бегут сияющие улицы, и безгранично ворочается извивами непреодолимая человеческая сила.

* * *

Я в своем номере, но я весь там с людьми, с их незасыпающей деятельностью, с их непадающей силой и напряжением. Я с ними, с безгранично разнообразными лицами.

По-прежнему стучусь в редакцию, и выходят холодно-спокойные люди и говорят, что мне там делать нечего. Ничего, труден и тесен начинающийся путь. Надо же и в их положение войти,— они задыхаются в море наплывающих отовсюду рукописей. Из ста рукописей в лучшем случае мало-мальски по-человечески написана одна, остальные девяносто девять — бред, белиберда, а прочитать-то нужно все сто.

Вот только я перестал обедать. Зато утром и вечером пью чай с колбасой и хлебом, и каждый раз мне становится беспричинно весело.

Городской шум не достигает до меня: окно выходит во внутренний двор.

Я гляжу на одинокое дерево внизу, искривленно чернеющее среди асфальта, с застывшей болью в голых узловатых сучьях.

Добьюсь же я когда-нибудь своего? Или и я утону в этом человеческом море, безумно мятущемся море, утону без следа, как будто и не жил?

* * *

Я отнес в редакцию новый рассказ и жду.

Сегодня заплатил по счёту за номер. Вначале мне представляли счет через каждые три дня — не доверяли, и это раздражало. Теперь представляют через неделю, даже через десять дней,— уверились, но зато сразу опустошают мой карман. Перестал за вечерним чаем есть колбасу, один хлеб. Все равно — ночью лежу, не двигаюсь, стало быть, не требуется больших затрат на поддержание сил. Зато утром наедаюсь.

Неужели и этот мой рассказ потонет во прахе? Не может же быть!.. Послушайте: в нем плывут облака, в нем солнце, там моя родина, там загорелые степные лица, там сердце бьется...

И не коснется затаенных струн вашей души? И не задрожат сердца ваши навстречу трепещущему сердцу? Это чудовищно!..

Холодно спокойные люди сказали мне:

— Приходите через месяц!..

Но ведь их же маленькая кучка, а нас — бездны, тьмы. Ведь у них не хватит физической возможности каждого выслушать, каждого понять, каждого угадать, каждому заглянуть в душу.

Да, но я живой, мне больно, мне больно, я гибну!..

Почернелое, обнаженно искривленное дерево среди асфальта постоянно стоит перед глазами.

Я отдыхаю только в толпе. Я ухожу из номера и тону в этой чудесной людской толпе, такой неудержимо подвижной, полной непрерывно тратящейся жизненной энергии. Здесь миллионы смеха...

Они идут с серьезными лицами? Но разве каждый из них в отдельности не смеется заразительно и весело?

Здесь кипят благородные человеческие страсти и грязные звериные, здесь все — напряжение ума и воли или безудержно жадный размах наслаждения...

Они идут со сдержанными движениями и лицами.

Да, но каждый идет на свидание, и горячо бьется нетерпеливое сердце. Или идет со свиданья, утомленный, с изнеможенно разлитой по телу остывающей лаской. Или идет с напряжением неотступно преследующей его всюду мысли творчества. Или идет нести страшный рабий труд. Или идет, тайно преследуемый шпионами, на человеческую борьбу за тех, кого высасывает этот безумный труд.

Я люблю человеческую толпу, так безумно разнообразную в своем однообразии.

* * *

Попалась маленькая, на несколько рублей, работа, и я в первый раз за неделю пообедал.

В столовой много молодых, свежих лиц учащихся, студенты, студентки. Весело, оживленно колышется говор. И никто из них не обратится ко мне, не засмеется, не протянет руки: «Ба, да это вы!..» — как будто меня и нет здесь, как будто это и не я, приехавший искать жизни, улыбки ее, борьбы ее, а пустой стул. Чудаки!..

Впрочем, все равно. Удивительно примиренно ко всему относишься, когда пообедаешь.

Выхожу. Что это? Не узнаю места, не узнаю домов, не узнаю шумной улицы.

Оборачиваюсь в одну сторону. Огромная, веселая, ослепительно залитая, она бесконечно уходит в сверкающую даль миллионами огней, празднично играя в сумерках еще не погасшего дня, и вся кипит живым движением.

Оборачиваюсь в другую сторону. Нет ни домов, ни улиц, ни деревьев, ни воды, ни огней. Все тонет в густой молчаливой дымчато-черной мгле тумана. Он скрадывает фронтоны, углы, лепные украшения, линии, краски, молча глотает звуки. Улица с домами и со всем, что в ней есть, точно провалилась в траурно-черный провал. Люди, лошади, извозчики, кареты бесконечно идут

и едут туда и пропадают, и опять идут и едут, и опять, не наполняя, пропадают в мглистой пустоте — без границ, без конца, не слышно их голосов, шороха шагов.

Оттуда, из этой ровной поглощающей черноты, веет холодом бесконечного равнодушия. Оттуда же совершенно неожиданно идут люди, идут нескончаемой живой вереницей. Внезапно выкатываются, мигнув красным глазом, трамваи, выбегают извозчики, и идут, идут люди.

Оттуда же зачинаются дома и плотно, плечо в плечо, тянутся и уходят в другую, яркую, озаренную живыми огнями сторону. Зачинаются и уходят вереницы огней, и говор и звон, краски и линии.

Все-таки так весело!

Сажусь в трамвай, и он, с все повышающимся, испуганно жалующимся гулом быстро побежал к траурной кайме тумана.

Огни кругом потухли. Ни освещенных домов, ни фонарей, ни движущейся толпы. В стекла вагона мрачно глядит мертвая мгла.

Вагон гремит, качается, как будто на одном месте, среди вечной, бескрайной ночи, и странно видеть внутри освещение, когда за черными стеклами ничего нет — один мрак без границ.

Пассажиры сидят, покачиваясь, строго — с неподвижными лицами.

Девушка — белая шея, светлые волосы, шляпа по-особенному, по-молодому. Тонкий румянец, тоже по-особенному, по-молодому...

Я не спускаю восхищенных глаз.

«Сердце бьется тревожно и страстно...»

Она смотрит перед собой. Предлинные черные изогнутые ресницы чуть подрагивают. Сколько чистоты в линиях чистого лба, чистоты наивной, милой, влекущей.

Милая!.. Боже мой, как безумно хочется любви, озаренной, ласковой, чистой...

Чуть приподнялись ресницы, глянули такие же чистые серые глаза. Не улыбка ли на не знающих поцелуя губах?

В стеклах неохватимая чернота, и гремит и качается, как будто на месте, вагон. Все не стирается странность того, что тут лица, потолок, пол ярко озарены электричеством, а за стеклами чернота.

Я ее не знаю. Не олицетворение ли это любви, яркой и прекрасной своей неведомой чистотой, которая бывает только в юности? Отчего же так трепетно бьется сердце?

Она подымается и уходит, тонкая и стройная сзади девичьей стройностью.

Разом делается скучно и одиноко, хотя так же все внутри озарено и неизвестно, где гремит и качается вагон.

Кондуктор по неискоренимой даже в этих обстоятельствах привычке возглашает в дверях:

— Угол Большого и Кривой.

Я выхожу. Но откуда же он знает? Ни Большого, ни Кривой, ни домов, ни фонарей, ни освещения. Одна дымчатая мгла. Трамвай исчезает, и огни его, делаясь коричневыми, как в дыму, тают во мгле.

Куда же идти? Я делаю несколько шагов. Кругом потонул в дымной мгле целый город с многоэтажными домами, с невидимо освещенными окнами, с фонарями. Не только туман, но и дым разостлался — першит в горле, ест глаза.

У самого моего лица вырисовывается тусклый абрис человека. Протягиваю руку — лошадиная морда, горячие ноздри дышат прямо в лицо, звук копыт. Я отскакиваю в сторону.

Голос:

— Да куда ты везешь? Где мы?

— А кто же его знает... Я почем знаю... Разве тут разберешь?

Беспомощные мерные удаляющиеся звонки трамвая. Слышен треск, стоны, лошадиный храп.

— Ой-ой-ой... помогите!..

— Эй, вытаскивай... тащи его...

— Лошадь мешает... Оттаскивай ее...

Должно быть, пролетку раздробило.

Я блуждаю во мгле. Под ногами чувствую: мостовая. Хоть бы на панель попасть.

Иду с протянутыми во мгле руками. То справа, то слева голоса замирают. Осторожный стук копыт.

— Городовой!..

Но он теперь так же беспомощен, как и все.

Местами мгла чуть белеет светлеющими пятнами, точно невидимая луна с усилиями пробивается. Это не-

сомненно фонарь. Он, наверное, надо мной, но я не найду столба.

— Мама!.. Мама!.. Мама!..— беспомощно, тоненько, жалобно, как те котята, которых выбрасывают под плетень умирать.

То справа, то слева. Но я ничего не могу поделать. Брожу куда попало и рад, когда натыкаюсь на стены.

А ведь это дома, огромные, сверху донизу наполненные людьми.

— Мама!.. Ма-ма!.. Ма-а-ма!..— все тише, слабее, с звенящими потухающими слезами.

Я совершенно потерял направление. Должно быть, теперь иду по неизвестной улице. Не слышно трамвайных звонков. А может быть, прекратилось движение. Иногда сталкиваемся с кем-нибудь животами.

— Извините, пожалуйста.

— Да какие тут извинения!.. Не знаете, какая это улица?

— Не имею ни малейшего представления.

— Ведь это черт знает что! Вот уже два часа никак не могу попасть домой. Да уж хоть бы местность узнать.

Исчезает.

Мгла, то ровная, бесстрастная, то чуть светлеющая вверху, как туманность.

Того и гляди, попадешь в воду. Я слышу слабо — моет где-то у ног и веет сыростью.

Вот оно, непокрытое человеческое одиночество. Хоть кричи, хоть умирай, хоть тони среди сотни тысяч домов. Точно расскочились все связи.

Ага, это мост, под рукой ощупываются перила. Какой же?

Не слышно лошадиных копыт, звонков, замерло огромное движение, только такие одиночки, как я, то появляются, то исчезают в неподвижной густеющей мгле.

Судя по усталости, я брожу часа два-три. Теперь уже ночь, но ничто не изменилось, все та же нерасступающаяся густота с бледными туманностями фонарей наверху, которые сейчас же глотаются чернотой, как только делаешь шаг в сторону.

Милая девушка с белой шейкой и чистым, невинным лбом. Как я люблю ее!..

У меня от усталости ноги подгибаются. Теперь мой номер с искривленно исчахшим узловатым деревом внизу кажется раем. Если бы только добраться.

* * *

Случайно, доставая полотенце с гвоздя, глянул в потускневшее от времени, точно покрытое мелкой росой, исцарапанное надписями, засиженное мухами зеркало и остолбенел: на меня глянул бледный старик. Вялая кожа в складках, от носа и к углам опустившихся губ две глубокие борозды, землистые тени под лихорадочно воспаленными и глубоко ушедшими глазами. Неужели это я? Не может быть!

Впрочем, не удивительно,— я не вижу горячего уже месяц, не ем колбасы, питаюсь одним хлебом. Не всегда даже пью чай, потому что не каждый раз подают самовар,— задолжал.

Спокойно холодные люди сказали мне:

— Ваша рукопись еще не просмотрена.

— Вы же сами назначили срок месяц.

— Да, но вы не один же тут. У нас тысячи поступают рукописей, а читают только двое. Приходите через месяц.— И он поворачивается спиной,— ему ведь некогда.

Я шел по улице, стиснув зубы. Хорошо, еще месяц, еще месяц муки, терзаний, голода, месяц непрерывно сменяющихся отчаяния и надежды. Да и действительно ему некогда.

Я иду нахмурившись, с все так же стиснутыми зубами, глядя в землю. Город где-то далеко, огромным кольцом шумит и мелькает. Я один среди сотен тысяч домов, среди миллиона людей.

С некоторых пор они стали мне противны своим убийственным однообразием. Посмотрите на эти дома, одинаково громадные, одинаково безвкусные, одинаково примыкающие вплотную друг к другу нескончаемой лентой. И украшения, и подъезды, и окна — все одно и то же.

— А лица? Поглядите вы на них. Все идут и смотрят в одну сторону. И глаза одни и те же, и выражение, и походка, и платье — и все вышло из-под штамповального станка.

И жизнь у них страшная — все нивелирующим подобием: ночью одинаково предаются вожделениям, одинаково пьют, одинаково голодают, по-рабьи работают, одинаково смеются, одинаково умирают. Страшно!..

Хотя бы улыбка, хотя бы звук, хотя бы носок сапога, хотя бы одно движение человеческой души не как у всех!

Страшный город, проклятый город!..

Светит ли солнце, идет ли дождь, белеют ли снега, все равно, день и ночь — ровная, слепая, одинаковая мгла. И в ней бродят люди, тысячи людей, бродят одинокие люди.

И я.

Из моря звуков, из неумирающего шума, движения, мелькания определяется, растет, ширится и покрывает победным гимном только одно:

— Победителей не судят!.. Не судят... не судят... не судят... не судят!..

— А-а, так не судят... да, да...

У меня кружится голова: не судят!

— Приходите через месяц.

Через месяц!..

Я до крови стиснул зубы. К вам поступают тысячи рукописей, а читают их только двое? Не имеете права на это ссылаться. Не имеете права. Трудно? Но вы пользуетесь за это почетом руководителей общественной мысли, общественных вкусов, общественного сознания. На вашу долю выпадает счастье работать не за страх, а за совесть. На вашу долю выпадает счастье выискивать жемчужины творчества, жемчужины таланта, быть может, гения.

Только не забывайте, эти поиски вы совершаете среди живых, трепетно дымящихся сердец человеческих. Не кирпичи же вы перебираете!..

Я с секунду стоял перед ним, бледный, стиснув руки, с вздрагивающими губами, но пересилил и ушел, не сказав,— хочу испытать судьбу до конца. Ведь в ответ у них было бы одно: возвратить рукопись.

Оглядываюсь: оказывается, я стою на панели, рассуждаю вслух, размахиваю руками. Мимо проходят, оборачиваются на меня, улыбаются. Но мне все равно. Я ведь один среди тысяч зданий, среди миллионов людей.

Впрочем, я перестаю рассуждать вслух и сумрачно иду дальше, чтоб не собирать вокруг себя этих павианов.

Я не раз замечал, как среди грома, гула, говора, стука копыт, звонков трамвая — человек идет и сам с собой разговаривает.

Негоциант в цилиндре, в безукоризненном пальто вполголоса высчитывает барыши. Старушка в салопе идет мелким шажком и рассказывает сама себе историю ссоры с дочерью. Маленький реалистик вслух переживает классное столкновение с учителем. Не одиночество ли это в море звуков и движения?

Как это я раньше не замечал?..

* * *

Я уже почти не выхожу на улицу — незачем.

Целыми часами лежу на кровати и смотрю. Месяц тянется ужасно медленно.

На улицах, на площадях все меня раздражает: вечный шум, вечное мелькание, пятна человеческих лиц, непрерывная, бесконечно уходящая стена домов, испещренная окнами, вывесками, магазинами, витринами.

А ночью эти огни! Эти миллионы бесчисленных огней, которыми буквально все залито. Местами они горят кучами, как над входами в кинематографы, и назойливо, нагло лезут в глаза, мигают, слепят. Лунный, тихий, призрачный и таинственный свет в лесу теперь кажется несбыточной мечтой.

...Победителей не судят!..

Я в первый раз вижу, как тесен, молчалив и угрюм мой номер и чужд мне...

Обои покрыты пятнами не то жира, не то пота и слез человеческих.

До меня здесь перебывали тысячи людей, и каждый смеялся, приходил в отчаяние, плакал или пьянствовал, развратничал, а иные сговаривались на грабеж и убийство.

В углу крепко и хмуро вырисовывается крюк. Может быть, не одного и не одну с него сняли.

...Победителей не судят... А сколько... побежденных прошло через этот маленький номер!

Может быть, так же изо дня в день лежал он на этой же кровати и глядел перед собой, и внизу было искривленное дерево.

Жизнь здесь идет по раз заведенному порядку.

Утром по коридору слышится топот. Торопливые мелкие шажки заведующего распределением номеров. Грузный топот носильщиков... тяжело дышат, должно быть, несут чемоданы. Усталые, мягкие шаги приехавших с утренними поездами.

Потом успокаивается. Только слышны в людской беспрерывные звонки. По коридору то и дело пробегают горничные, коридорные. Звенят посудой, разносят самовары, бегают за сайками, за колбасой, молоком, сыром; относят телеграммы, письма.

То и дело в углу коридора трещит телефонный звонок, и слышится охриплый, простуженный с дороги голос:

— Да это я, я, маточка... только что приехал... целую твои ножки... В номерах... Тридцать два с главного подъезда... Да уж так стосковался... Шутишь?! Маточка моя... ну-ну-ну, сейчас переоденусь, приеду... кофейку приготовь...

Или:

— Пробку по этой цене не отдадим... как хотите... рубль с четвертью... Какой брак?.. Ну, обрезаны концы... да что вы Лазаря поете...

Или:

— Только что приехали, позарез нужно двести... Да ведь не могу... поймите же... Ах, боже мой!.. Ну хорошо, вы мне пришлете полтораста... И слушать не хочу, нет, нет, нет... Вот вам мой последний сказ: пятерку пришлете — и квит!..

Наконец и телефон угомонился.

По коридорам тихо. Бесчисленно глядят молчаливые закрытые двери. На них только номера. За ними ничего не слышно.

Большинство жильцов разошлось по городу.

Когда изредка кто-нибудь беззвучно проходит по белеющей в полумраке коридора дорожке, на лице тоже как будто только номер, и оно молчаливо замкнуто. Все чужие друг другу, и у всех на лицах одно: победителей не судят!

День тянется ровно, уныло, как этот бесконечный коридор, по бокам которого бесчисленные двери.

На улице еще светло, а в коридоре уже зажглись огни, принося особенное впечатление ночных теней.

А когда и на улицах вспыхнут фонари и по панелям лягут густые, резкие, с синевой тени электрического света, коридор снова оживает. В комнате для прислуги изнуряющие ее звонки, звенят посудой, проносят самовары. Трещит телефон, и хриплый голос:

— Двести семь ноль один. Да. Благодарю. Кто говорит?..

Коридор оживает. Бесчисленные двери так же смотрят номерами, но оттуда отрывисто доносится то смех, то громкий говор, то заглушенные фразы рояля, то причудливо переливающиеся рулады певицы.

Прислуга измученно бегает на звонки. Входят, уходят посетители.

К двенадцати часам коридорная жизнь начинает уставать, смолкать. Немо смотрят двери. Гаснут огни. Неподвижно и мертво в далеких углах горят одинокие оставшиеся лампочки. Всюду тени, полумрак.

Только внизу, в вестибюле, бодрствует швейцар.

Ночь.

* * *

Для меня ночь и день одно и то же. Иногда я совершенно забываю, что здесь есть люди, и хожу, не слыша ни голосов, ни разговора, ни звука шагов, как будто кругом пусто и молчаливо.

Не изменяет этого ощущения и прислуга, которая приносит самовар, входит убрать комнату. На ее замкнутом лице то же, что и у всех: победителей не судят.

Даже у горничных, этих побежденных из побежденных, торгующих своим телом в этих подлых стенах, то же отвращение к побежденным.

...Еще целый месяц!..

Я долго не могу уснуть с вечера, лежу и думаю. О чем? Ни о чем. Ведь все передумано.

Не думаю, а прислушиваюсь к темному, свернувшемуся тяжелым комком чувству одиночества и ненависти. Я теперь понимаю ощущение гадливости, почти злобы, когда встречаешь на улице просящих, плохо одетых в рванье, с сквозящим грязным телом людей. На бледных лицах их выражение готовности на все — убийство, грабеж, издевательство над мертвыми. И от них всегда пахнет водкой.

Вот только бы подняться мне из побежденных в стан тех, кого не судят. Это — закон жизни в громадной проклятой каменной пустыне, которая бесплодно шумит вокруг.

Я берегу свою злобу, берегу свою ненависть, как присосавшихся к груди детей.

Стены моего номера очень тонки. Слышно, как там ходят, разговаривают, передвигают стулья, слышен малейший шорох.

Нет, я ничего не слышу, это я прежде слышал. Для меня немы эти тонкие перегородки, как будто это холодные стены в полтора аршина толщины. Я не знаю, кто там, чего им нужно, да и не интересуюсь... Еще целый месяц!

А я таки, верно, ослабел. Мне трудно вставать с постели, да и лень, апатия,— не хочется подыматься. Уже не мучает чувство остроты голода. Как будто я давно раз навсегда пообедал, и теперь об этом не стоит заботиться и думать.

С вечера трудно уснуть, но когда усну, сон наваливается тяжело, темно и молчаливо, без сновидений. Стоит ровная, траурная мгла, бесконечно немая и пустынная.

Она, положим, стоит и днем, но, обманывая себя, в ней движутся, ходят, разговаривают люди, стоят дома, светит тусклое солнце. Ровная, черная молчащая мгла.

И вдруг среди ее немой черноты и пустоты холода голос:

— Слышишь?

Я вскочил с бьющимся сердцем, опираясь локтем о подушку, вслушиваюсь с расширенными зрачками.

Окно, медленно и слабо играя фосфорическим отсветом, проступает в темноте переплетом. Загораживая, едва чудится, стоит стена. А там, внизу, я знаю, искривленное, с протянутыми узловыми сучьями дерево.

Но не это ударило по сердцу живой, неведомой, трепещущей болью, а заглушенные, подавляемые, должно быть, сквозь стиснутую в зубах подушку рыданья, женские рыданья за перегородкой.

Вероятно, до нее долетел шорох, когда я приподнялся, и там все смолкло.

Я затаил дыхание, не шевелюсь. Как будто теперь вопрос жизни — не подавать о себе признака.

Неловко, рука затекла, локоть онемел, но я все так же напряженно неподвижен, все так же не шевелюсь, удерживая дыхание.

Тишина. Медленно течет долгая ночь. За перегородкой затаились чьи-то подавленные рыдания.

Вероятно, там думают, что я уснул, и опять слабо, сквозь стиснутую подушку: ы... ы... ы...

Это невыносимо. Все так же не дыша, я подымаюсь, без малейшего шороха крадусь, как вор, прикладываю ухо к перегородке. Я не знаю, кто там, знаю только, что чье-то разрывается сердце.

И вдруг осеняет воспоминание: серо-дымчатая мгла тумана, и в ней утонул город. Только внутри вагона ярко освещено: лица, двери, потолок и чистый девичий лоб, и белая шейка, и ясные глаза.

Да ведь это — она, это там заглушенно рыдает, она, покинутая, обобранная, с отнятой жизнью. Это она!

Я запускаю ногти и до боли прижимаю ухо к шершавым обоям.

Но что я могу сделать? Что я могу сказать ей? Как я могу помочь ей? Не предложить же стакан воды для успокоения.

Должно быть, у меня хрустнули пальцы — там опять все смолкло, и медлительно царит немая ночь с фосфорическим, отсвечивающим окном.

Я тихонько пробираюсь на кровать и, неглубоко дыша открытым ртом, прислушиваюсь. Теперь не уснешь. Буду ждать, пока посветлеет стена за окном, а в комнате проступят из редеющего мрака комод, стол, умывальник.

Опять. Боже мой, что же это!.. Так же заглушенно, так же душу разрывающе. Нет, это не девушка; это не такие слезы. Ведь у нее все-таки впереди жизнь, ведь можно залечить рану сердца, можно снова и полюбить, и дышать, и радоваться солнцу.

Нет, это не она. Это — и у меня мурашки холода ползут,— это — отнимающие всякую надежду старые материнские слезы.

И я опять крадусь, дрожа, и прикладываю ухо к жестким обоям.

Как я не угадал? Я ее никогда не видал и не увижу, но ведь она худенькая старушка, везде ходит в стареньком салопе, везде умоляет о сыне своем...

Я знаю, я знаю эти страшные слезы.

Так проходит ночь, и начинают проступать комод, стол, стулья... о сыне своем, приговоренном...

* * *

Дни идут. Я не знаю, кто мои соседи. Они меняются почти каждый день. Часто номера пустеют.

Я по-прежнему жду. Но клубок ненависти и ожесточения растаял в груди. Я опять хожу по улицам и смотрю на людей, и у каждого из них — свое лицо, свои думы, свое горе, свои слезы.

И еще я знаю, отчего можно жить в этом огромном каменном, раскинувшемся на громадное пространство городе: оттого, что люди связаны, кровно связаны друг с другом слезами, которые в тиши ночной просачиваются сквозь стены.

СКИТАНИЯ

«ДЬЯВОЛ»

Давно меня тянуло в Черноморье.

Ехать пароходом — это значит издали и мельком увидеть чудесные берега. Лошадьми — длинно, и постоянно будешь связан. На автомобиле — все пронесется, как сон.

Я решил ехать на моем «Дьяволе», как окрестили его друзья. Он безответно и покорно, как лошадь, стоит, отжав уши руля, в ожидании далекого бега.

Я прихватываю к багажнику небольшой сак с необходимым бельем и платьем, плащ, дорожную кружку и говорю провожающим:

— При таком способе передвижения я стану вплотную и к природе и к людям. Остановлюсь, где захочу и на сколько захочу. Я все увижу, ничего не упущу, все почувствую.

А мне отвечают, недоброжелательно поглядывая на «Дьявола»:

— Не забывайте, вы один. Заболел, разбился, будете лежать на шоссе и можете сутки пролежать. Автомобиль выскочил из-за поворота, и вам — крышка. А уж если в городах давят, так там им удержу нет, изувечит и улетит, доискивайся потом. Наконец, не забывайте, это — Кавказ, где разбои стали чем-то классическим. Приятно вам будет лежать где-нибудь под откосом шоссе с перерезанным горлом или пробитой грудью?

Я подумал: «Нет, неприятно».

В Новороссийске «Дьявола» торжественно вывели из багажного вагона, и, окруженный сворой скакавших за мной мальчишек, я пустил его по залитым зноем, переполненным грохотом дрогалей улицам.

Он обрадованно зататакал, и уже далеко позади — ставшие крохотными домики города, трубы элеватора, бухта, исчерченная молом и пристанями с чернеющими всюду пароходами и парусниками.

На крутом повороте мимо белой скалы «Дьявол» на всем ходу накреняется, почти ложится, как яхта с переполненными парусами, идущая левым галсом, потом вылетает и ложится на правый бок, огибая парапет, и, сколько глаз хватает, радостно кидается неохватимая синева моря.

Обгоняю идущих турок в красных фесках, имеретин с кокетливо повязанными на головах черными башлыками, гремящие «дилижаны» с потными бегущими лошадьми. Прогудел низким басом автомобиль, обдал бензиновой гарью и пропал — тяжелый, серый и низкий — за поворотом, лишь мелькнули струящиеся перья дамских шляп.

И опять навстречу скалы, горы, обожженные и лысые или в виноградниках. Проносятся беленькие дачки, ущелья, мостики, и бесконечно несется ослепительно белое полотно шоссе, торопливо извивающееся направо-налево,— вот-вот выскочит и сомнет из-за поворота автомобиль,— и, давая отдых на минутку, нет-нет и блеснет между гор нежная синева морского простора.

Радостное, в буйном восторге не знающее меры кавказское солнце неотвратимо палит и скалы, и белую пыль шоссе, и мою голову,— всюду тени непривычно короткие и резкие, и в созвучии ослепительно, все наливая зноем, нестерпимо звенящим трещанием трещат

с деревьев цикады,— кажется, голова разорвется,— и мгновенно пропадают, смолкая, когда уносятся деревья и бегут навстречу голые скалы или парапет над глубоким пустынным провалом.

Мой «Дьявол» исполняет хорошо свои обязанности,— сквозь татаканье в ушах свистит, и в нос, в рот врывается горячий ветер.

«Тише, помни автомобили!»

Он послушно сдерживается, огибая повороты, всегда таинственно несущие неожиданности, и шумящий навстречу ветер падает.

Не знаю, отчего, но охватывает несказанное чувство радостной освобожденности. Старая ошелушившаяся кожа московских и петербургских впечатлений, эти все одни и те же разговоры, ненужная суета и тревоги сползают истрепавшимися клочьями. Погруженные в зной горы, синева, разогретые скалы, ослепительно мелькающая белизна шоссе,— хорошо!

Вот и цементные заводы, с неряшливо развороченною вокруг белой землей, и Геленджик с чудесным морем, облезлыми, как и в Новороссийске, лысыми, каменистыми горами,— кой-где пыльно зеленеет держи-дерево да корявый карликовый дубок. По колена в пыли бродят повязанные красным дачницы и дачники с полотенцами в руках, идут на купанье или с купанья,— больше тут делать нечего.

Пропал Геленджик, пропала раскинувшаяся вокруг него каменистая пустыня; горы, строго покрытые лесами, стали кругом и далеко скрыли море.

Шоссе петлями возносит меня к голубому небу. Лесистые отроги расступаются, и через широко раздавшееся ущелье открывается взбаламученное море голубых и фиолетовых гор. Царство дремучих лесов да зверя,— человек вкраплен, как в россыпях золотые песчинки. Я еду уже много часов и почти никого не встречаю.

Тихо. Чуть шевелится лист вековых дубов и буков, и шевелятся по шоссе сквозные золотые тени. Но «Дьявол» не ждет, и горы то раздаются голубым морем до самого края, то сурово сдвинутся узким ущельем, и с одной стороны возносится лесистая стена, с другой — головокружительно обрывается лесистый обрыв, и шоссе тоненько белеет чуть приметным карнизом.

Внизу — бурелом и едва видимая речушка. Но наворочённые камни и широкое, теперь сухо белеющее намытой галькой каменное ложе говорят, какая она бешеная, когда хлынут с гор дожди.

Пора и отдохнуть. «Дьявол», обжигая, дышит раскаленными цилиндрами,— не дотронешься.

Приворачиваю к беленькому домику сторожки.

Все то же: измученное бабье вековечное лицо, куча детей, строгое, ставшее лесным, лицо мужика. Тоскуют по «Расее».

— В этой-то благодати да тоскуете?

— Что ж!.. Там выйдешь за околицу, тут и пашенка, березка...— баба утерла углом платка покрасневшие глаза,— а тут зимой человека не увидишь. Надысь с коровой вожусь, а муж кирку набивает, а Нюрка, вот эта самая, за шашой зараз сидит, из цветов венки плетет, глядь, а из лесу медведь — шасть к ней. У меня ноги отнялись, а мужик только глазом делает — не ворочайся! Нюрка белая, как стена, и как держала, так держит цветочек, а медведь ее обнюхал, обнюхал, сел, почесал пузо лапой и ушел в лес.

— Он мне и цветочки обнюхал,— говорит девочка с черными, как вишенки, глазами.

— Одолевают?

— Медведь тут добер. Придет ночью во двор, ежели кадка с водой — опрокинет, воду разольет, ведра раскатает по двору, погремит-погремит и уйдет. А вот свиньи, чего ни посадишь, придут, все сожрут — и не укараулишь.

НАВАЖДЕНИЕ

Я еду широкой долиной. Справа густые леса, слева пустыри, пóросли по вырубленным местам.

Ремни, прихватывающие чемодан, ослабели, я чувствую, как качается на ходу мой «Дьявол». Это опасно. Слезаю посреди пустынного раскаленного склоняющимся солнцем шоссе, становлю «Дьявола» на ноги и подтягиваю ремни.

Усиливая зной, с звенящим остервенением трещат цикады,— голову начинает ломить,— и, словно надорвавшись, слабеют; тогда я слышу тишину леса, гор, чувствую, что я совершенно один.

А солнце,— оно уже над лесом, но царственно поет: «Благословенны вы, леса!..»

Уже сколько я еду, уже сколько впитываю торжественность этого гимна, и опять он поражает новизною и величавой необычайностью.

И вдруг в него тоненько-тоненько, как комариное пение, вцепляется голос:

— Авто-о-мо-о-би-иль!..

Смутно и неясно, как во сне,— и расплывается и гаснет среди молчащих лесов, как во сне.

Почудилось?

Цилиндры пышут, никак не остынут, поработали-таки. Пусть отдохнут.

И вдруг опять в этой пустыне, где ни одного человека, далекий, тоненький, глотаемый простором и лесами голос:

— Авто-о-мо-о-би-иль!..

Женский голос — смутный, как сон.

Что за чудеса! Уж не галлюцинирую ли? Солнце перевалило черту зенита, стоит над лесом, уж не сможет родить кошмара, наполняя голову кровавым туманом.

И опять:

— Авто-о-мо-о-би-иль!..

Неизъяснимая тревога наполняет. Ведь — никого; ни малейшего намека на жилье. Откуда же этот голос, вернее — намек на далекий девичий голос. Не отдавая себе отчета, я торопливо беру за руль все еще пышущую теплом машину, откатываю к обочине, ставлю у самой канавы.

В ту же секунду в конце шоссе, которое без изгиба, как стрела, впилось в далекие лесистые горы, засверлило в воздухе, и через минуту, отбрасывая меня сжатым воздухом, взрывом, мутно пронесся большой серый автомобиль. Я не видел людей, он пронесся пустой, и лишь в конце шоссе просверлило в воздухе, да мимо меня все еще бежали, крутясь, воронки белой пыли.

Верст полтораста в час! При таком ходе нельзя свернуть, нельзя предупредить, да он и несся без предупреждения,— бесполезно.

Прислушался — вековечная лесная тишина. Встал ногами на седло, поднялся во весь рост, долго вглядывался из-под козырька ладоней, все — пóросли, густые

и непроходимые, а за ними синеют леса, а за ними голубеют горы. Ни намека на человеческий голос, ни намека на человеческое присутствие.

Все равно. Я сложил трубкой руки, поднес ко рту и, набрав, сколько мог, в легкие сладкого лесного воздуха, закричал:

— Благодарю-у-у!..

Молчание, великое лесное молчание. И, успокаивая себя, стал возиться с машиной.

С шоссе нигде не было свертка,— тут пустыня...

Я вскочил, и отдохнувший «Дьявол» сразу взял хороший ход: та-та-та...

Шоссе побежало. С четверть часа уж я на нем мог неподвижно лежать мешком с костями, и кругом валялись бы металлические части моего «Дьявола».

Но страшно не это, страшно до мелко пробегающего по спине озноба, что — если... ничего этого не было: ни человеческого голоса, ни пронесшегося пустого серого автомобиля? И я прилегаю к «Дьяволу», даю ему волю. Он рванулся, нервно спутался в ударах поршней, потом оправился, и все ровно понеслось назад. Опять белыми петлями шоссе поползло к облакам, а в открывавшиеся ущелья горы побежали вкруговую невиданным хороводом,— те, что ближе, снизу доверху в темно-зеленом бархате, отставали, а дальние, в голубом одеянии, неслись вперед, даже наклонившись. А по ним хороводом бежали дремучие дикие леса — без человеческого жилья, без человеческого голоса.

— Та-та-та-а-а!..

И на самом дне души тоненько, как паутинка:

— Авто-о-мо-о-би-иль!..

Было или не было?

УКРАИНЦЫ

Я ехал по удивительному месту. Жили тут великаны и ушли, теперь никого нет. Великаны и устроиться хотели по-великаньи. Это, должно быть, предназначалось для входа — передняя или коридор. Стены так сошлись близко, что река внизу, стиснутая, неслась одной пеной.

А это, вероятно, зал для совещаний — он обширен и весь наполнен тишиной и таинственностью. А за по-

воротом, должно быть, кабинет, да так и остался недостроенным, как и все здесь. Только на краю шоссе огромное гранитное пресс-папье с двухэтажный дом, и на самой верхушке его прямо в камень вцепился телеграфный стаканчик и чернеет проволока. Стены одеты густым зеленым ковром,— деревья держатся на отвесе.

Ушли хозяева, стало и тихо и молчаливо. Остались одни стены, да и те поросли лесом, как травой, и местами обнаженно желтеют на заходящем солнце.

Синие тени потянулись от опустелого жилища,— солнца уже нет. В горах рано оно пропадает.

Мгла тонко стала ткаться, та обманчивая мгла, в которой ни пропастей, ни скал, а только стоят, загораживая, ровные темные стены, и вверху звезды, невиданно крупные звезды — каждая в горсти поместится, ведь тут ближе к ним.

Перевал остался позади. Становится сырее, прохладнее. Спускаюсь в долину, и раскатившегося «Дьявола» приходится все время сдерживать — рука устала.

Долина расширилась, стало просторнее и как будто виднее. Вдоль шоссе бегут плетни и изгороди. Идут коровы, незвонко позванивая: у каждой под шеей четырехугольная звякалка — лесной и горный обычай. Козы толкутся. Тепло мигнули огоньки.

И слышится:

— Та це!

— А бодай тоби, шкура барабанна!.. геть!.. геть!..

Что за чудо! Я в России. Хаты, теснота, дивчата загоняют хворостинами коров.

Приворачиваю к жердевым воротам. Стоит мужик в холщовых портах, в рубахе, подхваченной пояском,— честь честью.

— Можно переночевать?

Не спеша чешет себе под поясом, потом в голове.

— Та шо ж, можно. Чого ж не можно?

Скрипят ворота. Втаскиваю усталого, запыленного белой пылью «Дьявола». Двор маленький, в навозе.

— Пидемо до хаты.

В чулане — теленок. В хате тесно; передний угол до полстены засыпан пшеницей.

Хозяин нагибается, любовно берет горсть, ласково вскидывает на ладони, лицо блаженно разъезжается:

— Чижолая, бог дав! Та шо я вам кажу. Годов, мабуть, с двенадцать — ох, и пшеныця уродилась, ну, золото. По речке сиялы, и зараз сиим тамо. Воскресенье, помню, як зараз. Сонечко — так, як в обид. Пийшов до рички, дай, гляну ще раз, а з утра косить. Глянув, душа радуется. Ну, пийшов до дому, пообидав тай прикурнув трошки, по праздному дилу. Ще й глаз не завел, як зашумит, як забурлит. Прибег сын: «Батя, поля нашего нема!» Побиг я, очима бурк-бурк,— ничого не пойму: оце, де пшеныця була як золото, самый камень та галька, а ричка, як кошка бешена, цюркается, и уж у берегах бежить. Хто бачив, сказывають, горой вода шла. Повирите, оце двенадцать годив прошло, и як вспомню про пшеныцю — живот болить, до чего душа ное.

Нам ставят самовар.

Старший сын собирается в ночное, а лет одиннадцати мальчишка не хочет, и бабка говорит:

— От як погляжу я тоби у зад хворостиной, та як стане он у тоби добре красный, тож не станешь брыкаться. Кожух возьми тай...— голос бабки сразу добреет,— тай пирожка вишневого положи за пазуху.

— Не пиду-у!..— гнусавит мальчишка, запихивает за пазуху пирог, берет овчинный пахучий тулуп и уходит с братом.

Молодуха-невестка, с худеньким, недоуменно остановившимся личиком первого материнства и недавнего замужества, возится у стола с посудой.

Крепкая рослая девка, с неподвижным, отсвечивающим влажным лицом, несет самовар и дышит, как запаленная лошадь, свистящим, громким, на всю комнату, дыханием.

Ее прежде дернут или ткнут — и тогда говорят:

— Гапка!

Она мычит, оборачивается, ей говорят, что нужно сделать, она радостно кивает головой и работает за пятерых,— силы-то девать некуда, а замуж никто не берет.

— К дохтору возили; говорят — от перерождения такая, и век у ней такой.

Мы с хозяином сидим под образами на лавке, едим с большой тарелки нарезанные помидоры, огурцы, потом основательно и долго пьем чай.

Крохотный ребенок, совсем голенький, лежит на спинке на коленях у бабки и неумело мотает в воздухе ручонками, ножонками; от давно не стиранных пеленок едко пахнет, и бабка приговаривает:

— У-у, хавалер! — двадцать разов на день вымочит бабку, двадцать разов высохнешь. Хавалер голопузый!..

У матери светится счастьем худенькое личико, и даже девка радостно мычит. Все дожидаются, пока мы кончим.

А у нас «расейские» разговоры.

— Та земли нема. Кабы земли. Шо на шести десятинах сделаешь? А тут зверь одолевает: свиньи хлеб весь изроют, медведь приде — кукурузу поломае. И лис рубить не дозволяеться, зараз начальство. Хоть плачь.

— Что же вы — сады? Ведь черкесы жили же?

— Сады!.. На сады капитала треба. А черкесы жили, так у него, у черкеса, по всем горам тропочки. На каждую гору тропочка. Он тут хозяин был. А нам нельзя, нам дорогу нужно, шоб арбой проехать, потому расейские, нам тесно. От шаши подался — и пропал. А с одной шашой не проживешь. А черкесы, тоже и им трудно: народ тихий, ничого, зла не бачим от их. Им не сахар. Забило их начальство геть у горы; а тут все пусто. По лису, куда ни пидешь, дикие яблони, груши, сливы,— ихние сады были. А теперь все одичало, заросло. Тропки забило травой да кустом, какие обсыпались,— один лис да звирь.

Долго мы вели все те же вековечные российские разговоры: земля, землицы, о земле,— и эти горы, леса и ущелья, это животворящее солнце, эта природа, рвущаяся от избытка производительности, не сумели переменить эти разговоры.

После нас сели пить чай бабы, молча.

Спал я великолепно на узенькой лавке, сунув под голову чемодан. Бабка неистово храпела на кровати, хозяин спал на полу у пшеницы, а из чулана доносился плач ребенка, сонное баюканье молодухи, свистящее на всю хату дыхание девки, да теленок возился. В хате — хоть топор вешай.

Все то же: ущелье сменяется ущельем, перевал за перевалом, а кругом горы, леса, оглушительно надсаживаются цикады. Временами влетаю в густую аллею свесившихся с обеих сторон деревьев, и от пестроты мелькающих солнечных пятен, от невыносимого, как в коридоре, оглушительно звенящего треска цикад начинаю качаться на седле. Еще упадешь! Веки набрякли, голова распухла.

Мимо осторожно проезжает автомобиль. Он странно набит людьми — сидят и вперед лицом и назад, держась друг за друга, по три человека на месте, и у шофера особенно напряженное лицо. Объезжаем друг друга.

Спускаюсь. Переезжаю великолепный железнодорожного типа огромный мост — и все другое: до далеких, едва синеющих гор открывается долина, вольным простором напоминая покинутые места милой родины. Цикады замолчали.

Шоссе вдруг выпрямилось и без изгиба потерялось другим концом в неуловимо-синеющей дали.

Горячий ветер, обгоняя, дует мне в спину и затылок. Я наклоняюсь и говорю:

— Прибавь!

«Дьявол» рванулся и радостно зататакал, а в затылок перестал дуть ветер.

— Прибавь еще!

Он наддал, и ветер загудел мне в лицо и мимо ушей.

— Можешь еще?

— «Могу».

Он залопотал так неразличимо-быстро, что я удивлялся, как у него язык поспевает. Белые шоссейные столбики, мостики, серые кучи щебня проносились мгновенными пятнами, а телеграфные столбы косо падали, как частый подсеченный лес.

Я глянул на трепещущую стрелку измерителя скорости: 58... 59... 58... 59... 60... 60...

А, так вот что: шестьдесят верст в час!.. Губы стали сохнуть.

Ветер рвется мне за шею, в горло, в рукава.

Тогда я приникаю и шепчу сухими полопавшимися губами:

— Голубчик... е... ще!..

И даю ему весь газ, весь воздух... Он ничего не отвечает, но — что наполняет меня трепетно-сладостным ощущением смертельной опасности — теряет свое членораздельное татаканье, и в воздухе стоит высокий напряженный одинаковый звук: ввв-у-у-у-у...

Ровный, высокий, однотонный: ввв-у-у-у-у... И рядом чей-то, тоненький-тоненький, звенящий: дзи-и-и-и-и...

Шоссе впереди остановилось и стоит недвижимое и безумно гладкое, неподвижное и гладкое, ибо я потерял ощущение его движения.

Ввв-у-у-у-у... и ддзззи-и-и-и!.. Они пели: «Если случится, ты никогда не узнаешь, отчего это случилось: лопнула ли гайка, дрогнула ли рука, голова ли закружилась от безумного мелькания,— другие узнают, а ты никогда, никогда не узнаешь...»

Со лба капает крупный пот.

Шоссе остается все в той же смертельной неподвижности, чуть качаясь из стороны в сторону, а с боков все потеряло остроту очертаний и проносится мутное, как запыленное,— сон...

Вввву-у-у-у... и ддззи-и-и...

На одну секунду, на одну крохотную секунду, не мигая опускаю глаза,— стрелка трепетно замирает: 69... 70... 69... 70... 71... Зачем мне это? Не знаю.

Становится тесно дышать.

Далекие горы вдруг выросли перед глазами, огромные, раздавшиеся, и густые леса доверху.

Я сбавил газу, сбавил еще, еще, но он не слушается, только теперь заговорил членораздельно, взлетел на один поворот, на другой, на третий, и поголубевшая долина быстро стала падать; я едва усидел на поворотах.

Затрещали цикады. Остановился.

От «Дьявола» несет нестерпимым жаром. Я ехал часа два и сделал верст сто двадцать. Достаю часы: я ехал двенадцать минут! К счетчику — сделал пятнадцать верст! А я весь в поту, и руки отваливаются.

Долина глубоко синела внизу. Сел на кучу щебня, разглядывая опаленный на ноге башмак. Подымаю глаза и... попятился: против меня на куче щебня сидит человек в белой чалме.

Протер глаза: сидит человек, и по белой повязке медленно рассасывается кровавая полоса.

Что такое? Что это? Кто вы такой?

А на душе скребет: «Приятно будет вам лежать с перерезанным горлом?»

— Что с вами случилось?

Он, не отвечая, молча мотнул головой, придерживая чалму. В десяти шагах, у самого поворота, уродливо став на дыбы и упершись спиной в скалу, темнел большой автомобиль. Руль своротен, перед смят, два колеса валяются у парапета. Какая же силища: железо свернуто, как воск.

— Разбился?

Он опять мотнул головой, придерживая повязку, сделанную из полотенца. Нога вся забинтована изорванной простыней, рука подвязана.

Лицо молодое, в котором застывшая напряженность.

— Вы один из пассажиров?

— Я шофер. Встретился автомобиль?

— Да.

— Забрал. Мне места не было, лошадей за мной пришлют.

— Сильно голову расшибли?

Он поправил повязку.

— Нет, голова ничего, грудь вот рулем, думал, проломит.

Помолчал, облизал сухие губы.

— Чахотка будет обязательно...

— Почему же чахотка?

— Нет, это уж знаю, у нас не один так-то, отволокут; рулем в грудь — это каюк. Ну, да ничего: мамаша с папашей получат,— я застрахован.

— Может быть, я чем-нибудь помогу вам?

— Чем же вы поможете?

И поднял молодые просящие глаза, в которых начинающийся жар.

— Если б водички, все пережгло внутри.

Внизу глухо шумела река, но спуск был такой головоломный, что и за несколько часов не обернешься. Я взял кружку и пошел по шоссе. В полуверсте блестела по скале родниковая вода, набрал, принес. Он жадно выпил, запрокинув кружку, и глаза немного посвежели. Я решил остаться, пока придут лошади.

— Как случилось? Сломалось на ходу что-нибудь?

— Нет, не управился, не управился на повороте, на

одну минутку оторвался мыслью,— все то же да то же, не утерпишь, наконец,— на одну секунду, а тут поворот... готово.

Он вытащил серебряный массивный портсигар, странно смятый, и протянул искривленные папиросы.

— Не угодно ли?

— Спасибо, не курю.

— И портсигар вдавило.

Закурил.

— Должность наша такая. За два года пять человек пропало: одного наповал, одного искалечило, двоих помяло — в чахотке умирают, один простудился — тоже в чахотке... Поступал, так не нарадовался: семьдесят пять жалованья, квартира, с чаевыми больше ста в месяц, а теперь не чаю вырваться... Только не вырвешься, где уж! Учитель вон сколько учится, третью часть того не получает.

Он, по привычке всегда торопиться, жадно, преодолевая боль, затянулся.

— Вот оно бы ничего, только времени своего нет, никогда нету — ни днем, ни ночью, ни в праздник. Если не в езде — будь начеку, никуда нельзя отлучиться, сейчас могут вызвать: ночью ли, на заре, спишь ли, обедаешь: «Ехать!» Все бросаешь, вскакиваешь,— господа не ждут. Сначала, по перва́м, аж когти в руль впустишь, до того каждую извилину, каждую ухабинку смотришь. А теперь вернулся из Туапсе,— в Сочи, из Сочи приехал,— в Гагры, вернулся из Гагр,— в Красную Поляну, приехал,—в Сухум, вернулся,— в Красную Поляну, вернулся,— опять в Красную Поляну,— до того осточертело! На поворотах дуешь, не уменьшая хода и без гудков,— не нагудишься. А сколько через это поразбилось: энтот оттуда молчком, а энтот — оттуда, а сами знаете, сколько поворотов, особенно на Краснополянском шоссе.

— Зачем же вы развиваете такую чрезмерную скорость?

— От дури. Ведь это как. Ходим мы от Сочи до Красной Поляны четыре, четыре с половиной часа — восемьдесят верст. А вот я понатужусь — да в три с половиной дойду. Господам лестно, хвастаются друг перед дружкой: «Вы во сколько доехали?» — «В четыре часа».— «А мы в три с половиной». И мне лишняя пятерка на чай перепадет, и в гараже я — молодцом. Другие шоферы

чем же хуже. Вот, глядите, другой дойдет в три часа. А в три часа пройти с этими закруглениями — страшно подумать. А господам нужно только, чтоб безопасно да скоро. Дошел,— ну, молодец! Часа в четыре утра, на зорьке, только сон сладкий разморит: «Вставай!» Вскочишь, как ополоумелый. «В Ривьеру». Подашь. Выходит компания, кутили всю ночь, теперь на воздух потянуло. Выйдут, дамы в белом, смеются, веселые, в цветах, кавалеры подсаживают, и ото всех духами и ликерами пахнет. Едешь, сквозь деревья море засинеет, а там солнце станет подыматься. «Ах, прелесть!.. Ах, роскошь!..» А сами там... черт их знает, что за спиной делают,— ведь, как истукан, сидишь, не оборачиваешься. Так тут пустишь вовсю, на поворотах автомобиль только задними колесами заносит, вот-вот сорвет на закруглении и через парапет — к черту все полетим, да уж не удержишься: такую скорость дал, все одно — рюмку коньяку хлопнул, как пьяный несешься, потому знаешь, все одно, один конец неизбежно,— не сегодня, так завтра!..

Он замолчал, утомившись и поправляя все больше и больше красневшую чалму. Автомобиль, поднявшись на дыбы всей громадой, стоял у скалы, молчаливый и изуродованный. Он владел человеком.

— А ведь нас все терпеть не могут,— знаю, вся публика, которая ходит там, которую встречаешь, обгоняешь. Все должны сторониться, все боятся, оглядываются: кого крылом задел, а то и придавил, улетел — поминай, как звали. Оно, конечно... Да и сам на них с презрением смотришь...

И вдруг, наклонившись, проговорил изменившимся голосом:

— Тошнит меня...

Я сбегал за водой.

Только к вечеру приехал грек парой лошадей на длинной бричке. Раненого усадили, и бричка громко покатилась, скрывшись за поворотом.

ЗОЛОТАЯ ПОЛОСКА

Сколько бы раз, просыпаясь утром, ни открывал удивленных глаз, всегда и далекие сизые горы, и голубые леса, и белые скалы над шоссе,— все опять ново, опять неожиданно, точно только родилось, и радостно видишь в первый раз.

Петлями я подымаюсь выше и выше, и на длинных стеблях блестит роса. Далеко внизу деревья, как трава, и белеют камни высохшей речки. А на той стороне долины в голубоватой складке горы, как занесенный с вечера пушистый клочок ваты, уютно притаилось беленькое облачко. Оно будет белеть неподвижно, пока солнце не передвинется и не растают голубые тени.

«Дьявол» торопливо катится, а я поминутно отнимаю глаза от бегущего шоссе, чтобы взглянуть, чтобы не упустить лишний раз эти утренние сизые горы, это девственно белеющее облачко, эту долину, омытую росой, а когда, спохватившись, ловлю бегущее навстречу шоссе, «Дьявол», ухмыляясь, оказывается, хитро пробирается по самому краю, и по откосу далеко вниз уходят деревья. Еще б промедлил, и мы оба долго бы летели, ударяясь о стволы.

Я его быстро беру в руки, а он как ни в чем не бывало смиренно татакает.

И все-таки не утерпишь: на повороте подымешь глаза и попрощаешься с долиной, которая уходит туда, откуда сегодня выехал, и дальний конец которой уже поголубел, подернулся печалью прошлого. А из-за перевала смеющимися далями глянула новая долина, вся — обещание, вся заставленная веселыми, молодыми горами, и радостно разгорающийся день знойно заливает их.

Я поднял глаза на одну секунду, на одну крохотную секунду, но это была лишняя секунда, и... нет шоссе, нет привычного звука правильного бега, мимо уродливо мелькнули по крутому откосу стволы буков, и — мгновенное и страшно долгое ощущение: «Пропал!..»

В ту же секунду нашей тяжестью пробиваем стену густой непроницаемой заросли. «Дьявол» болезненно вскрикивает,— должно быть, гудок придавило,— и с металлическим хрустением ложится на бок, а я с шумом, протянув над головой руки, точно бросаюсь в воду, лечу через руль, пробиваю в листве темный ход и успокаиваюсь на корнях — узловатых, переплетшихся, вымытых из земли дождевыми потоками. Прохладно и сыро, и многоножки бегают — сколопендры, что ли...

Поворочал рукой, ногой,— не только жив, но и цел.

Сколопендры, кажется, кусаются, но я рад им как отцу родному. В пяти шагах обрывается скалистый отвес, и далеко внизу краснеют груды навороченных камней.

Я радостно пролезаю назад через проделанный мною коридор: «Дьявол» лежит на боку с остывающими цилиндрами. Хватаюсь за корневище, присаживаюсь и осматриваю его раны.

— Ну, что ты наделал, черт безглазый?

А он молча говорит:

«Я весь твой, твой до последнего винтика, безгласный раб твой, но взамен требую одного: во время бега душу твою, все напряжение, все внимание твое, и тут не уступлю никому ни золотника... буду жестоко мстить...»

— Да, кто-то — господин, кто-то — раб. Кажется, два господина, два раба.

У него погнута педаль, сворочен руль,— дело поправимое. Все-таки надо вытаскивать на шоссе, но по такой крутизне выкатить немыслимо. Достаю веревку, делаю лямку, захлестываю за раму, петлей перехватываю себе грудь и начинаю тащить волоком, на четвереньках, хватаясь за траву, за ветви, за каждое углубление. Пот градом.

Когда выволок и поставил на шоссе, я качался, как пьяный, а солнце перебралось через долину и бросило тени от противоположных гор. Белое облачко пропало.

Все на мне изорвано, и одна нога босая. Долго искал, прихрамывая, и, когда дотрагивался до лица, рука была в крови. Туфля оказалась на дереве, тихонько качалась на ветке, как птица.

Кое-как оправил себя и машину и покатился.

Скатился вниз. Потянулись долины. Горы в отдалении стали кругом. Мелькнули изгороди — деревня, видно, недалеко.

А солнце уже низко,— целый день потерял.

На шоссе пыхтит паровичок, укатывает щебень. Медленно катятся сплошные колеса-валы, после них шоссе гладкое, как стол. Из будочки выглядывает сумрачно машинист.

Человек двадцать рабочих рассыпали, разгребали и ровняли по шоссе щебенку. А несколько мальчиков гоняли лошадей в одноколках и из бочек поливали щебенку,— катки лучше вдавливают по мокрому грунту.

Через рассыпанный щебень ехать нельзя, слезаю и веду в руках.

— Бог на помочь!

— Доброго здоровья! — доброжелательно и дружно отвечают, перестают работать, подходят, опираются на лопаты и... начинают улыбаться.

Покатываются мальчишки, разгладились складки на сумрачном лице машиниста,— хохот стоит на шоссе.

Что за чудо! Осматриваю себя,— будто все в порядке. «Дьявол» тоже ничего, хотя стоит сконфуженно. Мотоциклеты здесь не диво — у здешних инженеров есть, у некоторых техников, а велосипеды казенные — ездят мастера, десятники. В чем же дело? Хохочут неудержимо.

— Писаное яичко...

— Пегой...

— Али целовался, барин, с кем?

— Укусила?

— Трошки нос тебе не отгрызла...

Ничего не понимаю.

— Пан, ты завсегда при зеркале, дай-ка барину.

Парень, с светлыми волосами, с тонким польским лицом и чуть пробивающимися светлыми усиками, достает из кармана и подает мне осколок зеркала.

Гляжу, не узнаю лица: все изодрано вдоль и поперек — лоб, веки, нос, как будто драли несколько котов сразу. Сгоряча не чувствовал боли, теперь все лицо ноет и саднит. Рассказываю, в чем дело, и сразу смех сменяется сочувствием.

— Обмыть вам надо.

— Долго ли — вышина-то, страсть!

— Из водки примочку, первое дело.

— Зараз за сороковкой можно избе́гать.

— Женщина одна безногая торгует.

— Безногая, а пятое дите надысь родила...

— Примо-очка... Чучело! Пущай барин сороковкой глотку себе промочит, вот и морда отойдет.

Я с благодарностью принимаю советы.

Вечером мы сидим большим кругом прямо на земле около артельного котла.

Черно и плоско с зубчато-неровным черным же краем, из-за которого играют звезды, стоят горы, и, кажется — за ними пустынно, край света, ничего нет. Долина заполнилась тонкой мглой. Все сумрачно, неопределенно, а сторожка, как черное пустое четырехугольное пятно. Деревья тоже черные. Люди все одинаковы. Только по-

тухающий костер красновато ложится с одной стороны на всех.

Возле меня с четырехугольным широченным лицом, с четырехугольной широченной сивой бородой грудастый старик. Лицо красное, как кумач, не то от костра, не то от кавказского солнца, не то безногая баба виновата. А глаза вытаращены, раскорячены, слопать хочет всех.

Он колотит себя в грудь кулаком, как поленом, и кричит хриплым басом, обдавая меня брызгами слюны:

— Это что они мне тыкают в ноздрю: черносотельник, черносотельник! А я вот колдунов не боюсь! Не боюсь... давай зараз мне колдуна, десятерых давай, пущай заколдуют... а-а-а!..

Подходит ласковый старичок с волчьими глазами.

— Хлеб да соль.

— Едим да свой...

— А ты у порога постой.

— Чай садись пить со своей заваркой-сахаром, а ужинать не дадим.

— Ничего, ничего... сына пришел проведать, посижу, ничего...

Садится, обнимает острые колени, и борода у него седая, у́же книзу, как у святых на иконе.

— А говорить не след, не нада, не годится...

— Об чем ты, елей?

— Об колдунах. Так-то святой был схимник, действительно святой жизни, чудеса творил. Так возгордился. «Господи, благодарю, говорит, довел меня до святой жизни!» Зараз черный услыхал, тут как тут. Разверзлись небеса, явился господь во всем сиянии, и ангелы округ мреют. Упал святой на коленки. Чем бы закричать ему: «Господи!» али: «Да воскреснет бог!», а он: «Благодарю тебя, что воззрил на мои труды». А на небесах как загрохочут — не господь, а черный со ангелы был, вид только принял. Кинулись к святому, подхватили и зачали плясать и зачали плясать с ним. После уж люди нашли святого в бесчувствии. Вот она, гордыня! Не гордись. А то — колдунов нет.

Кто-то ласково:

— Дедушка, а, дедушка?

— Ась, касатик?

— Ты давно из Расеи?

— Тридцать годов, касатик.

— И-и, тридцать годов! Легко сказать... А обычая расейского не забыл?

— Какого, родимый?

— Снохачества. Чай, к снохе пришел, а будто к сыну...

Двадцать здоровенных глоток грохотом наполнили мглу долины — звезды замигали.

Позеленел, должно быть, старик, не видно только. Шипит:

— Охальники... Залили зенки.

А там все хохочут, отложив ложки.

— Ну, уморил, прокурат...

А дед уже поласковел:

— Водочка, ох, водочка, всему ты голова. Так-то царь одной земли... спрашивает: «Кто, говорит, верноподданный, который правильный доставит ответ, тому мешок золота».

Деловито едят, громко тянут губами горячую кашу с ложек. Кто-то высморкался пальцами и отмахнул рукой. Слушают или не слушают? И у всех лица с одной стороны красные от костра.

Стала прозрачнее, нежнее ночная мгла, всех видно, каждое движение, и все смутно, неясно, затаенно. Горы, черные, непроницаемые, только неровный седловистый верх резко обрезается зазубренным краем на звездном небе.

А тишина!..

— Ну, царь и спрашивает: «Кто всех сильней на свете?» Один говорит: «Я знаю».— «Говори».— «Ты, царь, сильнее всего, ты все можешь». Понравилось царю. А другой говорит: «Нет, говорит, царица сильнее всех, она и царю прикажет». О ту пору у царя как раз совет с министерами об войне был. Присылает царица сказать царю: пущай царь приходит, скучилась по нем. Бросил царь министеров, побег к молодой жене. «Правду, говорит, сказал — жена сильнее всего». А тут третий подвернулся: «Нет, говорит, царь-государь, водка, говорит, сильнее всех».— «Некогда мне с тобою». Да бежал мимо поставца, глядь — графинчик. Дай, думает, одну. Выпил одну, одна другую потянула, другая третью...

— Бог любит троицу,— помогают ему из круга.

— Третья — четвертую...

— Дом без четырех углов не строится...

— ...да так и заснул. Проплакала всю ночь царица. Утром царь проснулся. «Правду, говорит, сказал человек: водка сильнее всех, сильнее меня, сильнее царицы». И наградил того человека. Вот она, водка-то.

Молча таскают ложками, а на седловине тоненько загорелась полоска,— тонко зазолотился зазубренный лесом край горы. Какая-то старая-старая, в детстве слышанная песня, не то сказка: черные головы, красно озаренные с одной стороны, вокруг черного котла. Старик о чем-то не то рассказывает, не то поет, и творится чудо на горах: зазолотилась золотая полоска.

— А то — черносотельник!

Старина наелся, положил ложку и раздвинул и повел могучими плечами, на которых небрежно наброшенный рваный кафтан.

— Живот вспучит — черносотельник! Портки порвал — черносотельник! Плюнул не туда — черносотельник! Тьфу, будь вы трижды прокляты, анахвемы!

И стал делать собачью ножку.

Зазолотилась полоска.

— А вот вам — человека убил,— опять хрипло загремел старик, таращa на меня глаза и мотая головой на «пана»,— ну, так что, по-вашему — черносотельник? — и два раза сердито затянулся и сплюнул, смутно озаряя красное измолоченное чертями лицо и рачьи, хоть и сердитые, но добродушные глаза.

«Пан» сидел, задумчиво глядя, как все больше золотился край горы.

— Без намерения.

— Это не в счет.

— Другой коленкор.

Одни встали и наотмашь помолились на зазолотившийся край, другие сидели около пустого котла, все усталые от дневной работы и сытного ужина. Хотелось покалякать.

— Как же это вы?

«Пан» повернул ко мне совсем молодое ласковое ко всем лицо и заговорил мягко:

— Шофером я был, городового убил автомобилем.

— И что же... вам?

Он печально-конфузливо улыбался, чуть приподымая брови.

— Высокопоставленную особу вез,— так три месяца просидел да диплом отняли.

— И с места поперли, только и всего...

— А то бы быть на каторге.

— Рази можно кажного черносотельником обзывать,— снова заговорил ласковый старичок,— а? Это что ж такое? И ко мне все лезут: черная сотня да черная сотня!.. Чем я нехорошо поступил?.. Это все одно — жил на свете один мудрец...

— Будет!.. Завел волынку!..— загудели кругом.

— Ты бы проценты меньше брал...

— Всю деревню задавил... С кожей дерешь...

— Чего дожидаешься? Сын тут,— он те переломает за бабу ноги.

Старик — видно — трясется весь, поднялся, пошел куда-то.

— Охальники!..

Ведь разный народ, погляжу, есть и в лаптях, но для всех слово «черносотельник», помимо узко политического значения, расплылось во все, что против правды, совести, чести.

А уж брызнуло золотом по черным невидимым горам,— загорелись пятна. Ширилась золотая полоска. И вдруг почувствовалось: за горами не пустынно, а творится своя особенная жизнь.

— Я вот все в Польшу собираюсь... два брата у меня там в Плоцке. Вот...

«Пан» торопливо порылся в карманах, вытащил две карточки. Все сгрудились вокруг, хотя видели сто раз. Кто-то чиркнул спичкой: выступили два крепкие лица — одно постарше, другое помоложе.

— Один — музыкант, другой — слесарь,— проговорил любовно «пан» и грустно улыбнулся: — Затоскуешься... Хорошо у нас тут, он обвел глазами,— в Плоцке у нас — Висла...

Кругом разом все посветлело — и люди, и белая сторожка, и деревья: над краем горы, откуда все вылезали звезды, выплыла луна, чистая, ясная, оглянула долину и горы. Долина поголубела, а горы посеребрели, и густо и резко выступили черные тени промоин.

Положили меня спать в комнате машиниста,— он покатил на велосипеде в соседнее поселение за пятнадцать верст.

— Кобель здоровый,— говорит старичина, докуривая собачью ножку,— и не уморится, окаянный: каждую ночь тридцать верст отмахает,— пятнадцать туда, пятнадцать назад. Армянка у него там.

Но разве уснешь в эту ночь?! В открытом окне дымчато стоят серебряные горы, лежит черная тень от чинары, а в плохо притворенные двери бубнит помощник машиниста — он с семьей помещается в чуланчике. Слышится тонкое булькание из горлышка, позвякивают рюмки, кипит самовар, бубнит помощник, скрипит люлька,— баба качает в углу, а кум, с которым они пьют, одно:

— Да!.. вверно!.. ппправильно!..— трудно вяжет языком.— Я емму говорю: «Ты!..» А он мине говорит: «Ты!..» Я го...ворю: «По ка...ккому случаю?.. а-а...» Он мине: «Во... вво всяком случае...»

Серебряные горы... черная тень от чинары... в щелку непритворенной двери узкий свет... бубнят эти,— и во все это, и в поскрипывание люльки неожиданно впиваются сдавленные бабьи рыдания.

Долго бубнят, выпивают, гремят посудой, и все те же сдавленные, подавляемые рыдания.

— Цыц!.. цыц, тебе говорят!! — по столу гремит кулак, все зазвенело, запрыгало.— Поговорить с хорошим человеком нельзя... Я емму говорю: «Ты!..» — а он: «Во... ввсяком случае...»

Поскрипывает люлька. Я напряженно, приподнявшись на локте, вслушиваюсь: забила, видно, рот пеленкой. Но иногда болезненное ухо ловит: «ы-ы!.. ы!..» — сердце переворачивается.

Ложусь, затыкаю уши подушкой, сон наваливается, путая все: тонким серебром задымленные горы... золотая полоска... черные головы, красно озаренные с одной стороны... кто-то рассказывает сказку, не то песню поет... бабьи ненужные слезы... старик...

Сон одолевает...

НА НОЧЛЕГЕ

Голова устала от беспощадного кавказского солнца, от неумолкаемого, оглушительно звенящего трещания цикад, от пестроты шевелящихся по шоссе золотых пятен сквозящей листвы, от лиловатых, дымчатых гор, которые подымаются почти со всех сторон.

Я жадно вглядываюсь сквозь листву в ту сторону, где нет гор, и глаз радостно улавливает далеко внизу синеву, которую не смешаешь ни с чем,— море.

Несколько поворотов шоссе, и внизу долина, а по долине белеют дома — город. Поражая новизной, из гор по долине тянется свежее полотно дороги со свеже-белеющими новенькими телеграфными столбами. А на море по синеве далеким четырехугольником тянется мол, производя впечатление покоя и безопасности. Внутри чернеют суда и пароходы.

На улицах зной удушливей, и, вместо чистого горного лесного воздуха, со дворов несет скверным запахом, гнилью, отбросами.

В недоумении озираюсь на перекрестке — надо подыскать убежище на сегодня. В гостиницу по многим причинам не хочется.

Жарко, и на улице мало народу. Около меня останавливается и бесцеремонно разглядывает человек с рыжими усами, в опорках и мятом котелке.

— Али потеряли?

У него бледное, одутловатое лицо — не то от голода, не то от пьянства.

— Да вот, отдохнуть бы.

— Живым манером, это для нас — пустяк. Грандотель, Моску, Ривьера,— все насквозь знаем, все испытали.

— Нет... мне бы так, попроще.

Рыжие усы засияли.

— С величайшим почтением, ваш коллега... Очень дешево, очень хорошо, приятно, одним словом...

Он поцеловал кончики пальцев.

— Же ву ангажемен! [1]

Я пошел за ним. Тянулись фруктовые лавочки. Невозмутимо у входа сидели турки, персы. На базаре было грязно, завалено конским навозом, валялось тряпье, кухонные отбросы, и собаки грызли кости.

Прошли два узеньких переулочка,— если протянуть руки, достанешь с обеих сторон дома; на углу была вывеска: «Греческая кофейная». В просвете короткой улицы блеснула синева моря, чернели на берегу фелюги, неслись звонкие крики купальщиков, и знакомое русское:

Э-эх, ду-би-н-нуш-ка, ухнем!..

[1] Я вас приглашаю (иск. франц. Je vous engage).

В порту стройка шла.

В кофейне рыжие усы распоряжались, как дома.

— Пару кофе и две постели — мне и им.

Нам подали две крохотные белые чашечки с черным, очень густым, очень сладким, и не разберешь, вкусным, не то противным кофе.

Несколько греков и турок играли в кости молча, сонно-апатично, с таким видом, как будто не было у них ни дела, ни заботы, ни семейства, да и в кости играют неизвестно зачем. Хозяин, с чахоточным лицом, так же молча и сонно подавал. Гудели и липли тучи мух.

— Я вам открою все тайны мадридского двора. Здесь все — не как у людей, не как у нас в России. Да разве это мыслимо! — заорал он на всю кофейню, вытаращив на меня глаза,— мыслимо?! Да у нас в России давно бы морды избили, а уж нашумелись бы! А вы гляньте на них: иной последние штаны проиграл — и ухом не поворачивает, как идолы, сидят.

Мы выпили кофе, я расплатился.

— Теперь пойдемте купаться, самый раз, а там поужинаем да и на боковую.

Море ослепило веселой игрой света, человеческими голосами, плеском, и, точно вышли из затхлого погреба, обдало крепкой, свежей морской соленостью.

— Да вы куда?! — вскинулись рыжие усы, видя, что я направляюсь к купальне.— Да разве это возможно? Ни кстясь, ни молясь, гривенник испортить! Да позвольте, вот же бережок, господь на то его и создал,— чисто, благородно, аккуратно, и порточки тут же помоем. Зачем же беспокоиться? Все же, все с берега. И не то что черный люд, а даже бомон [1] и курсовые. А как вы полагаете: из них есть — рукой не достанешь даже до княжеского титула. Нет, вы уж не волнуйте себя.

Я остановился в нерешительности. В купальне действительно никого не видно. А берег, сколько глаз хватает, желтеет телами: кто лежит на горячем гравии под обжигающим солнцем, кто плещется у берега; крики, всплески — крещение Руси, и все покрывает ослепительный блеск и игра моря.

Рыжие усы долго и, видимо, с удовольствием разглядывают свое одряблевшее тело, потом, пожимаясь от неровного гравия, с видимым наслаждением лезут в воду.

[1] Высший свет (иск. франц. beau monde).

— Иные-прочие сколько денег тратят, едут сюда на курс, а мы даром, прости господи!.. Экая благодать!

Долго купался, оттирал вместо мыла мелким гравием тело и вычистил его до блеска, потом вылез и стал мыть у берега свое пропотелое белье.

— Вы чего же? Тоже бы побанили. Морская соль замечательно отъедает.

— Нет — блохи. Вы поскорей только.

По горячему гравию бесчисленно прыгают блохи и начинают отчаянно кусать.

— Блох — сила, тут их — сила, кажный же отряхается. Я за́раз.

Он разостлал выстиранное белье по камням, и под солнцем оно на глазах стало сохнуть. Такие же растянутые рубашки и сподники пятнами белели по всему берегу.

Вечером в кофейне в задней половине мы устроились на ночлег. В большой низкой — окна над самой землей — комнате, грязной, закоптелой, с густой черной паутиной по углам, стояло штук десять кроватей с сомнительной чистоты подушками и одеялами. Каждому кровать на ночь отдавалась за тридцать копеек.

Нам отвели рядом маленькую комнатку с двумя такими же кроватями.

В растворенное низенькое окно виднелся обширный, заросший мелкой травой и залитый помоями двор. Он так же был пахуч, как все дворы здесь. Только громадно раскинувшиеся ветви, похожие каждая на отдельное наклонившееся дерево грецкий орех, насчитывающий не меньше тысячелетия, разом придавали этому загаженному месту особенно значительный характер.

Детишки хозяина, оборванные, с тонкими, красивыми бледными личиками, копались в грязи.

Ночью большая комната вся наполнилась. Греки, турки, грузины, торговцы фруктами, лесом, комиссионеры приходили молча, сонно, апатично, так же, как играли в кости, полураздевшись, молча ложились и засыпали. Комната вся была заполнена людьми, и стояло лишь сонное дыхание.

А ведь была у них своя жизнь, интересы, заботы и страсти — только вне нашего глаза.

Я осторожно застлал кровать газетными листами и лег.

Рыжие усы уселись по-турецки на своей кровати, смутно белея в одном белье.

Полоса лунного света, ломаясь на подоконнике, ложилась на пол. Осеняя своею тенью голубоватый двор, чернел в окне, как патриарх, гигантский орех. Теперь, когда все стихло, слышно — мерно и спокойно дышит ночное море.

Не хотелось спать. Я оперся головой о локоть и спросил:

— Вы давно здесь?

— Как вам сказать, чтоб не соврать — пятый год... да, пятый год с Петра и Павла пойдет.

— Много тут русских?

— Сделайте милость, зараз хочь карабь грузи. Нно и пьет народ, громогласно пьет! Все до ниточки. Слов нет, зарабатывают хорошо, неча гневить, нно к осени — головокруженье, и больше никаких. А по субботам, по воскресеньям гляньте — мертвые тела.

— Почему так?

— Да вот возьмите вашего покорного слугу. Видали, котелок? Это — для начала. Вы не смотрите на опорки. «Федор Гаврилов, на дачу нужен человек».— «Есть». Зараз же этот самый грек — теперь он мне на три семишника не поверит папирос — этот самый грек оденет меня с ног до головы: пиджак, брюки, сапоги,— через две недели я с ним до копеечки расплачусь. Как же вы думаете? Ведь господа на даче разные: тому самовар, тому почисть, тому в лавочку сбегай; иной два рубля сунет, иной пятишницу, а какой и красненькую. Вот вам господом богом клянусь, у меня к концу сезона возле двухсот рублей будет! И все знают, и все верют, до копеечки со всеми расплачиваюсь. Как только объявили — Федору место: забирай безотказно, хоть на воз клади. Эх, жалко, не курите, папиросы у меня вышли. Ну, да ничего, позаимствуюсь у вас газеткой, собачью ножку скручу — махорочки у меня трошки осталось. Да вы не беспокойтесь, в окно буду выпущать.

В окно в голубоватой полосе уплывает облачками дымок. Федор Гаврилов белеет на корточках, подставляя лунному свету рыжие усы.

— А семья ваша где?

Федор Гаврилов долго молчит, и голубоватые облачка тают в окне.

— Это вы понимаете, что я — босяк. Ан нет, не за то потянули.

Он поднялся, постоял и сел на кровать.

— Босяк, это который навсегда потерялся, и уж шабаш! А я — полосой. Вот видали, нонче хоть бы рюмочку от вас предложил себе. А отчего же, от хорошего человека можно. А я ни-ни. До конца сезона рот сухой, аж потрескается. И не то что там удерживаюсь, а просто без надобности, никакого влечения. А вот сезон кончится, все разъедутся, рассчитаюсь, честно-благородно расплачусь, нно... ффью!!

Где-то далеко-далеко на море гудел пароход слабо, едва проступая, как во сне. Море теперь залито луной.

— Семья у меня есть, как же, помилуйте,— жена, четверо ребят — два сына, две дочки. Все честь честью. Одному сыну девятнадцатый год, женить пора, дочки на возрасте, приданое готовить надо, только...

В комнате постояло молчание, и в окне чернело в странном соответствии с этим молчанием вековое дерево.

— ...Только я их не видал пятнадцать годов.

Стало как-то по-иному, хотя по-прежнему комната была залита лунным светом.

— Рассказать вам, так даже чудно, как оно все вышло. В деревне жил, в Рязанской губернии, у отца один был, на службу не взяли, женился, дети пошли. Да оно бы ничего, да сами знаете, какое у нас хозяйство, землито на полосе — с сохой не обернешься. Да. Бились, бились: неурожай, лошадь пала, корову за недоимки свели — мочи нету. Известно, собака бежит не от калача, а от бича: обсоветовались с женой, положили на том — ехать мне в столицу. И убивалась, помню, тогда женка, молодая, жалко меня; вышли за околицу, не оторву ее никак. «Знаю, говорит, не увижу тебя больше, как на смерть, провожаю».— «Что ты, говорю, дурочка!..» А сам сколько разов от телеги к ней ворочался... Да, а вышло по ее.

В столице, верите ли, неделю голова у меня разламывалась от этого самого шума: да едут, да снуют, да идут, как суслики из нор, а по вечерам огни, да магазины, да электричество,— ну, мочи моей нету. Известно — оболтус, деревенщина, неотесанность. Пока образование городское получил, семь шкур с меня слезло. Два месяца без дела сидел, у дяди в сторожке приютился — в двор-

никах он служил. Под конец дядя стал гнать. Да, вспомнишь, и то тяжело...

Хорошо. Выпало-таки место: в больнице, на своих харчах, пятнадцать рублей в месяц. Рад я был,— несть числа. Цельный месяц не жрал ничего, аж качаться стал, зато почти все жалованье в деревню послал. Работы было много: утром встать, дров натаскать, коридоры, лестницы прибрать, ванны вымыть, приготовить — которые фершала и доктор дежурят — платье, сапоги вычистить, а днем туда пошлют, сюда пошлют, и все бегом, все скорей. И все пользуются, видят — деревенщина, ну, каждый и норовит свою работу на меня спихнуть, а я не смею, да к вечеру на ногах не стою.

А тут еще что! Назначили меня в анатомический покой. Нанесут покойников, а фершала да доктор режут, когда студенты приходили. Спервоначалу страшно было смотреть: свежуют как баранов у нас в деревне: череп распилят, мозги вывалят, грудь надрежут, легкие выпятятся горой, из пуза кишки все вытекут — чистое надругательство. Конечно, тогда был деревенский остолоп, не понимал, что это все по научным обстоятельствам; и как это господь, думаю, допускает человека по образу своему и вроде как резникам. Уйдут, мне же исправлять приходится: все вложишь на место, череп приладишь, как был, напялишь кожу, зашьешь да как глянешь на него, оторопь берет,— что из человека сделали! Принесешь гроб, запихаешь его туда.

Но хуже всего, ночевать надо было с ними, сторожить. Ежели надо отдать человека на муку — так из деревни в анатомический покой. Придешь вечером, в окнах ночь, ко гробу прилеплена свечка восковая, горит, аналойчик стоит в углу под образом, тоже свечечка теплится. Сяду я в другом углу, прижмусь, глаз с *него* не спускаю. А *он* — изуродованный, рот на сторону, свечки-то моргают, и он моргает, шевелится, когда и засмеется,— рот-то неплотно. А не смотреть на *него* — еще страшней: дышит что-то сзади, по углам тень шевелится, сзади трогает; станешь на *него* смотреть — лежит. А ведь иной раз *их* два, три лежит. Помню, раз татарин донимал: лежит, бритый, уши растопырил и смеется. Так, покуда светать начнет, и глаз не сомкнешь.

Вылезешь зеле-оный, а работы по горло, опять не присядешь. Исхудал, шкелет-шкелетом. Думал — и не

выйду живой оттуда. А надо мной смеются: дураку бог счастье посылает, а он морду воротит. Спрашиваю: «Какое счастье?» Объяснили мне, ну, я все не смел. Стал приглядываться; вижу — в городе правило: как дурак, все на нем ездят. Эге, думаю. А, между прочим, стал привыкать. Перво-наперво выучился спать с мертвяками,— они лежат, свечки мигают, а я себе храплю на всю покойницкую. А как приобвык, посмелел и образовался маленько, стал и доходы извлекать.

— Какие доходы?

— А как же. В покойницкую-то приходят родственники, больше деревенщина неотесанная, плачут, на коленях стоят возле него, молятся, то свечечку поправят, то ручки сложат получше крестом и спрашивают: «Родимый мой, а потрошить будут?» — «Ну, как же, говорю, обязательно!» Они ко мне прямо цепляются: «Нельзя ли не потрошить?» — «Это, говорю, денег стоит».—«Сколько?» Я погляжу в потолок, поморгаю. «А так, говорю, доктору главному пятьдесят копеек; помощнику — тридцать; фершалу — пятнадцать; ну, мне за труды пятачок».— «Родимый наш, да нельзя ли подешевле?» — «Что ж, говорю, с доктором торговаться? Он прогонит и без всяких начнет потрошить, а по мне все равно, как хотите». Ну, помнутся, помнутся, полезут, достанут целковый, отдадут мне. Приходят к похоронам, плачут, хотят проститься с покойничком, а я их придержу в дверях и шепчу: «Доктора определили — страшенно заразная болезнь у него была; сиделка, которая глядела за ним, свалилась — тоже при смерти этой самой болезнью; по мне, как хотите, ну, только об вас беспокоюсь».

Ну, поплачут, поплачут около дверей и уйдут. А кабы глянули,— морда-то у него вся шитая, хоть я и стараюсь в таких случаях аккуратно зашивать, а все же видать. Ну, вот стал зарабатывать совсем хорошо, в деревню шлю аккуратно каждый месяц; там поправляются, письма пишут, весело на душе. Ну, думаю, зиму отмаячусь, на весну домой. Будет мне бесстыдничать тут. Да. И вот случилась тут оказия. Завалился как-то с вечера, намаялся за день, сразу захрапел,— так в углу у меня постеля, а на столе мертвяк лежит,— тем более в покойницкой холодно без отопления, завернулся с головой, сплю без задних ног.

Вдруг слышу — турсучит меня кто-то, а никак не

проснусь, да как вскочу: думал — покойник, гляжу — вся комната в огне. Нянька, сиделка больничная, таскает меня за волосья: «Ах, ты, такой-сякой, покойника спалил!» Вскочил я, как ополоумелый,— пылает гроб, стружки под покойником горят, волосья на нем трещат. Кинулся тушить, все руки попалил, затушили с нянькой. Смрад. Свечка отклеилась да упала на покойника, а нянька во дворе за чем-то как раз пробегала, увидала,— в окне полыхает, и прибежала будить меня. Глянул я на мертвяка. Мать ты моя, пресвятая богородица! Страшно глядеть: морда полопанная, швы — он уже потрошенный был — разъехались, зубы оскалил, глаза вытекли, волосы обгорели. Что тут делать? Кое-как, кое-как, целую ночь возился, привел в порядок. Спасибо, родных не было, поскорей крышкой накрыл, похоронили.

Да. Сдыхал беду, другая пожалуйте! Через два дня приходит нянька, говорит: «Давай трешну!» — «За что?» — «А за то: от каторги тебя ослобоняю — сейчас донесу, что ты упокойника сжег. За это каторга и даже до восьми годов». Обомлел я. Туда, сюда,— и слушать не хочет. Вынул, отдал. Что же бы вы думали? Через неделю бежит — давай пятерку. И зачала сосать, и зачала сосать, все жалованье вытягивала. Куда — в деревню забыл и посылать. Хожу, как в тумане.

Ну, сказано, пришла беда, отворяй ворота. Ночью прикорнул в своем углу, так взгрустнулось, по семье сердце болит, не сплю, часов двенадцать; в окнах черно, восковые свечки мигают, на столе два мертвяка лежат. Скрипнула дверь — глядь, нянька. Заныло сердце — опять за деньгами пришла.

Нет, ничего. Кулек принесла, достает из него бутылку водки, селедку, колбасы, хлеба. Что такое?! «Именинница, говорит, я». Ну, выпили по одной, по другой, по третьей, захмелел я. Гляжу, она... это ко мне. «Нет, говорю, угодница, я — человек женатый, этим не балуюсь». А мо-орда у ней!.. А она... чисто осатанела баба. «Я, говорит, тебя от каторги сохранила, теперь бы гулял с тузом по Владимирке. Может, через тебя, говорит, мне самой в тюрьме сидеть за покрытие...» Ну, что тут поделаешь! Тут же мертвяки, совесть не налегает, да и жену помню — да куды-ы! ей и в рот не въедешь.

Да. А уж к свету, уходить ей, она и говорит: «Ну, давай полтора целковых».— «Да за что?» — «А вот, говорит, закуска да водка... Мне, говорит, не из чего тебе брюхо набивать...» Отдал.

И пошло с тех пор. Вспомнить, так рвать хочется. Что вы думаете,— сбежал, просто сказать, сбежал от нее, от змеи. Долго шатался без места, проел с себя все. Про деревню забыл и думать. После уж я узнал, деревенская остолопина, узнал — ничего бы мне и не было: нарочно, что ли, спалил? Кабы в те поры встретил суку, убил бы.

Спустил с себя все, до босяка дошел, под церквами стрелять приходилось, всего хлебнул. Наконец выпало место опять по покойницкому делу — тужилой в похоронное бюро. Напялили на меня цилиндр, черную хламиду надели. Либо под уздцы лошадь ведешь, неизвестно зачем,— она и без тебя идет, либо фонарь со свечой несешь — днем-то и так светло, а то просто шагаешь, и товарищи шагают, тя-а-а-немся через весь город. Гляжу я: идут, едут кругом, у всех дело, спешат, а мы, как остолопы. Да как глянешь под цилиндры, рожи-то цили-индровые! Самый народ отборный — пьяницы, деревенщина, морды-то, что топором выделаны. Ах, нос вам оттяпай! И всего получаешь по четвертаку с жмурика. Бюро большое, нас человек двадцать пять. А что на четвертак сделаешь? Надо прохарчиться, надо одеться, обуться. А там из деревни пишут, с голоду помирают, я уж сколько времени им ни копейки не шлю и письма перестал писать: что ж, голые письма,— им есть нечего. Писали они, писали, да и бросили. А мы все ходим около черных дрог в цилиндрах; идем, не поворачиваем головы и одними губами такой матерщиной друг друга загибаем — у жмурика судороги в коленках. Тот тому не додал, тот у того очередь отбил. Публика подойдет,— мы замолчим, отойдет — а мы опять под цилиндрами, да с азартом. Там впереди попы, певчие, сзади плачут, убиваются: у них — свое, у нас — свое. Главное, из-за очереди всегда склока шла — от кажного жмурика по четвертаку, вот кажному и хочется попасть. Газету научились читать — первую страницу, где богатенькие помирают. Все, бывало, сидим и мусолим, пальцами и протрем строчку. И все знаем: в какое время больше умирает народу, и где по каким домам лежат больные.

Пробился я так два года, ушел — мочи нету, впроголодь, а получишь гроши и с горя пропьешь. Ушел и опять долго без места шаландался. Тянуло в деревню, да что явлюсь в таком виде — голый и босый и простоволосый, лишний рот.

И стал ждать места, стал ждать, вот-вот собьюсь, сколочусь суммой, уеду в деревню,— будь он трижды проклят, город; запрягусь в работу без отдыху, только бы с семьей. А... вот видите — пятнадцатый год. И не заметил, как оно вышло: шаг за шагом, день за днем, час за часом, а их уж нет, пятнадцатый год...

Замолчал. В окне черный распростертый орех. На противоположной стороне потемневшего двора золотилась верхушка стены — месяц стал заваливаться к морю, в комнате не было лунного света.

— Писал, никакого ответа — разбрелись ли, померли ли, не знаю. Получил весточку: вся деревня сгорела, одни пеньки обгорелые остались. Собирался поехать, да разве от себя зависишь,— кидает тебя из города в город, с места на место, только чтоб не околеть с голоду. Вот тут четвертый год. И осталось мне от них памяти всего...— он торопливо полез в карман брюк, перекинутых через кровать, достал какую-то пачку замусоленных конвертов с протертыми углами,— ...только всего и осталось,— проговорил он, протягивая мне.

— Что это, их письма?

— Нет, это мои, я их писал, да так и не отослал. На-те!

Я взял. Вынул одно замасленное, протертое вдоль строчек, видно — много раз читанное, и прочитал:

«Милые мои, родные мои, бесценные мои!..»

Собеседник лег на кровать, отвернулся и близко-близко придвинулся лицом к стене.

Темно стало, видно месяц совсем завалился в море. И смутно слышно — дышит море, дышит мерно, бессонно.

Я крепко уснул.

А на другой день снова ликующее солнце, ослепительно белое шоссе, звенящие цикады, голубые и фиолетовые горы, сквозные золотящиеся пятна, и сквозь ветви и сквозь зелень нескончаемая синева моря.

СТРАННАЯ НОЧЬ

Было не то что весело, но шумно.

Четверо сидели вокруг белевшего скатертью круглого стола, и всех спокойно и ровно освещала висячая лампа, а пятая присоседилась на диване, откинувшись в уголок, и лицо ее было в тени. Бунтовал самовар. Матово глядели промерзшие окна. На столе — нарезанная колбаса, сыр, дешевая пастила, бутылки с пивом.

Пропели, безбожно перевирая украинские слова: «Як умру, то поховайте...», «Во саду ли, в огороде...», «На севере диком...». Заспорили о значении воздухоплавания в переустройстве социальной жизни. Стали пить чай, и разговор, путаясь в смехе и шутках, прыгал с предмета на предмет, как веселый заяц.

Серые тужурки обоих студентов почти сливались с иссиня-сероватым, слоисто плававшим дымом. Проступали только косматые головы, веселые молодые глаза да безусые лица.

Хозяйка — с тем хорошеньким личиком, из-за которого берут продавщицами в будочки минеральных вод; она кончила гимназию и служила манекенщицей в огромном модном магазине,— по всякому поводу и без всякого повода заразительно хохотала, как будто говоря: «Ну да, я знаю, это вы все для меня. Я привыкла. На меня ведь все смотрят»,— и шаловливо-небрежно наливала чай.

— Ну, вот вам стакан, шалун.

— Хорош шалун, у которого скоро будут усы и который уж три раза успел провалиться по анатомии.

Другой закрыл глаза, поднял слепое лицо к потолку и монотонно-упорным, дьячковским голосом заговорил, видимо, намереваясь не скоро остановиться:

— Musculus extensor carpi ulnaris расположен около заднего гребня локтевой кости. Веретенообразное мышечное брюшко его начинается от покрывающей мускул фасции, а ниже — от диафиза...

Хозяйка заткнула хорошенькими пальчиками ушки и замотала кудряво-пышной головкой, визжа, как маленький розовенький поросенок.

Товарищ заложил в рот говорившего отрезанную от колбасы горбушку с кончиком просаленной веревочки.

— Вася, затормози.

Опустив тонкое задумчивое лицо над стаканом, курсистка в полосатенькой кофточке тихонько мешала ложечкой.

— Теперь в Ницце цветут розы.

Ее голос прозвучал точно издали.

— А вы были там?

— Нет.

Все засмеялись.

Акушерка сидела в сторонке, в тени высохшего, серого от пыли, пандануса, положив руки на локотники дивана и голову на руки, посмотрела на компанию, проговорила:

— Чего же вы смеетесь? У нас вон окна белые, как замороженные, мертвые рыбьи глаза, и на улице дыхание стынет, а там солнце и тепло.

Она не была красива, но молода, и, когда улыбалась, все лицо освещалось тонко и умно, и было видно, какие у нее чудесные карие затененные глаза.

Студент нежно держал пальцами за веревочку и сосредоточенно выгрызал из колбасной горбушки нутро.

— Ирина Николаевна известная мечтательница.

Ирина Николаевна нервно передернулась.

— Вовсе не то... Каждому ведь хочется яркого... ну, яркой жизни... да, всем...

Студент запел козлиным голосом:

Костю-ум мой при-ли-ичен и шля-апа с пером.

— Ирину Николаевну обуревает романтизм. Она ждет, явится рыцарь со шляпой, в которую будет воткнуто страусовое перо.

— Ах, никого я не жду... Будет глупости...

— А по теперешним временам, увы, вывелись перья и береты... Хорошо еще, если сюртук не заложен в ломбарде, а то в пиджачках-с...

— И души такие же пиджачные,— поддержал товарищ, вытирая губы и руки от сала.

— Не понимаю, что̀ тут смешного. Жизнь такая серая, монотонная... Идешь по улице, все одинаковы, как копеечные монеты, и все одинаково. И каждый день похож один на другой. И так хочется вырваться из этой одинаковости, серости... Присматриваешься к каждому дому: вот тут, должно быть, что-то особенное, какая-то особенная, яркая, непохожая жизнь, а входишь...

Студент сделал калмыцкие глазки.

— ...с инструментами — и приходится извлекать так прозаически нового человечка на свет...

Ирина Николаевна вскочила: лицо покрылось пятнами, в голосе задрожали слезы.

— Ну да, конечно... Вы, как все... издеваться... слово «акушерка» — это неприлично... это с улыбочкой произносится.

И вдруг засмеялась зло, с истерической ноткой.

— Грязная работа, а сама мечтает о яркой жизни... ха-ха-ха!..

Она торопливо подошла к окну, глядя на улицу сквозь ничего не пропускающее замороженное окно, боясь, что разрыдается.

Все поднялись.

— Рина, ну что ты...

— Он вовсе не хотел тебя обидеть...

— Ну, стоит ли обращать внимание?..

— Ирина Николаевна, голубушка... Да я вовсе... вы меня простите... у меня и в уме не было... Я всякий труд... ведь это только идиот бы мог так... Я, ей-богу...— Студент отчаянно прижимал одну руку к груди, а другой ерошил волосы.

Товарищ пришел к нему на помощь.

— Вася не только по анатомии проваливается. Ты поешь еще колбасы — вот горбушка.

И опять все засмеялись.

Ирина Николаевна повернула ко всем смеющееся лицо, которое говорило, что она не сердится, что ей самой неловко за свою вспышку, и торопливо моргала длинными черными ресницами, незаметно сгоняя навернувшиеся слезы.

— Фу ты... да нет, я не сержусь... Только, право, знаете, иногда думаешь... Смотришь, большой огромный дом, такой значительный, и непременно представляется и жизнь там особенная, значительная, а войдешь,— все то же самое: папаша, мамаша, детишки, прислуга, рога наставляют, в карты играют, ссорятся, все то же монотонное, серое. Уф, я устала от этого...

Был час ночи, когда Ирина Николаевна воротилась домой. Торопливо разделась и натянула одеяло до под-

бородка, приятно отдаваясь после студеной улицы охватывающему теплу прогревающейся постели.

Она не хотела дать себе сразу заснуть,— хотелось о чем-то помечтать, в чем-то разобраться,— и от времени до времени подымала липко опускавшиеся веки.

«Да, так о чем это я?.. Ну да, ну да, и личной жизни, и личной жизни хочется... Что же тут смешного или стыдного?..»

В ответ бесконечно монотонно и утомительно тянулись дома и все, как один, с бесчисленным множеством чернеющих окон. Об этом что-то говорил студент, только она не могла разобрать.

Один дом — он был коричневый — стал пухнуть, раздаваться, вырос и заслонил все остальное.

«Да ведь так не бывает?..» — подумала она.

Матрена, такая же сонная, медлительная, невозмутимая, как всегда, толкая, отворяла коричневый дом, но, странно, отворяла не дверь, а весь фасад.

«Да ведь так не бывает...» — не то подумала, не то сказала Ирина Николаевна.

«Стало, бывает»,— сердито огрызнулась Матрена; и это было убедительно. И, толкнув, отворила всю стену с окнами, водосточными трубами, парадным подъездом, с толстым швейцаром, а там оказался сконфуженный студент Вася,— на голове у него была лысина, а на лысине торчало страусовое перо.

— Ну, господи, да что это такое!.. Стой тут над ними... ведь дожидаются...

Ирина Николаевна на секунду открыла глаза, и они поймали беглым впечатлением грузные груди и голые толстые руки стоявшей над ней Матрены. Оплывающий огарок капал на постель стеарином, и бегло-трепетные тени шевелили сонное, лоснящееся лицо прислуги.

Ирина Николаевна, точно защищаясь, быстро закрыла глаза, но сейчас же села на постели.

— Хорошо.

На стене пробило два.

— Кто там?

— Какой-то одноглазый приехал.

— Скажи, сейчас.

Через полчаса, одетая, освеженная холодной водой, с знакомым настроением чего-то длительного и неиз-

бежного, с сумкой с медикаментами в руках, Ирина Николаевна вышла в прихожую.

Со стула поднялся дожидавшийся человек.

«Странно»,— подумала Ирина Николаевна, мельком глянув на него, и опять бегло глянула.

Он стоял устало и покорно, в чудном длинном балахоне и в башлыке. Левый глаз белел слепым бельмом, полуприкрытый большим, наплывшим сверху шрамом.

При неверно скользящих тенях колеблющегося огарка Ирине Николаевне показалось — он смеется.

Она еще раз глянула,— он не смеялся. Живой глаз глядел устало, даже грустно, но смеющиеся складки на лице, стянутые морозом около губ, лежали неподвижно, как у человека, насильственно привыкшего к постоянному смеху.

— Вы от кого?

Он молчал.

Не раздумывая, она пошла вперед, он за нею.

Они спустились и вышли, и пустынная улица охватила их густым синим холодом, в котором медленно, больно дышалось, бело-скрипучим снегом и линией уходящих сонных домов и линией уходящих ночных огней.

Запряженная небольшая лошадь, сгорбившись, неподвижно белела заиндевелым задом. Ирина Николаевна с удивлением широко раскрыла глаза: перед ней были не сани, а низкий, над самым снегом, неуклюжий ящик на полозьях.

«Странно!..» — И она удивилась, что ей приходится сегодня так часто удивляться. Нужно было садиться.

Человек в балахоне, все с тем же неподвижно смеющимся серьезным лицом и усталым глазом, сел впереди, под самыми задними ногами лошади, и тронул вожжи.

Полозья заскрипели, снег стал мелькать назад, морозно искрясь, и стали отходить один за другим фонари, провожая едущих уродливо вытягивающимися от каждого синими тенями.

Ирина Николаевна надела сумочку на руку и засунула руки в рукава, стараясь подбирать ноги, которые все волочились по снегу.

Впереди — бессонная ночь, усталость, вид бессмысленных страданий, животные крики, так непохожие на человеческий голос... И, как бы вознаграждая себя за

все предстоящее, она старалась вызвать и отдаться настроению и мечтам красивого яркого, малознакомого.

Ницца, розы, голубое море, солнце блещет...

Он подойдет, *он*, молодой, с тихими, проникающими глазами. Она не знает, что *он* скажет, но это — музыка, и она к ней прислушивается. И нет домов, нет бесконечно убегающей цепочки огней; не скрипит снег, не кусает лицо мороз. Тянется длительная, тихо баюкающая, далекая, молчаливая песня без слов, песня, которую не слышишь, но чувствуешь. И она улыбается, улыбается неслушающимися губами, которые стянул мороз.

И в это странное состояние полубодрствования, полугрез впивается незримо навязчивым впечатлением белый, затянутый глаз из-под наплывшего на него шрама.

«Кто он такой и куда он меня везет? Отчего он молчит?.. Разве не бывало случаев?»

Она смотрит. Перед нею все та же, сопровождаемая поскрипыванием снега, неподвижная спина, все те же уходящие дома, те же провожающие уродливо вытягивающимися тенями фонари,— и не хочется вытаскивать согревшихся рук из рукавов, менять положение, и тает, колеблясь, морозное облачко дыхания у рта.

Она перестает думать о белом глазе, о неподвижной спине молчащего человека. И опять, вслушиваясь, отдается молчаливой, беззвучной песне о красоте, о счастье, об ином мире, который — вне этих домов, вне этих улиц, вне пошлых своей обыденностью человеческих отношений.

И вдруг, как тонкий звук лопнувшей струны, погас мир капризных красок и грез.

Она подымает глаза. Стоят на перекрестке. Лошадь, странно нагнув голову и внимательно глядя вниз, пять раз с размеренными промежутками — и в этом чувствуется преднамеренность — бьет копытом в землю, высоко подымая правую ногу.

И опять трусит рысцой; уходят дома, мелькает бело-скрипучий снег, и неподвижна спина возницы.

Ирина Николаевна поглубже засовывает руки, но уже не может вернуть спугнутого настроения,— песня оборвалась.

С обычным впечатлением зимней ночной улицы и езды мешается, всплывая, не то тревога, не то необъяснимое ожидание, не то смутность воспоминания. И она хочет вспомнить и вынуть беспокоящую занозу.

«Белый глаз?»

Долго мелькают дома, сплошь вросшие друг в друга, потом снова разрываются уходящими в разные стороны огнями перекрестка. И по мере того как приближаются к перекрестку, вырастает неосознанная тревога.

Остановились.

Лошадь опять странно нагибает голову и мерно бьет в землю пять раз, но уже левой ногой. Спина кучера неподвижна, он не шевелится. Лошадь без понукания снова трусит рысцой.

Острым холодком пробегает по затылку мелкая дрожь. Ирина Николаевна на секунду затаивает дыхание, глядит широкими глазами в неподвижную спину возницы.

Белый глаз, смеющиеся застывшие складки устало-серьезного лица, неподвижность и молчание этого человека, и пустынность улиц, и одинокие фонари — все ткется вокруг Ирины Николаевны в паутину чего-то особенного, имеющего свой затаенный смысл.

Как будто в первый раз она увидела — по бокам тянутся назад громадные немые, с бесчисленно и неподвижно чернеющими окнами, дома, в одно и то же время скованные сном и полные молчаливого бодрствования, иного бодрствования, чем днем. С назойливым беспокойством она стала вспоминать такое же впечатление бесконечно угрюмых домов с немо чернеющими окнами и вспомнила: это во сне, когда ее будила Матрена.

Пришла мысль откуда-то со стороны, что есть что-то страшное в жизни людей. Не в жизни отдельного человека — она такая же серая, обыкновенная и простая,— а в жизни всех людей вместе, как есть что-то страшное в этих бесчисленно и немо чернеющих окнах, сколько бы ни ехать, хотя каждое из них такое ничтожное и простое.

«Ах, боже мой, да ведь ничего особенного!..» Но доводы ее, спокойные и ясные, шли мимо настороженно притаившегося ожидания. Было что-то, что она не умела отвергнуть.

Долго мелькали дома, сплошь вросшие друг в друга,

потом снова разорвались уходящими в разные стороны огнями перекрестка.

Лошадь остановилась, медленно повернула голову, внимательно глянула из-за дуги на Ирину Николаевну и... четыре раза добродушно поклонилась ей.

— Ай!..

Тонкий, заячий крик мечется, застывая в густо синеющем морозе, залившем улицу по самые крыши. Сверху плавают большие крупно дрожащие звезды.

— Ай-яй-яй!.. Не могу, не могу больше!.. Что это!.. Послушайте, что это она делает?!

Лошадь трусит, мелькая белым крупом: все так же неподвижна спина возницы.

Это нетухнувшее представление внимательных лошадиных глаз, черных, блестящих и выпуклых, молчаливо говорящих почти человеческим языком, наводит ужас.

«Соскочить, броситься бежать?» Но ноги отнялись, да и куда? Стоят пустые незнакомые, полные ночной серьезности улицы.

Кажется, будто стоит Матрена, каплет стеарином и, хоть страшно не хочется, а надо просыпаться. Ирина Николаевна поймала в согревшихся рукавах одну руку другой и больно ущипнула.

Этот человек так же молчит, так же неподвижен, так же не оборачивается к ней и ничего не замечает или притворяется, что не замечает,— и охватывает холодная жуть нарастающего ожидания.

«А что, если ничего нет, и все это обыкновенно?» Широко раскрывает глаза, и, крепко нажимая веки, поморгала. Все то же: режуще повизгивает снег, плывут навстречу и уходят дома. Далеко сходящиеся линии огней ломаются огнями перекрестка. Как и дома, перекресток наплывает все ближе и ближе.

А что, если и там?..

Она не позволяет себе думать и просто смотрит, как приближаются освещенные фонарями угловые дома. Ближе и ближе. Отчетливо видны переплеты на черных окнах. И с бьющимся сердцем она ждет — спокойно проедут, и свалится тяжело опутавший глаза и голову кошмар.

Поравнялись с угольным домом. Блеснули уходящие огни боковых улиц. Лошадь остановилась, повернула

голову, внимательно глянула из-за дуги и так же радушно поклонилась Ирине Николаевне четыре раза.

— Ай! Не могу!.. Я не хочу!.. Помогите!.. Мне страшно!..

Лошадь без понукания побежала рысцой.

Ирина Николаевна выдергивает руки из нагревшихся рукавов, бросается и начинает царапаться о заиндевелую спину, отчаянно крича.

Тогда тот оборачивается к ней медлительно и неуклюже, и из заиндевелого башлыка глядит неподвижно-усталое лицо, с побелевшими бровями, все в стянутых морозом складках застывшего смеха. Он пристально глядит на ее кричащий рот, покачивает равнодушно головой, как его лошадь, и говорит сиплым с мороза голосом:

— Зараз.

И отворачивается.

Но она продолжает царапаться и кричать. Он опять оборачивается, опять глядит ей не в глаза, а в кричащий рот, и вдруг неподвижные складки расползаются ото рта и носа, и живой, настоящий смех обнажает зубы и десны.

Бегут дома, искрится снег; плавают поверх улицы в синем морозе крупные звезды.

Это так нелепо, бессмысленно, дико, что у нее все пересеклось: перестала кричать и отвалилась, забыв сунуть руки в рукава, и они стынут. Внутри все побелело, оледенело, стало хрупким и звонким, и она боялась пошевельнуться.

Где-то в стороне от этого застывшего напряжения плыли мысли.

Во сне всегда нелепости.

А если сон, так чего же бояться?

Так ведь это не сон: она видит дома, лошадь, фонари, снег скрипит и мелькает...

И во сне бывают дома, лошади, фонари, снег скрипит и мелькает...

Да, но теперь она думает и рассуждает: сон это или не сон.

И во сне она часто решала: во сне это или не во сне.

Но отчего все так последовательно и в порядке идет: и улицы, и дома, и движения, и мысли? Все так отчет-

ливо и ясно. Вот у нее совсем онемели пальцы на правой руке...

А разве в прежние сны не казалось, что все в порядке: и улицы, и дома, и люди, и мысли?

Да, но там были разрывы: вдруг что-нибудь странное, обрывающее.

Так ведь это, когда уже проснешься, видишь, что было обрывающее естественный порядок.

«Боже мой, сойти с ума можно!..»

Какой-то царь, рассказывают, по предложению мудреца, окунулся в воду. И там у него вся жизнь прошла: жил, любил, страдал, наконец стал седым, дряхлым стариком. А когда вынырнул, он был такой же, как и прежде, и в воде пробыл секунду.

А что, как и она откроет глаза, а этого ничего не было: ни лошади, ни улицы, ни жизни, ни скуки, ни серости, ни тяжести профессии, ни неудовлетворенной жажды личной жизни,— откроет глаза, а она — девочка, и мама сидит и гладит ее волосы: «Проснулась, детка?»

От напрасных усилий выбраться из лабиринта стало тягостно дышать, и она сделала над собой усилие перестать разбирать этот запутанный клубок — все равно.

В густой, косо падающей от ворот тени, как черное изваяние, в неподвижных складках огромной шубы сидит ночной сторож.

Спросить его: сон это или не сон?

Ей мучительно хотелось спросить, но это было бы так дико, что, казалось, если спросит, произойдет что-то еще более ужасное: что — если каменное изваяние медленно подымется и, не раскрывая глаз, четыре раза стукнет ногой и покачает головой. Она чувствовала — тогда умрет.

Ящик, скрипя, проехал мимо.

Ирина Николаевна изумлялась тому особенному виду, который имели теперь самые обыкновенные предметы, и тому особенному в своей значительности языку, которым они говорили.

Дома пошли ниже. Потянулись заборы, пустыри. Изредка попадался керосиновый фонарь, одинокий и заброшенный. Призрачно белели привидениями заиндевелые деревья, таинственно меняясь по мере приближения к ним. Все смутно, морозно-мглисто, с неясно

теряющимися контурами. Только звезды проступили вверху ярче.

Несколько раз сворачивали. Стали нырять по ухабам.

Привернули к забору, в котором вместо ворот зияли выломанные доски. Нахохлившись старой крышей, покосившись полусгнившим черным срубом, молча и безжизненно глядел мертвыми окнами заброшенный дом.

Все то же...

И вспомнила:

Вот череп на гусиной шее
Вертится в красном колпаке,
Вот мельница вприсядку пляшет
И крыльями трещит и машет...

Въехали под навес, прислоненный к дому. Было черно, как в могиле. Ирина Николаевна отдалась странному оцепенению, которое тянулось, как тонкое комариное пение, неосязаемое и непрерывное. «Все равно...»

В этой густой неподвижной тени вдруг появилось с десяток странных существ, которых трудно было разглядеть, и принялись, беззвучно мелькая, танцевать. Их поджарые силуэты, ниже людских, усердно прыгали на тонких ножках, прямые и молчаливые.

Возница возился около лошади, а Ирина Николаевна неподвижно, не шевелясь, сидела, поверхностно дыша. Очевидно, все так полагалось. Был какой-то свой таинственный порядок, и она пассивно отдавалась ему, как уносимая течением.

Молча плясали.

Странным незнакомым голосом человек гортанно бросил:

— Алло!..

И, как провалились, исчезли странные силуэты. Была только мгла.

— Пожалте!..

Она так же неподвижно сидела, поверхностно дыша.

— Пожалте!..

Она сидела, не шевелясь, полагая, что и это входит в цепь того странного, ее охватившего порядка, который она не должна почему-то нарушать и противиться ему.

— Пожалте, барышня, приехали.

Странно,— это был человеческий голос и живые

слова. Она чувствовала, когда тот наклонился, теплоту его дыхания с дурным запахом изо рта.

И, полагая, что в звеньях странного, ее обступившего порядка заключалось обязательное для нее требование встать, она с усилием вылезла из ящика, стала на неслушающиеся, замерзшие ноги и потянулась, зевая, стараясь проснуться, но не проснулась.

Человек открыл дверь, за которой было так же непроглядно-черно, шагнул, и она пошла за ним, протянув руки и нащупывая дорогу в кромешной тьме.

— Сюда пожалте, за мной... налево...

Она шла на голос и думала, что он теперь смеется в темноте. Осторожно ступала, натыкаясь на ящики, корыта, и вдруг со стены, которую задела рукой, посыпались обручи.

— Направо чан с водой, не попадите.

И слышно было, как, должно быть, в воде, кто-то «буль-буль-буль... у-у-уппь!»

Она пробиралась со странной уверенностью, что больше ничему не удивится.

Скрипнула дверь, и в длинный красноватый просвет обдало нестерпимо-острым, от которого пошатнуло, зловонием, и глянула придавленная почернелым потолком, смутно освещенная коптящей лампочкой комната. На кровати — врастяжку на спине — огромный мужчина, с пунцово-красным, пьяным лицом и стеклянными глазами. На нарах — мерно шевелящееся, очевидно, подымаемое дыханием тряпье, и из него в разных местах высовывается то грязная ножонка, то детская рука, то бледное, впалое личико с обведенными синевой, сонно-закрытыми глазками. На полу — раскрытый сундук, и в нем напихано грязное одеяло, корыто с водой, и странно свившееся спиралью неподвижно-серое, вроде невиданной гигантской кишки, свернутой кольцами.

Это было мгновенное зрительное впечатление, пока она перешагнула порог. Но когда сзади скрипнула закрывшаяся дверь, из неподвижно-серой спирали с неуловимой быстротой поднялась в рост человека гигантская змея и, опираясь на свернутый хвост, качалась, блестя змеиными глазками и с шипением мелькая перед самым лицом вилочками раздвоенного языка.

И хотя все это — сон, и она решила не удивляться, все-таки это было безумно. И, откинувшись и изо всех

сил прижавшись спиной к пузатому полуразвалившемуся шкапу — путь в дверь преграждала качавшаяся змея,— Ирина Николаевна кричала в качающуюся змеиную пасть, кричала диким, никогда не слыханным голосом, ровно кричала, не прерывая ни на секунду крика, запустив в доски ногти, и из-под ногтей брызнула кровь.

От этого крика все в комнате пришло в движение: траурно замоталась струйка бежавшей над лампочкой к почернело-нависшему потолку копоти; моргнуло в буром стекле красное пламя; всюду засновали тени; сверху над головой гортанно-картавым, нечеловеческим голосом злорадно-обрадованно прокричало:

— Пгххожхагуйте, хгосподха, начхалось пхредстхавление...

Мужчина, с кумачово-красным, пылающим лицом, сел на кровати, глядя и не видя, очевидно, перед собой остеклевшими глазами, и злобно гаркнул прерывисто-хриплым, как будто не ему принадлежащим басом:

— Алло... бери барьер... ну, дьявол!.. в обруч... вперед!.. Не задевать... тты!..— и прибавил скверное ругательство.

В ту же минуту со шкапа плюхнулись на пол две совершенно голые, как лягушки, мерзкие мокрые собаки и стали танцевать перед Ириной Николаевной на задних лапках, наивно свесив набок мордочки.

— Пи-ить!..— тонкой жалобой прозвучало в этом содоме.— Пи-ить, мама!..

Бледная головка сидевшего в тряпье ребенка, не отпускаемого сном, не держалась на тонкой шейке, сваливаясь то на ту, то на другую сторону, а глазки были закрыты, обведенные синевой, как это делают себе карандашом актрисы.

Ирина Николаевна ровно кричала перед качавшейся змеей.

С печки, кряхтя, слезла женщина с огромным, как раздувшийся пузырь, животом.

— Не бойтесь.

У нее было костлявое, измученное, как у заработавшейся лошади, лицо и добрые, полные материнской ласки глаза.

— Не бойтесь, это — добрая насекомая.

При звуке ее голоса все успокоилось: Ирина Николаевна перестала кричать; мужчина лежал на спине, глядя в потолок мутно-стеклянными глазами, и часто дышал; тихо шевелилось на детях тряпье; собаки, как развернутая пружина, метнулись на шкап, повозились и улеглись. Ровно, не колеблясь, коптила лампочка.

Ирина Николаевна по-прежнему прилипла к шкапу спиной, впившись в него руками и не спуская круглых глаз с качавшейся змеи.

— Да не бойтесь,— и чтоб успокоить, женщина взяла рукой змею и, как холодным шарфом, обернула ею себе шею,— вот!

В ту же секунду лицо ее перекосилось, губы повело тонкой судорогой, глаза вылезли, и она закричала, опускаясь на пол:

— О-ох!..

Ирина Николаевна тоже закричала:

— Помогите!.. Душит... задушит... ай-яй-яй!..

И опять началось.

Мужчина сидел на кровати и хрипло ругался:

— Алло!.. Бери барьер... Сволочи... убью!!

— Пхгожхагуйте, хгосподха, начхалось...

И тоненько, как паутинка:

— Пи-ить!..

Со шкапа сверзились голые собаки и стали танцевать.

Женщина перестала кричать и корчиться и, тяжело дыша, с раздувавшимися ноздрями, медленно размотала с шеи подававшуюся без всякого сопротивления змею.

— Нет... ничего... Это схватило... Господи, больно-то как... Это — кормилец наш... добрый... им только и живем... в три месяца раз кормить его можно... Три дня осталось, вот беспокоится... кроликами живыми кормим... О-о-ох!.. Купала его в корыте... Публика на него только и идет... Боа-констриктор... Не бойтесь, я его уложу...

И она нежно кольцами стала свивать огромную змею в сундук, перекрывая теплым одеялом.

Все успокоилось.

Ирина Николаевна стояла над женщиной, точно разочарованная: кругом было просто, ясно, обыкновен-

но, словно сдернули пелену,— и где-то тонкое жало сожаления, в котором она бы не призналась, что все кончилось.

— Кто этот?

— Хозяин мой.

— Что с ним?

— Тиф. Пятые сутки без памяти. Выходится, нет ли?..

Она заплакала, вытирая рукавом глаза.

— А это ваши?

— Мои. Пятеро со мной, да двоих взяли на побывку; тут в приюте добрые люди устроили. Деточки-то соскучились... Дома-то хоть немножко побудут, отдохнут. А уж как я-то стосковалась: по году не видим их...— Лицо у нее сморщилось, и она задергала бровями, удерживая слезы.— По селам ездим и по городкам,— тут кто нас смотреть будет!

И вдруг застонала и закусила губы.

— Вы бы прилегли.

— Нет... ничего... отошло...

— Ну, вот что...

Ирина Николаевна стала оглядывать помещение деловым, привычным взглядом. Все, с чем она сжилась,— ровная трудовая жизнь, не дарившая улыбок и красок, спокойная и требовательная, вступила в свои права. Как будто то, что пережила, случилось давно, когда-то, много лет назад, подернутое странной дымкой сомнения: не то было, не то нет.

А кругом так просто, обычно и грязно: черные щели разошедшихся досок потолка кишат шепчущимися тараканами; выглядывают с разных сторон из тряпья грязные ножонки и головенки тихо дышащих детей; попугай, ухватившись кривым носом за кольцо, молча покачивается над шкапом, позабыв приглашать публику; тифозный, с огромным телом, кумачово-красным лицом, тяжким и торопливым дыханием, глядит мутно-остановившимся взглядом на кишащих на потолке тараканов.

— Я здесь не могу принимать.

Губы ее были сжаты, и глаза глядели упорно, с непреклонностью профессиональной ответственности.

Глаза у женщины в ужасе раскрылись, а бледное исхудалое лицо стало еще белее.

— Господи, да как же?..

— Не могу. Ни за что... Собирайтесь, сейчас едемте.

— Да как же бросить-то: этот — больной, деточки — маленькие...

— Я здесь не могу. Поймите,— грязно, тиф, это — заранее убить вас. Я вас отвезу в приют.

— Да на кого же я их? Кто же без меня их накормит да присмотрит? — И она заплакала.

— Оставьте того человека, что привез меня.

— Ванюшку? И он замучился, другую ночь не спит, да и глухой.

— Говорю вам, здесь отказываюсь, это убийство будет, я же в конце концов отвечу. Собирайтесь сейчас же, время уходит...— И она решительно взяла свою сумочку.

— Но что ж... о господи!.. Зараз соберусь...— И стала надевать рваную длиннополую шубу.

Потом на минуту вышла и вернулась.

— Сейчас, Савушка, лошадка-то наша, обиделась, побила задними ногами ящик. Ванюшка зараз справит.

— Вы бы лучше в сани запрягли.

— То-то, что нету. Один ящик,— зверей и детей возим.

Подошла к детям, долго смотрела жадными материнскими глазами на бледные личики, потом долго крестила каждого, целовала в разные места, все торопливо крестя маленькими крестиками. Потом подошла к мужу и долго плакала над ним, утираясь рукавом шубы, и говорила ему, неподвижно глядевшему в потолок невидящим взглядом:

— Да подымись ты, Ферапонт Митрич, подымись, кормилец ты мой... Покеда вернусь, а ты подымись... Глянь-ко, ребятеночки-то... Подымись, родимый...

Тот глядел на тараканов.

Когда вышли, уже расползался просыпающийся зимний день, постепенно открывая заборы, деревья, редкие домишки, все захолодавшее, густо и бело запушенное инеем.

Под навесом стоял знакомый ящик на полозьях и запряженная в него ученая лошадка. Когда стали садиться, из проступившей в углу, под навесом, будочки выскочили десять собак, дрожащие, несчастные, голо выстриженные снизу, и стали усердно танцевать на зад-

них лапах, подпрыгивая и приседая, наивно и покорно загнув набок мордочки.

Ирина Николаевна отвернулась.

Поехали. Больная правила сама. Лошадь трусила. Отходили заборы, пустыри, маленькие домишки, а надвигались прямые улицы, большие дома. По улицам уже начиналось движение. Останавливались и с удивлением смотрели на странный ящик, везший двух женщин.

«Этого еще недоставало...» — горько думала Ирина Николаевна и, чтобы заглушить неприятно подымавшееся чувство, проговорила:

— Кто этот, что привез меня вчера?

— На улице подобрали, сирота. Мы и выкормили.

— Отчего у него такое лицо, как будто смеется всегда?

— Представляет, так привык. Со зверями умеет искусственно перед публикой разговаривать; как выйдет, публика покатом ложится, до бесчувствия, беспеременно гогочут... От этого и доход. Глухой.

— Отчего?

— С трапеции упал, ухи лопнули.

На углу лошадь остановилась, нагнула голову и четыре раза стукнула копытом. На панели засмеялись.

— Да ударьте ее,— почти крикнула Ирина Николаевна, чувствуя, как краска бросилась в лицо,— не давайте ей этого делать, ударьте кнутом!

— Господи, нельзя. Обидится — и весь ящик разобьет ногами. Не привыкла она к черной работе, брезгует. Она даже на задних ногах ходить может и очень любит, чтоб публика смотрела — сахаром все кормят.

«Комедия... вот бы посмотрела вчерашняя компания...»

И, чтоб отвлечь назойливые мысли, Ирина Николаевна, стараясь не глядеть на прохожих, проговорила:

— Отчего у него глаз такой?

Лицо женщины болезненно передернулось.

— Муж выбил.

— И вас бьет?

— Бьет.

Женщина конфузливо помолчала и проговорила тихо:

— Не без этого.

И вдруг воодушевилась:

— А животную-то любит. Господи, иной аж до слезы прошибет — сам не поисть, зверя накормит.

Лошадь опять стояла на перекрестке и усердно выбивала ногой, а больная говорила ей просительно-заискивающе:

— Милая, иди... мне больно... Савушка, иди скорее, мне очень больно...

Снова затрусила.

— Ох, боже мой!.. Оттого и живут. У других вон дохнут, а у нас по скольку лет живут. А ведь зверь-то дорогой, меньше четвертной и не ухватишься. Вон есть по две, по три сотни плачено. Как вы думаете!.. Тошно... Иди, милая.

Въехали в бойкую улицу. Она жила, вся повитая скрипучим морозом. Шел народ; на перекрестке стояли извозчики, прохаживался городовой, отворяли магазины. Ребятишки, с сумочками и с красными от мороза лицами, съежившись, бежали в школу.

Лошадь, увидя публику, остановилась и добросовестно начала выполнять номер за номером. На панели стали останавливаться, из магазинов выскакивали приказчики; бежали как угорелые, размахивая книжками, ребятишки.

— Гляди, ученая лошадь...

— Братцы, скорей!..

— В карете приехали...

— Из Саксонии две фрелины...

— Хо-хо-хо... ха-ха-ха!..

— Милая, иди!..

Все столпились около лошади. Она кланялась из-за дуги, стучала копытом, становилась на колени, наконец, подхваченная всеобщим вниманием, поднялась на задние ноги, потопталась, присела, сделала реверанс и стала, мотая головой, раскланиваться на все стороны.

Извозчики поползли из саней, держась за животы; ребятишки с диким визгом плясали; покатывались приказчики, купцы, прохожие; у всех вдруг пропали глазки в складках красных багровевших лиц. Самые вывески и стекла магазинов, казалось, широко ухмылялись.

И среди гомона, говора, хохота, среди высоких стро-

гих домов с бесчисленными окнами, среди веселого морозного звона просыпающихся церквей метнулся дикий, звериный, так знакомый Ирине Николаевне крик:

— Ох... ох... о-о-ох-ох... а-а-а...

Больная исступленно корчилась на дне ящика.

Улица безумно хохотала.

МЫШИНОЕ ЦАРСТВО

Было темно, и в темноте, в противоположность сонной неподвижности, всюду стояло неуловимое белое мелькание.

Порой, странно нарушая его беззвучность, носилось еле уловимое шушуканье, нежное и странное, не людское, и тоненький, как стеклянный, сейчас же гаснущий писк. И опять белое мельканье, суетливое, торопливо-озабоченное, смутное и таинственное в предрассветной мгле.

Когда робко посветлел четырехугольник низкого окна, заваленного снаружи снегом, проступил позеленелый потолок, сбоку выпятилась огромная печь, забелела посуда на полках, и стало видно, что всюду бесчисленно снуют белые мыши, с розовыми подвижными носиками, с внимательно настороженными розово-просвечивающими ушками.

Они озабоченно мелькали по полу, взбирались на табуреты, на скамьи, на стол, становились столбиками, торопливо вытирали лапками мордочки или сбивались большим кишащим клубком, перекатывались и рассыпались,— и опять озабоченное торопливо-белое мелькание всюду. Была в этом своя, полная особенной значительности, нервно-торопливая бесшумная жизнь, которую точно спешили закончить до людской.

Под окном — стена влажная, бархатисто-зеленая, точно дорогой ковер ее одевает. А возле — огромная двуспальная скрипучая, в клопиных пятнах кровать. И стоит богатырский храп.

Под пестрым из кусочков одеялом кухарка,— лицо клейкое, и два подбородка. Рядом на подушке голова пожарного,— на гвоздике блестит каска.

Это сегодня пожарного голова, а то — либо соседского дворника, либо городового, либо из мясной приказчика,— уж чья-нибудь голова да похрапывает рядом на ситцевой, в разводах, подушке.

В глубине, в трех местах вместо дверей темнеют рваные грязные занавески, и из-за них тяжелый удушливый храп, а в одном месте детское сонное дыхание.

Одна занавеска дрогнула, отодвинулась, на минуту открыв чернеющее каменное углубление, смутно проступившую кровать и живой красный глазок лампадки. Вышел человек в длиннополом кафтане, с доброй седеющей бородой. На рот густо наросли корявые деревенские усы, а волосы гладко примазаны деревянным маслом. В добрых чуть прищуренных глазах стояло: «Ничего, все по-ладному...»

Провел шершавой ладонью, точно ночные сны снимая с лица, и, вытянув шею, стал глядеть в темный уголок, шепча и крепко прижимая сложенные мозолистые пальцы ко лбу, к животу и плечам. Стал на колени, долго смотрел в угол, все шепча, и, нагнувшись и упираясь по-стариковски руками, так что сверху выступили лопатки, прижался к каменному холодному полу. Мыши сзади любопытно становились столбиками, глядя на отвороченные громадные подошвы его сапог, или, играя, прыгали друг через дружку, или катались, свившись в живой клубок. А когда он стал подыматься, что есть духу понеслись, вытянув хвосты, в дальний угол и, блеснув белизной в полумгле, исчезли.

Человек с доброй бородой поднялся, покрестился еще и ушел, надевая шапку и скрипнув дверью.

Опять тихо и неподвижно, только сонное дыхание; мыши снова повыбрались, торопливо обнюхивая.

Совсем посветлело; по углам ясно обвисла траурная бахрома паутины. У пожарного подушкой подмяло под щеку ус, и лицо от этого стало кургузое.

За другой занавеской, такой же рваной и грязной, проснулось слабое чириканье. Кто-то сторожко и робко шуршал и возился, и опять чириканье и тоненький, тоненький голосок, а может быть, это только прозвенели упавшие капли.

Мыши, белея, взапуски носились по полу.

Подошла снаружи к окну кошка и, прислонившись усами к стеклу, долго и неподвижно глядела, подняв из

талого снега лапку и поводя кончиком хвоста. Потом, показав между усами красный рот и белые зубы, жалобно промяукала и, отряхнув мокрую лапку, ушла.

Снова робкое чириканье: «Пи-пи-пи... теннньи... дзя-дзя... дзя... дзя...»

Потом шепелявящий голосок:

— Ой, не щипайся!.. а то укусю...

— Па-а-апе сказу...

— Цыть!..

— Дзяка!..

— На дво-ол...

Из-под занавески вылезает в одной распашонке двухлетний мальчонок. Перегнувшись назад от большого, выставившегося, с вылезшим пупком, живота, с трудом держа голомозгую, стариковскую с отвислым бледным затылком голову, он заковылял на кривых ножках: не управляя движением, точно пол был покатый, он неудержимо катился в одном направлении, трясясь, как желе.

Доковылял до печки, толкнулся и, так же трясясь, заковылял в угол. Доковылял до угла, толкнулся, громко шлепнул пухлым задом о холодные плиты и стал неловко мотать ручонками, ловя мышенят, прыгавших через голые стынущие ножонки.

— Пи-пи-пи-пи!..

И, подумав, добавил:

— Дзяка!

За ним из-за занавески вышла девочка, с синими жилками на зеленовато-прозрачном личике, с широко открытыми, спрашивающими глазками под безбровым лбом.

Она поджимала покрасневшие от каменного холода ножки, то одну, то другую. Вдруг присела и стала ловить мелькавших мимо мышей, заливаясь, точно тоненький фольговый колокольчик, да вспомнила, перебежала, мелькая ножонками, и стала у кровати на одну ножку, поджав другую.

Долго стояла и смотрела на храпевшего пожарного, не спуская глаз с полуоткрытых обсохших губ, за которыми белели зубы: на подушку набежала тягучая слюна. Потрогала пальчиком рыжий завернувшийся под щеку ус и испуганно отдернула, когда пожарный громко всхрапнул...

Поднялась на цыпочки, прижимая пальчики к холодному полу, и подергала за рубашку.

— Дядя Сяватей, встявай, а то невесту пьяспись... а то саёки воёта обдеяи...

Пожарный открывает красные, как мясо, глаза, не понимая, где он и что с ним. Потом сразу спускает мозолистые, с изуродованными пальцами, мохнатые ноги и начинает быстро натягивать штаны, сапоги.

— Ах, едять те мухи с комарами — опять проспал. Ты чего же раньше не разбудила? А эта храпит, аж стены трясутся. Гора иерихонская!

Он торопливо надевает форменную тужурку, туго подпоясывается кушаком, на голову — сияющую каску и застегивает под подбородком, отчего становится совсем другой, большой и страшный.

Девочка с заплетенной косичкой все стоит на холодном полу по-гусиному: на одной ножке, и не сводит глаз.

— Дядя Сяватей, у тея голёва, как самавай.

Тот, как матерый гусь, охорашивается и оправляет мускулистую фигуру, тщательно расправив измятый ус.

— Какой самовар, а то и самовару далеко.

И, еще раз оправившись и выправив из тугого воротника подбритую красную набегающую шею, уходит. Девочка долго смотрит, не мигая, светлыми, широко открытыми, точно испуганными глазами на дверь, поджимая ножонку. Потом, глянув на бегающих мышей, торопливо приседает на корточки и начинает ловить белых мышенят, которые проворно, как масляные, проскальзывают между пальцев. В полуподвале посветлело от тоненького детского смеха.

Показывается заспанный вихрастый мальчишка с курносым лицом; руки засунуты в штаны, и в карманах играет пальцами. Следом торопливо выползает из-под занавески совсем маленький, в завязанной на спине узлом рубашонке, и бойко подвигается, торопливо, пересаживая по полу покрасневший голенький зад, восторженно повизгивая.

Мальчишка хмуро стоит, смотрит, не видя, думает о своем. Потом, глянув на ребятишек, как кобчик, с лисьим проворством, нагнувшись, шлепает одного, другого и с такой же скоростью и так же ловко потаскал за косичку девчонку.

— Не трожьте мышей, не трожьте мышей, мокрохвостые!

Дружно, точно сговорившись, все трое заревели на разные, но все на тоненькие голоса.

Мальчишка хмуро стоит и смотрит, запустив руки в карманы и шевеля пальцами.

Кухарка шевельнулась, заскрипев кроватью, и села, заняв много места.

— И когда вас угомон возьмет, пострелы? Ни дня, ни ночи, ни покою, ни отдыху... Ги-ги да гу-гу... Да эти мыши проклятые, чтобы они передохли! Барыня и то уж говорит: «Марфа, что у вас судак по-польски мышами воняет?» Да как же не кипятиться, когда ни свет ни заря содом подымут, ни проходу, ни проезду...

Из-за той же занавески проворно выскочил небольшой мужичок с ярославской ухваткой и, туго покраснев, закричал фистулой:

— Мыши понадобились!.. А чем они препятствуют, мыши? Божья скотинка... живут с них люди, чего вам надо?.. А то наберет меделянов цельный полк, ажнык кровать разваливается...

— Во как! — загремела кухарка и встала с кровати,— ты что тут за антересан!.. Я за тобой считаю, с кем ты треплешься? Вот возьму да выкину на улицу совсем с мышами да с щенятами твоими...

— Накось, выкуси!.. Не доросла... Господам плачу, не тебе...

И, чувствуя необходимость ослабить напряжение, проговорил заботливо:

— Базар вон отошел... до свиных полден прохлаждаетесь...

Марфа, все так же понося злым голосом, взяла корзину, накинула платок и ушла, хлопнув дверью.

— А ты чего, стервец, детей бьешь!..— зашипел мужичонка на невозмутимо стоявшего с руками в карманах мальчика.

Ребятишки продолжали визжать.

— Кто их бьет? Мышей давют...— проговорил он нагло.

Отец поймал его за волосы и замотал голову из стороны в сторону. Тот, не вынимая рук из карманов, нагнул голову, как баран, и так ловко завертел ею, что

выдернул волосы, отошел к печке и стал обувать рваные сапоги.

— Опять побью, ежели будут хватать,— вызывающе пробубнил он.

А в полуподвале уже носились шлепки: шлеп... шлеп... шлеп!

Мужичонка звонко шлепал малышей.

— Цыц!.. Чтобы духу вашего не слыхать!.. Цыц!..

Девочка с косичкой и голопузый мальчик с выпятившимся пупком замолчали и стояли перед отцом, только губенки судорожно и жалобно трепетали, да глаза были полны горьких слез.

Зато маленький, сидя в луже на холодных плитах и запрокинув голову, орал во весь круглый, слюнявый, беззубый рот: «Нате, мол, вот ору — и все!»

— Возьми Ванятку, выдра голенастая! — закричал мужик, топая ногами и мотая кулаком.— На место!

Девочка схватила маленького под живот и, отогнувшись назад от тяжести, с трудом понесла его, волоча ножонки, которые оставляли по полу мокрый след. А малыш с большим пупком сам заковылял, все ускоряя шажки, как под гору.

Отец поднял и прихватил рваную занавеску. В темном каменном, без окна, углублении стояла широкая кровать, заваленная тряпьем, и несло прокисшими пеленками и давленными клопами.

Девочка, часто дыша открытым пересохшим ртом, донесла маленького до кровати и, напрягшись, последним усилием взвалила на край, да не одолела, и он повис на краю, а она уперлась в него коленом, чтоб не упал. Маленький, выпучив глазенки, молчал, дожидался, так как знал, что это не наказание и не игра, а дело. И когда отдохнула, он надул животик, чтоб легче перекатиться, она его перекатила, подсадила другого, влезла сама, и они весело стали ползать, барахтаться и играть на кровати, поминутно ссорясь, смеясь, визжа и прыгая. Но головенки их постоянно были повернуты туда, где было светло, просторно и бегали веселые мыши.

Из-за других занавесок вышли две бабы. Одна — коротенькая, толстенькая, нос пуговкой и набегающие вокруг рта сорокалетние морщины, но глаза были чудесные и лучились непотухающей добротой и лаской, в ко-

торых своя особая затаенная радость, и были они голубые.

Другая — костлявая, высокая, с впалой грудью, с запалыми, потускнелыми глазами, как у измученной, непоенной, жаждущей отдыха лошади.

— Мирону Василичу почтение. Забеспокоились нонче рано.

— Вишь, мыши ей помешали... Да я те за мыши голову проломлю!.. Ей-богу, вот проломлю, и никаких.

— Чего там, всякого рукомесло кормит.

— Слышь, Груня, будешь стирать, прихвати пеленки. Я тогда ни то... не обижу.

— Ну-к что ж, ладно, постираю,— проговорила, и морщинки вокруг глаз ласково залучились.

— Васька! — злобно загремел Мирон.— Заснул? Возьми Машку, Хрипуна да Пищуху. Идтить надо, запоздались.

— У Пищухи пахалки распухли.

— О?!

Мирон тревожно запустил руку в ящик, где огромным, теплым, живым клубком кишели мыши, лаская пальцы нежной, как бархат, шерсткой; все они были белы, как снег. Повозился, вытащил мышку, торопливо осмотрел, ощупал.

— Верно, пахалки.

Он придержал ее и, слегка нажимая, несколько раз поводил согнутым пальцем под горлом.

— На́, отсади в больницу.

Васька взял и посадил в отдельный решетчатый ящик, где сидело несколько печальных мышей.

— Возьми из голодаевки.

Васька достал из третьего ящика с пяток мышей, посадил в свою клетку и в отцову. Мыши беспокойно бегали, торопливо нюхая воздух: их не кормили,— на голодные зубы они живее и послушнее.

В хозяйстве у Мирона было штук восемьдесят мышей. Каждую он знал, каждую называл по имени, у каждой помнил отметину, всю родословную, с каждой умел поговорить по-своему, были любимчики и такие, которых он терпеть не мог. Он знал их характеры, привычки и ухватки, болезни и нрав, и его так же ели заботы и тревоги по мышиному хозяйству, как его отца и деда заботило деревенское хозяйство.

Деревни он не знал и с шестнадцати лет сделался мышиным фабрикантом. Мышей выучивали самым разнообразным штукам: они бегали на задних лапках, держали передней лапкой хвостик, как шлейф, парами танцевали, свивались сразу по десять штук клубком, и он катал, бросал и ловил этот живой клубок. Чтоб выучить, держал мышей в голоде, но умеючи, не давая пить; целыми часами, лежа животом на холодных плитах, учил, колол горячей иголкой, давил ногтями за хвосты,— и они становились послушны каждому его движению.

Когда жена померла, все хозяйство легло на Аньку с белой косичкой. И теперь, уходя, он крикнул:

— Слышь, Анька, детей зараз покорми. Хлеб на гвозде, в сумке, а в углу бутылочка с молоком.

— Слисю,— проговорила маленькая женщина.

Фабрикант с Васькой ушли, а Груня и Глаша принялись за работу,— одна за стирку, другая зажгла керосинку и стала варить.

— Твой спит, чай? — спросила Груня, точно освещая все радостью ласки и доброты.

— Спи-ит. Когда встанет... Дай, господи, к четырем. Нонче до того захлинался, до того захлинался, всю ночь не спала.

— Чего такое у него?

— Вишь, доктора говорят, жиром залился весь, всю утробу жиром залило, и сердце, и глотку, не продышит. Доктора в одну душу говорят, чтоб меньше ел, да больше ходил, да чтоб нагинался, гимнастику, а куды там! Жрет не впроворот, только и знает, что жрет за десятерых да пива, как в бочку, в себя льет, а ему нюхать нельзя, потому от пива весь обрастет жиром, даже глаза зарастут, доктор сказывает, двадцать пять пудов будет весить,— земля перестанет держать. Да к нему и на козе не подъедешь — разве послушается? Одно — заливает глотку да жрет. А нонче ночью то храпит, а то замолчит. Господи, думаю, что ж это!.. Чиркну спичкой, лежит он гора горой, лицо с подушку, и глаз один смотрит,— сам спит, а глаз смотрит... Страшно, милая.

Она заплакала, утираясь фартуком.

— Что ж, не соглашается тебе завещать?

— И-и, приступу нет. Родне, а какая она там родня — на десятой воде кисель,— да на поминовение, да на школу, вот тебе и весь сказ.

— А твоего труда нипочем?

— Да уж где там! Шестнадцать годов спину не разгинала. за ним смотревши.

И полились бабьи жалобы.

Глаша жила со швейцаром, толстым, задыхающимся от ожирения, и на книжке у него было полторы тысячи. Приходил он со службы в четыре утра и день спал.

Нанимал темный тупичок за три рубля в месяц, выколачивая из каждого гроша, из каждой копейки, и держал еще жильца, благообразного мужичка с доброй четырехугольной бородой, торговавшего свечами в часовне.

Груня жила с Алексеем Иванычем, печником, в третьем тупичке. Она была старше, содержала его поденной работой, а он бил ее и редко выходил из дому.

— Эй, Груня! — послышался из тупичка голос и кашель — Алексей Иваныч много курил.

— Батюшки, проснулся... Зараз, зараз!.. Водки-то мало...— зашептала она и торопливо закачалась на обе стороны: ноги у нее были разбиты от сырости.

Мирона и Ваську с мышами ослепил во дворе блеск тающего снега; звенела веселая капель, и без удержу, как оглашенные, метались и щебетали воробьи.

На крышах уже не было снегу, а по краям, нагнувшись и глядя вниз, свисали длинные сосульки, играя на солнце сборчатым морщинистым льдом,— с них торопливо капало — и иногда стеклянно ломались и падали, мелко рассыпаясь. А над крышами играло голубое, весеннее не по-городскому небо.

Двор был просторный, Разбросанно стояло четыре больших старых дома, набитых квартирантами; пятый, барский, с белыми колоннами, особняк, выходил палисадником на улицу.

На заднем дворе тянулись конюшни и сараи извозопромышленника; вкусно пахло навозом, и запряженная в полке лошадь жевала у стены сено, оглядываясь через дугу.

Посредине двора чернело неведомо как уцелевшее старое корявое дерево; под ним, разговаривая, рылись куры и сидела кошка.

Мирон надулся, покраснел и что есть духу, как пятнадцатилетний, погнался. Кошка поставила хвост трубой и поскакала, прыгая через мокрые места. Мирон пустил кирпичом и попал в низ оконной рамы.

— Ты что хулиганишь? — закричал дворник.— По участку соскучился?

Мирон еще больше надулся и покраснел.

— Потому — тварь птиц жрет.

— Мышатник!..

— Мышиный фабрикант!.. Мышиный фабрикант!..— кричали ребятишки, бегая босиком по талому снегу.

Только на улице Мирон радостно вздохнул и потух,— тут он был у себя дома.

По расчищенным и подметенным уже панелям торопливо спешила в обе стороны бесконечная толпа.

«И откуда они только берутся»,— думал Мирон, привычным, наметанным глазом ловя и различая в толпе клиентов.

На минутку остановился и глянул по убегавшей далеко вниз улице. Внизу она терялась в задернутой голубоватым утренним туманом площади, на противоположной стороне выбегала и ползла вверх, слабо белея еще не сошедшим снегом и чернея зимними деревьями. Сияя, блестел далекий купол.

Подвывая легко и играючи, взбежал трамвай, полный видневшихся сквозь стекла людей, на минутку остановился, выбросил двух и покатился дальше, уменьшаясь и с удаляющимся воем роняя синие искры.

— Ступай кверху,— сказал Мирон Ваське.

— Чего я там не видал!.. Я на площадь пойду.

— Тебе говорят, мозгля!..

Но Васька стоял, курносый и наглый, глядя на отца маленькими злыми щелочками. Мирона подмывало дать ему хорошего ра́за по шее, сбить шапку и вкусно потаскать за волосы, да публика шла кругом,— отправят в участок, день пропал.

— Ах, ты!.. Скучился?.. Требуху выпущу...— И Мирон густо покраснел.

Васька угрюмо подался.

— Н-ну?!

Мирон почувствовал — не ударит, не только потому не ударит, что публика и в участок, а еще потому, что выросла для обоих незаметно какая-то черта, и Мирон чувствовал — ее нельзя переступать.

Он давно видел, что у Васьки начинается своя жизнь, свои интересы, начинается свое, и это приводило его в раж. Васькино назначение было помогать отцу в мышином хозяйстве, помогать поднять остальных детей, и он жестоко исправлял всякое Васькино уклонение.

Но время беспощадно: Мирон старился, Васька креп, и теперь они стояли друг перед другом, почти как равные, и Мирон как будто первый раз увидел Ваську.

Что было недопустимо — Васька и с мышами плутовал. Всю мышиную науку он превосходно усвоил, но когда издыхала мышь и отец приказывал выкинуть, он ее прятал, замораживал, а в подходящий момент доставал, оттаивал, чистил щеточкой шерстку, чтоб свежее и подбрасывал в ящик, а живую мышь взамен продавал в свою пользу. Удивлялся Мирон, почему так правильно и периодически стали дохнуть мыши.

А когда потеплело, Васька тайно завел свой мышиный завод в углу конюшни и торговал больше своими мышами.

И теперь они стояли друт перед другом, не решаясь переступить черту, которая связывала и разделяла их.

— Ну,— сказал Мирон.

— Не пойду...— сказал Васька, но... повернулся и пошел наверх,— торговля там была хуже, чем на площади.

Мирон весело зашагал вниз. Спустился на квартал, огляделся на углу, нет ли городового, достал из клетки мышь и, вытянув руку, подержал ее на открытой ладони.

Мышка, белея, торопливо понюхала розовым носиком ладонь, потом воздух, пробежала по руке, по плечу, кругом шеи, вспрыгнула на шапку, на минутку постояла белым столбиком, осматриваясь, опять сбежала и, усевшись на ладони поудобнее на задних лапках, передними стала умываться.

Публика останавливалась и смотрела.

— Ученая.

— Как человек, руками.

— Это не нашинская, заграничная.

Мирон, держа все так же вытянутую руку, уверенной скороговоркой артиста бойко выговаривал, не обращая внимания на стоявшую публику:

— Индейская денная мышь, в гимназии образовалась, в унирситете воспиталась, ни исть, ни пьеть, об одном лишь тужит, как муж жену утюжит, судьбу предскажет, тужить-горевать закажет... Девушке жениха волосатого, пьяного, рогатого... Гимназисты наши запросили березовой каши... Всем расскажет, никого не обвяжет, кто не хочет, проходи, а кто слухает, подходи, пятачок выкладай, судьбу выгребай... Пожалте, господа почтенные, к ученой мыши... Невидимое чудо двадцатого века...

Публика задерживалась около Мирона, как вода вокруг камня.

Одни, постояв, уходят, другие подходят и, вытянув шеи и глядя на белых мышей, слушают.

Приказчики, прислуга, девочки из модных мастерских с большими мешающими коробками, полотеры с желтыми лицами и желтыми щетками. Стоят, смотрят на маленький ящичек, в котором плотно уложены конвертики с судьбой. Смотрят внимательно; у каждого за равнодушно замкнутым лицом — горе, заботы, изломанная жизнь. И, быть может, в этом конвертике неожиданно ломается судьба, ждет радость.

Останавливались и чистые господа.

Маленький гимназистик, с нежными детскими щеками, стоит, сутулясь под ранцем на спине, и все вздергивает его на плечи. Он долго стоит и вдруг говорит, сам испугавшись своих слов:

— Дайте мне.

— Чего?

— Мышку... нет, судьбу.

— Пожалуйте пятачок.

Мирон взял мышь и, держа за хвостик, пустил по конвертикам в ящичке. Все с напряжением следили, как мышь мордочкой и лапками суетливо перебирала конвертики. Мирон незаметно придавил ногтем кончик хвоста, и мышь испуганно выхватила зубами первый попавшийся конверт. Мирон подал гимназистику.

Тот осанисто сделал себе двойной подбородок, распечатал и на маленькой серой бумажке прочел: «Злые враги ваши будут посрамлены, и скоро вы сочетаетесь законным браком с любимой женщиной».

Кругом засмеялись, а гимназист, краснея и конфузясь, бросил бумажку, которую сейчас же бережно подобрали.

— Фу, глупости какие! И вовсе мышь не может узнавать судьбу.— И пошел в гимназию, поддергивая и поправляя плечами ранец.

— А, ну-кась, дай-кась я,— проговорил с добродушным красным лицом и, как иголками, истыканным носом кучер, с полумешком овса через руку. Не переставая добродушно улыбаться и подняв выжидательно и немного как будто сконфуженно брови, он долго рылся в плисовых штанах и достал пятак.

Опять Мирон пустил по конвертам белую мышь, держа за хвостик.

— Ну, ну, ты по всем пущай, нехай по всем конвертам побегает... пущай хорошенько разнюхает мою судьбу...

— На, на, мне не жалко. Вишь, как вынюхивает. Тут уж, брат, без обману.

Мышь вытащила конвертик. Кучер осторожно взял черными толстыми пальцами и стал вертеть, все так же подняв брови и улыбаясь.

— Распечатывай, ты чего,— говорили кругом с нетерпением.

Кучер неловко разорвал и долго вертел бумажку.

— Ну?

— Кто ж ее знает, неграмотный я.

— Дай-кась, прочту.

Мальчишка из мясной, не ворочая головой, на которой лежала баранья нога, прочел, скосив глаза, по складам:

«Вра-ги ва-ши по-гиб-нут. Вас ожи-да-ет бо-гатство и сла-ва».

Кучер, не справляясь с разъезжавшейся до ушей улыбкой и все так же держа поднятыми вверх брови, торопливо взял бумажку и радостно покрутил головой.

— А?! Ешь те с хреном!.. До чего верно!.. Нет, ты скажи... Как в аптеке... мать твоя кочерыжка!..

И он засмеялся заразительно, детским смехом. И все так же улыбаясь и оглядываясь на всех, точно приглашая порадоваться своей радости, говорил тем, кто подходил:

— До чего зараз мышь верно предсказала. Ну, до чего верно... диковина!.. Тварь, а судьбу чует...

И сколько ни подходило людей, он не уставал рассказывать про мышь и про судьбу.

— Говорит: враги ваши погибнут...

Целый день ходил Мирон по улицам, по площади и по трактирам, ходил с сознанием не забавы, которую он предлагал людям, а серьезного, важного дела. Ибо знал, что у каждого, как и у него, за плечами горе, забота и измученность, и хотя знал весь механизм предсказаний, странным оборотом мысли эти предсказания и в его глазах принимали особую жизненную важность, правду и свое значение.

Торговля шла хорошо: штук десять конвертов продал да двух мышей по тридцать копеек.

Закусил и выпил в трактире и с веселыми глазами, когда уже цепочкой зажглись огни вдоль улиц, шел домой с баранками и конфетами для детей.

Марфа дорожила местом, любила своих господ — были они хорошего роду — и блюла их интересы не за страх, а за совесть.

А Антон Спиридонович пренебрежительно отзывался:

— Шелудивые господа... Знаю, ихний папаша гремел в свое время на всю губернию. Бывало, стол не накрывался меньше как на двадцать пять — тридцать персон, а на именины ихние и жены со всего уезду съезжались, и на триста кувертов не хватало. А лошади! На пять губерний кругом гремели,— огнедышащие львы, и больше ничего. Было. А теперь я перед ними фон-барон. А у них, кроме собак, ничего не осталось.

Действительно, от всего прошлого остался лишь великолепный прононс да удивительная порода каких-то необыкновенно маленьких болонок.

Брат и сестра, с громкой когда-то дворянской фамилией, жили очень дружно, и обоим было за пятьдесят. Сестра — старая дева, брат — бездетный вдовец. Она

отдавала комнаты жильцам, возилась с болонками и делала гимнастику по Мюллеру, чтоб сохранить бюст; он заботился о своем здоровье да выбирал, простаивая часами перед витринами магазинов, мебель и безделушки, которые собирался купить, когда разбогатеет. Так уходили дни, уходили годы.

Так как каждая копейка была на счету, то сдавались и тупички в кухне, только барыня строго-настрого требовала от Марфы, чтоб платили неослабно в срок и чтоб народ был скромный, непьющий, богобоязненный и чистоплотный. Но на кухню сама никогда не спускалась, и все, что там ни делалось, было так же далеко, как в Китае. К Марфе же относилась ласково и ценила ее преданность.

Жизнь на кухне шла, как заведенная машина.

Целый день несло жаром и запахом поджаренного масла от непотухающей плиты, около которой сердито распоряжалась с раскрасневшимся потным лицом Марфа.

Сверху то и дело сбегала горничная за блюдами, то к завтраку, то к обеду, то к ужину, и плита переставала работать только часов в двенадцать ночи. Для Марфы не было ни праздников, ни свободных дней. Оттого она была зла, всех ругала. Особенно была зла на детей и на мышей. Мыши были погань, а дети все торчали у плиты и молча смотрели большими ожидающими глазами.

— У-у, несытые!.. Ну, чего выстроились, как частокол... Ступайте в свою нору.

И сердито сунет в рот одному пирожок, другому мясца, третьему ложку рису разваренного и даст шлепка. У детишек весело загорятся глазенки и, торопливо прожевывая, побегут в свою темную нору на вонючую кровать.

А за занавеской печник, Алексей Иваныч, уже бубнит пьяным голосом:

— На одну ногу, слышь; на одной ноге... тебе говорят... Н-ну!.. Как раки ходят? Н-ну!.. Лезь под кровать, живо, те говорят, задом наперед... ну-ну!..

Слышны глухие удары.

— Вылазь... Перекатись через себе... Кланяйся в землю... тебе говорят!.. Ну, так. Раз, два, три... девять, десять, одиннадцать... двадцать один, двадцать два... Считай сама, а то замучился.

Слышен слабый, притихающий, когда она кланяется, голос Груни:

— ...Тридцать пять... тридцать шесть... тридцать семь...

— Будя, замолчи, тебе говорят, спать не даешь. Стань мордой в угол, стой, покеда буду спать. Да на одной ноге стой... Тебе говорят!..

Через некоторое время слышно — храпит Алексей Иваныч, но никто не выходит из-за занавески...

Из своего тупика выходит Глаша.

— Опять?

— Да, опять, окаянный, измывается — ни сроку, ни отдыху не дает. Ну, доведись до меня, я б его выучила, я б ему показала место! Я б из него узелок завязала!

Глядя на Марфу, Глаша думает, что та справилась бы не с одним Алексеем Иванычем.

— И чего она от него не уйдет?

— Ну, вот любит пса.

Груню все жалеют и все ею пользуются: на всех она стирает, бегает на посылках, исполняет мелкие работы. Она без устали тянется в работе по сырым прачечным. Но и работать Алексей Иваныч не всегда пускает, требуя в то же время, чтоб была еда и водка. И всегда она в синяках, с подбитыми глазами. Но подбитые глаза лучатся ласковостью и добротой.

Была когда-то Груня замужем за сапожником. Прожили они три года, сапожник взял в дом любовницу, а ее выгнал. Встретилась с Алексеем Иванычем, которого была старше, прилепилась к нему, и вот он ее тиранит восьмой год.

Проспится Алексей Иваныч, зевнет и скажет:

— Грунь, а, Грунь!

— Я тут, Алексей Иваныч,— еле ворочая губами, отзовется Груня, стоя на одной ноге.

— Будет тебе стоять-то, иди — може, куда надо.

Груня, с трудом ступая отекшими ногами, начинает убирать тупичок.

А Алексей Иваныч выйдет в жилетке и выпущенной рубахе и похаживает по кухне. Он — красавец: черные кудрявые волосы, никогда не чесанные и от этого особенно красивые, цыганское лицо, и, когда говорит, из-под усов сверкают белые, как кипень, зубы.

Он ласков и обходителен.

— И как вы только понимаете насчет кушаньев, Марфа Ивановна.

— Неча заговаривать зубы-то. Груньку меньше б тиранил. Что она, собака тебе?

— Да кто ее тиранит, господи ты боже мой! — искренно изумляется Алексей Иваныч.— Живем мы с ней, как муж и жена, и все честно и благородно. Грунь, али ты недовольна на меня?

— Довольна, Алексей Иваныч, много довольна вами.

И глаза ее сияют.

Часам к четырем с хрипением, с плеванием, с кашлем просыпается в своем тупичке Антон Спиридоныч. Глаша испуганно и торопливо готовит пиво, чай, умыться.

Тот кашляет затяжным, с генеральскими раскатами кашлем, пока не откашляет, и с налившимся лицом и глазами хрипит:

— Пива!

А Глаша уже все приготовила и льет в пенящийся стакан. Потом, подняв занавеску, начинает убирать тупичок.

У Антона Спиридоныча в тупичке почище,— бумажные, посеревшие от пыли цветы, фотографические карточки на стене, и зеленым коленкором задернуто повешенное на гвозде платье. У Алексея Иваныча попроще, а к Мирону не влезешь: грязь, тряпье, не убрано.

Пока в тупичке убирают, Антон Спиридоныч сидит за пивом в кухне, осунувшись у стола огромным, из одного жиру телом, и тяжело, с хрипящей одышкой дышит.

— Вы вот задвохаетесь, Антон Спиридоныч,— сердито переставляя обожженными руками на пышущей плите кипящую кастрюлю, говорит Марфа,— а об том не подумаете — Глаше завещание написать. Храни бог, не подыметесь, куда она? На улицу. Под забором и сдохнет.

Он сидит, всем телом расплывшись на табуретке, сопит, уставившись по одному направлению, и тянет пиво, собирая языком с мокрых усов пену.

— Нехорошо, Антон Спиридоныч. Женщина она али нет?

— Знамо, не корова.

— Весь век свой на вас убила.

— А кормит кто?

— Да ведь мало ли она на вас бьется: и сготовит, и постирает, и приберет, и приласкает...

— Фу-у, да на ней мяса совсем ничего.

— День-деньской, погляжу, все округ вас возится — да и на поденщину ходит.

— Даром кормить никто не станет.

И, посопев и обобрав снова насевшую на усы лопающуюся пену, сказал:

— Вон граф Недоносков-Погуляй, так у него три любовницы в трех концах города. Дескать, куда ни поедет, везде может время приятно провесть. Поедет в театр, из театра тут недалеко, пожалуйте. Поедет на заседание — здесь же возле. Поедет за город, ворочается — зараз уже ждут.

— Да какая она вам любовница? Шестнадцатый год живете.

Но он сопел и не слушал.

— Эти полторы тыщи как мне достались? Со-оком. Тоже не на улице нагреб. Вы думаете, швейцар — так галуны да одна приятность... стоит да пятиалтынные огребает. А то положите, что свету божьего, окромя своей улицы, его и не знаешь.

Он закашлялся и долго хрипло дышал.

— Так я непреклонно решил: сто рублей родне братниной жены, как я одинокий, никого у меня не осталось. Сто рублей на церковь в нашей деревне. Сто рублей на похороны, поминальный обед и на вечное поминовение. А тысяча двести рублей на школу, чтоб училище образовали в нашей деревне.

— Да на кой ляд вам училище? И кабы дети у вас были...

— Нет, нельзя. Господа завсегда жертвуют и отписывают по духовному на университеты и другое высшее учение. Вот наш граф Недоносков-Погуляй отписал десять тысяч на стипендии. Камер-юнкер Суздальский

основал школу рисования. У всех господ так, заведение такое, сколько я ни жил.

Вечером, когда зажгутся огни, приходит веселый, довольный Мирон с веселыми, трактирными глазами и выкладывает ребятишкам на стол баранки, пряничных лошадей и леденцов. Дети визжат от радости, тянутся к столу, а Марфа ворчит:

— То-то, недотепа. Без бабы — дурак-дураком. Заместь, чтоб накормить ребят, али бы принес чего из одежи, голые ведь, а он на голодное-то брюхо конфеты им пхает. Мышиная голова...

— Марфа Ивановна, да напрасно,— Мирон в возбужденно веселом настроении,— моя скотинка обслужит, всего заработает, и сыты и обуты будем. Нонче на рубь на двадцать на пять наторговал.

Так тянется и заканчивается день.

Приходит и дядя Федор,— он торгует свечами в часовне. Придет, всех поприветствует, попьет кипяточку без чаю и без сахару, всем скажет по ласковому слову — и к себе в тупичок. Платит он Антону Спиридонычу пятьдесят копеек в месяц, и за это спит у него на полу возле кровати и держит под кроватью зеленый сундук. И каждый раз, как ложится спать, помолится богу, пощупает замочек у сундука — цел.

Всю свою жизнь дядя Федор провел в деревне. И даже не в деревне, а в лесу, в землянке. Была у него жена и ребятишки. Ребятишки умерли, осталась одна девочка. Затосковалась жена по детям, надоело ей жить в лесу, она и сказала:

— Будь ты проклят, лесовик! — и ушла от него к мещанам в город.

Так дядя Федор и не знает, куда она делась.

Вырастил он дочку, перешел с ней в деревню жить. А в деревне летом она нанялась к господам, которые жили на даче. Потом уехала с господами в город и изредка писала отцу, что живет по местам и хорошо живет. Когда, случалось, рублишко пришлет, а то и два.

Так прошло два года. Заскучал дядя Федор и приехал в город дочку повидать.

Город был громадный, такой громадный, что у дяди Федора от мелькания людей, от движения, от бесчисленных огней, от шума — целый месяц болела голова. В лесу он знал каждое дерево, а тут десять раз прохо-

«В НОМЕРЕ»



«СТРАННАЯ НОЧЬ»



дил мимо своего дома, не узнавал и все расспрашивал, как пройти.

Раза три сидел в участке за то, что богу молился. Как увидит церковь, остановится, скинет шапку и давай молиться, а то поклон земной положит. На панели еще туда-сюда, публике только мешает, а если, случится, переходит рельсы да увидит церковь, тут же снимает шапку и бьет поклоны, не обращая внимания на звонки. Из-за него приходится останавливать вагоны, вагоновожатые ругаются, зовут городового, и дядю Федора с дворником отправляют в участок.

Дочку он разыскал только на второй месяц. Пришел повидать ее, а ему сказали, что ее можно видеть только вечером, днем она спит.

Удивился дядя Федор, но пришел вечером. Долго ждал на кухне, а потом его позвали, и в переднюю вышла дочка, только он ее не узнал. Голые руки и грудь, на лице румянец, а на голове такая огромная шапка волос, что он удивлялся, как голова назад не отвалится, и сказал:

— Когда у тебя, дочка, волосьев столько наросло?

А она все потирала пальчики в кольцах, как будто ей было холодно, и все то засмеется, то глядит на него большими круглыми глазами.

— Вы, папаша, приходите послезавтра... Мне хорошо живется... А только у нас сегодня гостей видимо-невид...

Да вдруг упала к нему на грудь, и стали голые плечики у нее вздрагивать. Ничего не понял дядя Федор, только почувствовал что-то страшное в этом огромном, больше всякого леса, городе.

Он только гладил шершавой рукой огромно навороченные, как копна, на ее голове чужие волосы и приговаривал:

— Дочечка... дочечка... доченька моя...

А она отняла голову от груди.

— Папаша, вы прическу испортите. Вы, папаша, сюда не ходите, а я вас буду проведовать.

Тогда одна упорная мысль овладела дядей Федором: отдать дочку замуж. Поступил он продавать свечи в часовню, там ему платили с пуда. Медленно, капля по капле, зернышко по зернышку собирал он приданое в зеленый сундук и жил постоянно впроголодь.

Лес и лесная жизнь научили дядю Федора неумирающему терпению, но тяжел пуд, долго тянется, и лишь несколько копеек от него остается. «Ничего, все по-ладному»,— говорит дядя Федор и начинает читать молитвы на ночь. Уляжется на полу и все поворачивается, то один бок согреет, то другой,— холодило с полу-то.

Глаша спит возле, на кровати. Несется сонное дыхание и из кухни, и от Алексея Иваныча, и ребятишки у Мирона бормочут.

Заведет глаза дядя Федор, и сейчас одно и то же: будто он в лесу и лезет на высокий старый осокорь. Не привыкать стать, цепляется руками и ногами, упирается в ветки, а глянет вниз — земля вот она; подымет голову — не видать верхушек. И будто непременно надо дяде Федору влезть и глянуть поверх деревьев. И знает, увидит — только качаются верхушки, да ветер стонет, а надо лезть, надо глянуть — и страшно, и никак не долезть.

Часу в пятом, когда в доме мертвое царство и с потолка не доходят никакие звуки, дядю Федора будит кашель, хрип и сопение — Антон Спиридоныч пришел со службы. Сидит он, красный, расплывшийся по кровати, и хрипит:

— Пива!

А Глаша уже суетится, откупоривает приготовленную с вечера бутылку.

— Извольте, Антон Спиридоныч, кушайте,— и кланяется.

Намочит усы Антон Спиридоныч, оберет пену языком и начнет, хрипя и задыхаясь, рассказывать. Закроется, дескать, кинематограф, разойдется публика, запрут двери, а тут самое и начинается настоящее по отдельным кабинетам, которые при кинематографе как будто фойе,— девицы, шампанское, веселье, деньги рекой, и ему, Антону Спиридонычу, хороший доход, и полиция не трогает.

Между кашлем и одышкой Антон Спиридоныч, видимо, всласть рассказывает такое, что дядя Федор, сидя на полу, только скребет в голове да иной раз сплюнет под кровать. Лечь бы уснуть, да не уснешь под эту хрипоту, и прислушивается он мимо рассказа к своему привычному,— бор шумит разноголосо и гневливо и в то же время одним ровным могучим голосом.

— О господи!..

— Вон, граф Недоносков-Погуляй почище нас с тобой, а бывало...

Антон Спиридоныч чем дальше, тем больше распаляется.

— Чего морду-то воротишь? Не хуже нас с тобой, с образованием люди, понимают...

Потом заваливается на кровать. Глаша тушит лампочку, тоже ложится, и при неверно мерцающем свете лампадки на полу виднеется дядя Федор на коленях. Он глядит не отрываясь на красный глазок лампадки, размашисто крестится, крепко прижимая, кладет земные поклоны и громко шепчет:

— Господи, приими и сокруши содеянное...

А на кровати хрипло, сквозь одышку:

— Глиста... разве ты женщина?

— ...Господи, еже словом, еже ведением и неведением...

— Иная баба... действительно, а ты что?

— За что вы меня, Антон Спиридоныч?.. Господи, чем же я виновата?

— ...Спаси и помилуй путешествующих, блудущих!..

— Да на кой ты ляд кому сдалась... тьфу!.. отодвинься...

— Господи, да ведь упаду с кровати...

В мерцающей мгле стоят слезы и слышен все тот же неустанный громкий шепот молитвы.

Антон Спиридоныч никак не отдышится, от одышки не может уснуть. Он скашивает глаза на припадающую к полу темную фигуру на коленях.

Дядя Федор, отмолившись, ложится.

— И чего ты, дядя Федор, все поклоны отбиваешь? Не то во святые хочешь залезть, не то капитал приобресть у господа.

— Не говорите таких слов, Антон Спиридоныч, не надо, нехорошо, негоже...

— Я к тому... не то что к смеху, нет, зачем, а только кажный молится за себя, а чтоб за всех, на то рукополагаются особые должности, сиречь попы. На то у них причт, ладаном кадят, и за поборами ездют. Ну, а ты-то чего стараешься? Ведь тебе за это даже в морду не плюнут.

— И вот неправильно, Антон Спиридоныч. Слыхали про Содомгомору? Господь постановил, по благости своей, сжечь за беззаконие. Стал Лот на колени, просит за грешников. А господь смилостивился и сказывает: «Ежели девятеро праведников найдется, помилую». Лот туда, сюда,— нету! «Господи, а ежли хочь шесть?» Ну, господь грит: «Ладно, найдется и шесть, помилую». Лот это опять кинулся: «Нету, хочь што ты хошь делай». Кинулся опять: «Господи, ну, если хочь один». Господь подумал, подумал: «Жалко из-за одного да эва сколько содомцев миловать». Опять же и Лота жалко, просит,— и говорит: «Ежели найдется хочь один, окромя тебя,— помилую». А, сказать, и одного не нашлось; так и сгорели. Теперича я не к тому, что против Лота себя ставлю, боже упаси, ну, только спят, спит цельный город, и не чуют, что над ними. А может, бедствие обвисло. Может, божий гнев за стенами стоит...

— Так ведь не слыхать что-то, чтоб бог города ноне палил.

Дядя Федор покрутил головой, посидел, потом лег, натянул кафтан и завел глаза — скоро вставать к часовне.

Стал засыпать и Антон Спиридоныч, борясь с удушьем, открывая и закрывая глаза, и трепетно мелькающим, воровливым светом озаряет груду его тела глядящий из угла красный глазок лампадки.

Случалось, по праздникам и барыня и квартиранты уезжали на целый вечер. Тогда в Марфином салоне собирались.

Отобедают господа, и горничная перестанет прибегать вниз, Марфа приберется по кухне, поставит самовар, накроет кухонный чисто выскребленный стол штопаной скатертью, а на скатерть — самовар и баранки; понемногу начинает собираться публика.

Вылезет из своей берлоги Антон Спиридоныч, сопя и кряхтя.

— Садитесь, Антон Спиридоныч,— скажет Марфа с озабоченным видом принимающей хозяйки.

— Что ж, можно единую,— присаживается, и под ним, подаваясь, слегка трещит табурет.

— Мирон Васильич, вы что же? Приходите, гостями будете. Глаша, иди. И вы, Алексей Иваныч, Груня, али тебя просить?

Гости приходят со своим сахаром, хлебом, а чай Марфа заваривает от себя на всех. Впрочем, он ей ничего не стоит,— хозяйские опивки сушит. Перед Антоном Спиридонычем Глаша ставит бутылку пива, а перед Алексеем Иванычем Груня — полбутылки водки.

Гости бесконечно пьют зеленую водицу, прикусывая сахар и отирая пот. Ведут разговоры.

Прибегает на минутку горничная.

— Садись, Маня,— говорит миролюбиво Марфа.

— Да ведь некогда, зараз уезжают.

— Ну, ну, чашечку.

Та хотя и брезгает этой компанией и наверху пьет вдоволь господского чая с печеньями, которые таскает из буфета,— присаживается на краешек табуретки, чтоб не обмять платья, и начинает пить зеленую водицу.

— Далеко вы от меня сели... поближе,— хрипит Антон Спиридоныч, и глазки у него масленеют,— пивка стаканчик.

— Нет, мерси-с, не люблю, горькое.

— Так можно подсластить, хе-хе-хе...

— Было бы с кем.

— А мы чем же не вышли в порядке?

— Пахнет у вас тут нехорошо, прямо воняет.

Мирон сейчас же настораживается, принимая на свой счет:

— Чем же нехорошо, Марья Александровна? Обыкновенно — человечиной.

— Мышами.

— А что ж такое мышь! Да от нее запах-то чище еще, как от человека. Мышь — зверь, а зверь чистоту свою сам понимает. Взять лошадь. Да многие господа даже любят, как запах дает конский навоз, только чтоб свежий, конечно. А ну-кась, возьми человечий!..

— Ну, вы уж нарассказываете.

— Вы, Марья Александровна, подождите минуточку,— говорит галантно, хрипя и кашляя, Антон Спиридоныч,— я вам сейчас за церковным вином пошлю, красное и приятное.

— И со святостью.

— Нет, благодарю, побегу.— И убегает по лестнице, шелестя юбками.

Антон Спиридоныч, хрипя и подымая дыханием огромный живот, глядит вслед говяжьими глазами.

— Аккуратненькая.

Мирон сердито прихлебывает с блюдца на пальцах.

— Воняет. Да, может, она, мышь, еще чище тебя. И корова те воняет, а как без коровы в хозяйстве?

Марфа сердито вытерла пот с лица.

— Сказал: корова!.. То корова, а то мышь. Что молоть-то!

— А по какому случаю разница? Только что энтой бог рога насадил. Так у многих коров рога спиливают. А то есть комолые, совсем без рогов от роду,— порода разная. Мышь, корова ли, все одно домашнее животное. Опять же и мышь разной породы. Есть мышь длинная на манер таксы, и по хребту черная полоса, а есть круглая мышь, а есть головастая. Есть земляная мышь, есть водяная, есть полевая, есть потолочная, которая по чердакам. А то кладовая мышь,— это особая статья. И до чего умная скотинка: яйца теперича таскать надо в нору. Ну, так катить — бьются. Так старая мышь облапит яйцо, ляжет на спину, а другие ухватют ее кто за шкуру, кто за хвост, кто за ноги, и тянут ее, стало быть, волоком к норе, а она лежит, и на пузе у ней яйцо. А то вот молоко из кувшинов пьют. Кувшин высокий да узкий, молоко глубоко, туда не влезешь, утонешь. Так мыши обсядут край, спустят хвосты, поболтают, поболтают в молоке-то, вытянут и обсосут хвосты и опять поболтают и опять оближут. Так и напьются: все молоко вылакают.

— Диковина!

— Тьфу, нечисть!.. Пущай только ко мне залезут, и вам всем тошно станет.

— А то есть поющая мышь. Так эта «матушку голубушку» до того ли выводит, за сердце берет, ей богу.

— Бреши больше.

— Да ей богу, я, что ли? Ученые открыли, так и называется «поющая мышь». Чисто андельским голоском.

— Не греши.

— Сядет это на задние лапки, сама столбиком, головку набок, и...

Мирон вытянул заросшую шею что есть силы, собрал углом над переносицей брови, набрав на лбу складки, округлил шершавый рот и диким голосом завопил, мотая головой:

Ма-а-ту-у-шка-а, го-олу-у-бу-уш-ка-а,
со-о-лны-шка-а ма-а-я-а-а...

Антон Спиридоныч недовольно засопел, затягиваясь папиросой:

— Этак-то ангелы на небеси поют? Сбежишь.

— Ну, до чего умилительно. Так и называется: поющая мышь, фараонова. Фараоны при себе их держат заместо хора.

— Это которые из босова батальона?

— Не, египетские цари, сказать — африканские.

— Что ж ты не заведешь?

— Дорогие, приступу нет. Одна поющая мышь, называемая фараонова, стоит пять тысяч рублей.

— Цена!

— Да чего вы рассказываете,— загремела Марфа,— мышь попадет в кадку, зараз святой водой надо кропить,— погань...

Мирон весь покраснел, надулся и закричал фистулой:

— А почему такое в алтарь кошек пускают? — И, приподнявшись и осмотрев всех, отчеканил: — Стало быть, мыши есть во святом месте. А вы говорите — погань.

— Мышь в церкви завсегда.

— Ну, то-то!

Антон Спиридоныч запыхтел и сердито заворочал животом.

— Об мышах — разговору другого нету... стало быть, к чаю закуска.

— Тьфу, прости господи,— плюнула Марфа.

И вдруг сделавшись совсем другою, проговорила, притихшая:

— Чтой-то Леши нету.

И подождав и прислушавшись, вздохнула и покликала:

— Дядя Федор, а, дядя Федор, иди, с нами чайку попьешь.

Из-за занавески:

— Ай?

— Иди, говорю, почаевничаешь с нами.

— Ну-к что ж.

Дядя Федор выходит, отвешивает поклон.

— Помогай вам господи, чтоб на пользу, на потребу.

— Садись, садись, вот сюды, вот хорошо. Ну, как, дядя Федор, шибко торгуете свечами? Небось на полсундука-то приданого набили?

Дядя Федор крестится, садится и начинает терпеливо, чашка за чашкой, пить чай, так же терпеливо, как вырабатывает он на приданое с пуда: «все по-ладному...»

— Леши чтой-то нету...

— За ваше драгоценное,— говорит Алексей Иваныч, запрокидывает черные кудлатые космы и опрокидывает под черные вьющиеся усы рюмку.

Щекастое лицо Марфы зло наливается краской и густо лоснится.

— Драгоценное! А чего Груньку лупишь, окаянный, кажный день, как сидорову козу.

— Ась?.. Да кто ее этово?.. Ништо-о!..

Он покрутил цыганской головой, облапил, паясничая, Груню и стал ласкать.

Та конфузливо:

— Будя... ну, будя, Алексей Иваныч...

— Еще притворяется, идол черномазый. А кто убивает да измывается?

— Кто-о ж это?! — изумленно блеснул белками Алексей Иваныч.— Али без меня?

— Ы-ы-ы... чтоб тебя! — возмущается Марфа и сердито сморкается.— Доведись до меня, я б тебе показала кузькину мать.

— Трудно нашему брату при ихней сестре,— вздохнул животом Антон Спиридоныч,— Марфа-то Ивановна по три мужика на каждую руку, и глядеть нечего. Покойного-то мужа, бывало, подымет за шиворот да и швырнет на постель. Он, как котенок, лежит на постели-то, дожидается. Герой женщина нашего времени.

— Ну, а то как же с вами, с кровопивцами...

Алексей Иваныч, лохматый и черный, задумался, глядя на самоварный кран,— самовар тоненько и унывно пел. Потом скрутил и заломил собачью ножку, закурил и, наклоняясь к Марфе, проговорил, показывая белые, как кипень, из-под черных усов зубы:

— Какая моя через нее жизнь! Кабы не она, человеком бы я был... сам об себе помышлял...

— Не то в босяки бы попал.

— А хошь и в босяки. Пущай в босяки! По крайности, так бы и знал: босяк. И люди бы знали: босяк. На роду написано, босяк, стало быть. По крайности, звание свое имел бы. А теперя я што? Вольный человек? Нет, все меня тянет в свою нору. Женатый? Не-ет, какая она мене жена. Холостой? Опять же нет: с Грушкой вот сколько годов вяжусь. И не работник я,— чего мне работать, как она меня кормит, али дурак я? Опять же без работы скучно, пить надо. И выходит, потерянный я человек навечно.

Он быстро, торопливо втягивая черные, как сапожный вар, щеки, стал затягиваться, и огонь сразу съел пол собачьей ножки.

— Вот, одно — убить ее, и больше ничего.

Марфа Ивановна замахала руками.

— У-у, цыганская образина...

Прислушалась: снаружи скрипнула дверь.

— Лешенька!..

Лицо ее засветилось такой бесконечной ласковостью, что за столом притихло.

По лестнице спустился молодой парень лет двадцати двух, в потертом пальто, с втянутыми землистыми, рабочими щеками. Он бросил на кровать картуз, торопливо, спеша куда-то, скинул пальто и, так же спеша и торопясь, беспокойно пробежал по лицам большими карими глазами.

— Здравствуйте, мамаша. Антону Спиридонычу... Честной компании...

— Доброго здоровья... Здравствуйте, Алексей Матвеич... Наше вам..— нестройно откликнулись из-за стола и любовно раздвинулись, давая место.— Садитесь к нам, чайку.

Он был щуплый и торопливый той особенной нервной торопливостью, для которой дорога каждая свободная минутка и которая вырабатывается вечной, неперемежающейся работой. Сел на табуретку, согнувшись, вдавив плоскую грудь, и взял рабочими, с черно въевшимся железом и маслом, руками налитую матерью огромную пегую чашку с чаем.

— Ну, как у вас? — прохрипел Антон Спиридоныч.

— Да что,— отозвался Алексей.

— Лешенька, ты бы с крендельками.

Это была совсем другая Марфа Ивановна. Уже не было ни пожарных, ни городовых, ни приказчиков из мясной, ни соседских дворников, а были только материнские глаза, сияющие бесконечной любовью, бесконечной гордостью, бесконечной, где-то глубоко запрятанной тревогой за сына, за единственного в мире. Она и вся как будто стала меньше, только глаза сияют.

Кругом за столом как будто подчинялись этой материнской гордости. И Алексей Иваныч, докуривая собачью ножку, и Антон Спиридоныч, нося животом, и Груня, и Глаша, и Мирон точно слегка повернулись к Алексею. Только дядя Федор терпеливо пил чай, попрежнему без сахара, прихлебывая, с капельками пота на носу, горячую воду, как бы разумея: «Ну-к, что ж... все по-ладному...»

— А то,— заспешил-заговорил, смахнув жиденькие, крысиные усы, Алексей, заспешил, как будто не видел, да и надобности в них не было, кто сидел, а принес свое тревожное, недоконченное, беспокойное,— а-а, мол, так: тяп-ляп... не-ет... не-ет...— Говорил он торопливо, и торопливо, вовсе не потому, что ему хотелось, пил из рябого блюдца, обжигаясь и моргая без надобности,— ага... не в этом штука... безделица!..

— Ну, да, конечно, понимаем,— и Алексей Иваныч дружелюбно снова запрокинул кудлатую голову и влил под усами между белых зубов рюмку,— за нас, за бездомных... Ну как же, понимаем...

— О, господи, господи!.. Да ведь...— да не докончила и вытерла вдруг покрасневшие глаза Марфа Ивановна.

И хотя Антон Спиридоныч был другого мнения и как бы из другого царства, опустил живот и сказал:

— Князь Грязной-Прокудин так-то сказал: «От Питера до Москвы ихними виселицами уставил бы, будь моя полная власть, и чтоб воронье растаскало». Д-да, потому закон, строгость.

Марфа Ивановна заплакала.

— Лешенька!..

Антон Спиридонович шумно выдохнул и, как бы снисходя и признавая законность материнского горя, подавляя кашель, прохрипел:

— Ему легко говорить: сто тысяч десятин, да на Кавказе, да в Азии...

— Мышá есть где разводить,— вставил Мирон.

Антон Спиридоныч не удержался, закашлялся, трясясь, весь огромный и красный.

Алексей, как ужаленный, заметался, беспокойный и не находя места.

— Да разве в этом штука?! А-а...

В двери, резко и странно выделяясь, колебалась перьями огромная шляпа, а у горла краснел красный шелковый бант.

— Здравствуйте, папаша. Здравствуйте, Алексей Матвеич.

Она подала руку, а остальным кивнула головой, и перья на шляпе затанцевали.

Никто не подвинулся, не глянул. Дядя Федор сказал:

— Ну-ну, садись, чайку попьешь; я напился... ничего...

Он налил, не всполаскивая, глиняную кружку.

У девушки раздувались красиво вырезанные ноздри, из-под тонких бровей блестели глаза, а на худеньком личике — крикливый румянец.

— Обожатель подвез,— сказала она, нагло оглядывая всех, лишь пропустив Алексея,— до страсти люблю на автомобиле, на извозчиков глядеть не могу.

На ней было расшитое пальто, которое она не снимала, а на голове колебалась перьями шляпа...

Поискала глазами сахар, но у дяди Федора не было, а из тех никто не предложил, и стала пить, будто не замечая.

Марфа Ивановна громко прикусывала сахар.

Девушка, так же делая наглые глаза,— начхать, дескать, мне на вас на всех,— и щеголяя развязностью, сказала:

— Ну, как, Мирон Васильич, поживают ваши мыши?

— Мышь тебя не касается,— сказал Мирон, схлебывая с блюдца, и, склонив голову, налил из пузатой чашки,— мышь себя блюдет, не то что...

— Вешал бы таких, будь моя власть!..— сказал Антон Спиридоныч, ни к кому не обращаясь, но все молчаливо поняли, к кому это относится.

Алексея точно укололо. Он опять заметался, беспокойно бегая глазами, смахивая жидкие усы, дергая плечом.

— Не в том дело... Эка невидаль — тюрьма!.. Да в одиночке наш брат отдохнет, по крайности, а то нет? Да хоть вздернут... Ну что!.. Намаешься, ну, устал, край... прямо ложись, помирай, задохся, все на тебя... Невидаль!..

— Господи, Лешенька, перекрестись!..

— Не в том дело, говорю... Наш брат из десяти девять тюрьмы понюхал, не страшно... А вот...

Он уставился на них глазами, побледнел и зашептал:

— В этом месяце... товарищ у меня, просто друг... одна чашка, одна ложка... сны одни видим... вдруг сказывают: продает. Вскочил я: «Архип?!» — «Продает»,— говорят. «Это — Архип?!» — «Продает...» Ухватил я ножичек, с размаху в ладонь себе... наскрозь... кончик вышел...— он показал заструпившуюся с обеих сторон рану,— вот! «Когда кровь не пойдет из меня, тогда поверю... режьте мясо с костей...» А они: «Ты, говорят, не прыгай, не меньше тебя друг нам, ты смотри на факты жизни. Первое, как соберемся, где он побывает,— аресты на другой день уж непременно. Сходку назначим, ежели он знает, полиция непременно накроет. Он тебе друг, это, говорят, понимаем, и нам товарищ, а дело впереди всего. Он тебе друг, а страдают тысячи народу. Ты за него, говорят, мясо с себя режешь, а за дело, говорят, и всю шкуру приходится снять».— «Не поверю, говорю,— доказательства!» — «Изволь, говорят, с этого бы и начинал». Стали следить. Глядим, под вечер городовик к нему. Товарищ один прокрался,— городовик прямо в комнату к Архипу... часа три у него пробыл, потом ушел... Эх, т-ты-ы!..

Алексей завертелся, оскалив зубы, точно ему прихлопнули палец дверьми.

— Что? — говорят. Ну, давайте, говорят, проверим окончательно. Назначили сходку у Архипа в десять вечера. А в девять,— к нему никто не пошел, а расставили посты на улице и стали караулить,— а в девять к нему в квартиру прошел пристав и два околотка, а на улице у ворот городовика поставили. Ну, ясно?

Он измученно оглядел всех.

Девушка сидела с обвисшими перьями, с горестно опущенными углами рта, с иссиня-помертвевшими, резко очерченными на бледном лице румянами, смотрела на Алексея глазами побитой собаки и все потирала маленькие в кольцах руки, как будто ей было холодно.

— Ну, что, говорят, что?.. А-ха-ха-ха!..

Алексей засмеялся и забегал глазами. Весь ссутулился и опять зашептал:

— Мне его... то есть Архипа... досталось... Узелки тянули... Пойдем, говорю... ночью, часов двенадцать было... пойдем, говорю, пойдем... Удивился: ночью!.. Ну-к что ж, говорю, голова болит. Пошли. Улицы, как мертвые. Фонари дымятся... кое-где... глаза протираю — дымятся... Веду его, господи, веду его, друга своего. Долго шли, на кладбище пришли. Черно, памятники маячат. Сели на плиту. Он говорит: «Чудной ты нынче». А я... засмеялся. Сам не знаю, чего засмеялся. Пощупал браунинг в кармане да говорю: «Давай, выпьем,— две сотки у меня в кармане». Пусть, думаю, в последний раз, а сам стал считать до пятидесяти: думаю, досчитаю до пятидесяти и... чтоб не мучился... А он говорит: «Не хочу, завтра рано вставать».— «Чего так?» — «На квартиру, говорит, новую перехожу..» — «Почему такое? (а у меня в голове: двадцать три... двадцать пять... двадцать семь...)».— «Да, говорит, не нравится хозяйка, надоело, с полицией больно дружбу водит...» — «Ну, двадцать девять... тридцать...» — «На прошлой неделе именинница была, так пьянствовали до утра: пристав, два околотка».— Я ухватил за руку. «Как звать?» — «Да Марья же, двадцать второго июля».— «Это когда сходку назначили?» — «Ну-ну, самое. Хорошо, что не пришли. Мне-то послать некого, а сбегать — кто-нибудь придет».— «А зачем городовик у ворот?» — «Да для посылок же, за вином в магазины все с заднего хода ходил; а Марья Васильевна ему водки все с заднего хода выносила».— «А который к тебе все городовик приходил?» — «Когда?» — «Да недели с три назад».— «Да Прошка же, брат!..» Ах, ты!.. Знаю же, Прошка же, двоюродный брат его... на нелегальном. Бывало, придет, все городовиком одевался — безопасней; какой околоток и спросит,— а он: «С поручением, дескать, секретным, туда-то»,— ну, и ладно. Задал еще вопросов,— все просто

объясняется... Упал я, целую ему коленки... Испужался он, поднял, повел, думал,— с ума я сошел.

Алексей поворачивал ко всем длинную шею и не то смеялся, не то судорожно икал:

— Чтожж этто... чтожж этто!..

— Лешенька, родимый мой!

Мирон ушел в угол возиться с мышами.

Антон Спиридоныч сопел, затягиваясь толстой, как бревно, самодельной папироской.

— Теперь везде пошли фонари газовые, не могут коптеть; прежде керосиновые, так коптели.

Девушка все с теми же собачьими глазами, так же торопливо и нервно, как будто заразилась от Алексея, дергалась, вздрагивая, оглядывалась и все потирала маленькие озябшие в кольцах руки, насилуя перехватывавшие горло спазмы.

— Я все... все... Алексей Матвеич... господи!.. Да разве...— и, судорожно схватив, поцеловала Алексею руку, а тот залаял захлебывающимися звуками, прижимая лицо к столу.

— Лешенька, да господь с тобой... Дай-ка я тебе чайку налью... Умыть тебя с глазу ужо... Родимый ты мой!..

Алексей Иваныч, рассолоделый от водки, говорил, заплетаясь:

— Ошибка в хвальшь не ставится... Вот, Грунька, так-то с тобой... Учись... Что ты и что я?! Чтоб духу твоего не было... Хочешь жить?!. Па-аскуда!..

А у нее сияли бесконечной добротой и счастьем глаза.

— Вы бы легли, Алексей Иваныч,— я вам постельку приготовила.

А около дяди Федора сидела совсем уже другая. Она гордо встряхнула заколыхавшимися на шляпе перьями; на щеках нагло кричал яркий румянец, презрительно сузила глазки, не спеша, умело надевала на маленькие руки с кольцами длинные перчатки.

— Я, папаша, пойду... Кавалер на автомобиле обещался,— не выношу извозчиков. Не хочу, чтобы сюда шофер зашел,— воняет, и подвал совсем.

— Ну-к что ж... Ладно.

У Марфы Ивановны густо надулись покрасневшие щеки.

— Скатертью дорога.

Дядя Федор пошел за девушкой проводить, а она шла, презирая, как королева, шевеля перьями, и лишь кивнула Алексею.

Алексей поднялся, холодно оглядел всех.

— Эх, слепота вы все, темь! Из вас на борьбу и лыка не сошьешь. Подвал подвалом и есть. Сдохнете тут. Туда вам и дорога...

В летнее время ребятишкам рай. Чем свет Анька подхватывает маленького под животик и, перегнувшись назад, как кошка котенка, вытаскивает наружу, а он, весь обвиснув, выжидательно молчит. Сенька с голым животом ковыляет вслед.

Старое корявое дерево, на памяти которого, где теперь стоят покосившиеся уже дома, расстилался когда-то пустырь, зеленеет скудными листьями по растопыренным почернелым ветвям. Прилетают воробьи, приходит, выгнув спину, кошка, и ребятишки без умолку чирикают в жидкой, слегка шевелящейся по земле тени.

У Мирона в теплое время торговля идет отлично. Только случилась история с Васькой.

Пришел как-то Васька вечером и на вопрос Мирона заложил руки в карманы и нагло сказал:

— Нету денег... не торговал...

Мирон рот разинул:

— А-а?

Потом, придя в себя и вытаращив глаза, спросил:

— А мыши?

— Полицейский заарестовал.

Васька нагло не вынимал рук из карманов. Мирон подскочил, сунул к Васькиному рту нос, потянул: от Васьки густо несло водкой. Мирон молча размахнулся и ударил по лицу. Васька, не вынимая рук, поддал ногой в живот. Они сцепились, повалились на пол, и Мирон почувствовал, что сила у сына.

Ночью Васька ушел, захватив двадцать лучших мышей, и уж больше не возвращался,— так и канул. Говорили — открыл свою мышиную фабрику, а другие говорили, что спознался с хулиганами. Отец проклял, но изредка, ворочаясь в субботу вечером, когда доносился сквозь уличный шум благовест ближайшей церкви, спрашивал:

— Не приходил Васька?

На что неизменно и зло Марфа отвечала:

— Жди,— в остроге небось устроился.

А Мирон, помолчав, с гордостью говорил:

— Не пропадет: мышь выручит... По крайности, рукомесло за плечьми.

Осенью, когда пришла сырость и на землю скучно валил мокрый, сейчас же таявший снег, бог прибрал у Мирона маленького, и всем на кухне стало недоставать этой вечно мокрой, завязанной на спинке узелком рубашонки и голенького посинелого зада, торопливо пересаживавшегося на холодных каменных плитах. Прежде его как-то не замечали или сердились, когда он попадался под ноги или делал лужи на полу, а теперь точно подвал опустел, и кто-нибудь нет-нет и скажет:

— Ванятки-то нету.

Мирон сам нес гробик, шагая по липкой грязи на мостовой, и ветер шевелил его волосы и холодил сухие глаза. Посыпалась земля на маленький тесовый гробик. Мирон ударил шапкой оземь.

— Эх, Ванятка, не пришлось нам с тобой пожить, похозяйничать. А я б уж тебе не пожалел, достал бы мыша настоящего, фараонова... жил бы ты припеваючи... сыночек ты мой!..— и заплакал.

А когда воротился, позвал Аньку и велел надеть на Сеньку свои старые, изорванные сапоги, обрезать и подшить, чтоб не волочились, старые штаны.

— Будя ему голопузому бегать: от людей срамно.

И когда она подошла, поднял глаза, как в свое время на Ваську, и увидел ее в первый раз.

Перед ним — тоненькая, как лозинка, девочка с зеленым личиком, на котором недетская усталость; от носа к углам губ, как иголкой, проведены морщинки; под глазами темная синева, а ресницы густые и долгие.

— Да тебя замуж скоро отдавать, а ты рукомесла никакого не знаешь. Мышь — дело мущинское, баба к ней неспособна; это те не коров доить, тут ума положение. А тебе шить, знай иголку, и больше ничего.

В тот же вечер Мирон отправился к знакомому трактирщику и подарил ему клетку с двумя мышами,— у трактирщика сестра содержала дамскую мастерскую. А на другое воскресенье отвел Аньку на место.

Редко наведывалась Анька,— не пускали. А и придет, отца не видит,— если пустят, так только в воскресенье, а в воскресенье у Мирона самая торговля, и его целый день нет дома.

— Ну, и растешь ты, девка, ишь тянешься, как вербочка на мокром месте. А все толку с тебя нету: как была дохлая, так и посейчас. Ну, как?

И начнет Марфа расспрашивать про житье, а сама сунет пирожок, либо вчерашнюю котлету. Девочка нехотя, застенчиво ест, и только и слышно от нее: «нет»... «так»... «ничего» .. А на лице усталость, и под глазами — глубокая недетская синева — не то от густых ресниц, не то от чего другого.

Сидит, смотрит и молчит — и не хочется уходить от родимого места. Все знакомо до последней пылинки. Та же рассевшаяся печь, те же полки, посуда на них, бархатисто-зеленая плесень у кровати. С потолка смутно падает знакомый гул,— должно быть, на рояле. В тупичке дядя Федор истово крестится, доносится его привычный шепот, и глядит, не отвечая, красный глазок лампадки.

А у себя на кровати сидит Алексей Иваныч, лохматый; расстегнутый ворот отвис, и грудь вся в черных космах.

Перед ним — траурно коптящая лампочка, с зазубренным горлышком недопитая полбутылка и Груня, с вздернутым носиком, с голубыми глазами.

Алексей Иваныч качает босой с большими желваками ногой, и Аня слышит знакомое:

— Грунь, а, Грунь, брось ты меня.

— Бросьте вы меня, Алексей Иваныч.

— А?.. Какая моя жизнь? . Что я?.. Пень обгорелый...

Груня стоит перед ним, толстенькая, коротенькая, как тумбочка при панели, с добрыми морщинками у глаз, бесконечно сияющих, в которых — незамутненное, без пятнышка, голубое небо.

Он глядит на нее, и глаза наливаются кровавой злобой.

— Бррось!!

И все тем же бесконечным самоотвержением и радостной готовностью полон ее голос, который — как бы продолжение ее голубых глаз.

— Бросьте вы меня, Алексей Иваныч... За вас всякая пойдет и с деньгами... А я вам, Алексей Иваныч, буду помогать... на глаза не буду показываться, буду присылать...

Отливает тугая волна от коротко и жутко бьющегося сердца, и, передохнув, говорит Алексей Иваныч:

— Жалко мне тебя, Груня, вот жалко... и неизвестно почему... Убил бы вот... одним махом... и больше никаких... пикнуть не успеешь... цокнуть по башке... сверху ррраз!..— он сжимает туго огромный, в черных мозолях, волосатый кулак,— одна шея останется, больше ничего... а вот жалко... бросить... Глянешь, и сердце отойдет, как растает... Жалко бросить, и бить-то я тебя до дела не могу... а придет время, убью... Быть мне на каторге...

Она стоит перед ним с сияющими глазами.

— Убью я тебя когда-нито, Грунь...

У нее сияют глаза.

Вечером придет Мирон, непременно спросит:

— Была Анька?

Марфа осерчает:

— Ну, была. Замуж тебе надо ее отдавать.

— А что ж! Это мы можем и даже с превеликиим. Это мы оборудуем одним духом, была бы охота. Мышь, он не выдаст. Приданое — изволь: обнову али там шляпу, али хвальшивую косу на голову — раз плюнуть, потому она животная понимающая и с образованием.

По утрам, как всегда, Мирон с мышами выходит за ворота,— все то же, те же дома, трактиры, улицы. А за улицами, такие же знакомые, другие улицы, знакомые площади, дома, магазины, трактиры.

С некоторых пор его преследует, точит странная мысль о «веселом месте».

Веселое место!..

Он сам не умеет сказать себе, что это, и никогда не говорит об этом вслух, потому что начнешь говорить словами, выходит чудно, но смутное ощущение, скорей ожидание, никогда не гаснет, точит. Где оно? Какое оно? И как к нему пройти? И будто туда — тесные и узкие переулочки и со всех сторон высокие слепые, без окон, стены...

Глянет Мирон: по знакомым улицам снует народ; гудя, с грохотом переходят на стрелках и, роняя синие

искры, бегут полные людей трамваи; гукают проносящиеся автомобили. И надо торговать мышами, и никто не может сказать, да и не спрашивает он, да и знает — нет такого места.

Стал попивать Мирон. Выпивал он и прежде, но прежде выпивал весело, деловито — должность такая, с хорошими людьми встречался, зазовут в трактир, угостят, отказаться нельзя.

Теперь же запивал тяжело — самому себе не в радость.

Если приходил домой с красными глазами, дико, до бесчувствия порол Сеньку неизвестно за что.

Если же насилу влезал, толкаясь о притолоки, выписывая мыслете, значит, был в отличном расположении духа. Вытаскивал баранки, угощал орехами и поил Сеньку водкой. Целую ночь пел песни, а чтоб не слыхать было и чтоб не серчала Марфа, ложился на кровати лицом в армяк, забирал армяк в зубы и пел глухим, задавленным голосом: «Ма-ату-ушки, го-о-лу-у-буш-ки-и...» — а Сенька спал, положив голову на стол возле бутылки.

Как-то Мирон пропал. Сенька слонялся по кухне, смотря, как умел, за мышами, и Марфа его подкармливала. Все-таки половина мышей подохла и разбежалась.

Под конец Сенька лег на кровать, уткнулся в тряпье и стал тянуть однообразно и тоскливо:

— Па-па-ня-а-а-а...— однообразно, тоскливо, как голодный волчонок на околице.

Чернеют занесенные снегом избы; ни огонька, ни собачьего лая. И оттого, что в пустынном воздухе мертво, еще более одиноко, заброшенно тянет, подняв усталую мордочку, брошенный волчонок:

— Па-па-ня-а-а-а!.. ы-ы-ы...

Явился Мирон через неделю. Сенька глянул и завыл пуще: Мирон был в опорках вместо сапог, а вместо одежи лохмотья, и под глазами густые фонари.

— Ну, чего воешь, паршивый!..— и ударил, но вяло, как будто устал.

Что бы ни случилось в полуподвале, какие ни приходили события, казалось, все укладывается в опреде-

ленный закономерный порядок,— так и следует тому быть. И продолжают жить по-прежнему, не останавливаясь, не оглядываясь, изо дня в день.

Но случилось событие, которое легло рубежом, которое переломило жизнь надвое — до и после, точно потемнело с тех пор. И все было просто.

Отворилась дверь, просунулся с оттопырившейся сумкой и синим кантом почтальон и сказал строго:

— Марфе Ивановне Козыревой.

И, нащупав ногой, спустился по ступеням,— со свету темно в полуподвале.

— А? Кого надо?

— Марфе Ивановне Козыревой.

— Я самая.

— Чего же молчите? Одна вы, что ль, возиться тут с вами.

Подал письмо и сердито ушел.

Повертела письмо Марфа Ивановна, поудивлялась, откуда бы это — не получала ни от кого писем,— сунула под подушку и опять продолжала возиться с потным лицом около пышущей плиты.

Только когда проснулся к вечеру Антон Спиридоныч, надел железные очки, долго смотрел и сказал хрипло:

— Из тюрьмы.

Марфа обомлела, а он начал читать:

«Мамаша, судьба моя конченная, только вы не убивайтесь, потому, снявши голову, по волосам не плачут. Хотел вас повидать, да не дают свидания. Скоро меня отсюда увезут, и вы себя даром не убивайте. Меня... (несколько строк заляпано черной краской)... просил прокурора. Прощайте, мамаша. И до последнего воздыхания буду об вас помнить.

Любящий сын *Алексей*».

Марфа обезумела и кинулась к господам. Там сказали, что ничего сделать нельзя. Раза два ее отпускали, и она бегала по всем учреждениям, где могла. Но всюду было чуждо, холодно и равнодушно. Никто ничего не знал, одни посылали к другим, и все явно старались сбыть ее с рук с ее горем, слезами и приставаниями,— у всех было свое.

Точно потемнело в полуподвале.

— Понимаем.. за нас за бездомных...— говорил Алексей Иваныч.

— Конечно, хочь бы мышом дозволяли заниматься, все-таки не так скучно, занятие. Да и, сказать, рукомесло, за плечьми не носить — с завода выгнали, мышь прокормит. Это как сказать...

— Жалко,— прохрипел Антон Спиридоныч.— Конечно, противозаконно, нечего говорить, а жалко. И то сказать, сто тысяч десятин, да на Кавказе, да в Азии, не всякому понравится. Д-да, для других себя не жалел...

И не потому, что Марфа была на положении полухозяйки, а болело у всех где-то в глубине. Каким-то близким и родным чуялся этот парень, постоянно мучимый беспокойством и торопливостью. Уже не придет, не сбросит торопливо потертое пальто и засаленный картуз, не станет, обжигаясь, хлебать из пегой чашки, совсем не отдавая себе отчета, что делает, думая о своем, не принесет живых, вчуже странно волнующих рассказов с воли.

С тех пор не узнать Марфы. Уже забыла и думать о городовых, дворниках, приказчиках из мясной. Стала худеть и сохнуть и, как черничка, всегда в черном. Попрежнему торопливо возится у жаркой плиты с бледным и потным лицом, отдаст горничной блюдо, урвется и торопливо и горько, сердце разрывающими слезами поплачет, а там опять кипящие кастрюли, дымящиеся горячим маслом обжигающие руки сковороды. И опять в передышку поплачет.

И не к кому пойти, некому обнадежить, сказать слово утешения — у всякого свое. Да и не ждет и не думает об этом Марфа.

Но когда за занавеской не бубнит пьяный голос: «Стань на одну ногу... как раки ходють»,— Марфа, подняв заплаканные глаза, неизменно встречает радостно сияющие глаза Груни. И хотя нет такого утешения и не высушить материнских слез, все же с благодарностью глядит Марфа на Груню, на ее вздернутый носик, на круглое чудно́е лицо, цвета дубленой кожи, освещенное сиянием чудесных глаз.

И ничего особенного она не скажет, скажет лишь:

— Марфа Ивановна, родная вы моя... ну, куда же

денешься... Господь оглянется, его воля... И не ждешь, ан счастье обернется, да ласка, да удача... Так-то и мой Алексей Иваныч: «Убью да убью»,— а оглянешься, а он любит вот до чего...

И поплачут обе.

И не в словах дело, не в том, что говорит Груня, а в убежденности, крепком ожидании, которое лучится от ее слов и от глаз, от всей ее фигуры.

День за днем проходит, а для Марфы как будто все тот же страшный день, когда отворил дверь почтальон и, щупая ногой ступеньку, сказал громко и начальнически:

— Марфа Ивановна Козырева здесь?

Днем перестали отпускать господа Марфу,— нельзя же без обеда сидеть, а вечером все учреждения закрыты, да и отовсюду стали ее гнать — надоела, а бросить место не в силах — все здесь напоминает Лешеньку, и здесь она в последний раз его видела. Как живой, он стоит перед ней, торопливо сбрасывает пальто, картуз и торопливо, оглядываясь и не зная, куда деть, говорит, а щеки — землистые, ввалились, и нос востренький. И плачет Марфа Ивановна.

Одно утешение осталось у Марфы. Уберется с обедом, с посудой и потихоньку урвется из дома. Сядет на трамвай и проедет к тюрьме. А тюрьма стоит, вся в огнях, и ослепительно все заливают кругом электрические фонари.

Кругом спешит публика, звонят трамвайные звонки, несутся лихачи, спотыкаясь спешат извозчичьи лошаденки, а Марфа стоит одна, зажимая в комочек свернутый платок, и плачет, поминутно утираясь, и среди бесчисленных окон выискивает одно дорогое окно. Их множество, и все они одинаково освещены, и ни в одном никого не видно.

Она выберет какое-нибудь одно и стоит, и ждет, и утирает неудержимые слезы.

В городе много тюрем, но ей кажется, что именно в этой тюрьме сын. В тюрьме множество окон, но ей кажется,— именно за этим окном сын. Долго стоит и смотрит, потом уезжает.

А дома достанет измятый, протертый по складкам листок, накрест промазанный чем-то желтым, и просит:

— Антон Спиридоныч, родной мой, почитай ты мне.

— Да и читать-то там нечего.

Все-таки надевает железные очки, откашляется и хрипло начинает:

— «Мамаша, судьба моя конченная... Любящий сын *Алексей*».

Он снимает очки, а она глотает слезы и тщательно прячет письмо,— больше писем не приходило. И кажется ей прежняя жизнь такой, что счастливее и светлей не бывает и в хоромах.

Глаша, усталая, спала крепко и не могла проснуться, а по крыше кто-то гремел железными листами, не переставая.

«Господи, чтой-то?! Али Антону Спиридонычу нужно пиво?» — думала она и знала, что думает во сне,— но железными листами так нестерпимо гремели, что необходимо было проснуться, а проснуться не могла, стала дрожать в холодном поту и просить: «Будет... ну, будет...»

На крыше, не уставая, гремели железом.

Она собрала все силы, перестала дышать и... поднялась на локте, дико глядя широко открытыми глазами: возле горой лежал Антон Спиридоныч, неподвижной страшной горой и, не переставая, лопотал: «Лла-лалла-ллл...»

Дядя Федор клал на полу возле кровати поклоны, глядя на красный глазок лампадки:

— ...блудущих, путешествующих и всех православных христиан спаси и помилуй!

— Господи-и!! — пронзительно закричала Глаша.

Дядя Федор положил последний поклон, поднялся и заглянул в лицо Антону Спиридонычу.

— Эх, сердешный!.. Язык отнялся... Надоть воды...

Глаша, не переставая, отчаянно кричала пронзительным голосом.

— Да ты что раздираешься...— закричала Марфа,— господ побудишь...

Но глянула на Антона Спиридоныча и часто закрестилась.

— Свят... свят... свят...

В потолок равнодушно глядел из-под полуспущенного неподвижного века остановившийся глаз; другой

глаз беспокойно и торопливо моргал и все скашивался, ища Глашу.

А она кричала:

— Господи!.. Ну, куда я теперь с тобой, с Иродом?.. Не написал духовного... Побираться, что ли?.. Да что я за несчастная!..

Она выла, а на Антона Спиридоныча лили воду, растирали, но все так же равнодушно из-под мертвого века глядел неподвижный глаз, а другой торопливо, беспокойно моргал, и по небритой, щетинистой с проседью щеке ползла, цепляясь, тяжелая слеза, и стояло:

— ...Алла-алла-алла-алл...

К концу недели Антону Спиридонычу стало лучше. С помощью Глаши он мог перейти до стола в кухне, все так же глядя перед собой неподвижно равнодушным глазом, волоча ногу, и левая рука висела, как плеть.

Теперь Глаша с утра до вечера бегала на поденную, а когда ворочалась вечером, только и слышался ее крикливый голос:

— Идол толстый! Корми его... Сам и ходить не может, а жрет в три утробы... Жизнь мою заел... Не умел сдохнуть вовремя.

А он жалобно оправдывается:

— ...Алла-алла-алла-алл...

За кухонным столом, покрытым штопаной скатертью, как и бывало, чаевничают со своим чаем-сахаром.

Прихлебывает Мирон с горячего блюдца, и нос у него красный. Тут же, шмыгая отцовскими сапогами, загоняет Сенька мышей в ящик,— и всего-то их с десяток. Только и осталось у Мирона — что Сенька да горсточка мышей.

Привела Глаша и Антона Спиридоныча. Он тащит ногу, рука висит, глаз мертвенно неподвижен, а другой, живой, любовно ощупывает всех за столом, и трудный, неслушающийся язык ласково и настойчиво лопочет:

— ...Алл-алла-алла-алл...

— Ну, садись, толстопузый Ирод!.. И когда только околеешь, окаянный, нет на тебе износу...

По обыкновению чашку за чашкой терпеливо пьет без сахара, отирая взмокшее лицо, дядя Федор, как бы

говоря всем своим видом: «Ну-к, что ж, ничего... ничего... почаевничаем, милые... всяк злак на потребу».

И дочка возле. Она теперь часто наведывается, но без шляпы, в платочке, испитая, и с желтыми пятнами. Уже не приезжает на автомобиле, а когда приходит, просит, чтобы другие не слыхали:

— Папаша, вы уж достаньте мне еще чего-нибудь из сундука, а то обносилась до того...

Дядя Федор почешет в затылке.

— Эх, доченька!

И лезет в заветный сундук, а в сундуке-то на донышке, не прибавляется, а убавляется,— все повыудила дочка. И хоть по привычке в нитку тянется дядя Федор, понимает — не к свадьбе дело.

С ласковыми, тихо сияющими голубыми глазами пьет чай Груня почернелым от выбитых зубов ртом, и одно опухшее веко у нее вывернуто.

Только Алексея Иваныча нет, пьянствует и редко заглядывает домой, а завернет — страшно становится в полуподвале.

Тихонько прихлебывают горяченькую водицу; изредка перекидываются словом, как будто сердцем все пережито и для слов ничего не осталось.

— Ухи бычьи нонче как подорожали!

— Страсть...

— Варишь-варишь — и нет ништо, как тряпки...

Сенька тихонько сидит в углу на каменном полу, и молча, запустив палец, ковыряет дыру надетого отцовского сапога; мальчик умеет молчать,— его голоса никогда не слышно.

С потолка глухо, как дальний гул по мостовой, падает,— жиличка на фортепиане обучает учениц, и этот глухой, тяжелый, неустанный гул наполняет кухню и тупички, замирая в толстых стенах.

— Под музыку,— говорит Мирон, громко схлебывая с блюдца.

Опять молча тянут, обжигаясь губами, и без конца подставляют под самоварный кран разных мастей чашки, но все до одной пузатые.

И опять кто-нибудь скажет:

— Сказывают, дом об двадцати этажов супротив нас будут строить.

— Как же на него лазить?

— Известно, на машине летать будут.

— Так господа летать будут, а прислуга?

Опять молчаливое схлебыванье. А Мирон подумает, вспомнит, допьет чашку и, пока набегает из крана, скажет:

— Не, острог будут строить, для острожного помещения.

Мирон принимается за чашку, а уж из всех углов поползла темная, всегда таящаяся, неумирающая тоска.

— Господи, хоть бы одним глазком на *него* глянуть. Где он теперь, родимый?

И всхлипнет, и утрет краем фартука налившиеся слезами глаза. Не узнать Марфы Ивановны — худенькая, сухонькая стала.

И всем близка ее боль.

— Господь терпел и нам велел,— говорит Мирон, наливая девятую чашку: уже пот давно, как бисером, осыпал красный нос.

— Куда же терпеть-то,— вскипает Глаша,— ну, я терпела, терпела, вот дотерпелась себе на шею эту требуху, корми теперь его... Докуда же терпеть-то?!

— Жалуются люди, а разве угадаешь. Вот бы на свет божий не глядел, а вот солнышко выглянет, и-и... ласковое!..

И поглядела Груня на всех голубыми глазами, застенчиво улыбаясь.

— А почему такое, Груняха, у тебя морда подбитая? — спросил Мирон и пошевелил бровями, чтобы не попал пот в глаза.

Дядя Федор вытер зажатым рукавом лицо и, закинув руку, шею и затылок:

— Так-то пустынник один жил в лесу... обнаковенно спасался. Да, святой жизни. Ну, хорошо! Прознал бес про это дело. Вкинулось в одну душу — искусить.

— Эта их самая занятия,— подтвердил Мирон.

— Да ну тя с бесями — и без них тошно,— сказала Марфа Ивановна, вытащила истрепанный, и слов не разберешь, листок и глядела глазами, в которых слезы:

— Лешенька!..

— Тятька, исть хочу,— сказал Сенька, стоя по колено в отцовских сапогах.

Над городом глухо шумело, должно быть, готовилось что-то, только никто не знал в подвале — что.

НА ЗАВОДЕ

НИКИТА

I

К концу зимы в избе у Никиты оставались одни только ребятишки,— ни платья, ни хлеба, ни соломы, ни хозяйственных орудий, ни скотины,— все было продано и проедено. Заработать негде,— кругом такие же голодные, измученные люди. Голодная смерть глядела в изнуренные лица семьи.

— Надо идти на заработки,— говорил Никита, сутулый и осунувшийся, глядя в окно на потухающую далекую зарю.

— Куда пойдешь?.. Куда пойдешь?.. Некуда идти,— безнадежно проговорила хозяйка, суя ребенку соску, в которой была одна вода.

Ребенок уже не мог громко плакать и тихо и жалобно стонал. Ребятишки постарше лежали на лавке под кучей тряпья.

— Пойду... пойду на Кавказ али на завод поступлю. А то, сказывают, под землей уголь ломают, тоже заработать можно.

Помолчали. Заря почти потухла, только на краю кроваво тлела узенькая полоска. В избе неподвижно стояли тени, черные и мрачные.

— Страшно... страшно оставаться... помрем мы тут без тебя,— заплакала хозяйка.

II

Второй день идет Никита.

Днем сильно тает, бегут, играя на солнце, шумные ручьи, дороги почернели, и нога глубоко уходит в талый снег. К вечеру подмораживает, смолкает журчание

затянутой тонким ледком воды, и на небе высыпают веселые звезды. Попрыгивает Никита, похлопывает накрест руками,— в худой зипунишко пробирается и покусывает мороз.

«Помрем мы тут без тебя...» — колом стоит в голове, и он морщит лоб и туже подтягивает кушаком пустое, голодное брюхо.

«Заработаю — пришлю»,— думает он и поторапливается скорей добраться до ночлега, обсушиться, обогреться, переобуть лапти и выпросить Христа ради хотя черствую корку хлеба.

На третий день Никита добрался до железной дороги.

Тут было много рабочего люда из голодающих губерний; они тоже тянулись на юг в надежде заработать и прислать семьям. Оборванные, исхудалые, расположились они возле станции целым табором, ожидая отправки. Ими набивали целые поезда и в товарных вагонах увозили на юг.

Чтобы скоротать время, Никита пошел потолкаться в народе.

Торговки раскинули лотки и разложили печеный хлеб, «гусак» и всякую снедь. Покупателей мало, но народ толпится. По целым часам стояли и смотрели на хлеб. Никита тоже подошел и остановился. Вид настоящего печеного хлеба приковывал его. Возле приходили, уходили, а он все стоял и блестящими глазами следил, как торговка брала просто и даже небрежно хлеб, как будто самую обыкновенную вещь, перекладывала с одного места на другое, отрезывала куски, накрывала грязной дерюгой.

Уже высоко поднялось солнце... От долгого стояния заболели ноги. Подошел Никита к лотку вплоть, взял длинный черный и тяжелый кусок, попробовал на руке и потянул в себя носом «хлебный дух».

— Почем за фунт, тетка?

— Четыре копейки.

Никита еще повертел хлеб в руках, потом положил назад и отошел. У него было только десять копеек на всю дорогу.

Он пошел было в третий класс, да вспомнил, что и там буфет и на стойках лежит хлеб, колбаса, и пошел по полотну.

Тут маневрировали паровозы; подавали вагоны, сцепщики составляли поезда. Рельсы, разбегавшиеся у платформы на много путей, за станцией сходились в одну пару и уходили, блистая на солнце, до самого горизонта без изгиба, как по нитке.

Никита смотрел на пути, на шпалы, на балласт, на суетливо возившихся, работавших сцепщиков, смазчиков, путевых сторожей, машинистов, и ему странно было, что им никакого дела нет до того, что там у бабы на лотке лежит настоящий ржаной хлеб. Поднес руки к носу: они все еще пахли хлебом. Он пошел опять бродить между народом и снова незаметно для себя очутился возле лотка. Тут по-прежнему стояла толпа, глазевшая на хлеб. Торговка, не обращая ни на кого внимания, равнодушно сидела на табурете.

Никита подошел к лотку и опять подержал хлеб в руке.

— Почем, говоришь, фунт-то?

— Четыре копейки,— не обращая на него внимания и глядя в сторону, проговорила торговка.

— А две нельзя?

Торговка молчала.

— Слышь, три копейки?

Торговка молча взяла у него хлеб, положила на лоток и отвернулась. Никита, заискивающе глядя на стоящих возле него, засмеялся:

— Ишь, не хочет.

Потом вдруг решительно завернул полу.

— Ну, давай, что ли.

Торговка невозмутимо оставалась все в той же позе.

— Деньги сначала давай.

— А то не дам, что ли? Не без денег берем-от. На вот, давай сдачи,— и кинул на лоток пятак.

Торговка не спеша лениво отрезала хлеб, свесила, порылась в кармане и отдала копейку. У Никиты слегка дрожали руки. Взял хлеб и тут же стал есть. Тогда внимательные глаза всех стоявших обратились на него и так же пристально, не отрываясь, стали глядеть, как он жевал.

Никита почувствовал неловкость, торопливо вышел из толпы, выбрал укромное местечко, поминутно посматривая на кусок, в котором оставались следы от зубов, съел, тщательно подбирая крохи.

Скучно тянулась остальная часть дня. Свистки паровозов, унылые звуки рожков на стрелках, лязг буферов, вагоны, насыпь, рельсы, столбы и толпы крестьян, голодных, оборванных, лежавших, ходивших, стоявших вокруг станции.

Никита стал скучать по дому, по своей деревне, по ребятишкам, по всему укладу прежней своей жизни.

Куда он идет? зачем? где это те места, где есть работа, где платят хорошо? заработает ли он что-нибудь? а если до этого времени дома у него перемрут все с голоду? И от этих мыслей еще скучнее стало Никите. Подсел было Никита к кучке мужиков, тихо о чем-то говоривших, прислушался, но и тут каждый рассказывал про свое горе, нужду, голод.

Пришла ночь. Спустился туман. Стало сыро и холодно.

Никита улегся с такими же, как он, на сырой земле, под дощатым навесом, отведенным для рабочих. Прижались друг к другу и покрылись рваными зипунами. Ночь тянулась нескончаемо долго.

И не может Никита никак заснуть: холодно и на сердце тоска. Станет забываться, и представляется ему, будто лето и жара, а он будто в колодец попал, по самые плечи сидит в холодной ключевой воде, зуб на зуб не попадает. А там наверху жарко, солнышко, и торговка с хлебом сидит. И будто он никак не вылезет, отощал, и стенки у колодца — холодные и скользкие. Начинает карабкаться и вот уже совсем вылезает, да вдруг свистнет паровоз, очнется Никита, оглянется,— кругом все то же: станционные здания, смутно в сумраке проступают красные фонари на стрелках, а вокруг на голой, сырой земле вповалку лежат неподвижные фигуры — много их... и опять забывается, и опять лезет из холодного колодца.

Туман подобрался, вызвездило. И опять думает Никита о доме, о семье, о том, зачем он пошел и что из этого выйдет. Измаялся.

Под утро, когда побледнели звезды и Медведица совсем опустила книзу хвост, заснул. И так крепко заснул, что утром стали будить товарищи, насилу добудились.

— Вставай, сказывают, нам поезд готовят.

«МЫШИНОЕ ЦАРСТВО»



«НИКИТА»



III

Поезд стоял огромный. Все суетились, бегали, спешили забраться в вагоны. Никита тоже было полез.

— А билет есть? — строго спросил кондуктор.

— Билет? Нетути. Я из голодающей губернии.

— Так что же что из голодающей. Голодающим только скидка делается на билете, а даром не возят. Поди возьми билет.

— Да у меня всего только пятак меди и есть.

— Ну, я чем же виноват? — и отвернулся.

Поезд ушел. На платформе осталась толпа таких же несчастливцев, как и Никита. Понемногу все разбрелись: кто пошел назад в деревню, кто в город искать работы, на которую не было надежды, и просить милостыню.

Никита стоял в великом затруднении. Ворочаться назад — значит идти на голодную смерть. Идти в город — значит за нищенство попасть в тюрьму. Постоял Никита, постоял, потом решился, подтянул кушак и пошел по полотну на юг.

Сверкал веселый солнечный день. Полотно, очищенное от снега, желтея песком, прямое, как стрела, убегало, пропадая на краю тонкой чертой. По сторонам ослепительно сверкал рыхлый осевший снег. Глубоко сквозили перелески, и по голым деревьям прыгали галки и шныряли, без умолку щебеча, пичуги. Почки надулись. Кое-где чернели обнажившиеся поля. Земля дымилась. Высоко тянули с юга журавли, дикие гуси.

Никита неустанно шагал, нагнув голову и глядя, как пядь за пядью уходит назад полотно. А впереди еще тысячи верст.

И опять Никита не может оторваться от деревни, от семьи, от хозяйства,— все стоит перед глазами. Вот и соху надо бы налаживать, скоро под яровое пахать. И Никита вздыхает и, глядя под ноги, все идет, идет, идет.

Его обгоняли и катились навстречу поезда. Тогда он останавливался и глядел, как, сердито работая поршнями, с грохотом, от которого дрожала земля, пробегал локомотив, а за ним мелькали вагоны, и в вагонах окна и в окнах лица людей. Потом последний вагон, краснея флагом, быстро уменьшался, рельсы пере-

ставали вздрагивать, шум замирал, таял дым, и опять тишина, опять сквозят перелески, и земля дымится весенним паром.

По пути Никита заходил в деревни, останавливался у окна первой избы, снимал шапку, кланялся и долго стоял. Иногда ему подавали кусок хлеба, а чаще махали рукой и приговаривали: «Не прогневайся». Тогда он шел к другому окну, и так через всю деревню.

IV

Две недели шел Никита. Лапти изорвались, ноги опухли, и он их обертывал и подвязывал тряпками. Всего разломило, в голове стоял звон, и он еле тащил ноги.

«Эх, не дойду... помру под откосом, как пес»,— с отчаянием думал он и шел, шел, шел.

По мере того как он подвигался на юг, весна все больше вступала в свои права. Снег пропал, напоенная влагой земля чернела, на полях бархатно зеленели озимые.

Как-то под вечер в изнеможении опустился Никита на землю и прислонился к телеграфному столбу. Столб гудел заунывно и жалобно. На проволоке, чернея, сидели рядком ласточки. Показался поезд. Никита закрыл глаза. От усталости и голода ни о чем не хотелось думать. Шум поезда приближался и вдруг покрылся страшным грохотом и треском.

Никита вскочил. Там, где был поезд, высилась огромная гора вагонов. Груженный хлебом товарный поезд разбился. Никита бросился бежать туда. Возле суетились успевшие соскочить кондуктора и машинист.

Дали знать на станцию. Приехало железнодорожное начальство, рабочие стали разбирать обломки, ссыпать хлеб. Наняли и Никиту, так как полотно надо было очистить возможно скорее. Никита, страшно ослабевший от истощения, рвался из последних сил, охваченный надеждой заработать на дорогу.

Через три дня его довезли до ближайшей станции: он получил за работу деньги.

Это была большая узловая станция, и на ней толкалось много рабочего люда, ехавшего на заработки.

Никита пошел брать билет. Оказалось, денег у него все-таки не хватило до места назначения.

«Ну, ничего,— думал Никита,— там уже недалеко, доберусь как-нибудь».

V

Подали поезд. Вагоны товарные, только скамейки были поставлены внутри, чтоб посидеть.

Полез народ в вагоны, и столько набилось, что и повернуться нельзя, один на одном сидят. Никиту прижали к скамейке, сидят у него и на коленях, навалились на плечи, и дышать трудно стало. Не вытерпел Никита, стал выдираться:

— Что же это, братцы, нас сюда пихают силком... ведь друг на дружке сидим, дух-то чижолый стал, не продыхнешь... не пропадать же нам.

Услыхали другие, все разом загалдели:

— Вестимо, пропадать тут. Вылезай, братцы, пусть еще вагонов цепляют.

И полезли из вагонов.

Прибежали кондуктора, кричат, ругаются:

— Да вы, сиволапые идолы, куда претесь? Лезь назад.

— Куда же назад, некуда нам, один на одном сидим.

— Да вам чего надо, в первый класс, что ли, захотели?

— В первый не в первый, а только тоже ведь люди мы. Не даром везете, денежки тоже берете чистоганом.

— Тоже и деньги. Какие деньги, такое и помещение дают. Лезьте, говорят вам, назад.

Но народ разошелся, стали шуметь, высыпали все на платформу, стали наступать на кондукторов. Кондуктора струсили, отошли к сторонке, стали о чем-то советоваться. Потом выходит обер-кондуктор и говорит:

— Да вы чего расшумелись? Есть среди вас грамотные?

Все попримолкли, стали оглядываться — все были неграмотные.

— Выходи, которые грамотные.

— В нашей деревне и за деньги грамотного не найдешь.

— Да зачем те грамотеи?

— А уж тут тогда увидишь зачем. Выходи, грамотные.

Из толпы протолкался молодой парень.

— Грамотный?

— Грамотный.

— Ну, иди сюда.

Подошел обер-кондуктор к ближайшему вагону, подошел парень. Народ кругом надвинулся, стеснился, друг на друга нажимают, ждут, что-то будет.

Показал обер на стенку вагона и говорит:

— Ну, читай.

Стал читать:

— Сорок человек. Восемь лошадей.

— Ну, то-то и есть. Видите теперь сами, что в каждый вагон полагается сорок человек посадить да восемь лошадей поставить. А мы вам еще снисхождение сделали: лошадей не ставили, оставили до другого поезда. А ежели вы бунтуете, так сейчас отсчитаем на вагон по сорок человек да по восемь лошадей поставим.

— Да это что же такое?.. Как же это возможно?.. Один на одном сидим да еще лошадей нам поставят.

— Да ведь вы слышали, что ваш же парень читал... Не я же это придумал. Ежели так написано, так тут ничего не поделаешь. Написано пером, не вырубишь и топором.

— Что же, ребята, уж лучше потеснимся, чем как ежели нам коней поставят. Тесно, до смерти убить могут,— говорил струсивший Никита.

— Да пакостить начнут.

— Знамо, лучше потеснимся, ежели как написано, гляди, на кажном вагоне... Никуда не денешься...

И мужички полезли назад в вагоны и набились, как сельди в бочке.

Кондуктора забрались к себе в отделение, ухватились за животы и катались как сумасшедшие. Когда все втиснулись в вагоны, двери задвинули, в вагонах наступила кромешная темнота, и воздух сделался таким спертым, что люди начали задыхаться. Стали бить в двери и стенки вагонов. Кондуктора принуждены были снова отворить двери и положить лишь поперек дверей перекладины, чтобы люди не вываливались во время хода.

Наконец тронулись, под вагонами побежала насыпь, и стали мелькать мимо телеграфные столбы, деревья, пашни, колокольни дальних церквей. Никита с облегчением вздохнул.

В вагоне было душно и жарко. Все, кто мог, сели в дверях на пол и спустили ноги наружу. Крестьяне, работавшие в поле, с удивлением глядели, как по рельсам катился тяжелый поезд, как товаром нагруженный людьми.

Скучно было сидеть в душном, грязном вагоне. Нельзя прилечь, повернуться. Вагоны трясло, и несся такой грохот, что нужно было кричать, чтобы слышать друг друга.

На станциях стояли необыкновенно долго. Проходит час, два, три, а поезд все стоит. Поставят его где-нибудь на запасном пути далеко от станции и ждут неведомо чего. Приходят и уходят пассажирские поезда, а они все стоят. Наконец серые пассажиры начинают выходить из терпения.

— Что же это! Докудова же мы стоять тут будем?

Кондуктора огрызаются:

— Как платите, так и везут. Благодарите, что четвертый класс завели, а то бы путешествовали по полотну.

В пути развлекались, как умели. Появились засусоленные карты: играли на коленях друг у друга. Кое у кого из молодежи оказались гармоники. Иной раз запевали песни.

Никита не принимал участия. Он угрюмо сидел в дверях вагона, спустив наружу ноги, и глядел, как под ними мелькал щебень балласта, которым усыпано полотно. Уложенные по краям камешки нескончаемо бежали назад полоской.

Никиту сосала тоска и томил голод. Особенно скверно было ночью. От духоты, грохота, тряски, тесноты и безделья охватывало неодолимое желание спать, а лечь не было никакой возможности. Наваливались друг на друга и на минуту забывались тяжелой дремотой.

Никита тоже дремал. Из вагона несло духотой и теплом, а висевшие снаружи в рваных пестрядинных портках ноги зябли от ночной сырости и холода. Ночь стояла темная. Не было видно ни полотна, ни теле-

графных столбов. Ничто не мелькало. Казалось, вагон недвижно грохотал в подземелье, темном и сыром.

Этот грохот обессиливал Никиту. Веки смежались. И тогда его мысли и представления действительности начинали бороться с сновидениями. Знает он, что сидит на краю вагона, спустив ноги, и что можно тут свалиться, надо проснуться и не спать, и начинает ему казаться, что едет он на телеге, мешки везет на мельницу, дорога скверная, трясет.

Вдруг кто-то крикнул и толкнул его: «Эй, куль упал, упал...» Шатнулся Никита, чуть не свалился. Забилось сердце. Сам не знает, чего так испугался. Чует — с правой стороны свободно стало, как будто никого нет, а то все парень наваливался на него. Никита торопливо пошарил, и холодный пот выступил: возле было пусто.

— Стой!.. стой... человека нету!.. стой! Ребята, кричи, чтоб стали,— должно, свалился...

Никита кричал во весь голос, но грохот поезда сурово покрывал его. Огарок свечи потух, в вагоне стояла кромешная тьма.

— Кондуктор! Эй!.. Что же это такое?! Человек сейчас упал...

Около Никиты зашевелились. Послышались кричавшие голоса:

— Что такое?

— Сказывают, в поезде неладно.

— Кто говорит?

— Быдто труба самая главная в машине лопнула.

— Колесо из-под вагона вырвало, сам сейчас видал.

— То-то оно и трясет, аж душу вышибает.

Насилу Никита растолковал, в чем дело. Все всполошились.

— Беспременно надо остановить поезд. Шуми, ребята!

Стали кричать и взывать к кондукторам, машинисту — все напрасно. По-прежнему в ночной мгле стоял железный грохот, на стыках стучали колеса, и вагоны тряслись всем корпусом, точно ехали по мостовой. Делать нечего, пришлось дожидаться станции.

На станции была получена депеша, что на пятьсот девяносто четвертой версте найдено изуродованное ко-

лесами тело. Тогда прицепили лишний вагон, и стало просторнее.

На третий день Никиту высадили,— билет был только до этой станции. Никита тоскливо слонялся по станции в ожидании случайного заработка, который дал бы возможность доехать.

— Ты чего, земляк?

Оборванный субъект с обрюзглой от водки физиономией стоял перед Никитой.

— Да вот на завод еду... денег не хватает...

— А много у тебя?

— Семьдесят пять копеек.

— Стой, у меня тоже...

Он достал горсть медяков и подсчитал.

— Девяносто копеек. Вот чего, дядя: купим один билет и поедем двое.

— Как так?

— А так: один на крыше, а другой в вагоне. Как три станции проедем, так и сменяться будем. Доедем, разлюли малина. Давай деньги.

— Не дам.

— Чудак! Не веришь, что ль? Нá мои. Ступай купи билет.

Никита пошел и купил билет.

— Ну давай. Сначала ты полезай на крышу. Три станции проедем, я тебя сменю, а потом через три ты опять приходи.

И он подсадил обрадованного Никиту на крышу вагона.

Ночь. Накрапывал дождик. Сквозь сырую мглу тускло светили огни. Мокрая платформа блестела под фонарями проходивших кондукторов. Никита лежал на крыше вагона не шевелясь.

Поезд тронулся. Ушла назад станция с огнями. Пропали позади и разбросанные огни стрелок. Поезд прибавлял ходу. Густой мрак, сырой и холодный, бежал рядом, окутывая со всех сторон. Чаще и чаще постукивало на стыках. Стало качать вагон, и Никита с ужасом почувствовал, что понемногу съезжает на край по выпуклой, скользкой от дождя крыше. Тогда он лег животом книзу, растопырил руки и ноги, делая усилия, чтобы удержаться посредине. Стал дрожать от холода.

«Кабы теперича полушубок»,— думал Никита, лежа на животе и поминутно касаясь от тряски лицом мокрой холодной крыши.

«Чудно! домашность, ребятенки, хозяйка, а я на пузе лежу и не знаю: той ли доеду, той ли нет».

И все в той же позе, все так же чувствуя у своего лица холодную мокрую крышу, продолжал думать о доме, хозяйстве, семье. И опять чем-то странным, необъяснимым, какой-то роковой ошибкой казалось его путешествие. Чем это кончится, когда и где?

А поезд все так же мчался среди ночи, так же качало вагоны. Через долгие промежутки во мгле показывались огни станции. Поезд замедлял ход; слышались звонки; некоторое время стояли, потом опять отправлялись дальше.

Никита дрожал: клонило ко сну. Спутник его не появлялся, а сам он боялся спуститься на ходу.

Стало светать. Дождь перестал. Сырой туман подбирался с земли. Теперь отчетливо было видно полотно, рельсы, мокрые телеграфные столбы. Когда подошли к станции, совсем рассвело. Никиту увидели и стащили с крыши вагона. Разыскал своего спутника, но тот заявил, что видит его в первый раз.

Никита был в отчаянии, ходил за кондукторами, за начальниками, кланялся и со слезами просил разрешить доехать, оставалось всего две станции. Над ним сжалились и посадили.

Часа через два задымились громадные трубы завода, а справа открылся водный простор.

Все глядели в окна.

— Братцы, гляди, никак это вода!

— Больше нашего озера.

— Как ножичком по краям обрезано.

— Гляди, ребята, лодка загорелась... Дым-то, дым-то черный повалил... страсти господни!..

— Дурак! «Лодка»... Па-ро-ход это, паром ход дает, стало быть. Загорелось: эх, неотесанность!.. Дым это из котла в трубу, потому там уголь жгут.

— Диковинное дело: сколько дыму, а ничего себе — плывет, да и все.

Подошли к станции. Все высыпали из вагонов. Волны глухо и тяжко вкатывались, шипя, на песчаный бе-

рег. Вдали лесом мачт виднелся порт. На синеве белели косым парусом рыбацкие лодки, а у горизонта чуть приметно дымил уходивший пароход.

VI

Громадные заводские ворота были заперты. Возле стоял сторож, равнодушно оглядывая огромную толпу исхудалых, с измученными лицами, оборванных людей. Ходили, сидели, лежали на земле. Солнце подымалось и начинало припекать.

Никита с пяти часов был тут и, сидя в тени забора, терпеливо ковырял землю. Спокойное, тихое ожидание овладело им. Добрался до места, сегодня наймется, через неделю пошлет домой денег. Представление радости на лицах семьи, когда получат, наполняло его таким блаженством, что он забыл все испытания.

Время шло. Несколько человек ходило в контору. Там велели ждать, скоро приедет директор.

— Ну, что же, подождем,— говорил Никита, ковыряя землю.

Тени становились короче, и из-за забора уже горячо доставало его солнце.

Наконец беззвучно на резинах подкатила карета. Минут через десять из конторы вышел маленький человечек в очках и тоненьким голоском прокричал:

— Можете идти, ребята, по домам. Директор велел сказать — на заводе полный комплект, и рабочих пока не нужно. Можете расходиться.

Все поплыло перед глазами Никиты: стены, дома, улицы, тротуары, прохожие. Он не верил себе, не верил своим ушам и с усилием, качаясь на ослабевших ногах, протеснился через толпу к маленькому человечку и с перекошенным лицом, заикаясь, пробормотал:

— Господин, дозвольте... оно, конешно, касаемо... ну только ребятишки... хоша бы какой работишки, касаемо... потому, сами знаете, ребятенки-то, ребятенки, стало, теперь перемрут...

Тот мельком вскинул очками и сделал неопределенный жест.

— Идите, идите себе домой. Вот нужны будут рабочие, тогда приходите... Расходитесь, а то все равно полиция придет,— и он повернулся и ушел в контору.

Явилась полиция и велела всем расходиться.

— Ребятенки, ребятенки-то, выходит... теперя перемрут, стало...

Кто-то взял его за плечо.

— Что стал? Ступай в свое место... В холодную захотел?..

Никита пошел вниз, туда, где за городом шумело море, а в море вливалась мутная река. На сыром болотистом берегу целым табором расположились переселенцы и всякий голодный, неприкрытый люд, бившийся тут в поисках за работой.

Везде валялись тряпки, объедки, кости. Женщины кормили грудных детей, кое-кто из мужчин, сидя на корточках, в чем мать родила, и взмахивая иглой, сосредоточенно чинили принадлежности костюма. Иные неподвижно лежали на спине, глядя в высокое синее небо.

Пришла ночь. Красновато колеблясь, дымились костры из щепок, тряпок и сухой травы. Люди жались к ним, странно, фантастически выступая красными лицами и в красном тряпье... и тени шевелились и трепетали по земле.

С реки, с соседних болот, зловеще белея среди ночи, подымался туман, и полз, и стлался низом, предательски заволакивая молочной пеленой. Не стало видно людей, костров, лишь слабо мерцали сквозь мглу звезды. Воцарилось мертвое безмолвие, нарушаемое доносившимися с железной дороги свистками паровозов, да с моря отзывались грубые голоса пароходных гудков.

VII

Полтора месяца слонялся Никита в поисках работы. Постоянная борьба с голодом и привязавшейся лихорадкой не давала думать ни о чем, кроме завтрашнего дня. Он забыл деревню, хозяйство, семью. Наконец желанные двери растворились, и Никита вошел в святилище завода.

Лязг, грохот, гул и звон, железный скрежет, свистки всюду бегавших маленьких локомотивов охватили его. Тонкая, едкая пыль садится на стены, землю, крыши, на платье и лица, носится в воздухе, давая небу коричневый оттенок, отравляет и жжет легкие. Все черно, грязно, задымлено.

Никиту поставили сгребать какую-то сероватую землю, вроде глины, сыпавшуюся из вагонов, которые то и дело подходили по полотну.

Гигантские домны подымались к самому небу, верхушки их курились, как жерла вулканов, а от боков струился раскаленный воздух. Люди, лошади, вагоны, насыпь — все было ничтожно и крошечно у подножия этих великанов, день и ночь плавивших в раскаленной утробе своей руду, и огненными струями вытекал, светясь, чугун.

Вокруг кипела непрерывная, неустанная работа. Мужики, нещадно дергая заморенных лошадей, торопливо возили руду, кокс, плавень, вывозили землю, подвозили кирпич. Визжали резавшие железо пилы, оглушительно били молоты, а на верхушках домн среди пылающего жара обугленные, почернелые рабочие день и ночь сыпали в ненасытную пасть кокс, плавень, руду.

Никиту захватило, как зубьями огромного мелькающего маховика. Изнемогая, задыхаясь, в жару, в угаре, в угольной пыли, он все кидал и кидал лопатой руду в подъемную машину, и пот, стекая, разрисовывал по его лицу причудливые узоры. Вечером, усталый, разбитый, с головокружением от постоянного дыма, едва похлебав каши, валился на солому и засыпал тяжелым, мутным сном, а на следующий день подымался, и опять начиналось то же.

Так потянулась эта лихорадочная жизнь в кипучей работе, без перерыва, без отдыха, без праздников, которая вытравляла мысли, воспоминания, заботу о семье. Завод шел день и ночь и не позволял ни на минуту приостановиться, отстать, оглянуться.

Только месяца через четыре, когда солнце не так стало жечь, когда степь, бурая, давно сожженная, пустынно тянулась от моря, он собрался послать в деревню несколько рублей.

В трактире ему писали бесчисленные поклоны, а он, размякший от водки, крутил растрепанной головой и ронял пьяные слезы.

— Миллаи ммои, ллупаглазенькие... и-и кабы теперича да около скотинки ходил бы, соху-матушку выправил бы, да цепом погулял бы по хлебушку... головушка ты моя бедная, незадачливая!..

Картины далекой родной жизни вспыхнули в отуманенной голове. Овин, поле, березняк, лес, синевший на горизонте, тихая деревенская улица, куры, свиньи и гуси. И, положив голову на стол, он безутешно причитал бабьим голоском, как по покойнику, пока его не вытолкали.

Но заводская жизнь не давала размякнуть, не давала жить прошлым, далеким. Сложная, бешено крутящаяся и страшная своей беспощадной неумолимостью, она гнала его день и ночь, как впряженную лошадь, не давая ни отдыха, ни срока. Он не смел приостановиться, задуматься, взвесить и оценить положение.

На его глазах пополам пережгло рабочего сорвавшимся с цепи раскаленным куском стали. На его глазах гнали с завода целыми толпами и штрафовали за малейшую ошибку, за малейшую провинность, а за воротами другие толпы день и ночь стояли в ожидании опроставшегося места. И под этой постоянной, ни на минуту не ослабляющейся угрозой неповоротливый, неуклюжий Никита становился проворнее, ловчее, торопливее.

С ввалившейся грудью, испитым черным лицом и лихорадочно и возбужденно блестевшими из-под сумрачных бровей глазами, он был неузнаваем.

VIII

Месяцы летели за месяцами. Как-то ему подали повестку на денежный пакет. Он отправился на почту и с изумлением получил посланные им в деревню деньги с отметкой: «Посылается обратно за неотысканием адресата».

Никита ясно не понимал, что, собственно, это значит, и все собирался опять послать.

Скоро дело разъяснилось. На завод попал односельчанин Никиты. Он рассказал, что в деревне с голоду ходила какая-то болезнь, от которой мерли и дети и взрослые. Жена Никиты умерла. Умерло двое детей, остальные разбрелись неизвестно куда.

Дни и ночи Никита ходил, работал, как ошалелый. Мучительно захотелось все это бросить и бежать туда, в родную деревню, к родным полям, родным могилам. Но гудок властно подымал его каждое утро, раскаленные домны пожирали, сколько бы ни кидал он руды, и

за воротами стояла толпа голодных, холодных, оборванных, жадно дожидаясь опроставшегося места.

А звук пил, звон и гул молотов, нестерпимое шипение, лязг стальных листов и скрежет железа о железо, среди дыма, пламени, среди снующих паровозов и черных, лихорадочно работающих людей, неустанно и торопливо повторял ему: «Ты-наш... ты-наш... ты-наш...»

Каждый день тянулся мучительно медленно и долго, но, когда оглядывался, позади лежали уже годы. Деревня где-то далеко потонула, изредка тревожа больным воспоминанием и смутной надеждой, что он вернется.

И надежда эта сбылась на восьмом году.

Он сидел в вагоне, покачиваясь и задремывая. Степь убегала назад, и уже стали попадаться рощицы и перелески средней полосы. В голове у него стоял звон и гул заводской, а когда останавливался поезд, его поражало тихое безмолвие полей.

Неделю тому назад Никиту позвали в контору. Он стоял у дверей и мял шапку.

— Никита Тригулев?

— Так точно...

— Ну, вот что...— конторщик запнулся на минуту,— получай-ка расчет.

Никита стоял как остолбенелый.

— За что? — спросил он упавшим голосом.

— Нет, ничего,— добродушно проговорил конторщик,— видишь ты, другим за две недели даем только, а тебе трехмесячное жалованье велено выдать в награду за старание, да директор от себя десять целковых.

— За что же?

И пепельная бледность проступила на его черных щеках.

— Видишь, ослаб ты... не можешь, как прежде, как свежие, которые с воли. Ты три тачки, а молодой в это время пять привезет, видишь ты... Заводу-то и расчет взять свежего...

Никита и сам видел, что сила у него не та. Завод выпил из него все, что мог, и теперь, ненужного, отправлял туда, откуда он бежал восемь лет назад...

И, покачиваясь, Никита думает о деревне, о работе,

от которой отвык и на которую уже сил нет, о детях, о которых он не знает, где они, о заколоченной избе, об одиночестве, которое его угрюмо ждет.

СЕМИШКУРА

Было то же, что десять, двадцать, тридцать, сорок лет назад — так же угрюмо чернели и дымили надшахтные здания, и непрерывно несся оттуда гул опускаемых и подымаемых клеток, выкатывались полные угля вагонетки, и, сколько видно было, все пространство кругом завалено нескончаемыми угольными штабелями.

Все густо чернеет несмываемой угольной пылью. Стены, крыши, трубы, телеграфные столбы, земля, рельсы, ее изрезывающие, даже в тяжелом полете каркающие вороны. Даже воздух и небо мглисты и тяжелы, и солнце медно-красное.

Но больше всего едкая пыль въедается в людей,— негритянское царство, где нет лиц, а лишь сверкающие белки да зубы.

Поодаль, так же занесенные черной пылью, приземистые казармы угрюмо и низко глядят тусклыми окнами.

Кругом ни хворостинки, ни листочка,— голо и черно.

Пруд от выкачиваемой из рудников воды мертво, без отражения лежит в черных берегах.

А кругом — бескрайная степь то знойно трепещет, иссохшая под палящим солнцем, то тихо мреет в обманчиво-зеленоватом лунном свете, то, черная, сырым черноземом тонет в дождливой осенней мгле, то буранами белеют над ней зимние вьюги.

И в других местах степи разбросаны такие же черные надшахтные здания, угрюмо дымятся трубы, чернеет занесенная углем земля, мертво лежат рудничные пруды, и долго надо ехать по серой степной пыльной дороге, пока наедешь на слободу или хутор, где блеснет зелень деревьев, где люди ходят с чистыми лицами и солнце сияет живым блеском, не отравленное угольной мглой.

Есть и на шахтах крохотные оазисы, в которых люди пробуют выбиться из проклятого черного царства — в стороне стоят белые чистые высокие дома инженеров

и управляющего. Там и палисадники, и даже садики, хоть и чахло, да зеленеют.

Ревет ревун, и над шахтами выбивается бело крутящийся пар — смена. Из-под земли вылезает на свет божий толпа черных людей с потухшими глазами, с пепельными ввалившимися лицами, а другая толпа таких же черных людей, все ниже и ниже теряясь красноватыми лампочками в черном стволе шахты, уносится в сбегающей по цепям клетке.

С одной из таких смен поднялся наверх Иван Семишкура — как все, черный, как все, сверкая белками устало потухших глаз.

Вышел из шахтного здания, прищурился на яркий солнечный свет после кромешной тьмы и чихнул, да так, что воробьи шумной ватагой поднялись с соседнего штабеля.

— Матери твоей весело... будь здоров!

Хотел еще чихнуть, да раздумал; глаза привыкли к солнцу. Невысокий да плечистый был старик с черно-забитой бородой и волосами и с широкою грудью-ямой — пора и продавить каторжной работой.

В казарме, как и все, он похлебал щи и, не раздеваясь, не умываясь, повалился на нары, еще теплые и густо пахнувшие потом после ушедшего на работу товарища.

По шестнадцати часов в две восьмичасовые упряжки работал Семишкура, и поэтому время сна у него всегда передвигалось,— то с утра ложился спать, то к вечеру, то ночью, но засыпал моментально. Спал тяжело, заливисто-хрипло захлебываясь, точно и во сне его давила земля.

Отсыпал свои семь часов, а часок оставлял на еду, на то, чтобы зашить кое-что из одежи, покалякать с товарищами. Проснется, сядет по-турецки на нары, стащит с сухого, жилистого, с вросшими под кожу угольными точечками, тела рубаху и сосредоточенно начинает выискивать насекомых, поглядывая сквозь продранную рубаху на свет.

— Допрежь куда лучше было,— говорит он хриплым, давнишным-давнишным, как эти шахты, голосом,— ни одной, бывало, вши и за деньги не достанешь, ей-бо!

Товарищи — кто зачиняет порты, кто тоже охотится, а кто просто лежит на нарах, закинув руки под голову.

— Али в банях прохлаждались?

— Какие бани? Бани в те поры никто и не знал. Это нонче избаловался народ банями, а прежде мылись через зиму, а то и боле, как в деревню попадали. А чистота была от гасу. Казармов не было, жили в землянках, ну, как затопишь углем, пойдет из печи от угля серный гас, вся вошь подохнет — чистота.

— А народ?

— Угорал, как не угореть, ну выволокут на снежок, отлежится. Случалось и помирали, а чистота была.

Он встряхнул рубаху.

— Как же! А простор какой был! Дикие козы в степе ходили, сказывают, из-за Каспия добегали, сайгаки, ей-бо! Разве нынешние времена? А шахта? Прибежище и сила. Бывалыча, с каторги убегет человек али попрактикуется грабежом,— куды, куды? на шахту. «Есть пашпорт?» — «Извините, сделайте одолжение...» — «Спущайте». Спустют голубчиков, и-и как у Христа за пазухой: полиции, как и нет ее. Иной год, два... по пять, по десять лет не вылазили, ей-бо! Ну, слова нет, денег им, почитай, не платили, разве товарищи водки принесут, ну, зато полиция не касается. Что толковать, хорошо было, просто, не то что теперь — суды да председатели. Энна! к мировому!.. Да я к мировому рупь с четвертью на день теряю. А прежде как? Подозвал десятский: «Ты што?..» — ахх, в зубы! весь искровянишься, а рупь с четвертаком в кармане без убытку. А теперича председатели да присутствия... Председатели да присутствия, а почему такое анжинер да управляющий всем служащим «вы», а нам «ты»? Ежели присутствие, пущай и нас величают, а то вошь заела. На-кось, выкуси!

Старик опять встряхнул рубаху, сложил комом, зажал под волосатые подмышки и слонялся между нарами в одних портах, из которых вылезало старое, жилистое, неизносимое тело с въевшимся в кожу углем, который уже никогда не отмыть.

— Не желаем, и шабаш! Пущай величают.

— Та цыть! — цыкнул чахоточный, как доска, шахтер, свесив с нар узловатые ноги, и с хриплым клокотанием выплюнул на пол черную, как сажа, мокроту.

— А што ж, правда!..— протянул парень-гигант, чугунно-черный, точно вырубленный из каменного угля. Он лежал, протянувшись на нарах, закинув под спутан-

ную шапку волос мускулистые руки.— Нехай величают. Два дня назад был у казенки на хуторе — степью шел, в трубку хлеб погнало,— злобно кинул он, приподнявшись на локоть,— вó хлеб!

— Пущай величают! — твердил голый старик, разгуливая между нар.— А што я тебе скажу,— проговорил Семишкура, присаживаясь на нарах,— задумался я...— Он посмотрел в тусклое, как и все, занесенное черной пылью оконце и надел осторожно рубаху, которая все-таки разлезлась на плечах и на локтях.— Задумался я... Слышь, тридцатый год ноне пошел, как я в шахтах... матери твоей весело. Допрежь во за этим бугром кабак был; как вышел на бугорок, а он тут, родимый, у балочке. И на душе легко. Теперь качай за четыре версты к казенке, сиделец за сеткой, как ворон, ей-бо! Што за веселость!.. Тридцать годов как прикованный, дале казенки нигде не бывал. Эх, голубь! как она, родимая сторона! пашут, сеют... хлебца житного свово хочь понюхать!.. Никак вымерли все... тридцать годов не через губу переплюнуть... Подкатило, брат, к самому суставу: в одну душу — пойду гляну своими глазами, потопчу родимую своими ногами.

— Будет тебе, старый черт, поди четверть водки купи...— злобно крикнул парень, приподымаясь на локте.— Видал, в степи шел: вó хлеб, а в Расее у нас одна солома.

Старик ссунулся, задумался о своем.

— Тут ее, матушку рожь-то, и не сеют.

И стал угрюм и молчалив той угрюмостью и молчанием, что родят вечная тьма да молчание подземное.

На другой день старик не пошел на смену, а пропал.

— Залил старик зеньки,— говорили шахтеры, надевая кожаные шлемы и заправляя лампочки перед спуском,— теперя на неделю закрутил.

Но Семишкура явился на другой день. Явился отмытый, сколько можно было — кожа у него из черной стала стальной,— в новой ситцевой рубахе, а руку оттягивала полуведерная бутыль.

Собрал свою казарму, поклонился в ноги, поставил на нары бутыль, положил бубликов и сушеную тарань.

— Братцы, тридцать годов... во, как перед образом, без передыху... Как лето, наши кто в Расею к себе в де-

ревню, кто в степе на работу, ну я без передыху, чисто запрегся, волоку — и шабаш... На шестой десяток перегнуло, много ли таких работают... Близко уж старые кости сложу, гляди, и не подымешься со сменой. Вот, братцы, иду мать родную сторону проведать. Кушайте на здоровье, поминайте Семишкуру.

— На доброе здоровье!..

— Легкой дорожки...

— Штоб родимая сторонка обняла, приютила...— загудели шахтеры, такие же мрачные, с неподвижными лицами, не то высеченные из черного камня, не то отлитые из тяжелого чугуна.

Пили, закусывали.

А парень — косая сажень в плечах — поднялся во весь громадный рост, с неподвижным, неулыбающимся черным лицом, налил из бутылки полный стаканчик, выпил, молча налил второй, выпил и, не отирая губ, повернулся, тяжело стукнул Семишкуру по плечу, и старик покачнулся.

— Брось... слышь, брось... не тебе, старому псу... тут издохнешь... Водку стрескаем, а ты ступай в смену... энта теперича не про тебя... там, брат, свое... лезь в штольню...— и стал прожевывать бублик.

— Нехай!.. нехай идет!

— Пущай... ничего...

— Занудился тут... тридцать годов — не восьмуха табаку...

— Братцы... ребятушки... ей-бо!.. рад душой. Господи!..— со слезами, уже нетвердо держась на ногах, говорил Семишкура,— лишь глянуть на нее, на мать на родимую, на землицу забытую...

На другой день в конторе, когда брал расчет, штейгер говорил ему:

— И куда ты, старая собака, прешься?.. Ты, чай, в хозяйстве бугая от мерина не отличишь... А чем землю пашут, помнишь? Чай, думаешь, киркой рубят да в вагонетках возят... Эх, сивый мерин!..

— Дозволь, Иван Аркадич... давай косу... слышь, давай косу, зараз — эххх, раззудись плечо! Махну, зазвенит... Ты не гляди — старый, вот работну!.. Работай в штольне, а помирать иди в деревню.

И долго смотрели с рудника, как шел в степи, все делаясь меньше и меньше, Семишкура с котомкой на пле-

чах, долго смотрели с тайной завистью. Потом молчаливо скрутили цигарки, молча выкурили, сплевывая черную струю, и пошли к ожидавшей клетке опять в вечную тьму.

Жизнь на руднике по-прежнему катилась изо дня в день — ревел, вызывая смену, ревун, переливчато говорили бежавшие цепи, спуская и подымая людей. По-прежнему в штольнях бились, врубаясь в черный уголь, полуголые, черные, обливающиеся потом люди при неверном красноватом свете лампочек. По-прежнему на руднике все было занесено черной пылью, и сквозь мглу тускло светило медно-красное раскаленное солнце.

Зажелтели степи, сняли хлеб. В разных местах, курясь дымком, погремели паровозные молотилки, потом их увезли, и степь опустела.

Небо стояло чистое, ясное, высокое и уже захолодавшее, осеннее; потянулась, играя на солнце, паутина.

И вот однажды, когда ударил первый утренник, те, кто был у надшахтного здания, приложив козырьком ладони, стали смотреть в степь. В степи, чернея, шел человек к руднику. Видна нетвердая, усталая походка, согнутые подавшиеся плечи, котомка. Вот уж у рудника, и все ахнули: «Идет Семишкура!»

Подошел, отер пот, скинул котомку, поклонился.

— Здорово были, братцы!

— Доброго здоровья!

На него смотрели, как на выходца с того света.

— Што, Семишкура, аль не пригодился в деревне?..

Он сел на землю, поставив остро колени, и стал ковырять землю. Шахтеры стояли кругом.

— Ну?

— Эх, братцы, каторжная наша жисть. В каждом часе своем не волен, штольни-то костями нашими заделаны. Рази можно от ней, от могилки своей, уходить? Жисть в ней положил, ну, и кости свои складывай. А я, пес старый, в деревню... А в деревне, братцы!.. мать сыра-земля... геенна огненна... У нас, братцы, каторга, а там неподобие. Торгуют ею, матушкой, рвут из зуб сын у отца, отец у сына, пропивают да проедают. Миру — поминай как звали, нет его. Прежде, бывалыча, тонем, все тонем, всем миром тонем, а нонче кажный норовит отрубить да на соседе выплыть. Чижало у нас, каторжно, ну, все равно под богом ходим, под смертным нашим часом,

все одинаковые, нету подешевше, побогаче. А там...— он махнул рукой.

Угрюмо слушали и молчали и так же угрюмо разошлись.

В конторе спросили:

— Ты чего, Семишкура, опять объявился?

— Пиши меня в десятый забой; будет... напился деревней по горло, сыт...

— Да куда тебя писать, старую собаку. Теперь к осени народ валит, да все молодой, расторопный, вдвое против тебя сделает.

— Тридцать годов...

— Не век же вековать.

— Куда же я?

— Куда знаешь.

Долго видно было, как, делаясь все меньше и меньше, уходил по степи человек, судя по осунувшимся плечам, по согбенной спине, должно быть старый, с котомкой.

ИНВАЛИД

На площадке гул отчетливо и ясно несся снизу. Иван Николаевич глянул через перила блестящими, странными глазами:

— Долго бы пришлось лететь.

В зияющем пролете глубоко внизу неясно серел холодный асфальтовый пол.

Спустились.

Когда завизжала грязная дверь, спертый, удушливый, пропитанный человеческим потом, дыханием, сладковато-приторный воздух охватил. Как в тумане, терялись в огромном помещении стойки, люди, колеса, машины, и, заполняя, носились странные, чиликающие, не перестающие звуки, точно угрюмая черная птица быстро и безостановочно делала железным клювом: чиликчлик-члик... чилик-члик-члик...

В густой атмосфере с усилием горели электрические лампочки, обливая мигающей, неуловимо-мелкой дрожью людей, части машин, иссера-черную тяжелую пыль, траурно-обвисшую паутину, и черные резкие тени мертво тянулись по полу, уродливо ломаясь по стенам.

С улицы, сквозь черноту окон просвечивал синеватый отсвет электрических фонарей, доносился заглушенный гул колес, звонки трамвая. Оттуда глухо неслась, казалось, зовущая, живая, бегущая жизнь.

Мерно качаясь, с наклоненными головами, с потными лицами, в одних жилетах или пропотелых, заношенных рубахах, наборщики мелькали гибкими, подвижными пальцами, торопливо выбирая из кассы тяжелые, пачкавшие свинцом буквы. И с торопливо-металлическим чиликаньем они ложились в железную верстатку, вырастая в черные строчки.

Хо-о-роша на-ша де-рев-ня,
То-о-лько ули-ца пло-ха!.. —

вырывается молодой голос, пытаясь бодро и весело наполнить наборную, но завязает и теряется в густой, тяжелой, озаренной сиянием атмосфере, покрываемый неперестающим угрюмым, равнодушным чиликаньем.

— Будет! Александр Семеныч в конторе...

— Семен Ильич, дайте петиту. Ей-богу, отдам, после урока буду разбирать.

— Нет... не могу, у самого не хватит...

— Этот скареда разве выручит когда?..

— Товарищи, чья рукопись?

Эти мерно качающиеся между стойками фигуры, автоматически бегающие пальцы так не вязались с представлением процесса мысли, сознательности, из которого рождалась газета.

«Газета — это фабрика...»

— Добрый вечер, Иван Николаевич,— говорили наборщики, качаясь, не отрываясь от торопливого набора, с потными лицами.

— Доброго здоровья...

И той же улыбкой редких желтых зубов, какой он отгораживался от остальных людей, отгораживался он и от них, и то же жесткое мелькало в маленьких серых глазках.

— Здравствуйте, Семен Артемыч.

— Ивану Николаевичу — мое почтение.

Маленький, живой, с горячими черными мышиными глазками, человечек торопливо улыбнулся, торопливо подал черную от свинца руку, как бы давая понять,

что он высказал все, что мог в данный момент; распластавшись над широким столом, сплошь занятым черными колоннами шрифта, он верстал номер, быстро и ловко, как хищная птица добычу, хватая крючковатыми пальцами куски набора и торопливо зажимая в железную раму. Завтрашний газетный лист постепенно вырастал — тяжелый, черный, свинцовый.

— Кажется, запаздывает сегодня? — проговорил Иван Николаевич, стоя у стола и наблюдая за версткой.

У него сделалось потребностью каждый вечер после газетной работы спуститься сюда и потолкаться среди знакомых качающихся фигур.

— Да ведь вот... что с этим народом!..— И метранпаж даже оторвался на секунду и мотнул головой по направлению наборщиков.

Из люка, темным провалом черневшего в полу, раздался грохот, точно по тряской мостовой тяжело тронулась телега, нагруженная железными полосами, и мерно, ритмически-прерывисто заполнил наборную. И хотя от него слегка дрожали стены, он не мог покрыть упорно чиликающих сухих и коротких звуков, носившихся в густой, насыщенной атмосфере, сквозь которую острым светом с трудом светили электрические лампочки над склоненными покачивающимися головами.

Это был грохот печатающей в подвале машины, добегавший и до верхнего этажа смутным, неясным гулом.

— А ловко обработали вы их...— ласково проговорил Иван Николаевич, повышая голос, чтобы было кругом слышно, улыбаясь все тою же добродушно-злою улыбкой.— Теперь небось грызутся...

Метранпаж судорожно дернулся, засуетился, рассыпал кусок набора.

— А-а... будь ты проклята!.. Иван Николаевич, никак нельзя под руку говорить!

И он почтительно-злобно ожег его маленькими жгучими, полными ненависти глазами и стал собирать рассыпанный кусок.

Иван Николаевич стоял, улыбался.

Заветной мечтой метранпажа было открыть свою, хотя бы на первое время маленькую, типографию. Вел он аскетическую жизнь, откладывая каждую копейку, лишениями загоняя жену в гроб, работая по-лошадиному. Никто не знал, когда он спал. Был артист и художник

своего дела и до того набил руку, что мог сам составлять номера. Чтоб заставить контору больше собой дорожить, душил рабочих, заводил среди них фискалов и, наконец, тайно убедил контору разбить рабочих на несколько групп, различно оплачивая их независимо от количества и качества труда. И рабочие раскололись, озлобляясь друг на друга.

— Вви-ду... ду... ду-пло... ди-пло... ди-пло-ма-тических...— слышится напряженный шепот — шепот, который даже в этой густой, трудно колеблемой атмосфере разносится до дальних углов.

Впиваясь, глядят в захватанную, испещренную беглым путаным почерком рукопись усталые глаза; напряженно бороздится влажными от пота складками лоб, на который свисают взмокшие пряди; все так же качается плоская, угловатая, облипшая потной рубашкой фигура; ни на минуту не прекращая, работает железным клювом черная птица, и пристально смотрит с улицы в окна озаренная синевой ночь.

— Тьфу!.. Сам дьявол не разберет... С семи часов стоишь... не из железа!..— заикаясь от раздражения, стараясь покрыть короткие чиликающие звуки, выкрикивает небольшого роста с огромными, как рога, усами и бритым подбородком наборщик.— Ночь на дворе... Докуда же я буду возиться над ней?..

— А кто ж тебе виноват? — слышится сквозь непрестанное чиликанье, сквозь сердито-мерное громыхание машины спокойный голос.

— Кто?Ментр чего смотрит? Пусть в конторе скажет, редакции... редакц...

— Ментр ни при чем...

С преждевременно состарившимся лицом, с ввалившимися висками качается возле благообразный рабочий. Двое очков старой, заржавленной оправой въелись в переносицу.

— Ментр ни при чем — что дадут, то и раздает... Контора тоже ни при чем — не ее дело, а редакции что — лишь бы статьи годились... Рукопись ему ясную подай!.. Да, может, он, господин сотрудник-то, в это самое время башку ломает, как ему быть с Китаем или государством каким или там про финансы и про Вильгельма, а вам рукопись ясную подай... о вас помнить!..

Он замолчал, и вместо человеческого голоса носилось лишь упорное, неперестающее металлическое чиликанье, да из люка, тяжело дрожа, лилось грохотание.

— Чудак вы! Кто виноват?.. Никто не виноват... никто!.. Это-то и страшно нашему брату — виноватого нету...

Большие усы сердито повернулись, точно желая посадить на рога говорившего.

— Я по́том зарабатываю кусок хлеба, а у меня изо рта рвут... То в час тридцать — сорок строк наберешь, а то, вот — такой оригинал, и пятнадцати не выгонишь... Рубля в день и нету, а на рубль-то я два дня семью кормлю... Им — хорошо: помотал пером,— пятишница. А наш брат дуйся... Утром темно придешь, ночью темно уйдешь; света божьего — его и не видишь...

«Грр... грр...» — старается заглушить, тяжело накатываясь и откатываясь с шрифта, машина.

«Чилик-члик-члик... чилик-члик-члик...» — торопливо носится, не отставая, в душной тяжелой атмосфере.

— А уж ежели что, так виноваты мы, наборщики...— упрямо твердят двое очков, выбирая из кассы шрифт и боком приглядываясь к рукописи...— Виноваты, говорю, мы, потому не умеем так, чтобы не жрать, а каждый день обедаем, да чай пьем, да непременно, гляди, чтобы в сапогах, а не в опорках, да чтоб в пальте... Ну, а как такой-то оригинал попадется, тут уж, значит, день не пообедаешь... Привыкать надо, нечего кобениться, не принцы или короли саксонские...

— Корректура!..— громогласно, с ноткой презрения возглашает испитой мальчишка, кладя на стол длинные, узкие оттиски, бегло испещренные на полях хвостиками, крючками, точками.

А в неподвижной густой атмосфере, пронизанной лучисто-голубоватым сиянием, все носится ни на секунду не перестающее чиликание, видны мерные круговые взмахи рук, мелькающие черные пальцы, наклоненные, всклокоченные, мерно качающиеся головы, губы, напряженно шепчущие фразы рукописей, серые землистые лица, с ввалившимися щеками, влажно отсвечивающими медленно стекающим потом.

В этом огромном, тусклом от духоты помещении все залито напряжением торопливого, усталого труда.

— Семизоров, идите в контору! — прокричал, стараясь покрыть чиликанье, конторский мальчик, чистый и опрятный в противоположность черным от свинца наборщикам.

— Зачем? — спросил Семизоров, не оставляя набора, глядя сквозь двое очков.

— Управляющий велел.

Мальчишка скрылся за дверью. Так же металлически чиликали торопливо ложившиеся по железным верстаткам свинцовые буквы, так же тесно стояли стойки и качались люди, и тускло сквозь занесенные свинцовой пылью окна глядело электричество уличных фонарей, но что-то, какой-то странный неуловимый след остался в наборной после ухода мальчишки.

Семизоров докончил верстатку, снял с нее набор, приложил к колонке на стойке, спокойно снял одни очки, другие и, производя странное впечатление их отсутствием, точно у него отняли нос или вынули глаза, пригладил волосы и пошел в контору.

— Меня звали?

Потому, что все здесь были в белых воротничках, в ярко вычищенных штиблетах, с причесанными волосами, чисто выбритыми подбородками, они не ответили ему сразу.

— Звали меня?

— К управляющему,— мотнул головой один из конторщиков.

Семизоров прошел в соседнюю комнату, остановился у двери с особенною смесью почтительности и сознания собственного достоинства.

Управляющий, маленький, чисто выбритый человечек, в манжетах и воротничке, белизной которых недосягаемо отделялся от стоявшего перед ним человека, писал за столом, заваленным счетами, фактурами, конторскими книгами, образцами типографской бумаги, и в комнате с минуту слышен был только шелест пера да тиканье маятника.

— А-а... Семизоров. Ну вот что,— говорил он, подходя к черному человеку, полуфамильярным, полуделовым тоном,— трудно, я слышал, вам работать... мм... вы вот что... вам отдохнуть необходимо... полечитесь, лягте в глазную лечебницу... прекрасный окулист...

«Вот оно...»

Семизорову стало мучительно холодно, как будто внутри все внезапно побелело и стало звонким и хрупким, как лед, и он не шевелился, боясь, чтоб оно не потрескалось и не рассыпалось на кусочки.

— Мы вас ценим... мы вас чрезвычайно ценим... нам нужны опытные, знающие, честные работники; вот потому-то я и говорю — отдохните, полечитесь... Если будете в глазной, скажите, что из акционерной скоропечатни... меня там знают, все сделают для вас...

Семизоров стоял. Хотелось спать — покоя, забвения, неподвижности... Всю жизнь он провел в городе. Давно, давно, мальчишкой, как-то попал верст за двадцать в деревню. Было тихо, неподвижно... Между камышами блестела вода. Не трепеща, стояли осокори... У самого берега от истомы, не тронутая косой, никла трава. И такая же трава, так же не тронутая косой и поникшая от истомы, глядела из воды с опрокинутого берега... В неуловимой глазом глубине ослепительно белели облака, и за облаками тонко сиявшее, голубое небо.

Мальчик прыгал, и смеялся, и плакал, визжал от радости, катался по траве, потом задумался, прислушался к этой необыкновенной, никогда не испытанной тишине, присмирел, растянулся у воды, слушая тишину... Время потерялось...

И теперь, через тридцать лет, Семизоров стоял, и перед ним между камышами блестела речка, и глядел опрокинутый в воде берег, и белели далеко внизу облака, и сияло сиянием праздника на недосягаемой глубине небо. Он жадно ловил эту испытанную когда-то тишину...

— Правление постановило выдать вам не в зачет двухмесячный оклад... Так вот, отдохните, поправляйтесь...

Все было ясно и просто, и не нужно было слов.

Но как перед этим Семизоров слушал ненужные ему речи, так теперь он стал говорить ничего не могущие поправить слова:

— Что же, Александр Семенович... как же так? ведь с мальчиков я у вас... тридцать лет...

— Я говорю вам — мы вами чрезвычайно дорожим, высоко ценим вашу службу... Повторяю, правление само, по собственному почину, назначило вам двухмесячное жалованье...

— Ведь это... на улицу с сумой?

— Что вы!.. что вы!.. да разве мы вас увольняем? Я только говорю, вам отдохнуть, полечиться надо. А не хотите, оставайтесь... Мы рады, мы очень рады, мы ценим таких работников... Я только советую вам... Как отдохнете, поправитесь, милости просим опять к нам, для вас всегда место будет... Мы только советуем... ну, и двухмесячное жалованье...

Семизоров провел рукой по лицу, как будто сметал паутину ненужной лжи человеческих отношений, как будто хотелось просто, не смягчая, взглянуть беспощадной правде в лицо.

— Помирать надо, Александр Семеныч.

Что-то дрогнуло в лице управляющего. Он забыл свои манжеты, свою квартиру в тысячу рублей, мягкую мебель, чисто выбритое лицо, забыл все, что отделяло его непереходимым расстоянием от стоявшего перед ним человека, и сказал совсем другим голосом... и переходя на «ты»:

— Голубчик... ты знаешь, я ведь сам служу... Распорядились... мне ведь и самому...

Так несколько секунд стояли друг против друга *два человека.*

— Так вот,— заговорил прежним тоном, разом чувствуя на себе манжеты, чистое белье, чистое лицо, управляющий,— отдохните, полечитесь, поправляйтесь...

Когда Семизоров вернулся в наборную, подошел к своей стойке, спокойно надел одни очки, другие,— никто из наборщиков по странному чувству деликатности не спросил, зачем его звали, хотя никто не знал зачем.

Все так же носилось чиликанье, все так же слышался напряженный шепот разбирающих рукописи, все так же качались усталые фигуры и резко и черно, ломаясь в углах, лежали тени.

Когда пошабашили и наборщики радостно и торопливо, на ходу, засовывая руки в рукава, одевались, Семизоров сказал:

— Братцы, айда в «Золотой Якорь».

— Поставишь, что ль?

— Да уж ладно.

— Ребята, Шестиглаз угощает.

— Магарычи, что ли? али прибавка?

— Ну, да вам водка вкуснее не станет, с прибавки она или с убавки...

Смеясь, балагуря, с чувством огромного облегчения сброшенного трудового дня, шли веселой гурьбой по ярко освещенной улице, свернули, прошли несколько переулков и стали подниматься по грязной лестнице гостиницы.

Знакомо пахло селедкой, пригорелым маслом, чадом. Говор, звон посуды, свет от закопченных ламп, смешанный запах водки, пива и еды, густые, непроницаемые сизые волны табаку, и в них бесчисленные головы над столиками, заставленными бутылками, стаканами.

Весело и шумно расположились за столами, и через десять минут у всех блестели глаза, все говорили, и мало кто слушал.

— Ну, поскорее, полдюжины!

— Что полдюжины, смотреть не на что,— дюжину!

— Слушаюсь-с.

— Я говорю, ребята, у нашего ментра тысячи две в банке лежит.

— Искариот,— придет и на него время.

— А я те говорю — у него своя типография будет. К нему же придешь, поклонишься.

— Сдохну, не поклонюсь!..

— Эй, молодец, десяток «Прогресса».

— Люблю тебя, Шестиглаз, ей-богу, хошь ты и слепой черт...

— Был конь, да изъездился! — говорил размякший Семизоров.— До чево жизнь она чудная... Нет, ей-богу... Помолчи, честной народ... ну, что галдишь?.. Наливай-ка... Собственно, в каком положении жизнь моя?.. Так, тьфу!.. Тридцать лет служил... мальчонком ведь меня в типографию отдали, вот в эту самую, в нашу... годов десяти... тут и кассы учился разбирать, и набору учился, всего видал... Оглянешься, аж жутко делается: тридцать годов, ведь это не тридцать шагов перейти... Ну, выпьем, братцы!..

За множеством столов сидели, курили, тонули в сизых волнах. Молодцы в белых рубахах носились с подносами, уставленными посудой, водкой, пивом, закусками, торопливо-услужливо подавали, принимали. Гул, смутный, слепой и бессмысленный, гул сотни отдельных голосов, огромным клубком скатавшихся над головами

людей, тяжело и дрожа переливался, волнуясь и заглушая отдельные слова, отдельные возгласы, крики. Было что-то свое в нем, ни на минуту не перестающем, ни на минуту не ослабляющем тяжелого напряжения, что-то неумолимое, стирающее все различия.

— Э-э, братцы!.. главное в чем... потому, собственно, виноватого нету... Ну, кто виноват? Я, братцы, не виноват — старость пришла, износился, глаза не служат... Что же такого, ничего... ни-че-эго!.. Контора? Контора не виновата,— ей приказано... Что же, вон управляющий сегодня говорит... тоже ведь — человек, не из железа... стал говорить, а у самого голос осекся,— да... приказано... он что, служащий... хозяева, стало быть акционеры, правление виноваты, что ль?

— А то не виноваты?! — низко и зло прозвучало за столом.

— А то виноваты, что ль? Скажем, я износился, работник, да не тот — слепнуть стал. Могут они держать? Через год ты станешь слепнуть — или чахотка; тебя станут харчить; так это лет через пять нас, братцы, девать некуда будет: клячи, съедим всю скоропечатню; общество ухнет, ей-богу... а то нет?

— Очень просто.

— Да черт их съешь,— заговорил все тот же голос; низкий и злой.— Мне какое до них дело... Я работаю не покладая рук... силы, здоровье, все отдаю, а потом, как тряпку, меня — вон... Хорошо, не виноваты,— так ведь и я не виноват.

Гул снова взмыл, переполнив помещение, и опять тонкий и высокий голос Семизорова стоял одиноко и резко, пытаясь выделиться, но нельзя было различить слов, и опять набежавшая тысячеустая волна поглотила, и мертво и тупо властный колыхался над людьми гул — без слов, без смысла...

Ге-эй га-ало-чки чу-у-барочки
Кру-у-ту го-ору... кры-ы-ыли...

— «Прогрессу» коробку!..

— А все оттого, что мы — бараны... Будет так — придет время — не будут люди одни возить, другие ездить... к тому идет...

— Брехня!.. Не нужно, не ври!..— резко и злобно кричал Семизоров, и так пронзительно и тонко, что колы-

хавшийся гул не успел поглотить его крик, и все повернули к нему головы.— Ишь ты, не будут ездить... врешь!..

— Да ты что?! что!.. в морду захотел!..

— Бей!.. на!.. на, бей!!

— Позвольте получить... Пожалуйте сдачи... Покорно благодарим...

— ...не ври... дескать, хорошо тогда будет... дескать, ни слуг, ни господ — все одинаковы, все есть, пить будут свой хлеб, а не сидеть на чужой шее да не жиреть чужой кровью... врешь!! Не ври... что глаза-то народу отводить... вре-ешь!.. Я-то, я, Семен Поликарпыч Семизоров, по прозванию Шестиглаз... тридцать лет простоял над кассой... Моя-то жизнь как?.. ни в какую цену?.. ни в копеечку?.. а-а, то-то хорошо будут жить, честно, а от меня что останется?.. Я-то тут при чем окажусь?.. Не обманывай, не ври!..

Он стукнул кулаком по зазвеневшему посудой столу.

— Зараз жить хочу!.. вот сию минуту!

Но клубившийся говор поглотил его спокойно и угрюмо, как всех. И на секунду снова, как среди разыгравшегося, волнующегося моря, мелькнул его голос:

— А то внукам хорошо будет, чтоб ты лопнул!.. Вот оно мясо, кожа, все сгниет... слышь ты...

— Да будет вам...

О-о-ой, да-а-а-а... Ва-а-нька-а...
Ма-а-а-ль-чи-ше-шеч-ка-а...

— Господин, нельзя... потише... Этак все запоют...

— Давай еще полдюжины...

Хриплый, хмурый голос уже выбивался из колыхавшегося, клубившегося гула, с секунду борясь с наплывавшей волной.

— Молчи!.. не вноси разврату... наш брат только тем и живет, что в будущем хорошо, внукам хорошо будет... одной надеждой только и дышим... молчи!..

— А-а, молчать?! Я сдохнуть должен, молчать!..— И он злорадно, с красным лицом кричал: — Да и вам не видать... не видать, как своих ушей, хорошей жизни,— подохнете!.. Мне сейчас сдыхать, вам после, все одно... Внукам хорошо будет, чтоб они обтрескались!..

— Сёма, миляга, дай поцелуемся... выпьем... Люблю я тебя, как...

— Не скули...

— Эй, человек!..

— Братцы... братцы... милые мои... товарищи!.. — Семизоров плакал пьяными слезами, целовался пьяными, мокрыми усами и крутил взмокшей, растрепанной пьяной головой.— Ухожу, братцы, товарищи, ухожу от вас... Не будет у вас Шестиглаз теперь в наборной качаться... износился, пора и честь знать...

А говор колыхался над ними, слепой, равнодушный и темный...

Как в тумане, с усилием горят в густой, спертой атмосфере электрические лампочки; неустанно носятся чиликающие металлические звуки; у стоек наклоненные фигуры с потными лицами; так же тускло смотрит в окна ночь; и зовет и манит вечно бегущая за ними жизнь. Напряженный, усталый труд заливает огромное помещение, и, сотрясая стены и покрывая все звуки, тяжко льется из люка грохот. Проходят дни и недели, как до этого проходили годы.

За стойкой Шестиглаза качается новый молодой наборщик с таким же потным лицом, в такой же пропотелой рубахе, как и все, как будто он годы качается со всеми.

О Шестиглазе не то что забыли, но этот непрерывный, усталый труд, залитый напряжением и ни на минуту не смолкающим свинцовым чиликаньем, точно тиной, заволакивает впечатления, и они бледнеют и тускнеют.

Шестиглаз о себе напомнил.

В наборную входит один из наборщиков, и сквозь темноту свинцовой пыли тускло пробивается бледность его лица. Он поднял руку и кричит. Должно быть, что-то особенное в его крике, потому что мгновенно смолкает чиликанье, головы поворачиваются, смотрят круглые, расширенные глаза, и хотя тяжко по-прежнему льется из люка грохот, сквозь него чудится страшная мертвая тишина.

Он кричит:

— Шестиглаз... повесился!

Давимый мертвенной тишиной, смолкает грохот, и в наступившей огромной пустоте лишь слышится шелест человеческого дыхания.

Отовсюду посыпалось:

— Когда?.. Кто вам сказал?.. Не может быть!.. Что же это такое!.. Га-а! Вы были там?

Его окружают. Из люка подымаются рабочие. Огромная человеческая машина на полном ходу расстроилась, остановилась, оборвались привычные звуки хода и чуждое, незнакомое, постороннее трепещет среди черных, занесенных свинцом стен.

На стойку взбирается молодой наборщик. Губы трепещут, дергаются не то усмешкой, не то судорогой, и голос звенит:

— Товарищи, за кем очередь?..

Все молча, как прикованные, не отрывают от него глаз.

— Он был между нами... толковал, а мы отделались грошовым сбором и на другой день забыли... Товарищи, его повесили... мы! — и не стереть нам нашего преступления.

Голос его покрывает рев сотни людей:

— Сто-ой!.. бросай работу... станови типографию!.. бастовать!.. Товарищи, выходи!..

Мелькают шапки, рукава, пальто, сверкающие глаза. Черная толпа выливается, и двери, захлебываясь хриплым визгом, захлопываются за последним.

Тишина. Неподвижная тишина.

В этом странном безмолвии уродливо стоят стойки, валяются верстатки, чернеет рассыпанный шрифт, тускло глядят ничему не удивляющиеся окна. Беззвучен темным провалом разинутый люк, и немы на полувзмахе остановившиеся машины. Белеют ленты бесконечной бумаги.

В неподвижной тишине все мертво, холодно, окоченело.

Так же немо, холодно, мертво тянется потерявшее меру время.

Боязливо-сторожко хрипит дверь. Входят люди, растерянные, бледные, с чистыми лицами, белыми воротничками, чистым, красивым, дорогим платьем.

Они озираются, точно их поразила уродливая неподвижность мертвых вещей, и говорят сдержанными, глухими голосами, как будто в этих темных стенах — покойник.

— Но как это вышло?.. Почему?..

— Я сам ничего не понимаю... вдруг... внезапно... не предъявляя никаких требований...

— Это вы виноваты, Александр Семеныч.

— Я, помилуйте, я все меры...

— Господин директор, необходимо сейчас же просить полицию, администрацию...

— Ах, что мне полиция! Разве полиция возместит убытки?.. Ведь это провал, разорение!.. Что скажут акционеры!..

Он хватается за голову, качается, и в волосах, как искры, сверкают на пальцах камни перстней.

НОЧНАЯ ПОЕЗДКА

I

Вверху над городом темно, хоть глаз выколи. Внизу яркое сияние электрических фонарей упруго подымает нависающую со всех сторон тьму.

Площадь пуста. По улицам тоже пусто. Стоит странная жуткая тишина после дневной сутолоки и грохота, и черные окна смотрят неподвижно и мертво, как незакрывшиеся спящие глаза.

Смутны неподвижные силуэты городовых. Я вывожу из подъезда на мостовую беззвучно прыгающий велосипед.

— Ну, куда вы в этакую темь? — говорит приятель, выходя за мной без шапки и с тревожным лицом.— Ведь двадцать пять верст... оберут вас за городом, а то и пристукнут. Оставайтесь-ка до утра, а утречком чудесно доедете.

Я на минуту приостанавливаюсь. Ночь темна, и за городом всегда держат облаву босяки и хулиганы; но какой-то дразнящий бес неодолимо подмывает ринуться в

эту жуткую темноту, и я сейчас же нахожу необходимый довод:

— Да ведь ждут на даче... будут беспокоиться.

И я сажусь в седло, велосипед послушно трогается, беззвучно прыгая по мостовой.

— Прощайте!

— Прощайте... счастливого пути!..— уже пропадая, слабо доносится сзади.

Спящие дома, синие тени фонарей бегут назад. У велосипеда, изламываясь по мостовой, то короткая у самых колес, то узкая и длинная через всю улицу, уродливо и послушно бежит моя тень.

Вот и одноэтажные глухие и темные домики, то и дело разрывающиеся темными пустырями. Сиротливо, чуть мерцают керосиновые фонари. Тени слились. Окраина.

Чувствуется немощеная мягкая дорога, и велосипед бесшумно катится мимо отходящих назад последних темных строений.

Густая черная темь сразу охватывает.

Сзади голубоватое зарево, впереди — ровная непроницаемая чернота, заворожившая весь мир.

Не видно ни дороги, ни поля. Не знаю, куда бежит велосипед, и только некоторое усилие, с которым нажимаю педали, говорит, что еду в гору.

Знаю одно: могу заехать в овраг, наткнуться на железнодорожное полотно, забраться в совершенно противоположную сторону. Ухо жадно ловит смутный звон чуть гудящей в вышине проволоки, а глаз — неуловимые силуэты выступающих у самого велосипеда и сейчас же пропадающих телеграфных столбов.

«Эй, смотрите, оберут, а то и пристукнут...» — зловеще слышатся напутственные слова.

Ночной воздух, дотоле неподвижный и молчаливый, теперь несется в лицо; смутно мелькает дорога; характерный звук быстро катящихся тугих шин наполняет немое молчание темноты: «Вь-и-и-и... вьи-вьи-вьи!..»

Тонкие нечеловеческие голоса впиваются в ухо, и иглы мгновенного страха остро разбегаются по всему телу.

— А-а... так вот оно!.. оберут или прист...

Вьи-и-и... вьи-вьи... вьи!..

Нет, это не голоса, это — встречный воздух безумно свистит в раме, в спицах, в ушах.

Ноги, подхваченные педалями, мотаются, как собачьи языки в жару. Вцепившись в руль, я судорожно держусь, низко согнувшись. Ночь несется на меня, по-прежнему неподвижная, слепая и темная.

И вдруг жуткое, жгучее ощущение безумной езды пронизывает меня острой радостью.

— Га-а-а!.. берегись!..

Я забываю о грабежах и убийствах, о босяках, о том, что ночь также зловеще темна; мне хочется кричать, петь звонко и оглушительно.

— Га-а-а!.. го-го-о-о!!

Но бешеный бег срывает голос, как соломинку, и угрожающе нарастает до предела доведенный звук напряженных шин.

Велосипед сломя голову несется куда-то под гору...

Куда?

Если на дороге повозка, лошадь или человек, я разобьюсь вдребезги.

Все равно...

— Го-го-го-о!..

Во тьме внизу, как живой, загорелся огонек.

Он не приближается, а растет, делается яснее, раздваивается, распадается на два. Должно быть, будка у железнодорожного переезда.

«А что, если шлагбаум закрыт?»

И как бы в подтверждение, откуда-то издалека, смутно, как комариное пение, тянется едва уловимый звук паровозного гудка.

Но уже некогда раздумывать, невозможно остановиться, и, шумя расступающимся воздухом, проношусь, приникнув головой к рулю, мимо купы деревьев, мимо двух освещенных окон... В полосе света блеснули рельсы... раз, раз... и в следующее мгновение все пропадает далеко позади вместе с запоздалым лаем спохватившейся собачонки.

Вжж... вжж... вжж...

Я сильно наклоняюсь, велосипед круто берет поворот, оставляя странное ощущение живого существа, инстинктом чующего дорогу.

На секунду доведенный до предела бег перехватывает мне дыхание, охватывает сырость и прохлада, темно мелькают перила моста, с размаху меня насовывает на

руль, снова охватывает теплота летней ночи. И велосипед, взявший гору, останавливается, обессиленный, наверху.

II

Схожу с седла.

Тишина.

Та особенная тишина в степи, вдали от городского шума и сутолоки, под темным немерцающим звездами небом, среди невидимых, таинственно на необозримом пространстве раскинувшихся хлебов,— тишина, таинственное и грустное ощущение которой люди умеют только чувствовать, но не умеют передать.

Лишь неустанное стрекотание кузнечиков да перепелиная песня наполняют молчание ночи.

Я глубоко вдыхаю свежий ласковый воздух назревающих полей.

Позади, внизу, сквозь темноту глядят огоньки железнодорожной будки. Далеко вправо мелькают огни взбирающегося на гору поезда. Над самой чертой горизонта недвижимо голубоватое зарево. И сейчас же вместе со всеми представлениями, со всем укладом городской жизни всплывают предостерегающие слова: «Смотрите, оберут, а то и пристукнут».

Подозрительно оглядываюсь: тихо и темно. Тренькают кузнечики, молчат необъятные поля. Снова на душе мирно, покойно. Сажусь в седло: велосипед послушно, беззвучно бежит по невидимой дороге.

То пропадая, то загораясь, глянули впереди сквозь тьму огоньки дач, и нельзя разобрать — далеко это или близко.

Ни о чем не хочется думать, или бродят мысли и воспоминания, мутные, неясные, как сон.

Нечеловеческий звериный рев разрывает ночную тишь. Кто-то ревет, как обезумевшее животное, и смертельный ужас трепещет в темной примолкшей ночи.

«Вот оно!.. оберут или...»

Я изо всех сил наваливаюсь назад на педали, но машина раскатилась, и прямо передо мной, гудя чем-то над моей головой, темно выросла громадная фигура.

А ночную темноту продолжают наполнять бессмысленные, полные ужаса вопли.

— Хто-о?.. хто-о?.. постой... погоди!.. хто ты?..

Я повалил машину на сторону в хлеб. Поднимаюсь, темная фигура виднеется шагах в пяти на дороге. Слышится взволнованное, прерывающееся дыхание.

— Ну, и напужал!.. Фу-у т-ты... вот напужал!..

— Да ты что орешь,— говорю я раздраженно, потирая ушибленное колено и локоть.

А он тяжело дышит и говорит:

— Да как же... иду, задумался... тихо, темь... подымаю голову, глядь — прямо на меня по воздуху... согнулось, а что, не разберешь... по воздуху, по воздуху прямо на меня... о господи!.. аж замстило... валасипеда-то мне не видать... темь, а по воздуху, вижу, плывет человек над дорогой... прямо на меня... фу-у, напужал!..

Я поправляю сбившееся при падении седло. Кузнечики взапуски стрекочут. Ночь кругом такая же невозмутимая, спокойная. Раздражение и досада проходят, и все это приключение начинает носить комический вид.

— Да ты что же думал, это черт на тебя, что ли, плывет?

Молчит, потом говорит каким-то сдержанным голосом:

— Не-е... не черт... а коли б еще на полшага подъехал... не удержался бы, подъехал... голову бы начисто размозжил... одна шея бы осталась...

Он чем-то пристукнул о землю, и она дрогнула тяжелым металлическим звуком.

— Начисто... одна бы шея осталась...

И опять, помолчав, добавил:

— Железина у меня в руках... лом... так я им отмахивался... еще бы на полшага, одна шея...

Перепела, кузнечики, все обаяние спокойствия, тишины летней ночи мгновенно исчезают, остается только темь и человек с ломом...

Чувствую, не уйду от этого человека.

— Так ты испугался?

И другим, незнакомым мне, ломающимся голосом спрашиваю:

— Ты что за человек?

В темноте молчание. Я вижу темный силуэт лома, прислоненного к его ноге. Человек роется и шуршит в кармане.

«...одна шея... оберут или пристукнут...»

Из темноты звучит голос:

— В бегах я.

— А-а!

«Я не уйду от этого человека!..»

Он слишком близко стоит от меня, и я слышу, как шуршит бумага в кармане, в котором он все чего-то ищет. Я не успею сделать и попытки вскочить на велосипед, как лом опустится на мою голову.

«В бегах... ясно: из острога... если б на пять шагов дальше от него!.. только б на пять шагов, я бы успел вскочить!..»

Но он наклоняется к самому моему лицу, обдавая дыханием, и я вижу в темноте два расширенных, два сверкающих глаза.

«Сумасшедший!..» — И напряжение неизбежной борьбы охватывает мои нервы и мышцы, сжатые, как пружина.

— Думал, гонец вы за мной... по воздуху. Покурим, что ль?

— Не курю.

— Ну, отдохнем.

Он садится на темную траву, и, подчиняясь смутной гипнотизирующей силе, я опускаюсь возле.

— Гонец... по воздуху... то-то чудной! Попритчится же такое?

Вспыхивает в сложенных ладонях спичка, красновато прорывается между пальцами свет, и на секунду из темноты выступает ус, кусок носа, небритая щека. Он сидит, подняв колени, от времени до времени попыхивает цигаркой, и мне почему-то становится легче на душе.

— Из города, говоришь?

— Что я тебе скажу,— вдруг заговорил он, опять наклоняясь,— что я тебе скажу: от городского буржуя убег я!

— Из...— «сумасшедшего дома» хотел сказать я, но сказал,— из больницы?

— От буржуя убег я,— продолжал он, не слушая,— иду в каменоломни... Ведь как вам сказать, господин... вот он, вот он, этот самый город, вот он,— и он протягивает черную руку к черному горизонту, над которым стоит голубоватое зарево,— в этом самом городе буржуй нутро у меня все выел.

— Болел, что ли?

— Да нет, нутренность у меня всю выпил буржуй этот самый, будь он трижды проклят!.. Ведь у меня, господин, в деревне нашей семья: сынок об пяти годков теперь, жена, ждут, выжидают, истомились, измаялись, а я, господин, как проклятый, не могу вырваться. Сынка-то, сынка поглядеть хочется, лопочет теперь небось... как уходил в город, год был... лупоглазенький...

Вспыхивает цигарка, отодвигая темноту, и снова на секунду выставляется ус, кусок носа и часть лица.

— Только нет... не вырваться, не пустит он меня!..

В голосе странно звучит тоска.

— Да как же не пустит? Взял и поехал.

— Да так, господин, оно и легко и трудно. Вот только всего — взял, сел и поехал, ан пройдет год, другой, третий, глядь, а ты все в городе... вот как вы теперича: вам надыть ехать на дачу, а вы вот со мной сидите, разговариваете, не едете, и никто вас не держит...

— Гм... кхх... кхх...

— Так-то вот, и я... как уходил из деревни, думал, вот заработаю, сколочу деньжат, хозяйство поставлю, хату новую срублю, лошаденку прикуплю, плуг думал завести... землю-то арендуем дорого, туго приходится: что выработаешь, все несешь за аренду, а тут падеж, неурожай, кобылка, мочи нет, хоть помирай... Женился я, с женой всего только полтора года прожил, сынишка родился. Обсоветовались мы пойтить мне на год в город заработать на поправку хозяйства. Ну, пошел, думал на другое лето к уборке воротиться, ан вот пятый год пошел, а я ни семьи не вижу, ни хозяйства, ни на мне ничего окромя лохмотьев... разве вот что ваши шаровары придутся хорошо...

Это звучит довольно зловеще. Кажется, мне предстоит ехать на велосипеде без шаровар.

Я пытаюсь обратить в шутку:

— Не налезут!

— Растянутся!

— Что же, неудача была, не мог заработать?

Он вздыхает, затягивается, на минуту освещается лицо.

— Работа она была, да ведь как? Буржуй дает столько, лишь бы не сдохнуть... Бьешься, бьешься, пошлешь гроши домой, ведь и там помирают с голоду, и опять ничего, опять бейся. Припало, поступил кучером.

Работа бы не чижолая, ну только с тоски было сдох. Отвезешь барина, станешь у подъезда, стоишь, стоишь, стоишь, часами стоишь, мороз ли, жар ли палит, все равно стоишь, как статуй, от скуки аж челюсти на сторону разворачивает... Люди дело делают, а ты по целым часам сидишь на козлах! Ну, все-таки понемножку откладываю, думаю, отстрадаю тут, зато вернусь, дома хозяином стану, только и видел во сне как еду домой. Хлоп, барин помер, остался я без места. Пока стал искать работы, все проел, обносился, одни лохмотья; из дому пишут, Христом-богом просят, пришли, помираем, а мне не из чего, хоть руки на себя наложи... Когда где и урвешь двугривенный, с горя напьешься, ведь человек тоже, не из железа. Попал на ссыпку на набережной, опять стал копить. Пришла осень, прекратили ссыпку, все проел. Так и пошло колесом... Эх, да что и толковать... Глянешь на себя: босой, оборванный, тряпье, срамотно... Зачнешь опять добиваться, чтоб человеком придтить в деревню-то, а там опять покатился, так и не видал, как пятый год пошел... Буржуй — он хитрый, жрет, пьет, а нашего брата на цепи держит, и не видать ее, цепь-то, а все тело железом изрезано. Убег я, увидал вас, и представилось, что это буржуй за мной гонца по воздуху послал. Ну и напужался!

Он замолчал.

Долгий протяжный свист локомотива потянулся в темноте из лощины. В черноте ночи стояла тоска, и я не видел его лица, не видел глаз, только темная фигура смутно и неясно маячила возле да неподвижное зарево глядело с черного горизонта.

— Теперь иду на каменоломни...— работа каторжная, по крайности вырвусь из города... Заработаю, оденусь, уже не стану копить, так приду домой хоть одетый-то... может, и вырвусь, *он* и не стрескает... сил моих нет, истомился по семье... Одначе, господин, вам и ехать пора... только дозвольте на мерзавчика, завтра с устатку раздавить за ваше здоровье.

Я не заставил себя просить, достал серебряную монетку и подал.

— Много благодарны... счастливый путь.

Он вырос надо мной огромной темной фигурой, вскинул сумку, лом и потонул в ночной мгле.

В СНЕГУ

I

В темноте белела метель, развеваясь, как огромное покрывало, волнуемое ветром, застилая землю и невидимое небо. Холодные, мертвые голоса бурана, то печальные и угрюмые, то дикие и озлобленные, носились над безлюдным простором в крутящейся снежной мгле, резавшей остротой холода.

Ни малейшего признака человеческого жилья, ни малейших следов живого существа. Казалось, только в отсутствии живого человека, когда некому подсмотреть, неудержимо разыгрались необузданные силы, резал застилаемое пространство дьявольский свист, и чудилось белое колыхание колоссальной мантии невидимых призраков.

И среди этой волнующейся темноты, среди дикой вакханалии голосов почудились два туманных, смутных живых пятна.

Они слабо пробивались сквозь густую крутящуюся мертвую мглу желтизной, то застилаемые, то снова глядящие сквозь мглу.

Эти два слабых, смутных огня боролись с неудержимо разыгравшимися темными силами ночной вакханалии. И когда при пении похоронных голосов, пронизываемых сатанинским свистом, подымались, заслоняя даже ночную тьму, белые столбы, терявшиеся головами в мутной, неведомо куда несшейся мгле, живые пятна тухли, и казалось — никогда никто уж их не увидит. Но потом они опять проступали, глядели, одинокие и заброшенные. Бесчисленные снежинки носились в их лучистом, слабо брезжущем свете.

Мало-помалу они увеличивались, становились ярче и, кидая вперед светлую полосу, озаряли колеблющуюся мглу.

Ближе и ближе.

И если бы тут был кто-нибудь, он различил бы сквозь мятущийся снежный хаос, сквозь голоса и свист звуки мерного шума, отличающиеся ото всех голосов ночи, настойчивые, заброшенные и одинокие.

И как ни боролась ночь, как ни сыпала беспрерывно крутящимся снегом, как ни выл ветер на разные голоса,

мерный шум уже слышался отчетливо, и два огня, покачиваясь желтым скользящим светом, озаряли перед собой погребенное под снегом полотно.

Шатаясь, светя фонарями, кутаясь в облаках пара, несся паровоз, а за ним покорно, едва брезжа занесенными снегом окнами, катились вагоны. Без перерыва, без устали сыпавшийся снег обтаивал на горячих боках машины и с тем большей злобой и настойчивостью сыпался на вагоны. Лишь колеса, говорливо бежавшие под ними, слабо чернели внизу.

Закутанный по самые глаза машинист, перегнувшись с площадки, глядел на путь, но ничего не видел, кроме желтоватого отсвета фонарей, торопливо скользившего перед паровозом, да бесчисленных снежинок, как бабочки летавших и кружившихся в огне.

— Если под Кривой балкой не сядем, так еще, может, проскочим до станции.

Молодой помощник в кожаной теплушке, с головой, также завязанной башлыком, сильными мускулистыми руками кидал уголь в раскрытую, пылавшую ослепительным жаром и жегшую лицо печь. Спину и бока леденил врывавшийся с снежинками ветер. Помощник резко, с металлическим звуком захлопнул дверцу, и жар раскаленных углей, озарявших красным светом лица и фигуры, мгновенно погас.

— Валяйте, угля не жалейте.

— Некуда больше.

Помощник отер проступивший на раскрасневшемся лице пот, надел рукавицы, взял масленку и выбрался из будки.

Целый ураган ринулся на него, тысячи леденящих рук вцепились и старались стащить с паровоза, в глаза заглядывали колеблющиеся в темноте призрачные, слабо белевшие очертания, а лицо больно секли мерзлые, острые крупинки.

Ему на секунду перехватило дыхание, и он подождал, потом стал пробираться вдоль теплого бока паровоза, крепко, почти судорожно цепляясь руками. Паровоз, тяжело дыша, шатался от неудержимого бега, и белевшее снегом на огне фонарей полотно, бешено мелькая, пропадало под ним. Ураган крутился в колесах. Темнота, снег, ветер со свистом неслись навстречу. Взорванные страшным напором сугробы дымящейся ту-

чей скрывали путь, и тогда эти два человека, как с завязанными глазами, неслись, казалось, на гибель и смерть, а потом впереди опять показывалось несшееся навстречу, пожираемое паровозом и освещаемое фонарями, полотно.

Помощник, опрокидывая масленку, лил масло, чувствуя, как дрожит под ним дрожью нечеловеческого напряжения машина и с какой безумной быстротой работают ее сочленения. Ход был доведен до высшего предела, чтобы пробиваться сквозь наметанные на полотно сугробы.

— У Федьки Малахина морозом нос отъело. Так он в Москву ездил, новый надделали. А то, говорит, нехорошо, все скажут — от дурной болезни нос отвалился.

Помощник, присевший на узенькую скамеечку и чувствовавший, как бежит по ней непрерывное дрожание, поставив в уголок пустую масленку, стряхнул с башлыка густо насевший снег и засмеялся, потом слегка отодвинул башлык и, просунув масленые пальцы, поскреб густые, давно не мытые волосы.

— И как ловко надделали — не отличишь! Только как мороз, он обозначается, по бокам рубчики белые, швы.

— Теперь, говорят, все члены тела пришивают.

Машинист помолчал, потом проговорил:

— Положим, не все: есть которые не пришьешь.

В будке стоял такой грохот, что машинист и помощник кричали друг другу, но им казалось, что они говорят обыкновенными голосами. Им казалось, что они беседуют вдвоем в тесной, узенькой дрожащей будочке, и никого больше нет, и снежная ночь бушует кругом. Они были бессильны что-нибудь сделать, предпринять, оградить себя и этот несущийся поезд от несчастья, от катастрофы и не думали об этом.

Машинист, снова наклонившись, выглянул из будочки, и когда выпрямился — башлык, брови, усы белели снегом. Мимо, как светлячок, пронесся зеленый огонь. И этот одинокий зеленый огонек, только на одну секунду мелькнувший в темноте, точно разорвал охватывавшее этих людей в грохочущей будке среди бушующей ночи одиночество, оставив в душе след сознания, что там, среди темноты, среди снега и холода стерегут и заботятся о них живые люди.

II

В поезде было так, как всегда бывает. В третьем классе в полутемноте и едком дыму виднелись руки, ноги, мешки, чувалы, головы, спины, узлы, ситцевые пестрые одеяла, воняло потом, махоркой, кислым хлебом, селедками, водкой. Те, кто ехал до ближайшей станции, сидели, разговаривали; кто подальше — храпел и выводил носом, растянувшись на скамьях, на полу, под лавками, и весь вагон казался набитым, переполненным чем-то спутанным, хаотическим и бессмысленным.

Во втором классе было просторнее, светлее, чище, никто не спал, так как все спешили домой встречать праздник и должны были выходить на ближайших станциях.

В первом классе было строго, чинно, по разным углам молча сидели три-четыре пассажира, как боги, отягченные величием, обязывавшим к одиночеству и отчужденности.

В разных вагонах, присоседившись на скамьях к пассажирам, сидели кондуктора, сонные, вялые, усталые, со скучающими лицами, или храпели по служебным отделениям среди запасных фонарей, флагов, сигнальных веревок. В вагонах мерно стучало, стоял монотонный гул, нагоняя дремоту и скуку, и мертво белели окна, занесенные снегом.

Разом, казалось, без толчка все подались по направлению движения. Те, кто стоял, навалились на передние скамьи, ухватившись за перекладины, два-три узла сорвались с полок, и вещи и люди сами собой сдвинулись с мест. Крепко спавший, подложив кулак под голову, на лавке мужик свалился на пол и, приподнявшись на руках, дико закричал на весь вагон:

— Караул!.. Бьют!..

Везде поднимали головы, сонные, заспанные, протирая глаза.

— А?.. Что?.. Где?..

— Станция, что ли?

— До станции далече.

— Станцию давно проехали.

— Шибануло здорово!

— Маму-уня! Бою-юсь!..

— Пить хацу!

Послышался детский плач.

То, что наполняло вагоны скукой, тоской, одурью, монотонный непрекращающийся гул, унизанный мерными постукиваниями, смолк, и все почувствовали, что этот-то гул и наполнял поезд жизнью и смыслом. Теперь в наступившей тишине всем бросилось в глаза, как мертво белели окна и как над вагонами, то усиливаясь, то ослабевая, носился свист. И все вспомнили, что за окнами была ночь, бушевал холодный ветер и сыпался снег.

Через вагоны торопливо пробирались кондуктора.

— Господин кондуктор, по какому случаю? Али лопнуло что?

— Ничего, ничего, не беспокойтесь. Сейчас пойдет.

Но по тому, что они это бросали на ходу и торопливо захлопывали за собой двери, все чувствовали, что с поездом что-то неладно.

«Вввв... ввы-ы...» — с визгом и воем носилось за стенками и над крышами вагонов, и всем становилось жутко. Только те, кто не проснулся, храпели, неподвижно растянувшись, и их безучастное равнодушие резко и странно выделялось среди общего беспокойства.

Поезд тронулся, но по толчку все почувствовали, что он пошел назад.

Опять побежал гул и мерные постукивания.

— Ребята, назад ведь пошел!

— Должно, зарезал кого-нибудь.

— Братцы, сказывают, зарезало кого-то.

— Будто ногу отрезало.

— Чего ногу... голову напрочь отнесло!

— Головушка ты моя бедная! Теперича семья-то осталась, детишки малые, несмышленые. Кто прокормит, кто напоит? О-о-о!..

Курносая, с птичьим лицом, баба вытирала углом платка нос.

— Ты чего?

— Как же, родимый, задавило кого-то, голову напрочь отнесло.

— Дура баба: корову задавило!

— Ххо-хо-хо!.. Ха-ха-ха!..

Поезд, задерживая движение, опять остановился и потом пошел вперед. Гул, все усиливаясь и усиливаясь, заполнил вагоны. Постукивания, сначала мерные и ред-

кие, мало-помалу слились в непрерывный грохот, вагоны так качало, что сидевшие рядом пассажиры поминутно наваливались друг на друга. Все примолкли, точно ожидая чего-то.

Недолго пришлось ждать. Скрипя и визжа, сталкиваясь, с размаху стали вагоны. Мешки, чувалы, корзины — все полетело с полок. Пассажиры повалились на скамьи, на спинки сидений, на пол. Поднялся переполох. Кто бросился к двери, кто стал стаскивать и собирать имущество. Дети пронзительно плакали. Мужик, кричавший «караул», схватил громадный чувал и старался им высадить окно.

— Бей стекла, вылазь на двор!

— Крушенье, братцы!

— Родимые мои! Пропала моя головушка!.. Теперича мой-то останется, все дочиста пропьет. Которые прочие мужики в дом, а он из дому... Бились, колотились, правдами-неправдами купили коровенку с телочком, теперь непременно пропьет... Телочка-то я хотела продать. Думаю — продам да пару овечек куплю, ан свои тулупчишки-то и будут, и себе и деткам, а то хватишься-похватишься — все купи, на все деньги...

— Господа, господа, будьте покойны, ничего особенного не случилось! — торопливо проходя по вагонам, успокаивали кондуктора.— Ты чего воешь?

— Да как же, родимый, мужик-то у меня пьяница, один останется, все дочиста пропьет... Купили коровенку с телочком, думаю — продам телочка...

— Эй, ты, куда тебя черт несет? Окно выдавишь! С тебя, голого дьявола, взять нечего, а оно два рубля стоит.

Пассажиры лезли из вагонов, но, когда отворяли двери, из тьмы с воем и свистом врывался такой бешеный ветер, залепляя глаза и уши, обмораживая лицо, что все шарахались назад, захлопывая двери,— все равно в этой колеблющейся мутной тьме ничего нельзя было разобрать и расслышать.

— Чистое светопреставление, зги не видать!

Но те пассажиры, которые не выходили, все-таки лезли к выходу, желая сами удостовериться, что там делается, и через минуту, прохваченные леденящим ветром, с залепленными снегом глазами, ворочались на свои места, точно успокоенные и удовлетворенные.

— Что же машинист? Что же он смотрел?

Расчесанные седоватые бакенбарды, золотые очки, вялая и дряблая, но холеная и чисто вымытая кожа лица, бархат диванов, простор, чистота и вся обстановка первого класса строго, без послабления глядели на обер-кондуктора, опрятно одетого старичка с свистком на серебряной цепочке на груди.

— Что он смотрел, я вас спрашиваю?

— Машинист, ваше превосходительство, сделал все, что в силах, несколько раз пробивался со всем поездом. Вагоны окончательно сели в снегу. Он отцепил паровоз и стал пробиваться одним паровозом. Снег поднялся выше колес, теперь ни взад, ни вперед.

Обер-кондуктор держал себя и говорил с спокойным достоинством, и, как бы скрадывая проявление человеческого достоинства, которое он без всякого права себе присвоил, обер поминутно прикладывал, чтобы смягчить его превосходительство, к барашковой шапке руку, с почтительной готовностью глядя ему в глаза.

— Но ведь это бог знает что получается! Я должен сидеть в снегу в степи...

Кондуктор неподвижно стоял, не смея подтвердить догадку его превосходительства.

— Наконец, какое имели право пускать поезд с предыдущей станции, не узнав о состоянии пути? Послать сейчас людей на станцию, вызвать вспомогательный паровоз!

— Люди тонут, ваше превосходительство, в снегу. Мы в трехсаженной выемке, снег сыплется, как в кадушку. В трех шагах от поезда человек с головой уйдет в снег, выбьется из сил и замерзнет. Мы уже пробовали.

— Повторяю: я сообщу куда нужно о вашей нераспорядительности!

Кондуктор покорно и безответно приложил руку к шапке.

В поезде понемногу все успокоилось.

— Вот те встрели праздничек-то!

— Встрели!

— Суток двое, а то трое просидишь тут.

— А то не просидишь? Теперь отгребать нас — где их, рабочих, брать в праздник-то?

— Покеда што лечь спать, а там видать будет.

Кряхтя, зевая, крестясь, публика натягивала на себя тулупы, примащиваясь по лавкам, на полу. Во втором классе дамы старались уложить детей, и, как тоненькие колокольчики, доносились их голоски:

— Мама, отцего поезд не глемит?

— Спи, спи, деточка.

— А елка будет?

— Будет, будет... Спи.

— А папа нас здет?

— Ждет, ждет... Ложись же!

— А мы сколо плиедем?

— Скоро, скоро... Вот как только уснешь, так приедем.

— Ну, так я посизу, сколо плиедем.

Мужчины разбились на группы. Появилась холодная закуска, водка, бутылки с вином.

— Да,— говорит, расправляя огромные усы и прожевывая колбасу, отставной военный,— ехал я в начале семидесятых годов, заносы, так я целый месяц просидел в снегу, кожу от чемоданов жевали...

Собеседник неопределенно крякнул.

— Не хотите ли сыру? Еще по единой!

Из поездного буфета разносили чай, кофе, бутерброды. В первом классе раскинули ломберные столы, зажгли по углам стеариновые свечи, приготовили колоды, мелки, щеточки. Каждый устраивался, как мог.

III

Почти весь вагон парового отопления занимал паровик. В углу грудой был навален уголь, черная пыль от которого лежала на стенках, на потолке, на стеклах. Пар тоненько и неумолкаемо сипел у некоторых кранов, как дыхание; едва отделяясь и тая, капала вода.

Из огромного железного ящика выгрузили все лампы, фонари, ключи, отвертки, запасный инструмент, ящик опрокинули вверх дном и застелили газетной бумагой.

— Ну, давай сюда.

— «Давай»!.. Ты сначала деньги давай! — И поездной проводник сердито и вместе осторожно поставил у своих ног полуведерную бутыль.

— Черт скаредный, чего же я, сбегу, что ль? Ведь и ты трескать будешь.

— Так я свою часть вычту.

Машинист распахнул кожаную, замасленную куртку, полез в такие же замасленные шаровары и достал кошелек. Кондуктора, помощник машиниста, смазчик также лезли за деньгами и вручали проводнику. Тот поставил бутыль на импровизированный стол. Кто тащил и резал тоненькими кружочками захваченную с собой в дорогу колбасу, кто — хлеб, рыбу, сало.

— Ах, и здорово же теперь чекардыкнуть!

Потирая руки, покрякивая, садились кругом ящика. Водку наливали прямо в стакан из бутыли, и она играла, колеблясь и поблескивая. У всех лица разъезжались в сладкую, широчайшую улыбку, но все, сделав усилие, глядели серьезно, так, как будто особенного ничего не предстояло.

— Ну, братцы, с праздником!.. А-а, славно!

— Ребята, это Калистратова надо поблагодарить: ежели бы не он — попостили бы, ничего бы не было.

— Завсегда прежде брал к празднику на станции у буфетчика, а теперь думаю,— сем-ка, на Песчаной возьму в казенке. Провезти ничего не стоит, а водка-топовострее,— буфетчик все уж воды дольет,— говорит проводник, чувствуя себя именинником.— А она как сгодилась!

И ле-ес шу-умит, а ка-амыш трещит,
а ку-ум-то куме...

— Будет, утреня еще не отошла.

— А который час?

— Без четверти три. Ну, с праздничком!

Головы запрокидываются, лица краснеют, с губ не сходит странная, блуждающая улыбка. Понемногу все начинают говорить, и никто не слушает. И в заваленном углем черном вагоне, на три четверти занятом паровиком, который и теперь живет, слегка дышит и рассылает тепло по всему поезду, все кажется уютным и веселым. Смех, шутки, остроты. Точно за стенами не носился морозный ветер и не сыпал беспрерывно крутящимся снегом, а в темноте не расстилалась безлюдная степь.

— Нет, братцы, как хотите,— женюсь, ей-богу женюсь, то есть за мое почтение женюсь! — говорит красный, как бурак, смазчик, пошатываясь, держа в руках стакан с колеблющейся водкой и пытаясь поднять бро-

ви, которые опять падают на глаза.— По какому случаю я должен в одиночестве дни свои проводить?

— Не было печали, так хочешь, чтоб черти накачали?

— Ребята, у Федьки Малахина морозом нос отъело...

Кто-то отворил дверь, и в вагон рванулся ветер, заколебав пламя ламп и занеся несколько снежинок.

— Ишь дьяволы!.. Поезд стоит среди степи, пассажиры волками воют, а они тут пьянствуют! Им и горя мало, хоть трава не расти! Что же это делается? И неужто начальство вас не разгонит?

В дверях, когда заклубившийся снаружи пар растаял, оказался дородный купчина с красным и ражим лицом.

— Беспутники!

— А вам чего тут нужно? — поднялся молоденький помощник машиниста, отставляя стакан.

— А то нужно! Поезд бросили да пьянствуете...

— Это не ваше дело.

— Как это не мое дело?! Деньги-то за билет платить — мое, а жалованье получать, стало быть — ваше.

— Позвольте, позвольте, господа! — вступается обер.— Вы оставьте пассажира, а вы потрудитесь, если находите беспорядок, жаловаться, когда будем на станции.

— Да когда мы будем на станции? Может, мы тут неделю просидим.

— А это уж не от нас зависит.

— Нет, господа, я вот желаю вам сказать,— говорил, протискиваясь, до смешного маленький кондуктор.

Губы, лицо, белобрысые брови, красненький пуговичкой носик — все у него улыбалось необыкновенно добродушной улыбкой.

— Позвольте, господин!.. Вот вы, скажем, купец вполне, первой гильдии или там второй, зависимо от капитала, какой платеж... Я — человек женатый, имею шестеро детей, все эти дела понимаю. Вы не обижайтесь на меня: у меня хоть и шестеро детей, но человек я простой, не горжусь и каждому желаю добра... и как я человек непьющий...

— Оно и видно!

— Нет, позвольте, господин купец, вы первую гильдию платите, а у меня шестеро детей, и дела эти я по-

нимаю вполне. Ведь это не то, что тяп-ляп — и вышел корабль... Вы спросите меня, сколько лет я служу на железной дороге. Сколько? Десять лет. А спросите меня, сколько разов праздник я встретил в семье. А я вам скажу: три раза, господин, извините пожалуйста, не знаю, какой гильдии. Три раза. А то в вагоне. В вагоне спишь, в вагоне днюешь и ночуешь, в вагоне праздник проходит... Ну какой это праздник, подумайте сами! Завидно, смотришь, все едут к семье, детишки, стало быть, жена, спешат там, подарки везут, а ты себе ходишь, как неприкаянный, из вагона в вагон. Вы первой гильдии, извините пожалуйста, а у меня шестеро детей, и как бы мне с ними провести-то праздничек-то, а я вот должен за вашей милостью первой гильдии смотреть. Вот господь и оглянулся: дать им, сердягам, то есть нам, передохнуть, ну вот метель и разыгралась. То бы нам сутки дежурить, а так как праздник, все напьются, смена не явилась,— ан, нам и вторые сутки лямку тянуть. А теперь мы в тепле, по-семейному, в товариществе... Да-а, господин купец, извините, пожалуйста!

Купец стоял и думал о чем-то своем, потом крякнул и стал торопливо снимать с себя шубу.

— Ин быть по-вашему!.. Милый, сбегай-ка в триста тридцать четвертый номер. Как войдешь, от двери вторая лавочка направо,— погребец там, всего у меня припасено.

Через четверть часа купец, красный, с налившимися глазами, ревел, как боров, маленький кондуктор умильно улыбался губами, глазами, красной пуговичкой, белобрысыми бровями и ресницами, путаясь тонкой фистулой в рыкающем, бревноподобном голосе купца. Между ними, то застревая, то выскакивая, выкрикивал тенорок смазчика:

А-ха, оже-е-нили... Оже-е-нили молодца!...

Молоденький помощник, ероша густые волосы, стучал по железному ящику кулаком.

— Мне все равно, хоть ты десятой гильдии... не имеешь права!

Машинист пил настойчиво, упорно и молча. А за стенками вагона гудел и носился ветер, и сыпался, сыпался, сыпался снег, засыпая стенки, двери, окна неподвижного поезда, и только крыши вагонов слабо выступали, как спины погребенных допотопных чудовищ.

КАЧАЮЩИЙСЯ ФОНАРЬ

В темноте меж темных берегов плоско-матово лежит река. Темно встают горы над темной рекой, загораживая черным горбом смутно-ночное небо.

На той стороне — невидимая равнина. У воды не то черные фигуры людей, не то странно искривленные тени,— быть может, старые ветлы на берегу.

Ни огонька, ни звука. Даже не слышно влажного шепота водяных струй. Не всплеснет рыба, не пронесется слабо крик ночной птицы, жалобный и грустный, в то время как она, не отражаясь, мягко и невидимо машет над самой водой.

Пустота молчания до того напряженно переполняет темноту, что мерещится внезапно стон, за сердце хватающий. Медленно расплывается, горестно умирая.

Ни звука, ни огонька.

Может быть, ни гор, ни неподвижно-темной реки. Не маячат уродливо-искривленно-черные фигуры. Одна тьма...

Нет, и горы черным горбом загораживают смутное небо: все та же река, темная и плоская, и что-то смутно чернеет,— быть может, старые ветлы на берегу. И снова мерещится, будто стон, беззвучно пронизывающий неутолимой болью. Тьма, молчание. Как будто великая ночь объяла великую пустыню.

Нарушая зыбкое ночное царство, принесся живой ощутимый звук, принесся издалека, из тьмы, с земли или с воды — неведомо, и, болезненно тонко вонзившись, задрожал недобрым предчувствием.

И отчего этот живой среди мертвого молчания, столь жадно жданный звук, погасивший мертвые миражи, принес неуспокаивающуюся тревогу? Он был тонок и слаб и без отзвука мертво погас в нерасступающейся тьме. И ухо жадно в ожидании ловит его, затерянного.

Снова, неведомо откуда, из тьмы принесся он, игривый и переливчатый, весело переплетаясь с другими такими же игривыми, странно нарушая важность чернеющих гор, задумчивую таинственность невидимо простирающейся равнины, темно и плоско лежащей в темноте реки.

И, как бы подкрепляя его, тонкой, неуловимо-малой живой точкой загорелся огонек. Подержался с секунду

и, как звук, погас. И опять загорелся и раздвоился и распался на несколько неуловимых. И нельзя сказать, приближается эта кучка огней или блуждает, близко они или бесконечно далеко затеряны в океане мрака.

Прилетели скрипучие, весело-игривые звуки, скрещиваясь и переплетаясь,—такие скрипучие, за сердце хватающие, точно резали кого-то, и в предсмертной муке вырывались взвизги. И глухо несся сосредоточенный топот тяжелого танца.

В темной воде уже дробились огни, переливаясь, прыгая, ничего не освещая.

Смутно вырастая черным контуром, надвигается большая посудина без красного и зеленого фонарей, без одинокого фонаря на верхушке мачты. Оттуда несется тяжелый топот, и взвизги, и выкрики, полные не то страсти, не то муки и ужаса. Мелькающие огни дробятся в черной, как чернила, воде...

— ...Ухх... Ххо... Охо-хо... Гга-га...

А ночную, все такую же густую, все такую же напряженно безмолвную тьму нестерпимо режут скрежещуще-визжащие звуки надрывающейся скрипки, и захлебывается игриво задыхающаяся гармоника, и топот угрюмо-тяжелый.

Высокий, погнутый старик, с остренькой бородкой старого козла и с маленькими из-под взлохмаченных бровей глазами, перед которыми все невольно начинают смотреть в землю, похаживает, волоча ноги, по палубе, и крючковато-растопыренные пальцы качаются в смутно озаренном воздухе. И старческий голос:

— Жги!.. говори!..

Работники и работницы, оборванные и грязные, с потными, возбужденно-злобными лицами, грузно пляшут, и от топота прыгают, звенят бутылки и стаканы под качающимся фонарем. Две раскрашенные женщины, с напущенной на лоб гривкой, как-то нагло курят, развалившись на ковре.

Сухой, тощий, длинный человек, с длинным, костистым лицом, с изломанными, скорбно поднятыми бровями, опустив глаза и прислушиваясь к какой-то своей боли, скрипит по прижатой подбородком скрипке. Разбитной малый, перекинув ногу на ногу, изгибаясь почти вдвое, то приникает лохматой головой к задыхающейся, торопливо растягиваемой на коленях гармонике,

то выпрямляется, отбрасывая одним движением назад взмокшие волосы, и опять наклоняется, и опять приникает, как будто суть не в торопливо-затейливых звуках музыки, а в этих его змеино-изгибающихся движениях.

Толстый, круглый, с жарко лоснящимися на качающемся фонаре щеками, равнодушно, как будто ему нет никакого дела до совершающегося кругом, звякает дребезжащими тарелками и бьет в барабан, который тупо ухает в темную ночь совершенно отдельно от остальных звуков:

— Пя-ать... пя-ать... четыре...

Голос доносится с темного носа, в одно время печально и деловито, слабо проникая сквозь ухарские звуки музыки, и темные силуэты медленно проходят вдоль бортов, с напряжением упираясь в чернеющие уходящие в воду шесты.

— ...Жги!.. говори!..

Работник и работница, улучив минутку, присаживаются в темноте за ящиками со скобяным товаром. Пахнет керосином, дегтем, смолой, свежеобделанным деревом, мукой, которая в мешках смутно белеет горой. Отирают пот со лба, и с отвращением слышится голос:

— Будь он проклят!.. Господи, и когда издохнет... и когда это кончится...

— Ну... цыц... чтоб услыхал...

— Надоел и ты мне, будь ты проклят трижды!..

— Ох, проломлю я те башку...

И злобно ползет шепот.

А старик похаживает, и волочатся ноги, и трясется борода.

— Ну, ну... веселей... ай... ну, что заснули... мертвые...

Вдруг перекашивается лицо злобно, уродливо, как бы улыбкой:

— Ихxx... ии... ввы... нну... всех разгоню... всех уу!..

Качаются скрюченные пальцы в озаренном фонарем ночном воздухе. Скрипучим плачем ноет прижатая подбородком скрипка, ухает барабан, изгибается змеей гармонист, и накрашенные женщины нагло наполняют вином рюмки:

— Никита Сидорыч... что ж ты?.. Ну, давай рюмку-то.

А высокий, погнувшийся старик потирает костлявые пальцы, как будто холодно ему в эту тихую, темную, молчаливую июльскую ночь, и озирается. Озирается и видит жизнь свою позади, а не впереди, всю жизнь свою позади.

И он с ужасом вглядывается в тихо-молчаливую, сквозь ухающий барабан, визжащую скрипку и мечущуюся гармонику, тьму.

Как это случилось и когда? Все было впереди, ждало его и манило, и разом, без предупреждения, он — старик с потухшими страстями, осунувшийся, согнувшийся.

Уходил день за днем, и все было одно и то же: те же заботы, дела, расчеты, незаметно каждый день.

Когда же, когда? Тьма не давала ответа.

Он спохватился. Судорожно стал хвататься за все наслаждения, за все радости, что давала сила денег, но кругом померкли краски, потеряли обаяние женщины, не зажигало кровь вино, пусто и холодно смотрела старость,— запоздалая осень.

С трясущимися руками устраивал он оргии на баржах, которые гонял с товаром по реке, заставляя рабочих плясать и пить, странно соединяя дело и расчет, чтобы не потерпеть убытков, с бесшабашным разгулом, мучая беспощадно и со злорадством людей.

— Нну-у... и-ихх вы-ы... жарь... жги!..

Все одно и то же визжала подбородком скрипка, ухал барабан.

И иногда сквозь темь сверкала опаленная равнина, нестерпимым золотым блеском блистало жнивье. И шаг за шагом широким звенящим взмахом дружно сверкают косы. Белеют платки девок и баб. Покачиваясь, скрипя, гора горой подвигается наметанный на арбу хлеб. Все залито знойно струящимся дрожанием и ярким, все заливающим, молодым напряжением.

— О-ох...

Припадает и откидывается над захлебывающейся гармоникой под качающимся фонарем гармонист. Молча и строго стоит тьма.

«...Дядя Федор давно разорился, выкинули из компании, доживает век под плетнем в деревне, там и умрет».

И сквозь звон и говор трактирный, сквозь густой дым, песни и восклицания спокойный голос его:

«Барыши не барыши, а живы будем, под забором не помрем».

— У-ухх тты!.. мертвые... заснули...

Тот же топот, и уханье, и гиканье тонут, глотаемые тьмой.

Старик мечется и с злорадством думает: «Издыхай, издыхай...» Дядя Федор теперь издыхает под забором. И Никита Сидорыч радуется: радуется не только тому, что железной настойчивостью всех вытеснил из дела, все оказалось в его руках, сколько тому, что все его компаньоны бедствуют и влачат жалкую, нищую жизнь. И пусть! Пусть им, и это за то, что нет теперь у него, у Никиты Сидорыча, нет у него той силы, того размаха, как тогда на опаленной равнине, не горит все кругом жгучими красками, смехом своим, не заливают всего женщины искрящимся весельем, палящей страстью.

Злоба хрипит в нем, как захлебывающийся кашель, и он мучит незасыпающей работой, этим отвратительным весельем купленных за деньги людей.

— Эй, вы, чего задремали!.. Бери шестами с правого борта, вишь, посудина совсем стала.

И печально из темноты с носа:

— ...Пя-а-ать... пя-а-ать... че-ты-ре... че-ты-ре... пя-а-ать...— ровно, медлительно, печально, как стоны заблудившейся птицы.

Качается фонарь, туда-сюда двигая неровно круг света, и то выступит припадающий и откидывающийся гармонист и вырвутся захлебывающиеся звуки гармоники, то длинный, с вытянутым лицом, удивленно-изломанно-поднятыми бровями скрипач и заноет придавленная подбородком скрипка, то залоснятся жирные щеки толстого и заухает барабан.

— Ну, вы, мертвые!.. Жги, говори!.. А-а-а... всех разгоню...

Медленно, как черная тень, проплывает громадно-чернеющий силуэт судна. Теряясь постепенно в океане мрака, чуть мелькают светящимися точками блуждающие огни. Меркнут тоской умирающие звуки.

. . . .

Недвижимо загораживают черным хребтом ночное небо молчащие горы. Невидимо простирается равнина.

Уродливо искривленные тени чернеют,— быть может, ветлы на берегу. Даже темно лижущая отлогий песок густая вода не шепчет немолчным шепотом.

Не чудится рассвет.

ЗАЯЦ

I

Антип Каклюгин, служивший у подрядчика Пудовова по вывозу нечистот, получил из деревни письмо.

После бесчисленных поклонов братцев, сестриц, племянников, дядей, кумовьев, соседей в конце стояло:

«...И еще кланяется с любовью и низкий поклон к земле припадает супруга ваша Василиса Ивановна и с самого Петрова дня лежит и соборовалась чего и вам желает и очення просит чтоб приехали на побывку как ей помереть в скорости писал Иван Кокин».

Антип попросил три раза прочитать письмо и долго чесал поясницу.

— Да... ишь ты, како дело,— проговорил он, тщательно и неумело складывая негнувшимися пальцами письмо, и вечером пошел к хозяину.

— Ты чего?

— К вашей милости.

— Да и воняешь ты, черт тебя не возьми... Ступай во двор.

Антип покорно слез с крыльца и стал возле, держа шапку в руках.

— Денег не дам и не проси... Забрал все — когда еще отработаешь...

— Да я не об том... жена помирает. Милость ваша ежели будет, повидать бы бабу, хоша бы на недельку.

— Ах ты, сукин предмет!.. Да ты что же, смеешься?.. Самая возка начинается...

— Главное, помирает... плачется баба...

— Что ж, она без тебя не сумеет помереть, что ль?.. Да, может, и враки, так занедужилась, подымется, бог даст.

— Соборовали... Сделай милость.

Хозяин посмотрел на вызвездившее небо, подумал.

— Ну, вот что. Завтра у нас какой день? Вторник? Хорошо. Стало быть, завтра выедешь, к обеду дома,— на другой день опять сядешь, к вечеру — тут. Стало быть, в середу чтоб был к работе. Не будешь — другого поставлю. У меня контракт, ждать не станут. Из-за вас, анафемов, неустойку плати.

— Покорно благодарим.

II

Ранним утром, когда над рекой стоял белый пар и холодная вода влажно лизала столбы, Антип сидел на пристани.

У берега теснились баржи, расшивы, лодки; по воде, оставляя след, бегали катера, пыхтели пароходы. Грузчики, согнувшись и торопливо и напряженно переставляя ноги, таскали одни с берега, другие на берег — тюки, кипы, бочонки, ящики, полосы железа. Над рекой и берегом стоял говор, стук, и по гладкой, чуть шевелящейся воде в раннем, еще не успевшем разогреться утре добегал до другого, плоско желтевшего песчаного берега.

Антип макал в жестяную кружку с водицей сухари и хрустел на зубах. Латаный, рваный, с вылезавшей в дыры грязной шерстью полушубок держался на нем коробом, как накрахмаленный, и было в нем что-то наивное.

— Фу-у, черт, да что такое?..— проговорил матрос, останавливаясь во второй раз.— Ведь это от тебя... Ступай ты отсюда, тут господа ходят...

— Ну что ж...

Антип поднялся и, держа грязную сумку и кружку, перешел и сел на краю пристани, свесив ноги над весело и невинно колебавшейся внизу водой.

Пароход, шедший снизу и казавшийся маленьким и пузатым, закричал толстым голосом, и торопливо бегущая над ним белая полоска пара колебалась и таяла в свежем воздухе. С песчаного берега добежал точно такой же пароходный голос, и странно было, что берег был пустой и никого там не было.

Пароход, делаясь все пузатее и гоня стекловидный вал, работал колесами, и приближающийся шум разно-

сился по всей реке. Колеса перестали работать, и пароход, молча, тяжелый и громадный, надвигался по спокойной, чуть колеблющейся, отражающей его воде. Навалился к пристани, притянули канатами, положили сходни, вышли пассажиры.

Потом стали таскать багаж, товар, а черная труба оглушительно, с тяжелой дрожью, стала шипеть, напоминая, что в утробе парохода, не находя себе дела, бунтует клокочущий сдавленный пар.

Когда выгрузили, стали таскать тюки, ящики с берега на палубу. Антип незаметно с крючниками пробрался на пароход, высмотрел местечко и залег между кипами сложенной шерсти. Было душно, голова взмокла от пота, и ничего не было видно. Слышно только, как топали тяжелыми сапогами по палубе, как падали сбрасываемые в трюм тюки, как с гудением шипела труба, и от этого гудения по всему, что было на пароходе, бежало легкое дрожание.

Антип лежал и думал, что забыл попросить не запрягать кривого мерина,— хромать стал; припоминал, куда положил старую уздечку, и думал о том, что баба непременно дождется и не умрет до него. И когда он думал о бабе, становилось особенно тесно и душно лежать, и он ворочался, и все боялся, что его откроют.

Покрывая топот ног, говор, нестерпимо оглушительное шипение трубы, зазвучал наверху чей-то гудящий голос. Он долго, настойчиво тянул,— густой, грубый, упрямый, призывая кого-то, кто был далеко и не слышал или не хотел слышать, потом отрывисто и коротко оборвался, как будто сказал: «Ладно, погожу».

Опять топали ноги, слышались отдельные голоса, дрожа, шипела труба, и было тесно и душно. Время между тюками тянулось медленно и трудно. Казалось, ему и конца не будет. Но пароходный гудок снова потянул настойчиво и упрямо, и два раза отозвался: дескать, погожу еще.

«Упрел»,— думал Антип, и ему пришло в голову, как бабы в печи ставят кашу в горшке вверх дном, чтобы лучше упревала.

Долго лежал.

Наконец в третий раз потянулся грубый и упрямый голос и трижды обрывисто оборвал: дескать, ждал, а теперь не прогневайся. Разом смолкло надоедливое ши-

пение, и в наступившей тишине чудилось ожидание. Сильное мерное содрогание побежало по пароходу и уже не прекращалось. И хотя было по-прежнему тесно, душно, темно — Антип с облегчением вздыхал, чувствуя, что пароход двинулся, и, изнемогая от духоты, дышал, раскрыв рот.

III

На пароходе было так, как бывает всегда. На корме и на верхней площадке — господа, на носу — серый, простой люд. Кто пил чай, кто закусывал и, отвернувшись, выпивал из горлышка, иные сидели и разговаривали, иные лежали на скамьях, на полу. Были богомольцы, были лапотники, торговцы, женщины с ребятами, мещане, люди неопределенной и подозрительной профессии.

Матрос шестом мерил глубину и лениво вскидывал на секунду вверх пальцы руки, нехотя взглядывая на капитанский мостик.

— Чудеса! — говорили те, что сидели возле кип с шерстью.— Дух от нее, от шерсти, чижолый.

— Чижолый дух, чисто дохлятина.

— Гм!..— вертел носом матрос, проходя мимо,— несет... должно, с берега.

— С берега, откуда же больше? Всячину на берег-то валят.

Пошел контроль.

Публика подымалась, из карманов, из-за пазух доставала кошельки, кисеты и, порывшись, вытаскивала билеты. Матросы заглядывали под лавки, между мешками, ящиками, осматривали все уголки и, нюхая вонь, несущуюся от кип с шерстью, добрались до Антипа.

Подошел капитан. Собрались любопытные. Между кипами покорно глядел на публику весь покрытый заплатами зад и истоптанные, заскорузлые подошвы,— Антип неподвижно лежал ничком, уткнувшись в шерсть.

Кругом засмеялись.

— Вылезай, черт вонючий!.. Ишь ты, забрался... младенец!..

Матрос завернул ему на спину полушубок и сунул ногой, и Антип ткнулся в шерсть, потом выполз задом

и поднялся. Лицо было красно и потно, взмокшие волосы обвисли.

— Билет?..

— Ась?

— Ну-ну, не притворяйся!.. Я тебе притворюсь... Билет, тебе говорят...

— Билет-от?..— недоумело, ухмыляясь, оглядел он всех.— Билета нетути.

— Как же ты смел без билета?

— Без билета-то? Потерял, стало быть...— И он опять, ухмыляясь, недоумело оглядел всех, точно спрашивая, зачем его заставляют врать, ведь и так ясно.

— Да ты что зубы-то скалишь?.. А... Без билета, да еще скалишь...

Красное от загара и водки лицо капитана стало багроветь. Побагровела шея, лоб, напружились жилы. А Антип стоял перед ним, ухмыляясь губами, лицом, бровями, и назади насмешливо оттопыривался, как лубок, рваный полушубок.

Публика посмеивалась.

— Что с него!.. Шиш с маслом...

— С голого, как со святого...

— Молодчага!.. Чистенький, как родился. Одна кожа, да и та боговая...

— Вот ты и потанцуй около него,— на-кось, выкуси...

— Ей-богу, молодчага!..

— А то они мало с нашего брата дерут... Нашим братом только и наживаются... Что господа! Ему каюту целую подай, да чтоб чисто, да хорошо, да убранство,— и денег-то его не хватит, так только, одна оказия, будто платят больше...

— И-и, бедному человеку, где ему денег набраться... Много ли ему места надо? — сердобольно говорила женщина, суя открытую грудь кричавшему ребенку.

— Хо-хо-хо... молодца!..

Антип ухмылялся.

— Куда едешь? — прохрипел капитан.

— В Лысогорье.

— Во-во-во... Как раз одна станция,— слез и пошел...

— Ха-ха-ха!..

— Я жж ттебя!!.— И большой, волосатый, весь в веснушках кулак с секунду прыгал у самого носа Антипа, точно капитан давал его понюхать.

Капитан пошел дальше. Не слышно было за шумом колес, что он говорил, но долго видна была багровая шея и широкий тупой затылок, злобно перетянутый шапкой.

IV

Антип то стоял на носу, то сидел, привалившись к кипам шерсти. Берега плыли в одну сторону, а смутно видневшиеся на горизонте церкви, деревни, мельницы бежали в другую. Люди ходили, сидели, лежали на палубе, а пароход шел да шел, независимо от желаний и цели этих людей. Казалось, он торопливо работал колесами не затем, чтобы развозить их по разным местам реки, а делал свое собственное дело, особенное, ему только нужное и важное.

С холодно синевшего неба равнодушно глядело негреющее сентябрьское солнце. Было скучно, и время так же тянулось, как однообразно тянулись берега.

— Подь сюда... Ей-богу, молодец!.. К примеру, ты высчитай, сколько они с нашего брата барыша лупят... Стань-ка под ветерок, очень уж ты духовитый... Их, чертей, учить надо!.. Хочешь водки?..

Бритый, весь в угрях, с рваным картузом на затылке, человек, сидя на палубе, распоряжался закуской и засаленными картами.

Вокруг разостланной газеты с нарезанным на ней хлебом и закусками сидели два товарища. Один — мелкий торговец, с волосами в скобку. Другой, длинный и прямой, с вытянутым носом, вытянутым лицом и поднятыми углом бровями, сердито и строго глядя на кончик носа, жевал не дававшуюся, как резина, колбасу.

— Покорно благодарим,— говорил, утирая усы, Антип, чувствуя, как приятно и жгуче разливается по жилам водка, и прожевывая хлеб.

— Опять же сказать, взять с тебя нечего...

— Обыкновенно, нечего, весь тут.

— Ежели протокол составить, так и бумаги ты не стоишь.

— Это уж так.

— Ну, дадут раза по шее, и все.

— Чай, не перешибут.

— А то вот есть иностранное царство,— заговорил вдруг длинный тонким голосом, подняв глаза, и глаза у него оказались круглые и совсем не гармонировали с впечатлением длинноты, которое лежало на всей фигуре, на лице,— там возют всех даром, хоша на конке, али в вагоне, али на пароходе. Сейчас подошел,— дескать, туда-то мне. «Пожалте»,— и валяй. Вот как.

Он засмеялся, и опять разъехавшееся лицо, по которому побежали морщинки, нарушило впечатление вытянутости и длинноты.

Антип ухмылялся, чувствуя себя героем, поглядывая на капитанский мостик. Там стояли только два лоцмана и равнодушно и, казалось, без всякой надобности вертели штурвал.

— В карты можешь?

— В карты?.. Без денег каки карты...

Антип отошел и опять привалился к кипам и слушал, как без отдыха шумели колеса, дышала черная труба и бежал назад песчаный берег.

Неохотно ехал он. Отвык от деревни, отвык от жены, от семьи, в городе у него была любовница. За пятнадцать лет был дома не больше двух-трех раз, недели на полторы, на две, и всякий раз с удовольствием опять уезжал в город. Казалось ему, что тесно, грязно, беспокойно живут мужики. И хотя у него самого была работа грязная и нечистая, он чувствовал себя независимее, был уверен в завтрашнем дне, и кругом было больше порядку, благообразия. Но половину своего заработка аккуратно отсылал семье. Он не спрашивал себя — зачем, а делал это из месяца в месяц, из года в год, потому что дома пахали, сеяли, держали кое-какую скотину.

К жене относился совершенно равнодушно, но было жалко, что она помирает, и надо было распорядиться по хозяйству.

Все те же звуки, то же движение, все то же мелькание берега и убегающей воды. Веки слипались. С трудом разбирался, где он и что с ним. И дальние деревни, бегущие вперед, и влажные отмели под блеском солнца убегающие назад, и угреватый с картузом на затылке, и длинный с длинным лицом, и женщина с

плачущим ребенком, и груды товара на палубе — все путалось в движущейся, неясной, двоящейся картине.

Он не знал, сколько спал, а когда открыл глаза,— было все то же: холодное солнце, светлая река, бегущий берег, убегающий вперед синий горизонт.

Антип встал, почесался, зевнул, покрестил рот и опять сел.

Далеко на отлогом берегу зачернелось что-то. Сначала нельзя было разобрать — что, потом с трудом обозначились люди, повозки, лошади, а у берега лодки. По дороге, видно было, кто-то спешил, подгоняли лошадей, а они торопливо бежали, и пыль сухая и, должно быть, холодная тяжело подымалась из-под колес.

Деревни Лысогорья не было видно,— она верстах в семи за бугром,— но уже все было знакомо: поворот реки, луг, поросшие осокой озерца, рощица, пыльная дорога и одиноко белевшие на лугу гуси.

Антип вскинул на плечи мешок и прошел к борту, около которого уже суетились матросы. Столпились пассажиры с мешками, сумками, котомками, сундучками.

— Задний ход!..

С шумом вспенили воду колеса, пароход навалился, притянули канатами, перебросили сходни. Пассажиры, теснясь, протаскивая сундучки, сумки, устремились по сходням. Антип, тоже теснясь, двинулся со всеми, но матрос грубо оттолкнул его:

— Куда ты?.. Назад!..

Антип с удивлением остановился. Потом лицо его расплылось в благодушную, широчайшую улыбку.

— А мне здеся слезать.

Матрос снова оттолкнул его так, что он покачнулся.

— Да ты што!.. Мне, сказываю, слезать здесь...

— Назад, тебе говорят...

— Да ты што... ты што!..— чувствуя, как злоба перекашивает лицо, говорил побелевшими губами Антип и рванулся по сходням.

Подскочил другой матрос. Здоровые, молодые, сильные, они подхватили, почти подняли Антипа на воздух и бросили на палубу. Он задом пробежал несколько шагов, мотая руками и стараясь удержаться, но не удержался и повалился на спину, высоко вскинув ноги в рваных, истоптанных сапогах и показав заплатанные порты.

Кругом захохотали.

Спеша, прозвучал пароходный гудок, выбрали сходни, канаты, заработали колеса, и пристань с лошадьми, с людьми, с повозками, с лодками у берега поплыла назад, и все стало маленьким, миниатюрным, потом смутно и неясно зачернело на отлогом берегу, потом потонуло и пропало за поворотом, и была только река, бегущие вместе с пароходом дальние деревни да убегающие назад берега.

И солнце равнодушно смотрело негреющими, холодными лучами.

V

Антип был ошеломлен и не мог прийти в себя.

— Дозвольте... то ись, как это... оно, значит... мне, стало быть...

— Вот тебе и дозвольте... Хо-хо-хо... Не хочешь, а везут.

— Ха-ха-ха...

— А-а, братец мой, а ты как же думал, так это тебе и сойдет с рук?..— говорил угреватый, еще больше сдвинув картуз на затылок.— Почему такое другие пассажиры должны платить, а ты задарма?.. Не-ет, милый, не резонт... Покатайся-ка... хе-хе-хе... В Лысогорье, говоришь?.. А то нам без тебя скучно...

— Вот от таких-от самых зайцев и воровство бывает,— спокойно наливая из жестяного чайника в стакан мутный чай, говорил торговец.— В вагоне ежели учуешь под лавкой зайца, зараз зови кондуктора, беспременно упрет что-нибудь. Один раз вез пару арбузов, закатил под лавку — цап!.. мягкое, патлы: ага — заяц!.. Пожалел, не заявил... Опосля захотелось арбузика, полез — одни шкорки. Вот они, зайцы.

— Честные господа... да как же так?..

То, что произошло с ним, было так чудовищно, так бессмысленно-огромно, что он каждую минуту ждал,— они поймут весь ужас происшедшего, и, ожидая этого, он улыбался мучительной улыбкой, глядя на них, и руки у него тряслись.

Но они так же спокойно продолжали пить чай. Публика, поговорив и посмеявшись, опять расположилась по местам.

Бежала вода. Непрерывно шумели лопасти колес. Далеко тянулся пенистый след.

— Ах тты, божже мой!..— бормотал Антип, хлопая себя по ляжкам, и обращался то к одному, то к другому из проходивших матросов: — Как же так?.. Господин!.. Сделай милость... Ведь мне в Лысогорье надо слезать...

Но те либо посылали к черту, либо молча проходили, не отвечая.

Поворот за поворотом, отмель за отмелью уходили назад старые знакомые места, а навстречу бежали новые деревни, луга, перелески. Пароход бежал вперед, и город уходил назад в смутную, неясную даль,— город, представление о котором сливалось с представлением неподвижных, спящих каменных громад.

Каждую ночь, зимою и летом, весною и осенью, в слякоть, дождь, грязь, мороз и в тихие лунные ночи Антип выезжал на бочке и трясся по мостовой, а сзади с таким же грохотом тянулась вереница таких же угрюмых, неуклюжих бочек, и на них тряслись молчаливые возницы.

Они проезжали мимо темных и молчаливых церквей, мимо садов, скверов, бульваров, театров, проезжали молча среди грохота тяжелых колес, и по обеим сторонам стояли строгие дома, сонные, со слепыми, невидящими окнами, и так же молчали. И целую ночь качал Антип липкий насос, а под утро, когда серело небо, серели дома, мостовые, панели, телефонные столбы, он тянулся в веренице грохочущих бочек по тем же безлюдным, молчаливым, крепко спавшим предутренним сном улицам. Он жил на окраине, грязной и заброшенной. И в короткие промежутки между сном в течение дня и ночной работой, когда приходилось ходить и убирать лошадей, он видел дневной свет и живых людей.

Но теперь, по мере того как пароход уходил все дальше и дальше, все это тонуло в туманной дымке, становилось чуждым и далеким.

Солнце стало склоняться, и от бегущих лесистых обрывов легли на воду бегущие вместе с ними тени. Потянул ветер, острым холодком пробираясь в дыры рваного полушубка, посерела и подернулась сердитой рябью река.

— Вот этот самый,— говорили, когда Антип тоскли-

во проходил мимо пассажиров,— захотел нашармака проехать, а теперь его и катают...

Антип останавливался около машинного люка и долго смотрел внутрь. Там все было необыкновенно. Длинные, в руку толщиной, стальные оглобли, блестящие и скользкие от масла, торопливо выскакивали и прятались. Коленчатый вал так же торопливо с размахом крутился, и, покачивая головками, независимо от размашистых, мелькающих движений остальных частей, чуть поблескивая, тихонько и задумчиво двигались взад и вперед тонкие длинные стержни.

Эта огромность и непрерывность работающей силы поглощала Антипа, и он подолгу стоял над люком. Белесо-дымчатый пар местами таял над торопливо работающими частями, и то там, то здесь со спокойными движениями появлялась рука, и масло тянулось желтоватой струей из длинной лейки в сочленения работающих частей.

Антип подымал голову и с тоской глядел на сердито бегущую навстречу реку, на начинавшее хмуриться холодное небо. Хотелось есть. Вытрусил из сумки крошки, перебрал на ладони, струсил кучкой, съел, потом долго, растягивая, запивал водой. И опять нечего делать, и опять все то же.

Стало вечереть, и небо совсем посерело, когда показалась пристань. Антип повеселел. Хитро ухмыляясь, скосив глаза, он отошел дальше от борта и притаился между ящиками.

Поднялась обычная суета. Выждав момент, Антип, как крадущийся кот, направился к сходням, но матросы снова грубо и злобно оттолкнули его. Он завопил не своим голосом:

-- Крррр-а-у-у-ллл!.. Убивают... Господин капитан!..

— Да ты что орешь?.. Поори, зараз свяжем...

Антип шумел, рвался, кидался к сходням. Раза два ему сунули снизу в подбородок, он ляскнул зубами, и шапка съехала на глаза. Пароход пошел. Опять собралась публика.

— Это что такое?

— Да опять энтот, как его...

— Ну, скандалист... Орет, как резаный.

— В трюм сам просится...

— Да больше ничего.

— Господа!.. честной народ!..— говорил Антип, страдальчески подняв собранные брови.— Што такое?.. Как же так... братцы!.. А?..

— Дурак ты, дурак... Ты сообрази. К примеру, хозяин парохода... Эка радость ему тебя задаром возить... Ежели у него да набьется полон зайца... Тебе спусти — другой влезет, третий, четвертый,— оглянуться не успеешь, пассажирам садиться некуда, везде заяц... А ведь деньги идут: капитану плати, услужающим плати, матросам плати, а угля сколько он жрет, страсть. Тебя провези, другого, третьего — да и полетишь в трубу.

— А как же,— воодушевляясь, заговорил торговец,— по нашему, по торговому делу, копеечка рубль бережет... Ты спусти раз приказчику, он те сразу дорожку найдет...

— Вонь от тебя стоит,— с сожалением, покачивая головой, проговорил тонким голосом длинный.

— Пошел ты, дьявол вонючий!.. Как из бочки. И зачем их таких на пароход пущают.

— Кто его пущал! Сам влез.— Картуз сердито высморкался, дернув сизый нос.

В холодной реке потухла красная заря. Пароход, не переставая, работал колесами, вползая в сырую мглу. И она становилась гуще, глуше, поглотила берега, реку, небо. Только электрические лампы и фонари на мачтах боролись с ней, холодной и темной, и, дробясь, ложились живой колеблющейся полосой мириады искр, играя по темной, невидимо шевелящейся воде.

VI

Антип размяк и ослаб. Без цели слонялся или подолгу стоял и все ухмылялся бессильной, униженной улыбкой, сам не замечая этого.

На кухне повар и поваренок в белых колпаках торопливо варили, жарили, резали красное мясо, разрубали крошившиеся под тяжелым ножом белые кости. Антип расширял ноздри, втягивая щекочущий воздух, потом отводил нос в сторону. Откуда-то доносилось:

— Ше-есть... шесть... четыре... четыре с половиной... ше-есть...

Неподвижно стояла ночь, и слепой холодный мрак мертво глядел со всех сторон. Казалось, среди моря

тьмы пароход стоял на одном месте, и колеса бесцельно и зря работали, и не было видно ни брызг, ни пенящихся валов.

— Ах тты, божже мой!..

— Ванька, сундучок куда поставил?

Шумели колеса.

— Мм... э-э... это вы?.. Это вас?..

Перед Антипом стоял барин на тонких ногах. В глазу поблескивало стеклышко, и от стеклышка к жилету бежал шнурок, а тонкая и длинная шея сидела в белой высокой кадушечке, из которой выглядывала голова.

— Это над вами... мм... э-э... насилие?

Антип сгреб с головы шапку.

— Ваше благородие... господин!.. Вот как перед истинным... Двести верст отвезли... Мне в Лысогорье...

Господин подобрал верхнюю и оттопырил нижнюю губу, слегка прищурив свободный глаз и поблескивая стеклышком.

— Жалуйтесь... Жаловаться надо... Протокол... Полиции заявите... Так нельзя.

— Ну да, а то как же можно, человека прут неведомо куда,— послышался голос из кучки, до этого молча стоявшей, не зная, как отнесется барин.

— Ваше благородие... барин хороший!.. Сделайте божецкую милость... Заставьте вечно бога молить...— с отчаянием заговорил Антип, делая поясной поклон.— Баба помирает... Обернуться не поспею... Заставьте век бога молить...

Барин, все так же брезгливо-жалостливо подобрав и выпятив губу, осматривал сверху донизу Антипа.

— Жалуйтесь... мм... э-э... Я ничего не могу сделать... Жаловаться надо,— и он повернулся и пошел, выделяясь изо всех, кто был на палубе, светлым пальто, желтыми башмаками и высоким белевшим воротничком, из которого выглядывала голова.

— Слышь ты, жаловаться надо, вот и барин говорит.

— Да, а то не буду, што ль!.. Ей-богу... вот приедем, подам заявление, зараз следствие производства,—говорил, нахлобучивая шапку, Антип.—Што я—каторжный, што ль? Не-ет, брат, не те времена!.. Теперича запрещено... крепостного права нету... Не-ет... брат!..

— Дурак ты, дурак... И куда ты пойдешь?.. Покеда пожалуешься, тебя верстов с тыщу провезут, жалуйся.

— С голоду сдохнешь.

Опять та же неподвижная ночь, неподвижный пароход, неподвижно и слепо глядящий мрак и без цели шумящие колеса. Ветер, острый и резкий, бежал вдоль палубы, и только потому и можно было догадаться, что шли полным ходом.

Пассажиры устраивались на ночь, кто как мог. Заворачивались с головой в одеяла, в мешки, скорчившись калачиком и втянув голову в плечи, лежали на скамьях, на тюках, на ящиках, на палубе, или, свалявшись в ком по нескольку человек, неподвижно темнели, и оттуда торчали ноги, руки, головы.

Антип опять забрался в шерсть. С холодным ветром из кухни приносило тепло и запах. И чудилась изба, нагретая печка, баба возится с пирогами, ребятишки лазают по лавкам. Слышно, как работают колеса и бежит неустанное дрожание, и из-за него доносится лязг кос, шуршание падающей травы. Народ в косовице.

— Ше-есть... шесть... четыре с половиной... шесть... четыре...

Дядя Михей, высокий и жилистый, остановился, оперся о косу, отер пот с лица и лысины и закричал:

— Давай шесты с правого борта!..

Опять косогор, бродят телки, околица, осинник, березовая рощица, чуть тронутая холодным солнцем. Пахнет свежепеченым хлебом, квасом, за печкой шуршат тараканы.

«Э-эх!..— думает Антип.— Пятнадцать годов...»

И он теперь понимает, почему аккуратно каждый месяц посылал домой деньги. Тут родился, тут жил, тут и помирать. Как живая, стояла деревня со всеми интересами, с бедностью, с лошадиным трудом, с вольным воздухом полей.

«Э-эх!.. Пятнадцать годов!..»

— Ванька, черт!.. да куда ты сундучок запропастил?

Над жнивьем носится чибис и жалобно кричит.

— Чьи-ви... чьи-ви...

— Пя-а-ать... пя-а-ать... четыре с половиной... пя-а-ать...

«Пятнадцать...— поправляет Антип и радостно думает: — Молотьба зачалась... зерно-то... зерно — золото!..»

И он с наслаждением запускает руку в островерхую живую кучу свеженамолоченного хлеба и вытаскивает полную пригоршню вонючей, густой, отвратительной жидкости... Золото!.. Бочка зеленая, неподвижно стоит впряженная кляча, неподвижны молчаливые улицы, церкви, театры, дома, мимо которых он ездит каждую ночь, в которых люди и которые немы для него так же, как деревья в лесу... Золото!..

«Э-эх, пятнадцать годов!»

— Убью-у-у!!.

— Господа старики, кабы не прошибиться... Действительно. Сидорка — вор,— говорит Антип степенно,— ну только с конями ни разу не поймали. В Сибирь загнать человека — полгоря, да как отмаливать грех будем, ежели понапрасну? Кабы ошибочка не вышла. Вы караульте. Ежели накроете, так и Сибири не надо — кнутовище в зад, и шабаш.

— Убью-у-у!..— куражится Сидорка.

— Известно, пьяный,— говорит Антип и хочет отойти и не может — ноги по колено увязли в земле, и Сидорка наваливается, огромный, и растет и кричит уже без перерыва так, что ушам больно, и глаза у него волчьи, светятся, как огни.

— Уууу-у-у-у!..

Ближе, ближе.

Антип подымает голову.

— Уууу-у-у-у!..— несется, разрастаясь, из холодной ночи, и от этого тяжелого звука самый мрак, густой и неподвижный, кажется, колеблется.

Кругом смутно, неясно, выступают чьи-то руки, головы, ноги, смутно виднеются очертания тюков, а дальше безграничное море непроглядной темноты.

И в этой тьме встает огненное чудище. Тысячи голубоватых лучей, сияя и скрещиваясь, изламываются и дробятся в реке, тесня нехотя, злобно и густо расступающуюся тьму. Видны странные и неопределенные контуры, не мигая, смотрит красный и зеленый глаз, и, высоко вознесшись, отделенная тьмой, плывет одиноко белая звезда.

Антип не может разобраться и понять, и ему хочется опять к околице, на косогор, на покос с дядей Михеем... «Ку-уда?.. Назад!..» И он трясется на бочке, и бочка грохочет под ним железным грохотом, и неподвижно и

мертво стоят каменные громады, заслоняя и околицу, и косогор, и телок, и людей, заслоняя самую ночь.

Баба машет рукой и что-то говорит, но Антип из-за непрерывного грохота, потрясающего ночь, не может разобрать и трясется все с той же улыбкой скуки и привычки к своему ночному делу.

«Ах ты, сердяга... измаялась... Пятнадцать годов!..»

И с щемящей, новой, незнакомой тоской он выбирается из тюков, подымается и протирает глаза. Множество огней, странно висящих во тьме, удаляются, тускнеют и гаснут, и вместе с ними удаляется непрерывающийся могучий шум, и слабые отголоски его тонут в шуме колес.

Опять одна тьма. Ветер. Антип ежится. Угреватый, в картузе, лежит согнувшись, натянув на голову и на вылезающие ноги пальто. Ему холодно, и он скрипит зубами и стонет во сне. Длинный свернулся калачиком, и можно подумать — это мальчик.

Антип с минуту стоит и вдруг вспоминает все, бьет себя об полы.

— Ах тты, божже мой!..

Потом опять стоит, озираясь, и снова лезет в шерсть. Сон, тяжелый и черный, как ночь, наваливается, и он спит тяжело, неподвижно, без сновидений.

VII

— Антип! — закричал кто-то пронзительно-тонким голосом.

Антип вскочил, как ужаленный.

— А?!.

Возле никого не было.

Холодная река, берег, длинно протянувшаяся над горизонтом белесая полоса выступали из редеющей мглы.

Пассажиры, разбуженные предутренним холодом, подымались с заспанными, в красных рубцах, лицами, потирая руки, поеживаясь, греясь движением.

Пароход шел поперек, и берег плыл по воде ближе, ближе, и вода, холодно поблескивая, влажно лизала темные столбы пристани.

Когда навалились и положили сходни, Антип перекинул опустевший мешок через плечо и пошел. Он по-

шел спокойно и уверенно, как будто ничего не случилось и все шло, как надо. Он прошел по гнущимся сходням до конца, и пароход, как тяжело давивший кошмар, остался позади. Матрос, стоявший у конца сходен, загородил дорогу и оттолкнул его назад.

— А?.. Ты чего, милый человек?..— удивленно и добродушно ухмыляясь, спросил Антип.

— Ступай... ступай назад... ступа-ай! — И матрос продолжал толкать его до самого парохода.

Та привычка, которая пятнадцать лет гоняла Антипа между каменными немыми громадами, погнала его без сопротивления на пароход. Антип шел, ухмыляясь и бормоча:

— Оказия... Што тако?.. А?

Отвалили. Пристань поплыла прочь.

Первые лучи глянувшего из-за синей тучи солнца холодно блеснули по воде. И, в странной связи с ними, по палубе пронесся крик ужаса многих человеческих голосов:

— А-а!.. гляди, гляди!

Фигура с насмешливо оттопыренным назади полушубком мелькнула за борт. Все кинулись к борту, перегнулись, жадными глазами ловя расходящийся по воде и убегающий от парохода круг. Погрузившись краем, плыла шапка, так же убегая назад от парохода.

— Гляди, гляди!.. Вон он... бьется, сердешный, к берегу...

Колеса оглушительно заработали назад. Матросы рвались как бешеные, спуская шлюпку.

— Мешок тянет...

— Да где?..

— Вон он... волоса моет...

— Кончено!.. Шабаш!..

— Опять выплыл... вон он...

— О господи!..

Сдавленный пар, дрожа, оглушительно шипел. Истерический бабий крик визгливо метался по пароходу. Плакали дети.

На прыгавшей под ногами лодке матросы, задыхаясь и рискуя каждую минуту опрокинуться за борт, ловили что-то баграми в весело колеблющейся воде.

Уже высоко поднялось солнце, когда пароход пошел

дальше. На палубе стояло возбуждение и беспокойный говор. Матросам нельзя было показываться.

— Ишь отъелся, идол пузатый!..

— Морда скоро треснет... Людей топите, на этом и жируете!..

— Сволочи!

— За что человека утопили!.. За девять гривен? Чтоб вам ни дна ни покрышки!..

— И-и, проклятые!.. Как вы на свет-то божий смотреть будете... анахвемы!..

Работали колеса. Дышала труба. Светило холодное солнце. Убегала назад сердитая река, и все бежал вперед синий горизонт, дальние деревни, мельницы, зубчатая лента синеющего леса.

«ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ»

Меблированный дом «Золотой якорь» был большой, сомнительной чистоты. Мимо по улице, тоже грязноватой, заставленной нечистыми домами, с утра до ночи грохотали по выбитой мостовой тяжелые дроги с кипами товара,— с вокзала нескончаемо тянулись в город.

На улице была своя жизнь, в «Золотом якоре» — своя.

На улице, толкаясь, озабоченно шел народ; то и дело с визгом отворялись и затворялись двери закусочных, чайных и дешевых ресторанов, выплывал пар из харчевен и извозчичьих трактиров; бесчисленно пестрели вывески магазинов, лавочек, мастерских, и важно дымили в мутное небо темные трубы фабрик.

В «Золотом якоре» днем и ночью шло одно и то же: приезжали, уезжали, швейцары вносили и уносили чемоданы и корзины приезжих, а по номерам горничные, с ног сбиваясь, прибирали, вытирали пыль, оправляли постели, таскали кувшинами воду для умывальников.

По коридорам, задрав головы, как взбодренные кони, мелкой рысцой бегали официанты. Каждый из них бесстрашно нес на ладони над плечом большой поднос с кипящим самоваром, с посудой. Потом рысцой пода-

вали обед, потом чай, потом ужины, потом на несколько часов заведут глаза — и опять утро, чай, приборка, обеды, ужины. Так без перерыва недели, месяцы, годы.

Звонки в комнате для прислуги не прерывались, трещали назойливо, не умолкая,— кто-нибудь зачем-нибудь да уж звал.

Иногда в этот однотонный ход машины врывались выходящие из порядка события.

Однажды в номере повесился приезжий купец и висел, высунув черный язык, выпятив глаза, и толстая шея оплыла петлю.

Застрелился молодой офицер. В одном номере приезжая помещица родила тройню, а в другом после беспробудного кутежа компания вместо дверей стала шагать в окна второго этажа.

Но события проходили — и снова только чай, обеды, приборка, приезжающие и уезжающие.

Как и все, официант Андроник из третьего буфета в четвертом этаже не знал ни покоя, ни отдыха. С раннего утра до глубокой ночи он рысцой бегал по коридорам, с кипящим самоваром на ладони над плечом, и лицо у него было землисто-бледное и матово отсвечивало клейким потом. Страдал несварением желудка, имел красные, припухлые, слезящиеся веки, подъедал и выпивал на ходу остатки от обедов и, казалось ему, жил на свете лет семьдесят, а ему только на призыв идти осенью.

Как и вся прислуга, он жильцов делил на нижерублевых и вышерублевых. Свое человеческое достоинство, гордость, часто надменность проявлял по отношению к тем, кто платил за номер меньше рубля. Один такой после месяца квартирования выложил тридцать копеек на чай. Андроник их отодвинул и сказал:

— За баню больше плачу.

Платившие больше двух рублей за номер казались ему красивыми, солидными, и он, не чувствуя унижения, кланялся им низко.

Месяца в два, в три раз урывался на полдня из гостиницы. Его обдавало уличным простором, движением, запахами. Заходил в кинематографы, слонялся по улицам, подолгу стоял перед витринами. и раньше срока возвращался в гостиницу, как заключенный в неизбежную тюрьму.

А в гостинице в сутолоке, в беготне, между делом, где-нибудь ловил горничную в пустом номере, и они торопясь, коротко отдавались любви, и опять каждый бежал по своим делам.

Жизнь была каторжная,— он так и называл ее. Невозможно бы было тянуть ее, если бы впереди где-то отдаленно, смутно не маячила светлой точечкой надежда. Перед глазами стояла судьба хозяина гостиницы: был он тоже официантом, много лет тянул лямку. Однажды опился кутивший молодой купчик. В белой горячке повезли в больницу, а официант предварительно опорожнил его карманы — с того и взялся, и теперь тысячами орудует в «Золотом якоре».

И вся, сколько ни было здесь прислуги, вся она жила смутной надеждой так или сяк, чистым или нечистым путем, а выбиться, как выбился хозяин.

В номере пятьдесят втором жила девушка с миловидным личиком, на котором странно сочетались детски-трогательная беззащитность, беспомощность и наглость.

Андроник, когда его спрашивали об этом номере, презрительно бросал:

— Живым мясом торгует.

Глазами, подмигиваниями сзади, улыбочками он провожал ее и показывал другим. А она ему и всей прислуге платила тем же,— обращалась надменно, капризничала, донимала звонками, гоняла и, когда говорила, презрительно вздергивала носик, щурила глаза и роняла приказания, не оборачиваясь, через плечо.

В белом девическом, похожем на венчальное, платье слонялась она по целым дням в коридоре, подолгу стояла наверху устланной ковром лестницы, глядя на входящих, либо часами просиживала у окна или беседовала по телефону, смеясь, кокетничая, не договаривая, полусловами, чтоб не понимали швейцары.

А по вечерам из-за плотно закрытых дверей ее номера слышался смех, звон рюмок, посуды, возня. Андроник то и дело приносил, стукнув в дверь, закуски, вина. На диване либо молоденький офицер с разгоревшимся лицом, либо студент, либо штатский,— всё молодые, красивые, хорошо одетые, с деньгами,— она разборчиво выбирала. У нее лицо все такое же нежно-девичье, полудетское, и красиво вырезанные ноздри нагло раздуваются.

Андроник делал свое дело, скользя мимо, все видел, точно вполглаза, не до того,— усталость, беготня, недосыпания, боли в желудке, заботы, чтобы все было, как следует, наполняли все время, внимание, напряжение. Его тоже не замечают ни посетители, ни она — у них свое.

Раз ночью Андроник проснулся от свечи, которая ярко и назойливо беспокоила сквозь слипающиеся веки. В четвертом коридоре густо басом пробило три. Смутно и отдаленно пробило и во втором коридоре.

Андроник сел на постели, спустил мозолистые, пахнущие потом ноги.

— Чего такое? — недовольно спросил он, щурясь на свечу, игравшую радужным ореолом.

— Слышь, хозяин велел... Ступай помоги... в номер пятьдесят второй... Слышь, ты!..

Андроник разодрал веки, потер кулаком. Стоял официант из нижнего этажа, где жил хозяин,— и тени плясали по стене,— свеча, что ли, дрожала в руке.

— Да ты что же, прохлаждаться!.. Говорю, хозяин велел. Да не звони завтра об этом, ежели не хочешь вылететь.

Поставил свечу и торопливо ушел.

Андроник почесал поясницу, потер кулаком глаза и стал натягивать брюки и штиблеты.

— И черт их давит, и ночью покою нет. В первом ляжешь, в шесть вставай, да ночью подымают — каторга! Где такие порядки?..

Он оделся, глянул в осколок зеркальца, пригладил ладонью волосы и, взяв свечу, вышел из-под лестницы, где помещалась его каморка.

В длинном коридоре, слабо освещая, одиноко горела дежурная лампочка и мерно чокал маятник больших, от пола до потолка, часов.

Однообразно темнели плотно запертые двери, тая спящих, и у каждой двери немыми свидетелями проведенного дня чернели выставленные парами ботинки.

Андроник подошел к пятьдесят второму, постучал— там было могильно-тихо, хотел стукнуть еще раз, раздумал и нажал. Дверь отворилась, и разом необыкновенное, чего он меньше всего ожидал, кинулось в глаза: на полу посреди комнаты стоял таз с водой, возле таза — кровать, на кровати, выделяясь черными косами на

белой подушке, девушка, с страшно осунувшимся, горячечным лицом, черными кругами вокруг ввалившихся глаз. Рослая, плечистая пожилая баба возилась возле.

Андроник на секунду запнулся в дверях,— туда ли попал. Баба грубо бросила:

— Ну, иди, что ли... свети, держи свечку.

Тонкий задавленный стон пронесся по комнате.

— Цыц!.. Али оголтела...

Андроник брезгливо отвернулся, стал лазать глазами по потолку, а со свечи стало капать на пол.

«...Хозяин велел... Чай, и сам пользовался... Гостинице доход... скандалов не бывает... умелая...»

— Держи свечу-то, уродина!..

«Ага-а, возить-то саночки не вкусно... падаль!..» — глянул на подушку: на провалившемся лице была несказанная нечеловеческая мука. Оскаленные зубы судорожно закусили платок, а руки царапали простыню. Стонать нельзя было — беспокойство квартирантам.

Баба возилась.

Глухо стиснутые зубы все-таки пропустили стон.

— Цыц, тебе говорят!.. А то брошу да уйду.

Потная маленькая девичья рука схватила руку Андроника, и глянули с безумной мольбой глаза.

Андроник с изумлением глядел в эти молитвенно следившие за ним глаза,— только сейчас он увидел их, увидел незнакомое, так не похожее на прежнее лицо.

— Не капай свечкой, остолопина!..

Андроник, не отрываясь от ее молящих глаз, вдруг почувствовал, как она притянула его руку и, не отпуская, стала целовать сухими потрескавшимися губами.

У него задергало губы: бабка, кровать, черные волосы на белой подушке подернулись туманом, а свеча радужно окрасилась. И, не сдержавшись и скрипя зубами, вдруг всхлипнул, крепко держа маленькую потную ручку.

Кто-то бил его по затылку, таскал за волосы.

— Остолопина... собака проклятая! Постелю подожжешь... черт окаянный, навязался на мою душу грешную. Прислали сатану оголтелую...

Потом ему нужно было выносить таз, убрать тряпки, протереть пол, и он все делал, мало понимая, судорожно всхлипывая, и сквозь радужный ореол колебалось пламя забытой на полу свечи.

А утром то же: звонки, самовары на ладони, завтраки, обеды, предъявление счетов, ожидания на чай. Только прислуга спрашивала:

— Чего-то у тебя морда кислая, как выворотило. Либо пьянствовал ночку-то?..

— Так чегой-то. Животом мучаюсь. Все к доктору собираюсь... Очень табачный дым вредит.

Месяца через полтора стали заходить в пятьдесят второй те же офицеры, студенты, штатские. Заглядывал и хозяин.

Так же грохотали по грязной тесной улице мимо гостиницы дрогали с вокзала, приезжали и отъезжали постояльцы, швейцары вносили и выносили багаж, и не смолкая звонили звонки в комнате прислуги.

На лестнице часто белела девичья фигура в белом платье или переговаривалась, смеясь, полусловами по телефону. И когда, показывая на нее, спрашивали у Андроника:

— Кто такая?

Он, полуухмыляясь и делая бровями, говорил:

— Такая...

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЗАБАСТОВКИ

БРОДИТ ТРЕВОГА

Снаружи подумаешь: как было на фабрике, так и есть, ничего не переменилось. Так же трясутся стены корпусов и несется все заглушающий грохот; быстрыми клубами вываливается из черных труб фабричный дым; у ворот строго сидят сторожа, обыскивают всех выходящих. А присмотришься: тревожно и беспокойно внутри на фабрике, то и дело останавливаются станки, бегут вхолостую ремни; ткачи и ткачихи собираются в проходах, горят глаза, вскидываются кулаки — грозят кому-то злобно. А мастера, как цепные хозяйские псы, подняв собачьи уши, разгоняют собирающиеся кучки, примечая тех, около кого больше собираются. Разгонят в одном месте,— глядь, а уж собрались в десяти других.

Но особенно много собирается неурочно народу по уборным. Накурено, не продыхнешь, теснота — друг

на дружке, как сельди, и за надобностью никому не позволяют, а все стоят плечо в плечо и не спускают глаз с нового человека. И как он пролез на фабрику? Должно быть, свои ребята провели. Влез на вонючий стульчак и оттуда вычитывает по листку. И запаха никто не чувствует, все смотрят на читающего.

И о чем он читает? Да все о том же, что известно-переизвестно, что каждый день на своей шкуре все испытывают,— известно-переизвестно, а как будто только что услыхали, как будто вековечные раны кто солью посыпал. Вычитывает в листке, а ткачи ревом подхватывают:

— Верно... правильно... Так! Замучились, нет числа....

Горят глаза, поворачиваются друг к другу, мотают кулаками, разгорается сердце у ткачей: есть кто-то в городе, кто прячется от полиции, от жандармов, от шпионов и печатает эти листки, и, как береста в огне, вспыхивают от них замученные сердца.

А мастер уж тут как тут — выгоняет, записывает штрафы.

Ходит беспокойство по всем корпусам, а снаружи и не подумаешь. Как год, как два, как десять лет назад, трясутся и грохочут почернелые корпуса, торопливо вываливаются из высоких труб черные клубы, подводы за подводами вывозят тюки свежего товара и привозят хлопок, и его без перерыва пожирают ненасытные трясущиеся многоэтажные корпуса, откуда несмолкаемо несется грохот.

Ходит тревога, ходит беспокойство.

НА СПАЛЬНЯХ

Престольный праздник.

Угрюмо сечет дождь темно-кирпичные казармы. А внутри холодно, голодно, тревожно. Бабы с замученными лицами, с ввалившимися глазами ходят, как волчицы,— кожа да кости. У рабочих то же — краше в гроб кладут, испитые, с прозеленью, и морщины, а еще молодые.

...Как и у всех, у ткача Ивана Вязалкина в каморке голодно, неуютно. Татьяна, баба его, тоже ткачиха,

злая, замученная, кости торчат. Кричит на ребятишек.

— У-у, ироды проклятые! Ну, чего вам?.. Кофеев да чаев вам... Не натрескаетесь? Только б жрать с утра до ночи...

Мальчик и девочка, подростки, сидят на скамье, глядят на нее огромными глазами, ничего не говорят, а мать слышит:

— Мамм, поисть бы...

Тогда баба оборачивается и кричит исступленно на стариков:

— Вы еще тут, старое дерьмо, навязались, смерти на вас нету. Отжили век, ну, пора и честь знать!

Старики — отец Татьяны и мать Ивана — покорно моргают красными облезлыми веками, затуманенно глядя перед собой,— забыли радость, забыли ласку, тепло, свет; да и было ли это когда-нибудь?..

А баба уж к мужу:

— А ты, идол!.. Вот навязался на душу мою грешную... чем бы об семье подумать, а он бунтует фабрику, окаянный! Ты мне, Мишка, ежели от отца будешь бегать с листочками, голову оторву! Знаешь, за эти листочки жандармы зàраз в тюрьму. Тут осень, зима идет; ни одежи ни обужи, надо дров запасать, дети — голые. Мишутку али так и не сводим в училище? Ды головушка ты моя бедная... ды зачем ты мене, матушка, ды на свет породила... ды разнесчастная-а... о-о-о... ой-ей-ей...

— Цыц, т-ты, сстерва!..

Стукнул волосатым кулаком по столу — стол затрещал.

— Развылась, покою от нее нету. Давай суды гривенник, давай, те говорят, а то две половинки из те сделаю!

— Не дам... не дд-а-ам... ой, не да-а-ам... караул-ул!

Закричали дети. Завозились старики.

Дверь распахнулась, на пороге — дьячок с дымящимся кадилом.

— Что у вас тут за штурма? Али оголтели?.. У людей престольный праздник, а у них драка. Принимайте батюшку.

— Ох ты, окаянные мы... да што это мы...

Татьяна быстро поправила растрепавшиеся волосы и кинулась затепливать прилепленный к закопченной доске в углу восковой огарок. Иван обдернул рубаху.

Вошел поп и, не здороваясь, ни на кого не глянув, замахал кадилом:

— Благослове-ен господь...

Дьячок закозлил. Татьяна кинулась на колени и со слезами больно давила себя тремя пальцами в лоб, в тощий живот и в каждое плечо, исступленно глядя на мерцающий огарок. Не успела она рассказать черной доске свое неизбывное горе, а уж поп:

— ...во имя отца... аминь,— и ткнул каждому в зубы тяжелый холодный крест.

Татьяна набожно приложила иссохшие губы к холодной, вызолоченной меди и положила в руку попа два пятака. Да вдруг не выдержала и зарыдала:

— Батюшка, мочи нашей нету... замучились... голодные, холодные, с ранней зари до поздней ноченьки за станком, а принесешь получку, глядеть не на што...

— Господь терпел и нам велел. Сказано убо: не пещитесь о земном, ибо господь ваш уготовал вам небесное... Нет пред господом больше вины, как ропот. Терпите, и дастся вам.

И пошел по другим каморкам.

СТОЛ ЛОМИТСЯ

У хозяина фабрики тоже встречали престольный праздник.

В громадной столовой протянулся огромный стол. И чего только тут нет: и заморские вина, и фрукты, и сладости, и закуски, и блюда, каких и не выдумаешь.

Хозяйка — белотелая, в дорогом платье из Парижа, с множеством сверкающих бриллиантами колец на руках и по груди голая.

И дочка голая, сама вся сверкает бриллиантами: и булавки бриллиантовые, и застежки бриллиантовые, и гребни в волосах бриллиантовые, и брошки бриллиантовые — так вся и сверкает на свету, так вся и играет переливающимся блеском.

У папаши — фабрикантское брюшко и по брюху — собачья толстая золотая цепь.

Гости: директор фабрики с дочкой, несколько инженеров, соседние фабриканты с женами и жандармский офицер. Не приступали к еде, ждали священника.

Пришел и поп в шелковой рясе, с большим золотым крестом на груди. После рабочих он принял ванну, побрызгался одеколоном и теперь с преданно-собачьим лицом именем Христа, простерши холеные руки, благословил яства и пития. Все шумно стали усаживаться, и усаживались в известном порядке: во главе стола хозяйка, хозяин и дочка, фабриканты, а в конце — директор фабрики с дочкой, и у обоих умиленные лица, на которых — готовность каждую минуту вскочить, подать стул, поднять хозяйский платок. Посреди стола — поп с жандармом и скромно — фабричные инженеры.

Началось разливанное море — не успевали стоявшие за стульями лакеи наливать в бокалы пенистое вино. Гремел оркестр музыки.

— Да, неспокойно у нас среди рабочих,— проговорил поп,— распустился народ, ропщет, храм божий мало посещает. Особенно во второй казарме, в пятнадцатой каморке, молодой парень, Осипов, весьма беспокойный, такие речи говорит...

— Это — высокий, рыжий,— предупредительно наклоняясь, сказал директор.

— Да, высокий такой, смущает народ.

Жандарм мотает на ус, по-собачьи наставив уши. Всю ночь светился огнями фабрикантский дворец.

КРОВЬ

Не узнать фабричных корпусов — не слышно всегдашнего гула, не дымят высокие трубы. По каморкам шныряют рабочие, да вдруг пронеслось по всем коридорам:

— Выходи, ребята, во двор... Пошли... Ге-э-ей, все!

И повалила черная толпа — женщины, дети, старики, молодые и бородатые рабочие, весь двор фабричный запрудили.

Прибежал директор с злобно перекошенным лицом, заорал, затопал, но толпа с ревом надвинулась на него, он сразу осел и заговорил с собачьей ласковостью:

— Товарищи рабочие...

— Кобель тебе товарищ!
— Кровосос!..
— Долой!..
— Уходи, пока цел...
— Хозяина сюда!..
— Освободить Осипова! За что вы его арестовали?..
— Пока не освободите, не станем на работу.
— Мочи нашей нету, все одно пропадать...
— Расценки увеличить!..
— Штрафы скостить!..
— Обращаться с нами как с людьми, не как с животными...

Стоял визг, шум, крики. Прижатый директор исчез. Замелькала полиция, синий мундир жандарма. И грозно и тяжко подошла серым строем рота.

Рабочие подняли на руки человека, чтоб видней и слышней его было, и он, натружая голос, закричал:

— Товарищи солдаты! Неужто вы будете стрелять в своих братьев? Ведь вы такие же труженики, как и мы. Мы только одного хотим — заработанного куска хлеба, человечьей жисти да чтоб ребята наши, как щенята, не дохли с голоду. Фабриканты жиреют нашей кровью...

— Ве-ер-но-оо!..— взрывом заревели ткачи.

И куда ни глянешь — открытые чернеющие кричащие рты, как лес, мотаются поднятые кулаки, и во все стороны — только картузы, кепки, да платочки, да, как белая бумага, под ними истомленные бабьи лица, и, как разгорающееся зарево, тронул их горячечный румянец гнева, отчаяния, непотухающей злобы.

Офицер вынул саблю, крикнул:

— Вся власть передана мне как представителю воинской части. Требую немедленно прекратить агитаторские речи и разойтись. В противном случае будет дана команда к стрельбе.

Негодующий шум покрыл двор корпуса:

— Кровососы!..
— Ироды!..

Из-за рядов вывернулся поп и, придерживая широкий рукав, пошел к толпе, высоко держа крест.

— Братие! Во имя господа нашего Иисуса Христа молю вас утишить ваши сердца. Помните веление госпо-

да нашего Иисуса Христа, сына божия: властям предержащим да повинуются. Зачем же вы идете супротив воли царя небесного, который уготовал вам награду во царствии своем? Тут потерпите, а на небеси вам воздастся сторицею. Вот вы все говорите о хлебе, а Иисус Христос, сын бога живого, рече: «Не единым бо хлебом жив человек». И еще сказал нам господь Иисус Христос: «Кесарево кесареви, а божие богови»,— значит, каждому свое. Вам господь послал вашу долю, вы и несите ее с кротостью и терпением и за это получите награду у господа под кущею райскою; хозяину вашему господь послал его долю, он ее должен нести...

— Пошел!..

— Вон!..

— Проваливай, долгогривый жеребец!

— Все вы — одна шайка... все вы заодно.

Поп спрятал крест и, согнувшись, нырнул за солдатскую шеренгу.

Офицер скомандовал:

— Пря-мо по толпе пачками!..

Взвыло бушующее море голосов.

— В своих?! В своих!..

— Нате... жрите человечину!..— исступленно закричала высокая, костлявая распатлатившаяся ткачиха и разорвала на тощей груди рубаху, а на нее глядели винтовки,— жрите!..

А тот человек опять:

— Солдаты, или братьев и сестер своих, кровных своих будете расстреливать в угоду фабри...

Сабля, блеснув, опустилась, и огненно брызнула команда:

— Пли...

Никто не слышал залпа, видели только, как повалились, вскидывая руками, люди; повалился Иван Вязалкин, без крика повалилась ткачиха с разорванной на груди рубахой; быстро стала кроваветь земля под лежавшими в уродливых позах.

Через час поп в черном, полосатом от белых позументов, расходящемся книзу балахоне, с белым крестом на заду, мотал кадилом над длинным рядом мертвецов, аккуратно лежавших вдоль стены со сложенными руками и закрытыми веками; запекшаяся кровь была смыта.

— Со-о свя-а-ты-ы-ми у-у-по-ко-о-ой...

МЯГКОЕ СЕРДЦЕ

Как и всегда, дымятся трубы, трясутся, гудят корпуса; в привычном хомуте напряженно следят за мелькающей основой ткачи, и бледно-зелены их лица, и в черных ямах померкшие глаза,— все как было.

Только в доме фабриканта по-новому: прибавилось заботы. Вся семья в сборе. Хозяйка сидит за столом и составляет список пострадавших семей — добрая душа. Дочка хозяйская вместе с дочкой директора шьют распашонки для маленьких сирот и весело щебечут с кавалерами.

— В семье Вязалкина,— читает по списку фабрикантша,— нет самого. Остались: жена Татьяна, вполне трудоспособная, сын двенадцати лет, дочь шестнадцати, старик и старуха. Ну, как с ними?

Фабрикант поиграл брелоком у часов, поглядел в окно, слегка зевнул и сказал:

— Вязалкину опять можно поставить к станку, хоть и строптивая баба. Старика — в сторожа, он еще может работать. Старуху — в богадельню. А мальчишку пусть уж мать содержит. Да и дочь, она уж большая, ее тоже можно к станку.

Молодой человек, сын фабриканта, вслушался и сказал:

— Маман, вы возьмите девочку третьей горничной, вот семья и обеспечена.

— Милый мой Жорж, какое ж у тебя доброе сердце,— фабрикантша притянула сына за голову и поцеловала в надушенный пробор.

Пришел поп. Тоже стал помогать советами, как кому помочь.

— Истинно говорю вам, доброта ваша и отзывчивость безграничны; у господа милости неизреченные, и он ниспосылает вам дары свои.

ВЕСНА

Пришла весна. По свежим могилкам побежала мелкая травка. Птицы разорялись. Небо было высокое и синее, и без устали всех обливало солнце сверкающим теплом.

Все так же, как и всегда, дышали закопченные трубы и гудели и тряслись фабричные корпуса от тысяч мотавшихся в них станков — без устали.

Так же за станками качались, наклонялись землистые, с прозеленью лица, с зорькой становились на работу, к вечеру расползались по казармам, очумелые от усталости. Все как было. Как будто не было залпа, как будто не лежали мертвецы длинным рядом вдоль стены, как будто всосалась, ушла в землю пролитая человеческая кровь, потушила собою возгоравшийся пожар ненависти, отчаяния, борьбы.

Потушила? Нет. Гудят и гремят станки, неуловимо снуют челноки; как сухой туман, виснет никогда не падающая пыль; качаются землистые лица. Качаются землистые лица, и невидимо, незримо тлеют искорки ненависти, тлеют искорки подавленного отчаяния, тлеют искорки глубоко запрятанной готовности борьбы. Незримо, невидимо тлеет искорка, ибо не залить ее даже дымящейся человеческой кровью.

Татьяна Вязалкина, как и все, качается, наклоняется над станком зеленовато-землистым лицом; как и все, покорно выслушивает матерную брань мастера, а когда улучит минутку, юркнет в отхожее и, оглянувшись, торопливо наклеивает на стенке листок, либо где-нибудь в проходе, либо на лестнице, и как ни в чем не бывало — опять у грохочущего станка.

А у листков толпится народ; читают, вытянув шеи, и уходят к станкам и уносят в сердцах незатухающую ненависть к рабьей жизни, искру готовности к борьбе.

Белые листки расклеивает Татьяна Вязалкина,— есть, есть в городе кто-то, кто их составляет, кто болеет о рабочей нужде, кого ловят и все никак не переловят ни полиция, ни жандармы, ни шпионы. И разглаживаются слегка морщины на угрюмых лицах рабочих. Еще будет бой!

Раз пришли, гремя шашками и стуча об асфальт прикладами:

— Татьяна Вязалкина!

Она подняла землистое лицо от станка, землистое лицо, освещенное жгучей ненавистью непрощающих глаз.

Окружили, повели. Ткачи бросили станки, гурьбой вылились во двор, на улицу.

— Не дадим! Стой!.. За што берете?..

Грозно и тяжко нарастала волна, нежданно, негаданно по корпусам. Вдруг родился страх: забегали мастера, зазвонили телефоны, поскакал верховой от хозяина в полицию, в жандармское управление. Не пожар ли, не пробилось ли тлеющее пламя?

Женщина в рваном платке, с испитым лицом, с горящими ненавистью глазами, шла, и колыхались вокруг штыки, поблескивали шашки. Когда на углу заступила дорогу громадная толпа, женщина сказала:

— Слышьтя, ребята, не трожьте... От меня одной не убудет. Хочь и перебьете этих эфиопов, никаких толков не будет. А вы лучше стачку сготовьте. Не поддавайтесь!.. Наваливайтесь на хозяев! Прощайте...

— Не забудем тебя, Митревна, прощай! Мы свое возьмем, навалимся на иродов. Еще свидимся!

И пошла она, густо окруженная штыками. Поблескивали шашки.

СУД

— ...по указу его императорского величества...— Голос у него был привычно громкий, уверенный.

Те, кто только что вошел в зал суда, осторожно сели среди дожидавшихся своей очереди и стали слушать приговор заканчивающегося дела.

— ...я, судья пятого участка, постановил: жену рабочего завода «Глушков и Сыновья» Анну Павловну Железнову выселить в трехдневный срок из занимаемого ею, ее мужем и детьми подвала в доме № 25 по Большой Дворянской улице за неплатеж домовладельцу, купцу Битюгову, квартирных денег в сумме семи рублей пятидесяти копеек. Судебные издержки возложить на Железнову.

— Господи, да видь мой-то второй месяц без памяти лежит весь в огне, куды жа нам, на улицу?..— отчаянно заголосила женщина с испитым, до смерти замученным, белым как мел лицом.— Дети-то чем же виноваты?..

Нет, не закричала, не закричала, а шла среди сидевшей публики к выходу, молча шла, вытянув худую шею; одного с завалившейся через руку головенкой несла, двое других — один поменьше, другой побольше,

со струпьями на замазанных лицах, посверкивая под носом живыми серьгами, волочились, оттягивая юбку.

Шла молча, с безумно вытянутой шеей, как между каменных громад, и ничем их не сдвинуть, ничем их не стронуть, оттого что все, сколько тут ни сидело людей,— все (и она сама), все твердо думали, что, если кто не платит квартирных денег домовладельцу, надо того выселить, и в этом — закон, и в законе — справедливость.

А судья с золотой цепью на шее сказал:

— Введите подсудимого Вязалкина.

Ввели подростка с землистым тюремным лицом. И отчего у них землистые лица?

— Ваша фамилия?

— Вязалкин.

— Сколько вам лет?

— Шешнадцать.

— Ишь, шестнадцать лет, а уж в тюрьму попал,— зашуршало среди публики, и неодобрительно заколебались перья на дамских шляпах, закачались жирные головы купцов, и торговки сложили губы кошелечком.

— Свидетели явились?

— Все явились.

Вышла к судейскому столу покупательница с гадючьей шеей, а под шеей кружева и бриллиантовая брошка, и рабочий-пекарь с бледным, одутловатым, в муке лицом и с исчерна-гнилыми пекарскими зубами.

— Батюшка, приведите свидетелей к присяге.

Поп привычно-размашистым движением просунул голову в епитрахиль, выпростал патлы, поднял зажатый в руке крест, а глаза к потолку, который был закопчен и засижен мухами. Все встали.

Голосом, в который вросла глубокая уверенность, что он, поп, огромная глыба в той громаде, которая каменно давит всех, кто судорожно дергается, кто хоть малейшее движение делает, чтобы выбиться из каменных стен,— поп, глубоко чувствуя силу своего колдовства, заговорил высоко, отчетливо, вдохновенно, а свидетели, подняв сложенные двуперстия, поклоняясь этой силе, повторяли:

— Обещаюсь и клянусь всемогущим богом перед святым его евангелием и животворящим крестом его, что, не увлекаясь ни родством, ни дружбой, ниже иными

какими-либо видами, покажу в сем деле сущую о нем правду. Аминь!..

Поп так же привычно и быстро расседлался, завернул в епитрахиль крест, свое орудие оглушения, к которому приложились свидетели, и торопливо ушел,— отзвонил и с колокольни долой.

— Подсудимый Вязалкин, вы обвиняетесь в том, что тайно похитили булку из булочной купца Авдеева. Признаете ли себя виновным?

Мальчик молчал, глядя перед собой. Как и перед женщиной с тремя детьми, перед ним — стол, покрытый красным сукном, зерцало[1], здоровенная позолоченная цепь на судейской толстой шее, зал, наполненный публикой, решетка, а за решеткой — он, Вязалкин. И казалось ему: сидит он среди узко протянувшихся стен, которые давят его со всех сторон, и никуда не увернешься, никуда не вылезешь.

Он сидел и молчал.

— Ишь гад какой, упорный, как кремень,— сказал купец, нагибаясь к домовладельцу.

Стала показывать свидетельница и, ныряя гадючьей шеей пред судьей, шипела:

— Видно, что испорченный до мозга костей человек. Не попросил, как другие просят, а хитро и долго осматривался,— а я стою, наблюдаю, что будет дальше, пирожных к чаю брала, брат двоюродный с женой приехали, у них заведение фруктовых вод, так я взяла пирожных,— а он опять огляделся и все у кассы стоял, видно денег хотел стащить, да народу много было — никак нельзя; вот подошел к коробу, опять оглянулся, одной рукой стал сморкаться, а другую незаметно опустил в короб, вытащил булочку и под тряпье. А я как закричу-у: «Держите вора, держите!» — и вцепилась в него, чтоб он не убежал, даже пирожное помяла.

— Сладу нету с этими ворами... Ведь этак и разорить могут,— вздохом пронеслось в публике.

— Очень просто,— громким шепотом поддержали и купец, и домовладелец, и хозяин мельницы.

Вызвали второго свидетеля, рабочего-пекаря.

---

[1] З е р ц а л о — небольшой трехгранный, покрытый сусальным золотом ящик, на котором были написаны три указа Петра I и который ставился на судейском столе. *(Прим. автора.)*

— Оно верно,— сказал тот, показывая черно-гнилые зубы, съеденные мукой, которой он постоянно дышал,— взял он, только это — лом у нас, сушь, ссыпаем почем зря в короб, ее вон нищим раздают, она и копейки не стоит...

— Садитесь, свидетель.

— Ну, это тебе даром не пройдет,— шипящим шепотом пронеслось в зале,— сегодня же сгонют с места. Обормот!..

— Что вы можете сказать, подсудимый, в свое оправдание?

Мальчик молчал, все так же понурившись.

Судья подождал, потом стал писать протокол.

Мальчик, чувствуя, что уползает последняя минута, выдавил из себя:

— Два дня не ел...

Наступило молчание.

Судья поднялся. Все встали.

— По указу его императорского величества... сын рабочего, Павел Вязалкин, присуждается к тюремному заключению сроком на шесть месяцев, без зачета предварительного заключения.

Судья снял цепь и ушел. Публика стала выливаться из зала.

— Ничего, пускай посидит!

В пустом зале стоял тяжелый воздух. В углу висела большая икона Христа-спасителя.

ВОН

В доме фабриканта во всех комнатах одуряющими запахами млели великолепные цветы. На балкон и в сад были настежь открыты стеклянные двери.

Фабрикантша, в кисейном платье, с белыми, от пудры, набегающими на шее складками, строго и холодно говорила стоявшей перед ней с помертвелым лицом молоденькой девушке:

— Как не стыдно так отблагодарить за благодеяния?.. Ведь что с тобой было бы, если бы мы не взяли в дом. Тут сыта, одета, жалованье; нет,— мало ей: она еще потаскушничать вздумала. Какая грязь, какая низость, неблагодарность!

— Вся семья такая,— сказал фабрикант.— Отца во время стачки пришлось застрелить, а ведь я его двадцать восемь лет держал на фабрике, так в благодарность стачку вздумал устраивать. Жену его, Татьяну, пожалел, опять поставил на станок,— первые месяцы тихо вела себя, а потом в агитацию пустилась, стала мутить рабочих, листки возмутительнейшего содержания стала распространять, пришлось жандарму сказать, в тюрьму отвели. После нее мальчишка пустился в воровство — в булочной украл французскую булку, ну, арестован. Старик оказался лентяй, пришлось прогнать из сторожей. Теперь эта...

Фабрикант, задумчиво глядя на веранду, заставленную тропическими растениями, закурил душистую сигару и пошел в сад.

Фабрикантша взглянула на девушку, все так же стоявшую с поникшей головой.

— Ведь пойми ты, скверная девчонка, ты таскалась там бог знает где, могла всяких болезней натащить в дом. Фу, мерзость!

— Я, барыня, никуда не выходила, со Стешей всегда спала, она скажет, спросите... как перед богом... Это — они...

— Кто? Кто «они»?

«Уж не муж ли?» — судорогой передернуло фабрикантшу.

— О... ни... ни,— девушка все ниже, ниже клонила голову; слезы часто-часто капали на руки, на передник.— Ге... Георгий Михайлович... Я с Стешей спа... ла, а он... ни Стешу выгнали... я мо...лила, руки целовала... в но...гах валя...лась,— она захлебнулась.

У фабрикантши отлегло. Она сдержанно улыбнулась.

— Ну, милая, пеняй на себя, Жоржик — молодой человек, естественно в его годы увлечение,— ты уж сама себя должна была соблюдать. Во всяком случае, ты должна оставить наш дом, здесь не родильный приют.

ПОД КРАСНЫМ ФОНАРЕМ

Все как было: катились по улицам экипажи, текли толпы народа, плыл колокольный звон; из церквей выходили разодетые барыни, купчихи, чиновники, девуш-

ки; на паперти стояли, протягивая руки, нищие; на окраине дымили трубы фабрики, за бесчисленным множеством станков, ни на минуту не ослабляя напряжения, стояли с землистыми лицами; из заводских печей вырывался пожирающий жар,— все как было, и люди думали: так и должно быть вечно.

И по ночам, когда по улицам, в домах, в театрах загоралось живым золотом электричество — тоже как было: в великолепных ресторанах объедались и опивались великолепно одетые люди; в кабаках заливали глотку замученные, в отрепьях.

На одной из улиц, в доме с кроваво-красным фонарем над подъездом, тоже все как и раньше: несутся разухабистые звуки хриплого рояля, раскрашенные полуголые женщины с наглыми лицами, на которых — отчаяние.

И среди них странно видеть молоденькую девушку, с поразительно милым лицом, на котором, как и у всех, вызывающая пьяная наглость. Гости берут ее нарасхват, толпятся около нее, а она, бесстыдно подняв юбку, пляшет и пинает попадающихся на дороге голой ногой. Пьяные жеребцы ржут, заглушая рояль.

А еще утром сегодня эта девушка, со смытыми румянами, скромно причесанная, горько плакала, стоя на коленях и исступленно крестясь на золоченый крест, который поп держал в руке: хозяйка пригласила причт отслужить молебен в годовщину основания заведения. Дьякон, сотрясая позванивающие на люстре хрустальные подвески, густым басом возглашал многолетие хозяйке «дома сего».

Поп дал приложиться к кресту хозяйке, гостям и толпе женщин и с удивлением посмотрел на рыдающую на коленях девушку.

«Экий огурчик...» — подумал он греховно, а вслух сказал благочестиво:

— О чем, дочь моя, рыдания твои и плач? Если грехи давят душу твою, откройся господу, господь милосерд и в милосердии своем прощает грешникам.

А та, захлебываясь и не подымаясь с колен:

— Ба...тюшка, пропадаю я... не хочу я тут быть... отца моего застрелили... мать в тюрьме держут, а она разве виновата,— сама мучится по отце, да как глянет кругом, такие же, как она, замученные, не стерпела...

— И что? — нахмурил поп брови.

— ...стала раздавать листки рабочим...

— Э-э, вон оно что! Ну, так они господом прокляты. И помни: грехи родителей на детях их. Одно тебе спасенье — в милосердии господа бога нашего Иисуса Христа... Ему молиться, его просить о прощении грехов. А ты с кротостью неси уготованное тебе, слушайся хозяйку и наипаче проводи время в бдении, посте и молитве...

— Батюшка, пожалуйте к столу,— сказала хозяйка, кладя ему в руку четвертной билет.

Поп подошел к громадному, заставленному закусками и винами столу, подобрал одной рукой широкий рукав, а другой высоко осенил:

— Во имя отца и сына... аминь!..

[ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА]

КЛЯТВА

Пришлось мне побывать в Курской области. Пригласили меня в село Беседино, центр Бесединского района, на праздник юных животноводов.

Нудно покрапывал дождик. На деревянной незамысловатой трибуне стояло руководство района, учителя, гости.

В разных местах большой площади около повозок толпились школьники, краснели галстуки.

В первый раз попал я на праздник шефства школьников над колхозными телятами, жеребятами, кроликами, гусями и пр.

Ребятишки нежно любят своих питомцев. Утром и вечером приходят перед школой и после школы их кормить, вычищают стойла, подстилают свежей сухой соломы, чистят скребницей, потом щеткой. И как эти сытые, с блестящей шерстью телки, овцы, жеребята привязались к своим шефам! Мальчуган спрячется среди товарищей и подаст голос. Телка приподнимает лопоухие уши, кинется в толпу ребятишек и расталкивает лобастой головой, а найдет — лижет ему шершавым языком лицо, руки, трется головой, а он ее обнимает, и стоят, прижавшись, два друга.

Я радовался, да вдруг приостановился: а какой ценой все это покупается? Что, если ребятишки понизили успеваемость, расшаталась дисциплина?

Я стал расспрашивать, и все — учителя, колхозники, ребятишки, руководящие районные работники — с воодушевлением рассказали: успеваемость резко повысилась, дисциплина — полная. По району сто шестьдесят пять учеников отставали по учебе и были недисциплинированны, а теперь они — шефы, учатся на «отлично» и «хорошо», отличная дисциплина. Тем ребятам, у которых были пониженные успеваемость и дис-

циплина, не давали шефства. Это — огромное для них горе...

— Что это?! Что это?..

Все повернули головы, глаза потянулись к далекому перелеску. В смутной дымке покрапывавшего дождя вынесся из-за поворота полуэскадрон. Лошади стлались. Скакали по два в ряд.

Все радостно ахнули:

— Это ребятишки!..

Ближе, ближе... Скачут охлюпью без седел, но не подкидывают, как обыкновенно в деревне, локтями, не хлопают по бокам лошади пятками,— сидят как влитые. Подскакали, натянули поводья, лошади послушно стали как вкопанные. Да ведь это же готовые кавалеристы! Готовые, обученные кони! Ребятишки учат их еще маленькими жеребятами брать барьеры, канавы. Колхозники, гости обступили ребят и их питомцев. Кони слегка помахивают головами, ласково трутся о плечо.

Один из приехавших гостей говорит:

— Вот не думал встретить такое...

Старик колхозник вздохнул и виновато улыбнулся:

— Да мы сами думали: зря ребятишек смущают, не будут учиться.

Колхозники, колхозницы загалдели:

— А теперь радуемся...

— Учатся-то как...

— Дома его не узнаешь,— то, бывало, чего ни скажешь — огрызается, а теперь так успокоительно говорит — душа радуется.

Поднялся учитель Криволапов и, напрягая голос, громко заговорил:

— Граждане и гражданки!

И слышно было по всей площади:

— ...Дети наши учат нас. По животноводству они выводят наш район в первые ряды. До шефства у нас был падеж молодняка, и не малый, много молодняка было с желудочно-кишечными заболеваниями,— теперь ни того, ни другого нет, растет крепкий, здоровый молодняк. Поклянитесь же, что вы всеми силами поддержите своих детей, и наш район даст прекрасных боевых лошадей любимой защитнице, нашей Красной Армии.

И вся площадь дрогнула от взрыва голосов, и лес рук встал над головами:

— Клянемся!

— Граждане и гражданки!.. Колхозники и колхозницы! Поклянитесь перед Красной Армией, перед всем нашим трудовым народом, что в самый короткий срок снимете и уберете с полей ваш урожай!..

И от взрывов голосов зашелестели деревья. Поднялись руки:

— Клянемся!

— Граждане и гражданки!.. Колхозники и колхозницы! Все ребята, все школьники, все пионеры! Поклянитесь перед нашей партией, что отдадите все ваши силы, все ваше напряжение, а если понадобится, и самую жизнь, труду и борьбе за счастье, свободу и радость нашей прекрасной родины...

И грянуло неслыханное:

— Клянемся!.. Клянемся!.. Кляне-ом-ся!!

Это было недели за три до 22 июня 1941 года — начала войны. И когда хлынули в наши дивизии призывные, я подумал: родная страна их готовила... давно.

РЕБЕНОК

Мы проехали железнодорожный мост через реку Иловлю. У нас был громадный эшелон: тысяча эвакуируемых из детдомов ребят и около трехсот красноармейцев.

Солнце невысоко стояло над голой степью. По вагонам собирались завтракать. Раздался сдвоенный взрыв. Потом еще и еще. Поезд остановили. Дети, крича, посыпались, как горох, из вагонов. Дальше выскакивали красноармейцы. Все залегли по степи.

Белый дым зловеще стлался над железнодорожным мостом. Пятнадцать вражеских самолетов громили мост. Заговорили наши зенитки. Шрапнель падала с высоты трех-четырех километров. Попадись ей — насмерть уложит.

Я старался отбежать возможно дальше от вагонов, по крышам которых тарахтела сыпавшаяся шрапнель. Маленькая девочка пяти с половиной лет, нагнув головенку, крепко держась за мою руку, торопливо мелькала босыми ножками. На ней были только трусики: выскочили из вагонов в чем были.

Мы прижались к земле. Взрыв несказанной силы потряс всю степь. Было секундное ощущение, что вывернуло грудь. Если бы стояли, нас бы с силой ударило о землю воздушной волной. Громадно протянулся через речку, зловеще крутясь, волнисто-дымчатый вал. Моста в нем не видно было. Лежавший недалеко красноармеец поднял голову, посмотрел на белый вал и сказал:

— Не иначе как больше тонны бомба, неимоверной силы. Мост как слизнуло!

Били зенитки. Большинство стервятников кинулось в сторону и вверх и улетело. Штук пять бросились на мирный рабочий поселок, и там сдвоенно стали взрываться бомбы. Черные густые клубы дыма все застлали, и огненные языки, прорезывая, вырывались вверх. Улетели и эти. Только один, черно дымя, штопором пошел книзу.

— По ва-го-нам!

Вся степь зашевелилась, быстро потекла к эшелону. Я тоже бежал, крепко держа за руку Светлану. Она, нагнув головенку, изо всех детских сил мелькала босыми ножками. Добежали до полотна. Поезд шел уже полным ходом. Подымил вдали и пропал. Кругом — пустая степь. Мы одни. Слишком далеко забежали от эшелона. Черный дым густо клубился над поселком, разрастаясь, и огненные языки все чаще высовывались, пожирая крытые соломой избушки.

Делать нечего. Мы пешком пошли по полотну на другую станцию, расположенную в одиннадцати километрах. В Иловле бушевал пожар, и было не до нас. Нестерпимым зноем дышал песок. Мучительно блестели рельсы. Вдруг Светлана села на обжигающий песок, и крупные, как дождевые капли, слезы прозрачно повисли на ее выгнутых ресницах. Она зарыдала, смачивая мою руку горячими слезами.

— Что ты? Что с тобой?

Я ее гладил по головке, вытирал слезы, а она плакала навзрыд.

— Да что с тобой?

Сквозь рыданья она едва выговорила:

— У нее головы нету...

— У кого, дружок мой?

— У нее, у девочки...

— Постой, что ты, где?

— Когда бомбили, знаешь, на Медведице мост? Дети

потом, как улетели немцы, побежали смотреть, и я побежала. Мост крепко стоит, а где жили рабочие, все сгорело. А детишки в проулке играли; немцы бросили на них бомбы. А у детишек полетели руки, ноги, а у одной девочки нет головы. А мама ее прибежала, упала, обняла ее, а головы нет, одна шея. Маму хотели поднять, а она забилась, вырвалась, упала на нее, а у нее только шея, а головы нету. А другие мамы искали от своих деток руки, ноги, кусочки платьица...

Она перестала плакать. Вытерла тыльной частью руки слезы и сказала:

— Дедушка, я кушать хочу.

— Милая моя, да у меня ничего нету. Давай пойдем скорее, может, на станции буфет есть, что-нибудь достанем.

Мы торопливо шли, и она опять семенила босыми ножками, нагнув в напряжении голову. Зной заливал степь. Показался разъезд. Одиннадцать километров прошли. Несколько красноармейцев с винтовками, сменившись с поста, сидели в тени. Светлана с искаженным лицом вся затрепетала от ужаса, схватилась за красноармейца и обняла его и винтовку:

— Он опять, он летит!

— Где ты видишь? Небо — чистое.

— Я слышу: «Гу-у-у... Гу-у...»

Да, он летел очень высоко, вероятно, разведчик, посмотреть — что с мостом. Она верно передала тот мертвенно-траурный волнообразный звук, который враг тяжко влечет за собой. Чтобы как-нибудь ее успокоить, я повторил:

— Да нет же, никого нет. Небо — чистое.

— Фу ты! Ты, дедушка, глухой. Ты, дедушка, не велишь мне говорить неправду, а сам обманываешь. Он летит, чтобы сбросить на этот домик бомбу, и у меня головы не будет.

Она исступленно рыдала.

— Вот пожар, детишки валяются...

Красноармеец гладил ее головку, и она заснула, все так же обняв красноармейца и винтовку, по-детски жалобно всхлипывая во сне. Красноармейцу было неудобно сидеть, но он не шевелился, чтобы не потревожить ребенка. Тени стали короче. Красноармейцы, согнувшись, сидели молча, держа винтовки между колен. Постарше — у него на висках уже пробивалась седина — сказал:

— Вот что страшно: мы начинаем привыкать, ко всему привыкать: дескать, война, и что ребята валяются — тоже, мол, война.

— Ну, к этому не привыкнешь.

— То-то не привыкнешь... Думаешь, только те дети несчастны, что в крови валяются? Нет, брат, немецкие зверюги ранили все нынешнее поколение, ранили в душу, у них в сердце рана. Понимаешь ты, все эти немцы вместе с Гитлером сгниют в червях, и все. А у детишек наших, у целого поколения рана останется.

— Ну, так что же делать-то?

— Как, чего делать! Горло рвать зубами, не давать ему передыху. Их сегодня штук пятнадцать было, а сбили только один. Это как?

— Зенитки на то есть.

— Зенитки есть... Сопли у тебя под носом есть... Из винтовки бей, приучись, приучи глаз. Что же — мало, что ли, наши их из винтовок сбивают?.. Есть у тебя злость—собьешь. Вот малышка маленькая учит тебя, прибежала, а ты: «Зенитки».

У всех глаза были жестко прищурены и губы сжаты, точно железом их стянуло. Помертвело. Один красноармеец привстал, замахал рукой. Конный патрульный, ехавший по степи, привернул к переезду. Еще он не подъехал, а красноармеец закричал:

— Здорово мост разбомбили?

Патрульный молча слез с лошади и, кинув поводья на столбик, присел в тени, повозился в шароварах, достал мятую бумажку, расправил на коленях и молча протянул соседу. Сосед с готовностью насыпал ему табачку. Он с наслаждением затянулся и сказал:

— Мост целехонек. Давеча из-за дыма его не видать было. Самый пустяк колупнули при въезде. А вечером поезд пойдет.

— Ого-го, здорово!

Глаза повеселели.

— Я говорю: они, сволочи, и бомбить не умеют.

Патрульный сдунул пепел.

— Мост-то они не умеют бомбить, а вот поселок рабочий весь дочиста сожгли. Народу погибло, ребятишек... Сейчас все ковыряют в углях. Обгорелые трупы тягают. Кур, гусей, коров.

— Чего не разбежались?

— Они, зверюги, чего делают: все самолеты летают по краю поселка и зажигают, а потом—середину. Крыши соломенные, везде солома, сено, плетни,— как порох, вспыхнет, и бежать некуда. В конце и посреди—огонь.

Девочка проснулась, протерла глазки и сказала:

— А пожар?

— Пожар сгас.

— А детишки?

Патрульный только было рот раскрыл, красноармейцы разом загалдели:

— Никого не тронули, все в вербы убежали, к речке.

Девочка шлепнула в ладоши и сказала:

— Дедушка, я кушать хочу.

Красноармейцы завозились, раскрыли свои мешки. Кто протянул ей белый сухарь, кто — кусочек сахара. У одного конфетка нашлась. Маленькая сидела на скамейке, болтала ножками и по-мышиному похрустывала белым сухарем. Красноармеец сказал, ни к кому не обращаясь:

— Теперь бы в атаку пойти!

Все молчали.

Составитель махал нам флажком.

— Никитин, садитесь во второй от хвоста вагон, на сене выспитесь.

ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЬ

Последнее время на этом участке фронта в верховьях Дона стояло затишье. И вдруг на рассвете после тяжелой темной ночи раздался залп фашистской артиллерии. Второй, третий — и пошла потрясающая пальба.

Что это! Наступление?.. По нашей линии все напряглось в ожидании, в приготовлении к отпору. Всех: и бойцов, и командиров, и артиллеристов, и минометчиков,— всех, кто ни находился на линии фронта в окопах, в дотах, и дзотах, и в тылу, поражала ничем не объяснимая вещь: фашистская артиллерия бьет не по нашим укреплениям, не по нашим огневым точкам, а по чистому полю, бьет по голому полю, которое раскинулось между нашей и вражеской линиями. Поле — пустынное. Кое-где темнеют голые кустики да виднеются небольшие ложбинки, а в них и котенок не спрячется. Но с потрясающей силой бьет фашистская артиллерия в чис-

тое поле как в копеечку. Гигантские глыбы черной земли страшной тяжестью взлетают в черных облаках дыма и пыли, и после них зловеще дымятся глубокие провалы. Поле разворочено, как будто плуг нечеловеческой громады прошел по нему.

Бойцы безбоязненно высовывались из окопов, с изумлением оглядывались друг на друга.

— Да что за черт!

— В чистое поле как в копеечку...

— Это же денег стоит...

— Фриц сбесился!..

— Без ума жил, с ума сошел.

— Рехнулся..

Бойцы ничего не понимали.

Долго враг бил по пустому месту, разворачивая все новые места на чистом поле, долго глядели и удивлялись бойцы.

...Прошлая ночь была черна и туманна. В этой тьме стоит тишина одинаково над нашими и немецкими окопами. И одинаково прислушиваются в тех и других невидимые часовые. Да вдруг посыплется во тьме пулеметная очередь или высоко вскинется ракета, осветив мертвенно-голубоватым светом дымчатый туман. И опять — мутная тьма; ни звука.

В глухом, не выделяющемся во тьме блиндаже судорожно шныряют по стенам уродливо дрожащие тени от коптилки. Командир говорит:

— Между нами и немцами стоит наш неповрежденный танк. В нем лежат погибшие товарищи. Кто-то из них с автоматом в руке открыл люк, видимо хотел стрелять по немцам. В открытый люк влетела граната подобравшегося врага. Наши товарищи все от взрыва погибли. Немцы не стали бить из пушек по танку, все надеются целым приволочь к себе. Мы тоже не разбиваем, все надеемся возвратить, опять будет служить нашей Красной Армии. Товарищей, павших смертью храбрых, с честью похороним. Надо его доставить, не вызвав орудийного огня. Нужно послать человек десять, пятнадцать. Надо вызвать добровольцев.

— Товарищ Якименко, поговорите с бойцами. Да чтоб не курили...

Якименко вышел, осторожно притворив дверь. Тени судорожно бродили по стенам. Командир, опершись под-

бородком на руки, глядел красно набрякшими от бессонницы глазами, не мигая, на разложенную по грубо сколоченному столу карту. Минут через десять бойцы толпой осторожно протиснулись в дверь.

— Ну, подобрались?

— Вот пятнадцать человек бойцов пойдут.

Выступил совсем молоденький, с озорными глазами, боец. По лицу бегали тени.

— Товарищ командир, разрешите доложить?

— Ну?

— Я доставлю танк. Мне не нужно этих пятнадцати. Куда такую ораву! Все равно катить такую махину не сдюжаем, а суматоху наделаем на всю округу.

— Так чего же тебе? Один, что ли?

— Двух товарищей, шоферов, разрешите, товарищ командир, взять.

Командир поднял отягченные веки, тяжело посмотрел на него:

— Как только заведете, заревет немецкая артиллерия, сейчас же разобьет — под самым носом ведь у них, и пристрелялись.

— Нет,товарищ командир, тишина будет нерушимая.

— Как же это?

— Разрешите доложить, когда выполню задание.

Командир подумал:

— Ладно, ступай. Ответственность на тебе.

— Есть, ответственность на мне.

Трое вышли и потонули в недвижимой мгле. Человеческого дыхания не было слышно. Не зашелестит помятая трава — все тот же непроницаемый мрак. Трое осторожно, по-кошачьи, ступали согнувшись или ползли на брюхе, останавливаясь и прислушиваясь — беспредельный мрак, океан молчания. Но пробиравшиеся бойцы знали: в этой беспредельности — напряженное внимание. И вдруг вспыхнет мертвенно-голубоватым светом ракета, посыплется короткая пулеметная очередь. Трое бросаются на землю и лежат не шелохнувшись. И опять тьма...

Они скорее почувствовали, чем увидели, черный сгусток среди ночи. Ощупали: да, танк. Сдерживая дыхание, один влез в танк. Пахнуло могильным холодом. Вывернул в моторе свечи. Теперь компрессии не будет, мотор не заведется, не заревет. Потом включил задний

ход — невидимой пушкой танк глядел на невидимые вражьи окопы. Потом вылез и вдвоем взялись за заводной ключ, стали тихо и напряженно проворачивать вал мотора. И танк неосязаемо двинулся задом от окопов, но так неуловимо, как будто, не слушаясь ключа, стоял на месте в молчавшей темноте. А те все так же медленно и напряженно крутили, задерживая дыхание, и горячий пот бисером проступил на лбу. Когда сердце больно стало стучать, один переменился, и так же беззвучно медленно стали крутить. Если бы посмотреть на танк днем, его движение было бы так же неуловимо, как движение минутной стрелки часов, которая, кажется, стоит на месте. И все покрывала ночь своей непроницаемостью.

Как ни незаметно, ни неуловимо двигался танк, к рассвету, когда едва обозначились края черных туч, он дополз до нашей позиции. Юнец с озорными глазами явился к командиру.

— Разрешите, товарищ командир, доложить?

— Ну, говори, говори. Как?

— Задание выполнено. Танк доставлен целым и невредимым.

— Как же это вы ухитрились?!

Боец рассказал.

— Молодцы ребята! Будете представлены к награде.

Только он это сказал, на вражеской позиции грянул артиллерийский залп. Потом еще, еще.

Все засуетились.

— Наступают, что ли?

Прибежал запыхавшийся боец.

— Дозвольте доложить, товарищ командир. Артиллерия ихняя бьет не по окопам нашим, а по пустому месту, где стоял танк. Все место изрыли.

Командир вышел, стал смотреть в бинокль. Залпы сотрясали поле.

— А ведь сбесились!..

На другой день наша разведка привела двух «языков». На допросе они согласно показали: когда утром совсем рассвело, немцы глянули, ахнули: танк исчез. Немецкое начальство сейчас же арестовало часовых. Стали ломать голову, куда же делся танк. Уехать на нем не могли, мотор бы ревел, гусеницы бы лязгали, поднялась бы тревога. Откатить на руках не могли:

такую махину не сдвинешь. Взять на буксир тоже не могли, буксир поднял бы рев. Долго ломали головы. Один из офицеров сделал предположение, единственно приемлемое: русские — хитрый народ... они просто замаскировали танк. Поле местами покрыто кустарником, кочковатое, в ложбинах. Русские подкопали танк, он опустился. Сверху накидали земли, натыкали кустов, и танк исчез. Начальство немецкое приказало обстрелять из орудий поле, где можно было предположить замаскированный танк, чтобы обнаружить его. Заревели орудия.

Когда наши бойцы узнали, как опростоволосились немцы, грянул такой ядреный хохот, что поле опять задрожало: хохотала пехота, хохотали артиллеристы, хохотали минометчики, улыбались командиры. Веселый был день.

ТВОРЧЕСТВО

Какая строгая река Ока! Какие у нее богатства! Стройные, вознесшиеся по берегам суровые сосны, с темными верхушками под бегущими облаками. Могучие поля. Здесь живут люди, не знающие старой затхлой нищеты, убогости, тьмы, невежества.

Мы подъезжаем к совхозу «Зендиково», по имени соседней деревни Зендиково, под самой Каширой. Но что это?! Или я не туда попал? Я знаю историю этого совхоза. Он был — полная чаша: тысяча свиней, коровы, телята, лошади, постройки для рабочих, для скота, для фуража, полеводство, огороды, парники, сады. Стали подступать в 1941 году к Москве немцы, стали бить из орудий по Кашире, по совхозу. Вошли в совхоз. А когда бежали под ударами Красной Армии, совхоз был пустым местом — ни построек, ни корма, ни продовольствия, лишь стоял старый с белыми колоннами дом (совхоз помещается в старинной помещичьей усадьбе). Красные раны его кирпичных стен от орудийного обстрела и черные безглазые окна далеко были видны по старинной липовой аллее.

Надо было собирать совхоз наново и возможно скорее, ибо продукция его идет в Красную Армию. Но от-

куда же взять денег, материал, поголовье, транспорт, машины? Ведь у правительственных организаций каждая копейка, каждый станок, машина, доска на счету,— война. Каждый это понимал. А надо было из положения выходить. И вышли.

Все рабочие, все служащие, все специалисты, все, от уборщицы до директора, трудились, не зная ни сна, ни отдыха. Бросались во все стороны, всеми правдами и неправдами стали добывать свиноматок. Но кто же даст хороших маток? Набрали с бору да с сосенки костлявых, с нищенским приплодом. А за год сумели из их все улучшавшегося приплода создать стадо свиноматок в тысячу голов с приплодом в десять и больше отличных поросят.

Я хожу по свинарнику. Чистота, а когда разговариваешь со свинарками, чувствуешь их уверенность в себе, уверенность в своих знаниях, которые приобретены тут же, во время работы.

— Как же вы умудрились за год так улучшить породу?

— Что ж тут такого? Мы достали очень породистых производителей, а главное — уход и отбор приплода. Видите, какие поросята упитанные, крупные, а послабее — мы их на откорм, потом режем, приплода от них не допускаем. С кормами плохо, прежде вдобавок к нашим кормам нам еще подвозили, а теперь, как война, нам ничего не дают; спиртовой завод, с которого мы получали барду, закрыт. Тут уж трудно стало. Директор наш, товарищ Пронкин, бьется как рыба об лед, сам ежедневно составляет рацион свиньям: то одно, то другое, какая пища полезнее из того, что есть,— все опытом. Оттого и большой привес. Уж в лепешку разобьется, а корма достанет. Ну, поросята и прирастают сверх плана.

Встречаюсь с пчеловодом. Сын крестьянина. Морщины труда, трудовой заботы легли на худое лицо. Он пчелу знает насквозь, она ему послушна и трудолюбива. Она наполнила полторы сотни ульев, обильно дала государству мед.

Вечером я сижу в кабинете агронома, Антона Ивановича Очкина. Какой там кабинет,— просто холодная комната, холодный стол да несколько таких же холодных стульев.

У Антона Ивановича такое худое лицо в морщинах,

которые старят его. Очки на заострившемся носу придают ему еще более старческий вид. Но это первое впечатление тотчас же меняется, как только узнаешь его работу, его чудовищную настойчивость, напористость. Он весь поглощен своей специальностью,— в ней его жизнь, радость, счастье, в ней у него весь мир.

Кругом сидят женщины, с закутанными в платки головами. Все — полеводы. Есть кончившие семилетку, есть малограмотные, а есть совсем неграмотные, но все сжились со своей полеводческой работой, прекрасно работают.

Антон Иванович, близоруко и ласково глядя сквозь очки, разговаривает с бабушкой Урыловой. Она неграмотная, и зубов нет,— ей семьдесят лет. Когда еще девчоночкой работала у помещика, ее осенью заставляли жать камыш: вода холодная, пиявки поприлепятся и сосут кровь, и однажды она еле выбралась на берег и упала без сознания,— много высосали. Антон Иванович ласково и ехидно спрашивает ее:

— Как у вас с фекалиями? И зачем они вам?

— Да как же! Надо же подкормить растения, а там азот.

Бабушка с фекалиями, с фосфатами, с подкормкой растений — запанибрата, дает рассаду всему колхозу и перевыполняет план в два-три раза. Когда пришли немцы, бабушка Урылова ухитрилась спрятать, помимо других семян, две тонны одного луку, а когда их прогнали, принесла Красной Армии в подарок тонну луку и остальным луком сумела обсеменить все парники и обеспечить огороды. Бабушка училась обращаться с растениями у Антона Ивановича, а теперь Антон Иванович в затруднительных случаях бегает к бабушке советоваться.

И все женщины, сидящие здесь, так же напряженно, просто и умело работают, и полеводство, огородничество в совхозе удивительно растут. Да и как не расти? Антон Иванович спрашивает их, все так же ласково глядя сквозь стекла:

— Ну, а как насчет второго урожая картофеля?

— Да как, обыкновенно. Посадишь, вырастет, подкопаешь куст сбоку, выберешь крупные клубни, которые уж созрели, тут же польешь подкопанную ямку, подсыплешь туда же подкормку, либо биологическую — навоз,

либо химическую — суперфосфат и другое. Ну, зарываешь, окучиваешь куст. А в кусте-то, как показывает опыт, образуются новые завязи до восьмидесяти штук на куст. В тысяча девятьсот сорок втором году, несмотря на позднюю подкормку, план сбора картофеля перевыполнили. А теперь, чтоб раньше собрать первый урожай, будем садить по утепленной почве: при посадке, наряду с удобрением, подкладываем под посадочную картофелину навоз, он и держит повышенную температуру, пока солнце не согреет всю землю.

Объяснявшая колхозница замолчала и поправила платок на голове, потом вздохнула: у нее убит муж на фронте.

Антон Иванович доволен своими ученицами. Но его уже осаждают другие мысли, проекты, начинания, опыты. Вот установлено: в Каширском районе по климатическим, почвенным, метеорологическим и другим условиям нельзя сеять ячмень. А ячмень, смешанный с овсом — прекрасный корм. «Как это нельзя сеять!» С этих пор Антон Иванович не знал ни покоя, ни отдыха, не видел ни людей, ни обстановки. Одержимый! С карандашиком и бумажкой все подсчитывал. И задачу решил вдвойне. Он посеял ячмень в смеси с овсом. Овес посеял чуть-чуть раньше, так что, когда овес созрел, он был выше ячменя на два-три сантиметра и тенью своего колоса покрывал колос ячменя, не давая ему окостенеть и ломаться и сваливаться при уборке. И теперь получает отличные урожаи ячменя с овсом, которые при уборке комбайном смешиваются.

Антон Иванович ходит с невидящими, куда-то устремленными сквозь очки глазами. «Ну, ладно, картофель у нас с двумя урожаями, на полях — отличный урожай. Ну, а дальше что? А дальше... дальше урожай должен быть еще великолепнее. Что же сделать? Да ведь...»

Антон Иванович мчится к начальнику политотдела, и очки у него скачут по носу.

— Николай Сергеевич, слушайте: что могли, мы все сделали, ну, а про организацию труда забыли. Нужно осуществить звеньевую систему. Звено — вот основная ячейка труда. И у нас надо. Как же иначе? Так везде.

Как бы ни были творчески заряжены работники совхоза, никогда их творческая работа не слилась бы в

один общий поток, если бы отсутствовала направляющая, объединяющая все их усилия рука. В совхозе есть такая рука, это — Николай Сергеевич Филатов, начальник политотдела, мягкий, ласковый, но с железной рукой. Он непрерывно следит за каждым работником и работницей совхоза, следит за свинарником, за огородом, за пчелами, за садом, за полеводством, за развлечениями, за бытом рабочих, за их политическим ростом, за их творческим ростом. Он, как опытный дирижер, ведет оркестр совхозной жизни, работы, совхозного творчества, и оркестр звучит согласованно и могуче. Он не упускает ни одной возможности, чтоб не поднять в той или иной форме работы в совхозе.

Но кто же изумительно быстро восстановил этот великолепный свиноводческий совхоз, разрушенный немцами? Женщины... Девяносто процентов рабочего состава в совхозе — женщины. Это они творчески работают, непрерывно подтверждая свою работу опытом. Кто же они, эти не покладающие рук работницы? Это — веселые, смеющиеся, румяные, брызжущие радостью жизни девчата. Это — жены рабочих, которые на фронте. Это — пожилые домохозяйки; это — вдовы; это — старухи, не уступающие молодым в работе, а часто они и учат молодых и делятся своим опытом с молодежью.

И как глянешь, везде по совхозу озабоченно мелькают платочки, и редко-редко встретишь черный картуз. И все результаты своего труда они отдают Красной Армии.

Да разве работницы совхоза «Зендиково» одиноки? Вся страна, вся родная страна полна могучего творчества. Это она родила Красную Армию, полную громадного творческого напряжения в этой страшной борьбе, неповторимого ни в одной стране мира. Это она, родимая страна, ломает и сломает окончательно хребет подлому, залившемуся кровью врагу.

Совхоз «Зендиково» — маленький, затерявшийся в необъятных просторах страны светоч, но свет его творчества сливается с озаренно-бушующим океаном творчества всей социалистической страны.

За прекрасную работу по восстановлению хозяйства коллектив совхоза получил Красное знамя Государственного Комитета Обороны и первую премию — незабываемая награда.

ЮНАЯ АРМИЯ

Курмаяров идет по большаку. Шаг в шаг поскрипывает снег. Сумерки тихонько садятся на придорожные кусты, на чернеющие деревья. Одна за одной зажигаются морозные звезды, робко моргая.

Большак круто перегибается в глубокий овраг, на мост. Там тоже смутно белеют снега. Оттуда доносятся голоса, ребячий смех. Курмаяров подошел, присел на ствол срубленного дерева. Говор и смех стихли. Ребята стояли молча, искоса посматривая на него. Вокруг в беспорядке стояли пустые салазки. Ребятам — от одиннадцати до четырнадцати лет, мальчики и девочки.

После некоторой паузы один сказал:

— Думал, думал я и удумал: подстрелить фрица из пистолета нельзя — услышат, сбегутся, вот тебе и карачун, а...

— Да где ты пистолет возьмешь! — с азартом прокричал самый маленький, размахивая руками.

— Фу, да у дяди Вани скрал бы! Да слыхать выстрел, и на морозе порохом воняет.

— Как же ты сделал?

— Я-то? Обманом взял. Сделал сагайдак, приготовил три стрелки, а в конец воткнул по гвоздю, конец востро заточил. Потом пошел искать место. В овраге у самого обрыва — старая верба, а в ней здоровое дупло, как ворота... Ну, я...

— Знаем, знаем! — закричал маленький, оборачивая по очереди к товарищам разрумянившееся на морозе лицо.

— Знаем! Ну? — дружно откликнулись мальчишки и девочки.

Историю с сагайдаком они слышали раз двадцать, но каждый раз выслушивали как новую.

— ...а возле вербы тропочка — к колодезю в овраг фрицы за водой ходят. А вербу всю с дуплом, почитай по самые сучья, здоровенным, с избу, сугробом завалило...

— Знаем, знаем! — опять радостно закричал маленький.

— Ты-то чего кричишь! Глухие, что ль!.. Ну, рассказывай!

— Ну, я гляжу: ежели полезу напрямик к вербе, разворочу сугроб, видать будет — кто-то лез. Зачнут

стрелять по вербе. Я по тропочке прошел на другую сторону обрыва да с обрыва и сиганул в овраг. А в овраге ветром намело снегу — лошадь утонет. А я по дну под снегом-то поперек оврага ползу до самой до вербы. В рот, в нос, за шиворот набилось снегу, за рубахой, аж дрожишь. Ну, руку просунешь в сугроб, дырку сделаешь в снегу и смотришь: тропочка-то, по которой ходят фрицы, вот она, под самым носом, а меня не видать, а снег-то сверху ровный, нетронутый, никто и не догадается. Просидел так часа два, глядь в дыру — фриц идет в маминой кацавейке да в соломенной обу́ве.

— Эрзац называется.

— ...а на голове мамин платок...

— Ни мужик, ни баба!

Все захохотали.

— Ну, я тихонечко просунул конец сагайдака в дыру, навел ему в глаз да спустил тетиву...

Охнули все...

— Промахнулся?..

— Ды он, сатана, как раз повернул голову, высморкаться хотел, а стрела прямо ему в нос гвоздем. Он аж подскочил! Тронул нос, а на пальцах кровь. Как заревет бугаем и пустился назад, ведро бросил, за нос держится.

Хотя и в двадцатый раз слышали все это ребята, но громко хохотали. Девчонки визжали в восторге.

— Прибежал фриц назад, а за ним пять фрицев с автоматами. Глянули, а на энтой стороне, где я из кустов сиганул в снег — весь снег взбудоражил кто-то, и начали стрелять из автоматов по кустам на тот край оврага, и только я слышу: «Партизан!» «Партизан!» А у энтого, в которого я стрелял, на носу пластырь наклеен.

Все опять радостно захохотали, захлопали в ладоши. Потом замолчали.

Стояла ночь, и звезды лучились, и снега неузнаваемо и слабо белели.

К Курмаярову подошел мальчик постарше и спросил юношески ломающимся голосом:

— Ты куда идешь, гражданин?

Ребята толпой обступили.

— А тебе что?

— А то, неизвестных надо ловить и доставлять.

— А тебя кто уполномочил?
— Документы у тебя есть?
— Есть.
— Покажи!
— Вот приду в деревню, кому следует — покажу.
— А ты в какую деревню идешь?
— В Овражную.
— Да это наша деревня!..
— Вот и хорошо.
— Ну, пойдем, гражданин.

Они взяли веревочки от салазок и пошли, тесно окружая Курмаярова, осторожно поглядывая на него, волоча за собой салазки.

«Вот странное положение,— радостно подумал Курмаяров,— ребятишки меня арестовали, никогда бы этого себе не представил»,— и так же радостно прятал улыбку в усы.

— Вы, что же, всех так арестовываете, кто идет по дороге?

— Зачем всех? — сказал старший. — По дороге ходят из нашей же деревни либо из соседских, а мы всех их знаем. А как незнакомый, да чужой, да еще ночью — тут уж держи ухо востро.

Некоторое время лишь скрипели по снегу шаги и салазки повизгивали на раскатанных местах. Ребятишки все так же тесно шли кругом, поглядывая на Курмаярова.

— Ну, как же вы караулите? Чай, храпите ночью — ходи кто хочет!

— Ишь ты, на-кась выкуси! — протянул старший кукиш.— Караулы ставим. Ночью — возле нашей деревни в овраге, на мосту, его не обойдешь, а днем — в лесу возле поляны.

— Почему такая разница ночью и днем?

— Как же? Ночью с парашютом не спустишься на поляну: не видать с самолета, одинаково черно и над лесом, и над поляной. Сядешь в черноте и на сосну, а сосны у нас высоченные и снизу стоят без веток, по ним и не слезешь — убьешься. Вот они только днем...

Ребятишки возбужденно закричали всей толпой, размахивая руками:

— Они спустились, а мы их поймали.

— Да били дубинками,— звонким голосом закричал

торопливо маленький, боясь, что его перебьют.— Одному голову разбили, а другому глаз.

— А он скривел! — закричали девочки.

— А они закопали в снег парашюты и автоматы, которые на шее были подвешены, чтоб не знали, что они спустились.

— Куда же вы их дели? — спросил Курмаяров.

Ребята опять дружно закричали:

— А мы их связали и в сельсовет представили. А у них пистолеты оказались и шашки для взрывов. Они бы нас застрелили.

— А они одеты по-нашенски и говорят по-русски.

Дети вдруг замолчали и шли, глядя в темноту. Поскрипывали шаги. Звезды слабо брезжили, и оттого, что слабо, мрачно чернели остовы труб и разрушенных печей: домов не было. И почему-то особенно гнетуще было то, что и снег кругом мертво проступал, как уголь, и деревья чернели обугленно.

— Вот наша деревня,— тихо сказал самый маленький.

И Курмаяров спросил то, о чем не решался спросить раньше:

— Дом против школы уцелел?

Ребятишки дружно ответили:

— Это Марфы Петровны-то? Нет... И печей не осталось.

— Марфу Петровну повесили, а дочку ее в Германию угнали.

Курмаяров шагал, опустив голову. И ребята, глядя исподлобья, шли молча, будто среди могил чернеющего кругом кладбища.

Один из них показал на огонек:

— Вот наша школа.

Среди кладбищенского покоя сгоревших жилищ вдруг приветливо мигнул огонек. Курмаяров вздохнул.

— Пойдем туда,— сказал старший.— Ишь, поганцы, маскировку не соблюдают!

И, помолчав, опять сказал:

— У нас на всю деревню один дом остался, в нем и школа и сельсовет, остальное все сожгли. А этот, как наши бойцы ворвались, не дали.

— Как же вы живете? — спросил Курмаяров.— Холодно же...

— Так строится народ, шибко строится — двенадцатый дом кончаем, всем колхозом строим, коллективно, оттого и спорится. А из колхозов, которые за рекой,— их немцы не занимали — трех коров пригнали и помогают строить... Ну, вот и пришли...

Девчата юрко взобрались по лестнице, а ребята строго оцепили вход внизу. Курмаяров подумал: «Молодцы ребятишки, боятся, как бы их «гражданин» не смылся за угол».

Вошли. Подслеповато курилась жестяная лампочка, а когда-то деревня освещалась электричеством. В холодном, застоявшемся воздухе плавал вонючий махорочный дым. Человек в ушанке, нагнув голову, с трудом писал на кухонном столе. Ребятишки привалились к столу, а двое остались у двери, притянув ее потуже.

— Ну, что? — сказал человек в ушанке, не поднимая головы.

Ребята гурьбой прокричали:

— Вот гражданина на мосту словили, по дорогам ночью блукает...

— Документы? — сказал человек, все так же не поднимая головы.

— Да то-то вот, не хочет показывать документов! — закричали ребята.

— Документы! — сказал тем же ровным голосом человек в ушанке, опять не поднимая головы.

В вонючем махорочном дыму — молчание. Ребятишки стояли плотно кругом, каждую минуту готовые схватить Курмаярова за руки. Человек в ушанке наконец поднял голову и остолбенел. Запинаясь, сказал:

— Да... это... вы! А мы вас ждали на машине, все прислушивались, нам по телефону сказали со станции.

Ребятишки стояли с открытыми ртами. Человек в ушанке засуетился:

— Сейчас всех соберем, все ждут. Я вас сразу узнал по портретам в газете и в ваших сочинениях. А вы садитесь, пожалуйста.

Курмаяров сел и увидел, что у человека в ушанке одна нога, а вместо другой — деревяшка.

— Ребята, это наш земляк, известный писатель, которого мы ждали.

— Ой! — всплеснула руками девочка.— А я думала: известные писатели — молодые.

Ребята испуганно загалдели:

— А мы его арестовали! Смотрим, своими ногами идет ночью по дороге. А известные писатели разве ходят? Они ездят на машине! А мы хотели сзади потихоньку зайтить, повалить на салазки, прикрутить веревкой да привезть в сельсовет, а то, думаем, как начнет палить в нас из пистолета.

— Вот еще растрепы-то! — сердито сказал в ушанке.

— Да ведь ночь, а на морде не написано, кто он такой,— конфузливо оправдывались ребята.

Курмаяров слегка улыбнулся.

— Известные писатели непременно должны на машине ездить. И я ехал со станции. А машина сломалась. Не хотелось мне ждать, я и пошел своими ногами. Родные места поглядеть захотел...

Ребятишки облегченно засмеялись и захлопали в ладоши.

— Ну, вот что,— сказал человек в ушанке,— гоните, всех собирайте, чтоб сейчас, минуты чтоб не упустили.

Ребят как ветром сдунуло.

— Ну, я в суматохе забыл вам представиться: я — новый председатель сельсовета. У нас работают все раненые бойцы из нашей деревни. Председатель колхоза — ему челюсть раздробило. Кушать может, а чтоб говорить, так на бумажке пишет.

Через двадцать минут большой школьный зал был до отказа забит колхозницами, школьниками и несколькими мужчинами: поправляющиеся раненые, старики и инвалиды.

Молоденькая комсомолка, с милыми конопатинками, открыла собрание:

— Товарищи, к нам приехал известный писатель, уроженец нашей деревни. Он приехал к нам...

— Пришел своими ногами,— дружно поправили ребята.

— Он еще мальчиком в царское время уехал из родной деревни учиться в Москву и с тех пор не был в родных местах, а теперь приехал... навестить родину...

— Пришел своими ногами... — опять упрямо зашумели ребятишки и девчата.

— Не хулиганить! — заревел председатель сельсовета.

— Слово нашему дорогому гостю, писателю Курмаярову.

Курмаяров оглядел всех потеплевшими глазами и обычным голосом сказал:

— Читали вы, товарищи, Тургенева «Бежин луг»?

Все удивленно молчали, переглядываясь.

— Помните ребят в ночном: они стерегли лошадей, а Тургенев подошел — на охоте был,— подошел и слушал их. Чудесные ребята! Но разве их сравнить с теперешними? Те про антихриста рассказывали друг другу, а наши влились в громадную борьбу народов.

Ребятишки с загоревшимися глазами закричали:

— Да мы на все поля вывезли на салазках навоз, золу, птичий помет, фекалии, устраивали снегозадержание. Урожай во какой будет!

Пожилая женщина подала голос:

— Да как им, ребятам, не быть нынешними! Замучил зверь-немец! У ме... ня сы...сы-нок...

Она зарыдала.

— Мама, мама!.. Постой!.. Я им лучше прочту.

Тоненькая школьница шестого класса поднялась в президиум, достала измятое письмо и стала читать:

«...Мамочка, дорогая моя. Я тут много работаю, а ем меньше, чем даже в Курске, когда там с тобой под немцем были. Нас двое: Ване тоже четырнадцать лет, он с Украины. Один преподаватель собрался отсюда бежать, он отлично знает немецкий язык. Я отдал ему это письмо, не знаю, дойдет ли. Мамочка, я теперь тебе уже не кормилец. Хозяйка фермы, когда узнала, что ее муж убит на Восточном фронте, схватила топор и отрубила Ване руку, потом кинулась ко мне и выколола вилкой правый глаз...»

Девочка захлебнулась, слезы бисером покатились по ватнику. Пожилую женщину понесли на воздух.

— Да ведь что же это такое! — охнул зал задыхаясь.— Силосную яму у нас немцы всю набили мертвяками.

Курмаяров опустил голову. У всех одно большое горе — горя реченька бездонная! Глухо сказал:

— Спешил сюда... Матушку, сестренку обнять...— и чуть слышно добавил: — Обеих нет...

Из зала донесся голос:

— Матушку вашу, Марфу Петровну, замучили, а Нюшу увезли, ироды...

— И у меня мать загубили...

— И у меня...

— А у меня сы-ы-ночка...

— Доченьку мою...

— У меня брата...

И вдруг все вскочили, все ринулись, валя скамейки, к президиуму. И голоса всех слились в один потрясающий голос мести и страстной, исступленной веры в победу.

— Будем работать, аж вытянем жилы! Будем работать, пока силы есть. Почитай мы тут одни женщины и ребята — мужики на войну ушли,— но мы все сделаем! Мы перервем глотку врагу!

...Курмаяров ехал на починенной машине и в темноте разглядел то, чего не видел, когда шел сюда: двенадцать новых домов и среди них один неоконченный сруб на почерневшем родном пепелище.

НА ХУТОРЕ

Немцы заняли хутор. Он лежал в бескрайной степи возле глубокого, густо заросшего оврага. По дну, сквозь заросли, извилисто сверкал ручеек.

Хутор начисто был разграблен. Сопротивляющихся и «подозрительных» расстреляли. Скот собрали для отгона на железную дорогу, а там — в Германию. Девушек и молодых женщин согнали в школу для солдат. Двух самых молоденьких — одной шестнадцать, другой пятнадцать лет — повели к офицеру. Шестнадцатилетняя — черноглазая, нос с горбинкой, вырезанные ноздри — отчаянно сопротивлялась, царапалась, кусалась — ей связали руки. Она ни за что не хотела идти, падала, тащилась — солдаты озлобленно понесли на руках.

Маленькая шла с остановившимися, по-детски голубыми глазами. Нежное личико просило пощады.

Их доставили к хорошему куреню на краю оврага. Вышел офицер, холодно глянул, кивнул, ушел. Старшая девушка, с ненавистью оглядываясь, как волчонок в тенетах, старалась незаметно развязать себе руки.

Офицер ушел в горницу, побрился, вытерся одеколо-

ном, тщательно сделал пробор в рыжих волосах, посмотрел в походное зеркало, закурил сигару. Походил по комнате. Подошел к окну, прислушался: будто далекие, ослабленные расстоянием выстрелы? Еще прислушался — ничего.

Это был боевой, считавшийся храбрым, немецкий офицер. Когда шли в атаку широкой цепью, он шел позади и стрелял в солдат, если они начинали отставать, а стрелок он был отличный. Перед ним шла вторая шеренга, но коротенькая — она прикрывала его. Ему везло: до сих пор и ранен не был.

Офицер позвонил в походный пружинный звонок. В горницу вскочил денщик, вытянулся и покорно уставился собачьими глазами. Офицер молча сделал знак. Денщик покрыл стол маленькой вышитой скатеркой, достал из погребца вина, закусок, аккуратно расставил и исчез. Около крыльца началась борьба: шестнадцатилетняя отбивалась, как могла, плевала в лицо, била ногами, кусалась. Солдаты внесли ее в горницу и вышли. В горнице началась снова борьба.

Взбешенный голос офицера:

— О, русский девка!.. Шволочь!

Пистолетный выстрел... Все успокоилось. Денщики насторожились. Звонок. Солдат кинулся и через минуту выволок за ноги оголенную девушку. Когда тащил, голова мертвой билась по ступеням, разбрызгивая кровь.

Девочка с остановившимися, по-детски синими глазами прошелестела: «Ма-а-ма!..» — и стала дышать коротко, поверхностным дыханием, а по лицу потекла бледность смерти. Ее повели в комнату.

— Мама!..

Денщик дотянул мертвую до оврага и сбросил с обрыва. Тело, желтея, скатилось в заросли. Зашелестели листья, закачались ветви. Денщик побежал к крыльцу, вытирая пот со лба. Его товарищ уже принес ведро воды. Оба засучили рукава и стали чистой тряпкой быстро и умело смывать со ступеней кровь. Потом так же расторопно подмели перед крыльцом и тщательно посыпали песком.

Уже гораздо ближе посыпались за куренями винтовочные выстрелы, и сыпались с перерывами очереди пулемета. Денщик глянул и обомлел: его товарищ бешено несся к машине. С искаженным лицом, поминутно ози-

раясь, шофер заводил машину, и, когда мотор заработал, оба вскочили в машину, и она понеслась, оставляя длинный крутящийся хвост пыли. А опоздавший все бежал и бежал...

Где-то далеко-далеко, точно в тумане, слабо отпечатались последние выстрелы, и все стихло.

Офицер крикнул из комнаты:

— Генрих!

Молчание. Офицер вышел на крыльцо с злыми глазами и сразу осекся — никого! Но страшнее всего — не было машины. Быстро и гибко, как мальчик, офицер спрыгнул с крыльца и побежал за угол. «Да, машины нет». Лишь от того места, где она стояла, круто загибаясь, побежал по улице рябой, как змеиная чешуя, след от шин.

Он бросился к оврагу, а оттуда подымался, трудно опираясь на заступ, высокий старик с изрезанным темными морщинами лицом. Старик подошел, остановился — никак не отдышится. Офицер бросился к нему, протянул руки:

— Спасайт меня! Спасайт... Я много денег отдай... много... много... Я тебя буду спасайт... немцы опять придут... Немец всегда назад, когда уйдет, опять придет... я тебя буду спасайт, а теперь ты меня прятайт... Много денег тебе... Много денег...

Опять вдали отпечатались выстрелы и погасли.

— Спасайт меня!.. Прятайт меня!..

Старик стал задом отступать. Офицер в ужасе кинулся к его ногам, охватил его колени и, глядя снизу по-собачьи, как в бреду, повторял:

— Спасайт... спасайт меня... прятайт...

Старик, с трудом отдирая ноги от его рук, все пятился. А тот тянулся по земле и в самозабвении, с пробивающейся ноткой звериного озлобления шипел:

— Спасайт... прятайт... золото... все... все отдам.

Старик вырвал ногу.

— Уйди, сучий сын, пусти!..

Тот схватился за другую:

— Забирайт... забирайт все!..

Дернул за шелковый шнурок висевшего на поясе небольшого замшевого мешочка, и оттуда потекло струйкой золото. Все так же вцепившись в дедову ногу одной рукой, другой судорожно срывал с себя знаки офицер-

ского отличия. Он неотступно тащился за стариком длинно вытянутой рукой, вцепившейся в дедову ногу, а по пыли извилисто обозначилась тоненькая желтеющая золотая дорожка.

Темные морщины деда стали пергаментными. С неожиданной силой дед с маху развалил ему заступом череп. Мозг вывалился на дорожную пыль, и она быстро стала впитывать оплывавшую кровь. Из-за угла выскочили наши бойцы. Остановились около деда. Офицер все так же лежал лицом в пыли, протянув по земле руку к деду.

— Кто его?

— Я.

Командир показал ногой:

— Это что?

— Его. Купить хотел.

— Ты где прятался?

— В буераке. Бабы сдавна глину брали, вырыли в стенке глубокую нору, ну, туда залез. Был там двое суток, ночью за водой выползал. Нонче тихо стало, постреливают, да где-то далече. Вышел, а он выскочил из горницы, глаза вылезли, как у рака, упал на коленки, обхватил мне ноги и давай чирики рваные на мне целовать — никак ноги от него не отдеру. А как вытащил золото, тычет мне, не пускает, дюже обрыл — я развалил ему голову.

Постояло молчание.

— В овраге много народу прячется?

— Есть. Ды теперь вылазиють.

Командир обернулся к бойцам:

— Человек шесть в оба конца оврага пройдите, может, где немцы укрылись. Настороже будьте. А наши пусть вылезают — отогнали.

— А с этим что делать?

Боец кивнул головой. Немецкий офицер все так же лежал лицом в пыли с протянутой по земле рукой.

— Смешнов и Карпухин, подберите золото, перепишите, заверните в бумагу и в сумочку с остальным золотом — в штаб. Расписку возьмете, мне принесете.

Два бойца разостлали газету, стали собирать золото и, сдувая пыль, осторожно клали на бумагу. Тут были и царские червонцы, и старинные серьги, и брошки в алмазах, и браслеты, и лом золотых часов, перстни, осо-

бенно много обручальных колец, некоторые в черной засохшей крови — с пальцами рубили, лом золотых зубов.

Все это завернули в бумагу, засунули в замшевый мешочек и опять в бумагу.

Дед и бойцы хмуро глядели на овраг, отвернувшись от лежащего офицера с протянутой рукой.

— Вот что, старина!.. Теперь зарыть надо. Закопай его.

Старик в судороге передернулся.

— Да ни в жисть!..

— Как это так?

— Ды так...

— Ведь это — зараза! Тут и бойцы, и колхозники, и дети, всякие болезни могут...

— Мы понимаем... Ну только не буду закапывать. Не нудь ты меня, товарищ командир, как гляну на него, воротит из души. Не боюсь я мертвяков, а как гляну, лезут кишки в горло. Бывалыча, скотина падала в старые годы от сибирки, когда еще Советская власть не приходила, дохла скотина. Так, бывалыча, засучишь рукава, выкопаешь яму в овраге, ухватишь за ноги, за рога и в овраг тягаешь... А ведь сибирка, она и на человека прилипчивая — так энта, животная, понимаешь ее, а энтого не могу, ну вот как перед истинным... Не нудь ты меня, товарищ командир, не нудь. Гляну на него, а кишки лезут к горлу, вот-вот выблюю. Что ты будешь делать!.. — развел он руками.

Командир повернулся к бойцам:

— Двое стащите офицера в овраг. Вырыть поглубже, потуже затоптать.

Боец сбегал во двор, выдернул длинную слегу. Другой срезал в овраге сук, привязал к слеге, зацепили этим крюком мертвеца и поволокли, не дотрагиваясь и не глядя на него.

А из оврага подымались женщины, старики, дети. Они окружали бойцов, навзрыд плакали, прижимали к груди, не могли оторваться.

— Ро́дные вы наши, близкие, сердце свое вам бы отдали, жизнь вы нам опять принесли...

Ребятишки гладили у бойцов автоматы:

— Много убили немцев?

— Хоть бы раз выстрелить в немца!..

— Ему в пузо надо стрелять, а то промахнешься...

— Вот дуреха. А дед заступом и то надвое немецкую башку раскроил.

— Ничего, ничего, ребята, успеете. Ну-ка, пропустите.

Четыре бойца несли мертвую девушку, завернутую в одеяло. Возле девушки-ребенка, держа ее маленькую холодную руку, шла исхудалая бледная женщина. Она не плакала, она только говорила:

— Дитятко мое ненаглядное, зернушко мое золотое, чего же ты молчишь! Думала ли я, такая твоя будет жизнь, такая будет мука?.. Все думала — счастье будет в твоей жизни, ан вот смерть пришла, не успела ты и доучиться в школе. Доктор все говорил: сердце твое слабое, надо беречь тебя, а как подрастешь, поправишься. Я берегла тебя как глаз свой, а вот пришли лютые, все съели и тебя съели... а я... а я... плакать не могу... в две жизни не выплачешь...

Женщины поминутно вытирали слезы. Бойцы мрачно смотрели перед собой. Листья тихо шелестели в овраге. Извилисто поблескивал ручей в глубине.

— Постойте, вот мой курень,— сказала мать. Лицо ее было смугло, как у дочери, и нос горбинкой, как у дочери.

Все остановились.

— Похороните мою доченьку. Тут бабка ее живет, моя мать. А я уйду, уйду к партизанам. Прощай, доченька, прощай! Не пришлось нам с тобой пожить...

Она поцеловала ее холодные губы и пошла, не оглядываясь, да остановилась.

— А вы что, как теляты, стоите, немцев, что ли, дожидаетесь, чтоб глумляться стали над вашими детьми?! Ишь глаза набрякли у всех, только и знаете реветь...

— Чего же делать-то? — всхлипывая, говорили женщины.

— Как, чего делать? Кто не может к партизанам, идите в тыл, будете мыть белье, чинить одежу бойцам, ступайте в санитарки. Эх, квелые!..

Она пошла, шагая по-мужски. И лицо, смуглое, как у дочери, еще больше потемнело.

Далеко, далеко за сизым краем степным слышалось ослабленное орудийное уханье. Фронт передвинулся далеко.

ОЧЕРКИ
СТАТЬИ
ФЕЛЬЕТОНЫ
ВЫСТУПЛЕНИЯ

СУМЕРКИ

В комнате все больше и больше сгущались сумерки. Со стороны Садовой доносились звуки рожков, свистки кондукторов конки, трескотня проезжавших извозчиков. Окна темнели, очертания предметов теряли свою ясность. Я сидел, облокотившись о письменный стол, перед нетронутым еще листом бумаги. Не знаю, эта ли сгущающаяся сумеречная мгла, усталость ли от дневной суеты, или что-нибудь другое, только мной овладевала какая-то вялость, апатия; не хотелось браться за перо. Никогда не приходивший мне прежде в голову вопрос: «Зачем?» — теперь назойливо стоял в глазах. Что могут сделать этот лист бумаги, это перо и несколько капель чернил в этом огромном городе, где кипит вечная борьба из-за хлеба, из-за наслаждения, из-за денег и власти. Сколько ни пиши, сколько ни расходуй нервной силы, все равно жизнь будет идти своим чередом, все равно будут воровать, обманывать, душить слабого, лгать перед сильным, все равно кругом будет все та же нищета, отчаяние, злоба и резиновые шины, бриллианты, роскошь. Я закрыл глаза, прислушиваясь к ноющей, неслышно сосавшей сердце боли. В дверь осторожно постучались.

— Войдите.

Вошел молодой человек, чистенький, выглаженный, выбритый, с небольшими напусками на щеках с висков, в безукоризненной манишке и каком-то затейливом галстуке, в ярко вычищенных сапогах. Все на нем до того было новенькое, вылощенное, вычищенное и с иголочки, что, казалось, все его силы, все напряжение его молодой здоровой натуры ушло на этот внешний блеск и лоск и

больше никаким другим запросам не осталось места. Я вопросительно взглянул на своего гостя.

— Мы из приказчиков будем-с, по галантерейной части. К вам-с, значит, с покорнейшей просьбой, не оставьте. Как же-с, помилуйте, окончательно...

Не успел я освоиться несколько с неожиданным посещением, и не успел он договорить, как дверь отворилась и в комнату вошло несколько молоденьких девушек. Они были кокетливо одеты, у некоторых на щеках явственно виднелись следы румян и густой слой пудры. Несколько робея и в то же время искоса бросив беглый взгляд с едва уловимой улыбкой на молодого приказчика, они подошли к столу:

— Мы... извините, пожалуйста... можно к вам... нельзя ли в газете... мы модистки и мастерицы, а она вот в шляпной работает...

За дверью по лестнице послышались чьи-то грузные, тяжелые шаги и визгливый голос кухарки:

— Нельзя сюда! Куда ты лезешь, уходи отсюда, а то я полицейского позову.

— Да мы по делу,— подавал реплики чей-то грубый медвежий и хриплый с перепою голос.

— Говорю тебе — нельзя. Взашей полицейский выволочет.

— Да говорят тебе, по делу, мне, значит, до их дело есть и обсказать, значит, все положение и как происходит, мочи нашей нету...

— Ах ты изверг, варвар ты роду человеческого! да я тебе...

Я вышел. На лестнице кухарка, вцепившись обеими руками, стаскивала со ступенек здоровенного малого, повидимому берегового рабочего, а он отмахивался от нее, как от надоедливой мухи:

— Ну, чего пристала!

— Вам что угодно?

— Да я к вашей милости, а она вот прилипла, как банный лист.

Я попросил его идти за собой, и он вошел в кабинет, неуклюже и осторожно ступая, точно боялся продавить пол, и стал у притолоки. Он, видимо, стеснялся и переминался с ноги на ногу. От него пахло потом, немытым бельем, перегорелой сивухой и тютюном. Приказчик

«СЕМИШКУРА»



«КАЧАЮЩИЙСЯ ФОНАРЬ»



брезгливо покосился на него, а модистки отодвинулись от него к приказчику.

— Вы что-то говорить начали,— обратился я к приказчику.

— Да я, то есть, насчет того-с, по отношению к нашему положению. Невозможно-с, что же это такое! Ведь и мы люди. Кажется, и христиане, и богу молимся, и семьи у которых из нас есть; и что же мы не знаем ни отдыху, ни сроку. Лба перекрестить некогда, ведь люди же мы. День-деньской за прилавком стоишь, измаешься, истомишься. И никому до тебе дела нет. Хозяевам что, хозяевам какое дело до того будет, что мы ни бога не знаем, ни семьи не видим, а уже как вырвешься из магазина, прямо в трактир, в гостиницу, сейчас тебе мамзельку,— при этом приказчик скосил глаза на модисток, которые потупились,— ну и пошел писать. Да посудите сами, куда нам деваться. Деваться-то ведь некуда. Кто об нас позаботится. Конечно, правильно, если бы дело шло, так дума должна бы положение наше облегчить, улучшить, да как бы не так. Вы посмотрите, что они запоют там, когда подымется вопрос о воскресном нашем отдыхе. Эх, просто читать срам: возьмешь газету — только и знаешь, то одна, то другая дума ассигновала из средств города на народный театр, на читальни, на библиотеки, народные дворцы устраивают, а наши что? Вон уже на что в Баку народ живет, только об одних деньгах и думают и то *полтораста тысяч* ассигновали на просветительные учреждения народу. Да что говорить, стыдно за свой родной город.

Приказчик отвернулся и стал глядеть в окно.

— Так чего же вы, собственно, хотите?

— Пропишите вы их, ради господа, прохватите вы их, пожалуйста, чтобы волчком завертелись. Ведь к кому же нам обратиться: одна надежда на газету.

— Да вы бы обратились непосредственно к гласным, к голове, наконец в думе оппозиции есть.

— Эх, не знаете вы, видно, их. Ну что голова, у головы на руках сложное, огромное хозяйство, да и от оппозиции все отгрызаться приходится, не до нас ему, о нас они и не думают. Гласные, так они что: сидят да ковыряют у себя в носу или решают дела, близкие их сердцу; оппозиция — так та поголовно метит попасть в городские головы, ей одна только забава, как бы всяче-

ски облаять существующий режим, и облаять его не для пользы дела, а для самого облаиванья. Вы посмотрите, сделала ли оппозиция хоть одно положительное предложение? Нет. Очень ей нужны наши интересы, интересы обывателей. Эх, да что толковать: забытый мы народ.

Приказчик махнул рукой.

— Они действительно правду говорят,— взволнованно заговорила одна из девушек, пересиливая свою робость и подступая к самому столу; густой румянец пробивался из-под неестественного цвета притираний.— Они истинную правду говорят, об нас все забыли. Мы, конечно, малограмотные, не знаем там всех делов, а только вот недавно попалась ваша газета, где у вас писалось и про нашу сестру. Правда-то уж правда, что греха таить, и по гостиницам ходим... Да, господи боже мой, куда же нам деваться! Весь день-деньской, деньденьской сидишь за иголкой, не знаешь ни отдыху, ни сроку, ни развлечений, все одно, все одно и то же, ведь мы живые люди. А тут уговаривают, обещались горы всего, дарят, проходу не дают, ну и... Да вот она,— и модисточка показала на стоявшую в стороне молоденькую девушку, почти ребенка, с грустными глазами, обведенными синевой,— она в шляпной мастерской работает, ей только семнадцать лет будет, а у нее уже ребенок был.

Молоденькая девушка из шляпной отвернулась; жгучие горькие слезы у нее катились из глаз.

Я, наконец, не выдержал и вскочил:

— Господа, да что же я-то могу сделать? Ведь вы не знаете этих господ, их не прошибешь. Разве им можно втолковать, что позор для такого города до сих пор ничего не дать на просветительные учреждения? Ведь нельзя же у них вынуть сердце и мозг и вставить туда другие, с иными мыслями, идеями, чувствами. Ваши жалобы, ваше горе, ваши нужды для них ничего не стоят. Ведь только в самое последнее время почтеннейший Солодов перестал лезть на стену по поводу народного театра. Разве не он заявлял прежде, что ни за что не позволит своим рабочим идти в народный театр? Да ведь это один из самых лощеных. Что же о других сказать? Вы думаете, их проймешь газетной статьей? Как бы не так. Если пригвоздить в печати на всероссийский позор.

и то им как с гуся вода. Разве вы не слышали, что рабочие пастуховского завода по крохам собрали на народный театр двадцать восемь рублей, а эти господа и ухом не повели.

Рабочий, все время стоявший с вытянутой шеей, раскрытым ртом и напряжением мысли на лице, очевидно не понимавший, о чем идет речь, и лишь инстинктивно угадывавший, вдруг шагнул ко мне и заговорил:

— Оно ежели прямо говорить, так, окромя кабака, нам некуда. Да, вашскблагородие, господин хороший, куды же нам. Сами знаете. Ну, и пьешь.

Он замолчал, глядя на меня широко раскрытыми глазами.

— Пропишите об этом самом.

Я безнадежно махнул рукой.

Посетители мои один за другим удалились. А я ходил из угла в угол, взволнованный собственным бессилием. В моем разгоряченном мозгу одна за другой вставали фантастические картины. И одна из этих картин была такая.

Обыватель, серый, усталый, с потным хмурым лицом, изборожденным морщинами повседневных забот, надоедливых, мелочных, вечно занятый, вечно копающийся в своих личных делах и делишках, изо дня в день тянет одну и ту же трудовую лямку. Он падает, встает, оправляется, душит своего ближнего или сам погибает под его натиском. Частое горе, редкая радость сменяют друг друга. Он занят только своей семьей, своим домом, своей профессией. И ему некогда подумать о других, себе подобных, и об общих с ними интересах. И вот за этим-то задавленным суетой, как рыбочка об лед, бьющимся обывателем с неусыпной заботой следят мудрые старцы. В жизнь обывателя они вносят как раз то, чего ему недостает; обыватель задавлен исключительно личной жизнью, мудрые старцы блюдут его общественные интересы. Они заботятся о его здравии, об удобствах внешней жизни, об общественных развлечениях, о том, чтобы обыватель не тонул в грязи. не наставлял себе впотьмах фонарей. Но паче всего они заботятся о его духовных интересах; они строят для него целые народные дворцы, народные театры, библиотеки, читальни, музеи, школы. И на всем трудящемся люде лежит отпечаток этой за-

боты: девушки пользуются отдыхом, пользуются разумным развлечением и не продают себя; мужчины идут не в кабак, гостиницы и притоны для разврата, а в народный дворец...

Я очнулся: густая серая мгла затянула весь город; отовсюду несся смрад; откуда-то издалека доносились звуки оргий.

Бедный город!

КАК СОЗДАЕТСЯ ГАЗЕТА

I

Утро. В окно заглядывает дымное, закопченное городское небо. Вы только что поднялись, оделись, умылись, отгоняя последние следы ночного сна, который еще цепляется слегка за ваши ресницы. С улицы несется бесцеремонный треск извозчичьих пролеток, слышатся рожки конок, идут пешеходы, торопятся гимназистки, выкрикивают названия изданий газетные разносчики. Начинается обычный рабочий будничный день. Он ждет, чтоб надвинуть вам на шею хомут, тот хомут, которым вы тянете изо дня в день свою привычную постылую лямку в конторе, в канцелярии, в магазине, в каком-нибудь «управлении» — словом, там, куда судьба и несчастье вас запрягли. Вы торопитесь.

На столе весело кипит самовар и гостеприимно манит и ждет. Вы садитесь к столу. Возле лежит, аккуратно сложенная, свежая, слегка влажная, еще пахнущая краской газета. И как бы вы ни спешили, как бы ни торопились, какая бы кислая рожа вашего хозяина или начальника ни ожидала вас, вы, прихлебывая из стакана и косясь глазами на газетный лист, пробегаете телеграммы о войне, о гибели парохода, о свидании императоров, об убийстве, о мордобитии в городской думе, о прибыли воды, о колебании биржи, затем, разом отхлебнув полстакана, скользите по местной хронике — кража, убийства, думские постановления, полицейские протоколы и, наконец, допивая стакан, кое-как с пятого на десятое прыгаете по статье на местную злобу, жадно ища, не продернули ли Ивана Ивановича или не вывели ли на чистую

воду Петра Петровича. И только добежав до конца, вы подымаетесь и спешите к своему хомуту. Без газеты вам день не в день. Попробуй-ка опоздать номер, да вы оглушите по телефону контору редакции звонками, засыплете ее сердитыми укорами, угрозами. Газета вам так же нужна, необходима, неизбежна, как воздух, вода, свет, пища, любовь, счастье.

Почему же так?

Потому, что газета раздвигает перед вами поле зрения безгранично. Вы узнаете, что делают, как живут, думают, борются, страдают, наслаждаются во всех концах земного шара. Жизнь проходит у вас так серо, так скучно, так плоско и пошло, и вдруг простой печатный бумажный лист среди серой обстановки, среди серых людей раздвигает, как в панораме, целый мир событий, фактов, явлений, мир яркий, разнообразный, блещущий всеми красками.

Мало того. Девяносто из ста читателей читают только газету; задавленные текущими делами, они не имеют ни времени, ни охоты уделить книге и одной минуты, и газета является для них единственным источником, откуда они черпают содержание для своего внутреннего мира. Газета для них — евангелие, энциклопедия, источник развлечения, мысли; она им освещает события, дает оценку фактам, общественным деятелям, людским поступкам.

Вы теперь видите, какую огромную роль играет газета для многочисленных лиц, которые стоят в обычном уровне провинциального торговца, купца, чиновника, служащего, приказчика и проч. Неудивительно, что проснувшись утром, он, прежде чем влезть в свой обычный рабочий хомут, жадно пробегает газетный лист.

Но как же создается этот лист, который так же необходим, как воздух, как свет, о котором вы сейчас же вспоминаете, как только открываете утром глаза? Я думаю, это будет небезынтересно. Так пойдемте же, читатель, и вместе проследим, как зарождается, вырастает и выходит в свет божий уже готовым этот тонкий бумажный лист, с нанесенной на нем черной краской, на котором не видно следа тех усилий, того труда, той траты нервов, здоровья, жизни, которые положены сюда и о которых вам и в голову не приходит думать.

II

Тесная, вся заставленная комната; по стенам, на потолке, на полу осела тяжелая серая металлическая пыль; в спертом, удушливом, пропитанном человеческим потом, дыханием и испарениями воздухе стоят странные, чиликающие, не перестающие звуки, точно какая-то угрюмая черная птица быстро и безостановочно делает железным клювом: чилик-чльк-чльк... чилик-чльк-чльк... И эти тяжелые, глухие металлические звуки носятся в густой насыщенной атмосфере, в которой горят электрические лампочки. Они обливают синеватым, мигающим мелкой неуловимой дрожью светом, от которого становится больно глазам, тесно поставленные стойки в два ската; на этих скатах лежат ящики со множеством мелких клеточек, в которых распределен шрифт. Наборщики с наклоненными головами, с потными лицами, в одних жилетах или рубахах, от которых идет испарина, торопливо, не останавливаясь, то там, то здесь, не глядя, берут буквы и, мгновенно ощупывая вырез, который означает верх буквы, быстрым движением прижимают их одну за одной к железной верстатке, которую крепко зажимают в левой руке. В неподвижной густой атмосфере видны лишь мерные круговые взмахи рук, наклоненные головы, губы, шепчущие фразы рукописей, и серые землистые лица с ввалившимися щеками, влажно отсвечивающими на лампочках медленно стекающим потом. Мальчики, лохматые, в разорванных рубахах, сквозь которые выглядывает голое грязное тело, босиком, то и дело бегают между кассами, принося из редакции корректуру. Наборщики берут у них продолговатые оттиски и с неудовольствием смотрят на многочисленные значки, испещряющие поля оттиска: по ним нужно править набор. Наборщик берет шило и начинает выковыривать неверно поставленные буквы. Это — кропотливая, мучительная работа; от напряжения, от усилий разобрать черные буквы шрифта рябит в глазах, ходят круги и предметы кажутся расплывающимися и неясными. Здесь рядом с свинцовым отравлением царит близорукость и надвигающаяся слепота. Среди наборщиков то и дело встречаются совсем еще молодые в очках.

Что еще убивает наборщиков, так это отвратительный почерк рукописей. Это не письмо, а какие-то иерог-

лифы, точно пишущий нарочно старался возможно безобразнее, непонятнее писать, умышленно набрасывая на бумаге невероятные петли, росчерки, гвозди, заостренные углы, так же похожие на буквы, как свинья на коня. Вот стоит молодой, бледный наборщик и с напряжением, с отчаянием всматривается, придерживая всегда дрожащими руками кусок рукописи, болезненно напрягая и наморщивая лоб:

— Еп... ернст... во, оп... нстр... Черт тебя возьми!

Пот капает с его лица, в глазах рябит. Он превосходно набирает, безошибочно и необыкновенно быстро, но с такой рукописью стоит, минута уходит за минутой, у него пропадает драгоценное время, заработок, время отдыха. И он в отчаянии набирает чепуху, чтоб заполнить только строку, зная, что это нелепое слово выбросят в корректуре и ему придется сызнова набирать, то есть сделать двойную работу.

Многие представители литературной профессии щеголяют безобразием своего почерка: дескать, со мной считайся, знаешь ведь, что я — крупной величины литературная сила. Небрежность почерка сочетается почему-то у этих господ с признаком таланта. Но они забывают, что этой своей нелепой привычкой жестоко и безвинно бьют своего меньшого брата, наборщика; дело в том, что набор фактически оплачивается сдельно, и всякое затруднение, всякая приостановка работы отнимает у наборщика и его семьи часть заработка, то есть хлеб. А это жестоко.

Время тянется. Та же духота, та же распаренная, расслабляющая атмосфера, тот же до боли яркий, мигающий свет электричества, та же усталость, тупая, ноющая; та же металлически-глухо чиликающая по всей наборной черная птица, те же наклоненные над «кассами» взмокшие, вспотевшие головы и шепчущие слова рукописей иссохшие губы. Скоро восемь часов. Наборщики торопливо доканчивают «уроки». С шести часов утра они бессменно, лишь с перерывами для обеда, стоят на ногах (работают стоя), и это ежедневно, круглый год, без праздников, без воскресений, без отдыха, без перерывов (за исключением нескольких дней в году). Неудивительно, что эти люди стоят за кассами с такими серыми, изнуренными лицами. Работают они непрерывно, спешно, точно их бичом гонят.

Газета неумолима: над ней так же нервно, напряженно работают люди, как около домны, где клокочет расплавленная масса железной руды. Здесь некогда болеть, нельзя отлучиться, газета высасывает жизнь, здоровье, силы, оставляя лишь скорлупу человека, но те свежие, только что отпечатанные газетные листы, которые вы небрежно пробегаете утром, не носят на себе ни малейших следов этой ужасной цены.

К девяти часам заканчивают уроки и расходятся. Оживившаяся кучка наборщиков торопливо выходит; свежий воздух, движение и уличный шум охватывают их, голова, после четырнадцатичасового стояния на ногах в спертой, душной атмосфере, идет кругом; хочется стряхнуть с себя мучительную усталость, расслабленность, хочется новых, свежих впечатлений, ибо завтра с шести опять на ногах, и ребята тянутся в трактир,— больше ведь некуда,— и пополаскивают и заливают свою долю.

III

В восемь часов расходятся усталые наборщики, но в наборной своим чередом идет работа, почиликивает странная птица, только теперь значительно слабее и тише: на работе остаются только дежурные и ночные.

Уже давно явился метранпаж, ночной командир свинцового войска, которое плотными тяжелыми колоннами занимает большой стол. Метранпаж воистину ночной человек; он не знает дневного света, солнца, дневной жизни. Он уходит с работы в четыре часа, работает напролет всю ночь, день спит. Болеть этому человеку, иметь какие-нибудь экстренные дела не разрешается: заменить его очень трудно и большей частью невозможно.

Вот он подходит к своему послушному неподвижно лежащему черному войску и удивительно легко и страшно смело берет один за другим куски тяжелого набора, смачивает водой и быстро прикладывает их друг к другу в стальной раме. Достаточно малейшего неосторожного, неверного движения, набор моментально рассыплется — и все пропало, газета задержана; но командир, видимо, хорошо знает свои войска, и две черные страницы в раме быстро выравниваются, чтобы завтра идти в атаку на читателя.

Тяжелый черный набор первой и четвертой страниц, крепко стиснутый в стальной раме с выправленными окончательно ошибками, наконец спускают в машину. Некоторое время машинист возится, приправляя вал, который должен ровно идти по набору, надавливая его везде одинаково, и, наконец, пускает привод. С грохотом выкатывается на секунду из машины заключенный в станок набор и с таким же оглушающим грохотом моментально откатывается назад, и это катанье тяжелого набора взад и вперед продолжается до тех пор, пока не отпечатают первой и четвертой страницы на всей заготовленной бумаге. Накладчик в продолжение нескольких часов лист за листом прикладывает к валу, который моментально оборачивает его на себя и прокатывает по бегущему под ним набору, маслянисто отсвечивающему черной краской; через мгновение лист с отпечатанной на одной его стороне первой и четвертой страницей выскакивает из-под вала, его подхватывают длинные деревянные пальцы и ловко и быстро, точно живые, кладут на доску, с секунду придерживая, чтобы бумага не разлеталась.

Так проходит час, два, три; набор выкатывается и вкатывается, черные валики, торопливо вращаясь, растирают краску, из-под вала выскакивают все новые и новые листы, длинные пальцы, взмахивая в воздухе, бережно кладут их один за другим, все идет точно, размеренно, в одном и том же порядке, и человек, стоящий у машины и неустанно в продолжение нескольких часов подающий ей все новые и новые листы, кажется таким же придатком механизма, как валики, как длинные деревянные пальцы, приводы, зубчатки; оглушающий металлический грохот, в котором пропадает человеческий голос, стоит в печатной, и лишь от времени до времени, когда машинист останавливает для приправки машину, разом наступает тишина, наполненная особенным характерным шепотом грозно бегущих по холостым шкивам приводных ремней, тем шепотом, от которого «стіны трясутся».

Близок рассвет, уже посерел краешек неба, но в типографии этого не видно: в густой душной атмосфере все так же равнодушно льется электрическое сияние. Ночные наборщики, как сонные мухи, добирают ночные телеграммы,— с измученными испитыми лицами и ввалив-

шимися глазами; метранпаж с таким же измученным, всегда бледным лицом торопливо заканчивает верстку второй и третьей страниц, заключая их в стальную раму. Готово. Кряхтя и сгибаясь под огромной тяжестью, несут сверстанные страницы рабочие и спускают в машину. Снова начинает с грохотом вкатываться и ходить взад и вперед тяжелый набор, поблескивая черной маслянистой краской, снова мелькают в воздухе деревянные пальцы, укладывая теперь уже отпечатанные с обеих сторон листы, и в короткие промежутки остановок и наступающей тишины снова слышится грозный шепот трепещущих в воздухе, бегущих приводных ремней, которые точно ждут, чтоб подошел неосторожный, и они подхватят, и втянут его, и чрез мгновение сбросят со шкива вместо живого создания измятый кусок кровавого мяса, но никто не обращает внимания на их предостерегающий шепот, все ходят, наклоняются, задевают их, чувствуя, как ветер бежит в лицо от неуловимо мелькающих широких ремней.

Уже светает. Газета родилась. Являются мальчишки и, моргая заспанными глазами, складывают газетные листы. Приходят газетные разносчики, люди, в жару и холод, зимою и летом, в дождь и грязь проводящие жизнь на улице; они забирают газету, и эти белые листы с нанесенной на них краской, как птицы, разлетаются по городу.

Залетает одна из таких легких птиц и к вам, читатель, и вы утром после хорошего ночного сна или после веселой бессонницы в каком-нибудь «Палермо» с неприступными девицами, благодушно прихлебывая из стакана чай, пожинаете труды людей, положивших в этот тонкий лист бумаги за эту тяжелую ночь и предыдущий день столько тяжелого нездорового труда, отнявшего у них кусочек жизни. Вспомните же, хоть изредка, их добрым словом.

Когда бог создал Адама, он слепил сначала его тело из глины, и лежал первый человек бездыханный и недвижимый. И вдунул господь в него душу живую, и поднялся человек и стал он жемчужиной творения, лучшим венцом создания. Я рассказал вам, как рождается с муками и болью тело газеты, внешняя оболочка ее, теперь расскажу, как созидается ее душа, дух, ее одухотворяющий, мысль, делающая ее лучшим созданием человече-

ского творчества, то живое, что заставляет вас в этом бумажном листе плакать и смеяться, негодовать и приходить в умиление. Но это до следующего раза.

ОПЯТЬ ПОСЕТИТЕЛИ

Был туман. Холодная мгла садилась на грязную мостовую, на мокрую панель, на отсыревшие крыши, на проходившую публику. Дома, церкви, столбы — все тонуло в сырой молочной дымке, и, как на этот город мгла, ложилось на сердце тоскливое чувство.

Это было все то же беспокойное чувство газетчика: что это?.. где же правда?.. когда это все кончится?.. в какой сложный клубок все свивается... не теряю ли я чувство меры?.. не наношу ли горькой, непоправимой несправедливой обиды?.. зачем биться с людьми, которых часто даже лично не знаешь, которые тебе лично никогда никакого зла не сделали?.. прав ли я?..

И, как дома, церкви, столбы покрывала мгла, так эти недоумения и сомнения покрыло одно слово, один порыв: бороться, бороться во имя тех, кто молча с каплями пота на челе несет на своем хребте всю тягость жизни и общественных неустройств. И пусть мои писания только капли в бушующем океане силы и несправедливостей, пусть, но ведь и капли прободают камень.

Я стал напоять перо... не ядом, не беспокойтесь, читатель,— чернилами, как раздался звонок.

Широко растворились двери. Уверенно, с достоинством, не так, как носильщик с железной дороги, вошла толпа джентльменов. Тонкое сукно сюртуков, белизна воротничков и манишек, выхоленные лица — все свидетельствовало, что это люди белой кости.

Я вгляделся. Ба! Знакомые все лица. Пакостник, знаменитый председатель ученого общества, китаец Эр Ли, Добрый Горбун, Юбиляр, человек, построивший вавилонскую башню и многие другие.

Первый начал Пакостник, холодно, саркастически, с оттенком презрения, но по тому, что мускулы его лица подрагивали, я заключил, что он волнуется.

— Послушайте,— начал он,— что ж это? что же это вы делаете? ведь это травля, форменная травля. Вы мне

мешаете работать как общественному деятелю, мне приходится направо, налево бороться с черными бандами, а тут еще печать создает затруднения. Наконец вы меня бьете как человека, как частного человека. Зачем это вам понадобилось? разве таково назначение печати?

Я опустил голову: не прав ли он? Но сейчас же я вспомнил все претерпенное печатью.

— Милостивый государь, я буду откровенен. Да, достоинство, доброе имя человека — прежде всего, это — величайшая драгоценность в жизни. Никто не имеет права посягать на них. С другой стороны, печать обязана, да, обязана, обсуждать беспристрастно, спокойно и корректно общественные дела, не касаясь личностей...

— А вот вы этого не делаете!

— Позвольте же, не заскакивайте же, дайте же мне высказаться, ведь я же вас не перебивал... Так я сказал, что печать обязана беспристрастно, спокойно оценивать общественные дела. Но ведь это же при условии, что печати дадут возможность спокойного обсуждения, спокойной оценки. Ну, а если ее начинают гнать, если ее начинают преследовать, душить, затыкать ей глотку, пакостить ей, если на нее начинают клеветать, инсинуировать, доносить, что же тогда? Тогда остается одно — борьба, борьба не на живот, а на смерть, остается бить клеветников, инсинуаторов, бить, куда ни попало, чем ни попало, как ни попало. Ведь подумайте, чего вы хотите. Ведь вы хотите задавить, задавить, задушить общественную совесть. Что же остается делать? Остается, схвативши вас за горло, свалившись в жестокой борьбе вместе с вами на землю, из последних сил давить вас, отстаивая единственно что есть у общества: право совести, право общественного мнения. Тут уж не до бархатных перчаток, тут уж приходится вас стиснуть, да так, чтоб глаза и язык вылезли у вас. Откажитесь от вашей мелочной мстительности, злобы, злопамятности, докажите, что слово «напакостить» вырвалось у вас случайно, в раздражении, как может вырваться у каждого человека, и этой безобразной борьбы не будет.

Мой собеседник опустил голову. Обдумывал ли он новый способ напакостить, или почувствовал правду моих слов — не знаю.

Необыкновенно развязно начал Председатель. Как и подобает просвещенному джентльмену, он начал прямо ругаться:

— Я вас терпеть не могу, я вас презираю, вас, газетчиков. Нет более позорного, более презираемого положения, как положение представителя печати. Что такое стрикулист, построчный пятак, газетчик?! Тьфу, как я вас презираю! Что может быть на свете позорнее печати? О, я всегда буду гнать в шею ее представителей. Если бы мне пришлось случайно очутиться бок о бок с газетчиком, ну, скажем, в какой-нибудь комиссии, в каком-нибудь деле, я бы ушел оттуда, не дожидаясь, пока меня выгнали бы. Будь вы прокляты!..

Ну, что такому господину отвечать?

— Послушайте, если вы еще будете ругаться, я вам плюну. Ей-богу!

Я было хотел этим ограничиться, но потом прибавил:

— Самые циничные люди не находят возможным разгуливать по улицам в одном белье, а вот вы разгуливаете, преисполненный шляхетской надменности. Высказываться о печати так, как вы высказываетесь только потому, что вас ударили по карману, значит щеголять в одних белых панталонах. Вас остается только бить — печатью, конечно. И не надейтесь на то, что провинциальная печать до известной степени связана, ваша великолепное имя будет фигурировать в большой прессе. Будьте покойны.

Захлебываясь, подскочил восточный человек, китаец Эр Ли.

— Позвольте, что же это такое, разве же возможно: мерин... Да хотя бы просто мерин, а то еще сивый мерин. (Просительно.) Ну зачем вы добавляли сивый. Ведь это обидно.

— Ну мерин, ну сивый, не полиняли же. Чего вы волнуетесь? А потом зарубите себе на носу: назвался груздем, полезай в кузов; сделал глупость, собрался гнать представителей печати по четыре раза в неделю, так и полезай в шкуру мерина.

Подходит Добрый Горбун. Улыбается.

— Ну зачем вы меня?

Улыбается.

— Ну там насчет... Сандвичевых островов, Огненной земли, Южной Америки.

— А вы зачем там справки насчет отдыха приходивших к вам приказчиков забираете?

Улыбается.

— Как же иначе. Надо же узнать, как в других местах отдыхают.

— Больно долго узнаете. Котузе — по заслуге. Ящик вы себе долгий построили; туда и складывайте все, что требуется оттянуть. А это наказуется.

Улыбается.

— Времени-то много, еще годика два можно тянуть.

— Ну, батюшка, через два года от вас останутся только рожки да ножки. На другой же день вас забудут.

Улыбаясь, отходит.

Встает Юбиляр, из мандаринов, корректный, деликатный.

— Вот вы насчет юбилея тогда... Скажите, я же при чем? Ведь я же никого не неволил, я даже не знал, что мне готовят подарок. За что же вы меня?

— Вы являетесь искупителем общего греха. Согласитесь, что всякие подношения подарков, стоящих денег, служащими начальнику в высшей степени ненормальное, уродливое явление. И этот уродливый обычай безусловно нужно изгнать. Как же это сделать? А вот лучшим средством является карикатура. Она жжет, она доставляет боль, но она и заставляет взглянуть правде в лицо. Смею уверить, что я имел в виду не лично вас (служащие отзываются о вас как о человеке безусловно деликатном и корректном по отношению к ним, что выгодно отличает вас от других мандаринов), а самый принцип, этот уродливый обычай, который необходимо вытравить. Повторяю, вы являетесь искупителем общего греха. Ну, а насчет... родственников, ведь я был прав?

[САРКАЗМ — МОГУЧЕЕ ОРУЖИЕ]

Сарказм — могучее оружие. Но, как всякое оружие, оно слепо. И вопрос, против кого и против чего направляет его владеющий им, разом определяет физиономию владельца. Щедрин поражал сарказмом все, что было темного, пошлого, позорного, беснующегося мракобесием в русском обществе. Буренин в большинстве случаев обдает зловонной слюной все, что есть талантливого,

благородного, чистого, светлого, все, что так или иначе освещает трудный человеческий путь. Скажи мне, как ты пользуешься смехом, и я скажу, кто ты.

Но, как есть человеческие лица, на которых ничего не написано и ничего нельзя прочитать: ни злобы, ни доброты, ни подлости, ни благородства, ни жестокости, ни жалости — или можно читать все это в странном конгломерате,— так часто нельзя разобрать, какие внутренние мотивы, мотивы ли пошлости, или мотивы служения общественным интересам заставляют людей осмеивать те или иные факты, те или иные общественные явления.

Нельзя этого разобрать, когда разворачиваешь «Русское слово».

Эта почтенная газета — не уличный листок. А раз так, общество вправе предъявлять к ней известные требования. Читатель постоянно натыкается там на самые странные издевательства. Гг. Горький, Андреев, Скиталец, Найденов постоянно фигурируют в карикатурах.

Сам по себе этот факт еще ничего не говорит. Печатный орган имеет право (нравственное, конечно) пользоваться, для того чтобы облекать в осязаемые формы свои мысли, не только словом, но и рисунком. Имеет право смеха. Но весь-то вопрос, над *чем* смеяться и *как* смеяться.

Вот не угодно ли взглянуть, над чем смеется «Русское слово». Во весь карьер несется лошадь с надписью «Дети Ванюшина». Сорвавшийся седок с оборванными в руках поводьями носит надпись «Неудачник», а внизу пояснительная подпись — «г. Найденов».

Ясно, газета издевается над автором за то, что он написал одну только драму: дескать, написал — и все, больше не может. Позвольте, что же тут достойного осмеяния? Что тут смешного? Допустим даже, что г. Найденов больше ничего не напишет. Ну так что ж? Ведь он уже дал художественную, талантливую вещь. Скажите, пожалуйста, что тут дурного, что тут скверного, достойного бичевания, что у человека не хватило бы сил на дальнейшее творчество. Ведь человек сослужил уже, и сослужил большую службу обществу, за что же его травить?

Но в данном случае даже этого предположения сделать нельзя: прошел всего год с появления «Детей Ва-

нюшина», и г. Найденов был бы просто драмодел, если бы сыпал из себя драмы, как из мешка картофель. Больше того: в будущем сезоне на сцене Художественного театра ставится новая пьеса г. Найденова.

Так чем же все-таки мотивируется это издевательство? А ничем. Просто грегочут люди, и только. Это уже непорядочно.

«Русское слово» всячески травит г. Андреева. Можно с г. Андреевым не соглашаться, можно возражать против способов изображения им жизненных явлений, правдивости этих изображений, больше того, можно считать его даже вредным писателем, можно бороться с ним, бороться не только словом, но и смехом, карикатурой, чтобы подействовать сильно и непосредственно на чувство читателя, но все это допустимо при условии добросовестного отношения к писателю, при условии, что мотивами не служит мелкое чувство мести личных счетов, при условии отсутствия сомнительных способов борьбы.

Что же мы видим в газете? Брань, голую, скверную, циничную брань, а в карикатуре ту же циничную брань в виде изображения Буренина, издевающегося над писателем. Но ведь это же стыдно. Кому же подают руку! Бу-ре-ни-ну. Разве имя этого нововременца не налагает позора на всякого, кто произносит его как имя единомышленника.

И почему же «Русское слово» издевается и травит во всяком случае наиболее талантливую, наиболее свежую, содержательную группу писателей. Да, тут не борьба с идеями, с представителями идей, с известным течением мысли, здесь — мелкая плоская травля.

Разве мало кругом пошлости, явлений действительно просящихся в карикатуру. «Русское слово» равнодушно проходит мимо и издевается и грегочет над тем, что требует анализа и критики, а не издевательств.

Почему?

Да потому, что у этого органа нет общего, руководящего, объединяющего начала, потому, что сегодня они поклоняются богу, завтра мамоне, сегодня дельная статья, завтра — гаерство, шутовство, клоунство, уличная брань.

[СТРАННЫЕ, ПОДЧАС ТРУДНО ОБЪЯСНИМЫЕ ВЕЩИ...]

Странные, подчас трудно объяснимые вещи встречаются в оценке одного и того же явления различными людьми.

На такое различное, почти прямо противоположное отношение к одному и тому же факту мы натыкаемся в оценке пьес М. Горького москвичами и петербуржцами.

«Мещане» в первый раз были поставлены в Петербурге, прошли прекрасно, имели успех, в Москве же были встречены холодно.

«На дне», пьеса, написанная неизмеримо художественнее и имевшая в Москве колоссальный успех, в Петербурге встречается чрезвычайно холодно, по крайней мере печатью. Почему это?

Сказать, что у москвичей и петербуржцев различное вообще понимание, вкусы, взгляды, нельзя же, и те и другие происходят от Адамы и Евы. Очевидно, тут дело не в существе вопроса, а в чем-то привходящем, случайном, внешнем.

Вы присмотритесь к тому, что говорится о «На дне» в петербургской печати. Торопливо, наперерыв, почти захлебываясь, журналисты стараются подчеркнуть, преувеличенно выставить, раздуть все, что имеется недосказанного, слабого в пьесе, и старательно замалчивают, обходят всю ту огромную ценность, значение, которое имеет пьеса в целом. В этом удивительном старании дело доходит до курьезов.

Почему, говорит один, у М. Горького в «ночлежке» выведен татарин, а не армянин, не еврей, не чуваш, не поляк и еще кто там. Это потому, продолжает строгий критик, что в пьесе царит случайность, что действующие лица не спаяны органически, потому что они сошлись случайно в ночлежке, что нет действия.

Всякий раз, как пытаются в той или иной сфере искусства дать новую форму или перестают идолопоклоннически придерживаться старых форм, подымаются крики. Я не хочу сказать, что М. Горький открыл новые пути в драматическом искусстве, но что он вместе с Чеховым осмелился отказаться от старой формулы всякого драматического произведения — завязка, развитие действия, достижение кульминационного пункта, развяз-

ка — это да. И весь вопрос, мне кажется, вовсе не в том, большой или малый грех совершил Горький, отказавшись от традиционного приема, а в том, жизнь-то в ее неприкрашенной и грозной правде развернул ли перед нами Горький, или нет.

— Да, развернул,—говорят москвичи.

— Нет,— говорят петербуржцы.

В «ночлежке» лица сошлись совершенно случайно. Но в жизни-то разве постоянно они сталкиваются не случайно? Действующие лица не спаяны органически, они связаны, так сказать, только местом. Но ведь это только в старых романах трое влюбятся в одну девицу, и эта африканская страсть на всем протяжении является органической спайкой. Думаю, громадное достоинство художника дать жизнь в ее слепой, хаотичной случайности, и это представляет громадные трудности.

— Слишком уж умны босяки,—продолжают критики,— это собрание каких-то философов. В этом замечании есть доля правды; это —одна из слабых сторон пьесы. Но весь-то вопрос не в том, есть ли слабые места, или нет, а в том, выкупаются ли они всем целым пьесы, или нет, остаются ли только они в голове, когда зритель уходит из театра, или они тонут в громадной, захватывающей и страшной общей картине человеческого горя и муки, развернутых автором.

Что бы там ни говорили петербургские критики, но впечатление, которое уносят из театра, неизгладимо, и это потому, что все дефекты, все недочеты пьесы тонут в изумительно выпуклых, ярких, живых сценах и образах.

Несомненно последнее произведение г. Горького у петербургской публики встретит такой же прием, как у московской, и это лишний раз подчеркнет, что пером петербургских газетчиков водила не искренность оценки, а «особые соображения».

[ИЗ ВСЕХ ЗОЛ И НЕСЧАСТИЙ...]

Из всех зол и несчастий, которые приносит современная культура, наша изломанная, молью изъеденная культура, самое большое зло и несчастие — потеря непосредственности. Мы ни к чему не умеем подойти, ни-

чего не умеем сделать с простым, нетронутым, непосредственным чувством.

Мы не умеем любить непосредственно и сильно, не оглядываясь, не рассчитывая, просто потому, что любовь — счастье; мы не умеем наслаждаться солнцем, рекой, озаренной луной, лесом, дремлющим в весеннем тумане, морем, косматым и белеющим под мечущейся над ним бурей, красотой людских отношений; мы не умеем кинуться с головой в борьбу, не умеем презирать, жалеть, ненавидеть, веселиться, смеяться. Ко всему подходим с кислой, скептической улыбкой, корректные, сдержанные, полулюбим, полунаслаждаемся, полужалеем, полуненавидим и никогда не смеемся, а только улыбаемся.

Нужно заметить, что интеллект и непосредственность вовсе не исключают друг друга и вполне гармонично уживаются в здоровом человеке.

Так как большинство из нас, составляющих так называемое общество, изъедено молью, мы привыкаем к этой изъеденности, перестаем замечать ее, останавливаться на ней. И надо натолкнуться на что-нибудь экстраординарное, особенное, из ряда вон выходящее, чтобы вдруг почувствовать эту изъеденность, беспокойство от отсутствия здорового, свежего, нетронутого, непосредственного чувства.

Вот такое беспокойство, странное и тревожное, такую растерянность испытывает большинство публики на передвижной выставке перед картиной Репина «Какой простор!»

— Да что же это такое!.. Ведь это бессмыслица: забрались в воду и необыкновенно довольны.

— И заметьте, время года холодное, зима или конец зимы,— у девушки муфта. Можете же себе представить, какой отчаянный насморк схватят эти господа.

— Что насморк — тиф!

— Позвольте узнать, ведь тут нечто сокровенное таится, несомненно нечто символическое... символ...

— В каком же смысле?

— Никакого символа нет, а если и есть, так самый препоганый: посмотрите только на эту отъевшуюся физиономию студента в крылатке, несомненно бело- или синеподкладочник.

— Наконец совершенно не разберешь, мазурку они танцуют или еще какой-нибудь танец.

— Да и выполнение... знаете, того... ведь Репин...

Несомненно всякое явление необходимо осмысливать, но, боже мой, позвольте же нам, простым смертным, просто подойти к картине, взглянуть на нее просто и непосредственно, предоставив специалистам, критикам доискиваться, символ ли это, или неудачная потуга на символизм, или еще что там. Позвольте нам взглянуть на нее, как мы смотрим на раскинувшиеся поля и луга, на поблескивающую реку вдали, на хмурый, под осенними облаками, лес, на милого ребенка, на прелестную улыбающуюся девушку.

Не знаю, связан ли с картиной символизм, или нет, знаю только, что море злое, черное, жестокое, холодное, не знающее ни милости, ни пощады, ни размышлений, ни колебаний, мертвое в вечном движении, тяжело вздымается в безжизненном плеске и шуме.

От века оно все то же, давящее своей роковой стихийностью. Уж не знаю, хорошо оно технически написано или нехорошо, одно только знаю, что эта мертвая, роковая, вне человека стоящая, поражающая своей колоссальной стихийностью сила мечется перед вами тяжело и грозно, и мертвая безжизненность ее титанически разрастается, по мере того как вы смотрите на картину.

Вы смотрите, вы не видите холодной, безжизненной глубины, но вы догадываетесь о ней по этой черной, злобно взрытой поверхности, местами белеющей седыми космами, и напрасно глаз ищет,— не на чем остановиться, все та же холодная, мятущаяся сила, и невольно сжимается душа от одиночества, заброшенности и микроскопичности перед этим мятущимся хаосом. И вдруг глаза ваши остановились, и лицо дрогнуло, черты оживились, и улыбка тронула углы губ. Что такое? Вы увидели две фигуры?

Молодость, молодость увидели, свежую, нетронутую, смелую, живую, молодую молодость. Вот отчего ваши мертвые черты тронула хорошая живая улыбка.

Молодость!

Она придерживает одной рукой шляпу, которую рвет злой ветер, и милое полунаклоненное лицо озарено ярким милым смехом; он крепко держит ее руку, удерживая от сбивающих с ног волн и ветра. Какой простор!

Хороша молодость, в николаевке, в бобрах, с лицом будущего земского начальника или железнодорожного поверенного по «увечным делам»!

Пусть, пусть в будущем это—земский начальник, или железнодорожный адвокат, или модный доктор, любимец скучающих барынь, пусть она— это будущая и верная супруга и нежно любящая мать только, пускай, но сейчас-то это молодость, искрящаяся, светлая, молодая молодость, глядя на которую и наши с вами мертвые черты дрогнули. Что николаевка, что бобры! Молодость и в рогожу оденьте — она будет молодостью.

Но почему же молодость так трогает?

Не только своими внешними чертами, своею привлекательностью, своей живостью, а тем, что молодость — эмблема того, чего у нас с вами — увы!—давно нет: смелостью перед мертвым беспощадным хаосом жизни. Мы перед ним сжимаемся, мы не пойдем ему навстречу, потому... потому что можем схватить насморк, а они вот — пошли, а уже лепо там или нелепо, это — другой вопрос.

И долго стоишь перед картиной, и долго смотришь на это необыкновенно далеко уходящее, грозно чернеющее море, и слышишь, как оно шумит мертво, холодно, могуче.

БРАТЬЯ-ГАЗЕТЧИКИ

Актер, профессор, адвокат имеют перед собой живую, глядящую на них, слушающую их публику. Каждым словом, каждым повышением голоса, каждым жестом и движением оратор непосредственно воздействует на предстоящих,— видит, как бледнеют лица, как разгораются глаза, как навертываются слезы, сжимаются кулаки, и, подхватываемый общим настроением, взмытый широкой волной внимания, сочувствия, вражды или раздражения, оратор чувствует странную, особенную связь с этим тысячеголовым, беспокойным, в одно и то же время таким простым, ординарным и загадочным существом, именуемым публикой. И чувствование этой связи почему-то доставляет высокие моменты удовлетворения.

Не то — писатель. Он — одинок.

Ему не смотрят в лицо тысячи глаз. Те, к кому обращено его слово, далеки от него, они разбросаны, они немы, их лица скрыты. Кто они? Как бьются их сердца? Что их волнует? Кому они кланяются? Кого ненавидят? Чего ищут?

Очень медленно реагирует читатель. Очень медленно приподымается пред писателем легкий флер, задергивающий тех, с кем он беседует. Зато у писателя есть крупные преимущества: его воздействие на читателя длительнее, глубже, перед ним аудитория обширнее, он гибче, разностороннее, разнообразнее в своих воздействиях, связь его с читателем прочнее. Самые разнообразные вопросы жизни тянутся к нему из читательского мира, требуют обсуждения. И эта живая связь с людьми, которых не знаешь, с которыми в большинстве никогда не встретишься, является оплатой за все шипы и тернии, которые впиваются во всю писательскую работу, жизнь, деятельность.

Я сегодня позволю себе поделиться рядом вопросов, которые ставит, и фактов, которые сообщает читатель. Ничего особенного, ничего, предупреждаю, исключительного по интересу. Это все та же неправда и неустройство жизни, все то же недоумение перед нелепостью жизни, это все тот же крик боли и страдания. Все старое. Но ведь и вся наша действительность — это огромное колесо, слепо перемалывающее одни и те же, все старые зерна.

Не странно ли: люди, все время проповедующие взаимную помощь, организацию, твердящие, что легко ломающийся в одиночку прут не переломить в пучке, что единение — сила, эти люди бредут в жизни, как слепые, заблудившиеся в темном лесу дети, как попало, не подавая друг другу руки. Едва ли вы встретите более кричащих о единении и наиболее разъединенных людей, чем литературные работники.

Все профессионалисты соединяются. Приказчики, врачи, ремесленники, инженеры, учителя. Только литературный работник одинок. Только один он не знает силы взаимной поддержки.

По поводу одной из моих «заметок» мне пишет один из литературных работников: «Тяжесть положения газетного чернорабочего, по крайней мере в провинции, усиливается еще тем, что он стоит, так сказать, вне

жизни. Ему некуда приткнуться, некуда голову склонить. Везде он — третий элемент, сторонний зритель, вечно он один. Представители разного рода профессий организуются в кружки, в корпорации, имеют клубы и т. д. У газетчиков — ничего подобного. В их судьбе роковое есть что-то». «Меня давно, — говорит далее мой корреспондент, — занимает вопрос, как бы газетчикам хоть немножко сплотиться. Ведь, помимо всего, есть масса профессиональных вопросов, разрешить которые буквально негде».

Далее автор письма сообщает, что в нынешнем году предпринял в этом направлении попытку. Он разослал в редакции поволжских газет письма, что-де следовало бы как-нибудь столковаться сотрудникам газет, чтоб положить начало объединения на почве профессиональных интересов. Увы, только *два* издания из *десяти* прислали сочувственный ответ, остальные не удостоили ответом.

Помимо чисто внешних условий, а затем специальных особенностей литературной профессии, мешающих объединению, представители последней сами кладут палки в колеса своей инертностью, неподвижностью, антиобщественностью, равнодушием к судьбе собратьев.

Между тем профессиональное объединение не только имеет значение в смысле улучшения судьбы каждого пишущего, оно будет иметь и общественное значение, так как сделает каждого литературного работника более независимым.

Возьмите любой провинциальный город с двумя газетами. Газеты приблизительно одинаковы и по направлению, и по содержанию, и по дефектам. Трудно себе представить, какая вражда между ними существует. Дня не пройдет, чтоб друг друга не уличили во лжи, в клевете, в извращении фактов, во всех противоестественных преступлениях. А так как оба противника одинаково приписывают друг другу самые невероятные вещи, то нужно предположить, что вся русская пресса состоит из беглых с Сахалина. Вернее же будет предположить, что это — люди как люди, газеты как газеты, только отношения их окрашены взаимным соперничеством.

Между тем это соперничество накладывает печать глубокой розни и на литературных работников, отдаляя их друг от друга.

Для розни, для отдаления, для размежевания может

быть только один повод — принципиальное, принципиально непримиримое разногласие. Нельзя идти рядом, стыдно, позорно подать руку людям, которые торгуют совестью, честью, которые продают, как картофель на базаре, все, что дорого обществу. Но когда люди смотрят косо друг на друга только потому, что органы, в которых они работают, конкурируют, это уже — слепота, узость, ограниченность.

Прежде всего для литературного работника — независимость, независимость же органически связана со сплоченностью. Бессилие одиночества нередко заставляет идти на компромиссы.

Все это так, но как же практически осуществить единение, имея в виду разные специальные трудности и, в частности, кочевой образ жизни литературного работника? Это вопрос, так сказать, техники. Прежде всего — сознание необходимости такой сплоченности. Думаю, что решению вопроса будет положено начало в провинции — там нет такой глубокой, принципиальной по существу дифференциации между органами печати. С другой стороны, инициаторами должны выступить представители репортажа и вообще незаметной для постороннего глаза газетной работы.

Это потому, что так скорее всего наладится дело, что эта часть газетных тружеников наименее обеспечена, наихудше оплачивается, наиболее страдает от одиночества и розни. Попытку автора упоминаемого письма надо приветствовать и пожелать, чтобы она была не последней — под лежачий камень ведь и вода не течет.

[УМЕР ДОКТОР ФИЛОСОФИИ ФИЛИППОВ]

Умер доктор философии Филиппов. Покойный разрабатывал последнее время грандиозный план уничтожения войн. По его словам, он был близок к открытию способа производить опустошающие взрывы на каком угодно расстоянии. Из какой-нибудь Чухломы можно было бы поднять на воздух Нью-Йорк, Рио-Жанейро, Капштадт, Пекин.

Если бы это осуществилось, в руках человечества очутилось бы страшное орудие самоистребления. Не на-

до бы тогда колоссальных армий, крепостей, артиллерии, не надо бы вторгаться в неприятельскую страну. Опустошение вносилось бы в самое сердце врага издали. Шрапнель, гранаты, разрывающиеся на тысячи кусков, расстилающиеся ветром смерти пули, пронизывающие по восьми человек в глубину рядов,— все это померкло бы перед новым колоссальным стихийным орудием истребления и разрушения. Люди ужаснулись бы, люди отступили бы и... войне конец.

Глубокое заблуждение. Меня в данном случае интересует не техническая осуществимость этого плана. Вернее всего, что никаких взрывов на расстоянии доктор философии Филиппов не изобрел бы. Но не в этом дело. Пусть он не изобрел бы, но он бросил известную идею, которая, быть может, в конце концов и будет кем-нибудь осуществлена,— невозможного тут ничего нет. Пусть будет найдено страшное средство подымать на воздух города на расстоянии. Что же, конец войне? Нет.

Великое заблуждение думать, что такие явления, как война, могут быть уничтожены механическим, так сказать, путем. Как бы гениально ни было изобретение средства разрушения, в противовес ему всегда будут придуманы не менее гениальные средства самозащиты и самосохранения. Природа слишком сложна и богата, гений человеческий слишком гибок и разносторонен, чтобы средства борьбы и защиты держать всегда в равновесии.

Появился порох, и вот деревянные флоты доброго старого времени стали пробиваться ядрами, как бумага, и корабли стали гореть от бросаемых гранат, как свечки. Появились железные суда. Тогда артиллерия стала чудовищно расти, но и бока военных кораблей стали чудовищно пухнуть, одеваясь глыбами крепчайшей стали. Но артиллерия, не уставая ни на секунду, не приостанавливаясь, продолжала разрастаться, переросла средства защиты и, легко и смеясь, пробуравливая стальные глыбы, стала пускать ко дну морские чудовища. Тогда по морю вдруг рассыпались птицы-пароходики, и гигантские орудия оказались бессильными: они не успевали их расстреливать. Однако артиллерия сделала еще усилие,— появились скорострельные орудия, которые создали между собой и неприятелем движущуюся непрерывную среду снарядов,— птицы-миноносцы уничтожались без остатка, сколько бы их ни было. Тогда они

скрылись под водой, и ныне создается мировой подводный флот. Артиллерия стала бессильна.

Не совсем. С известной высоты, с воздушного шара видны в глубине ходящие подводные лодки,— есть возможность их открывать и бить. И так бесконечно. Цепляясь одно за другое, тянутся без перерыва средства нападения и защиты, и не видно и нет этому конца.

Почему же нужно думать, что изобретение Филиппова, раз оно осуществилось, будет последним словом человеческого ума. Нет, не механическим путем будут уничтожены войны. Только рост сознания в народных массах положит им предел. Открытие одной школы, выпуск хорошей книжки, организация библиотеки, всякого просветительного учреждения — в тысячу крат ценнее в смысле приближения к уничтожению войн, чем самое гениальное изобретение наиболее разрушительного средства борьбы, которое, в силу самой огромности производимых им разрушений, якобы ведет к уничтожению этой борьбы.

И вместо того чтобы работать над изобретением средств гибели и разрушения, гораздо больше чести трудиться над распространением понимания и сознания в темных массах. Над изобретением средств разрушения и без того трудятся и будут трудиться.

ПЕРВЫЕ СТРАНИЦЫ

Мне было лет одиннадцать — двенадцать.

Я сидел под столом в кабинете отца и в крайнем возбуждении стрелял из пушек карандашами по густым рядам солдат, которых я в изобилии делал из катушек, утаскивая у матери и делая на каждой три надреза,— уши, рот и нос.

После каждого выстрела, когда люди валились, я забывал, что это — катушки, я торопливо приговаривал с пылающими щеками:

Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел,
Картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел...

В возбуждении я приподнялся и так стукнулся головой о стол, что все зашаталось и какая-то книга, раскрывшись, упала на пол. Я испуганно посидел, дожидаясь, не разлил ли чернил, но не капало, лег животом на пол и стал читать с середины белевшей на полу страницы.

«На французской стороне забелелся клубочек дыма, и все ближе и ближе, быстрее и быстрее летело ядро и ударилось возле палатки. Земля ахнула от страшного удара. Началось сражение».

Это было сражение при Шенграбене из «Войны и мира». Я не знал автора. Как все дети, я не интересовался авторами и классифицировал книги только по их занимательности.

С тяжелой головой, с онемевшими членами, все так же лежа на полу,— я глотал страницу за страницей. Потом сел, долго сидел, глядя на разбросанные войска; это не были войска, а просто валялись катушки с надрезами. Вся красивость массовых построений пропала, как стершаяся позолота. Потухло:

Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел,
Картечь визжала...

Да и не могло не потухнуть, не могло не потухнуть среди живых людей, одетых в солдатское сукно, которые вместе с Багратионом шли, спускаясь, а на них, подымаясь по изволоку, шли другие люди, одетые в синее сукно. Потом пришла ночь и шла с этими людьми, которые среди лафетов, повозок, фыркающих лошадей месили вязкую, тяжелую грязь,— и я шел с ними.

Я собрал в сумку катушки, спрятал и потихоньку пробрался в кухню,— нам запрещали туда ходить.

Нефед, наш денщик, служивший за кухарку, высокий рыжий казак, проворный и услужливый, жарил котлеты. Я постоял. Хотелось спросить о чем-то важном, только я не умел.

— Нефед, котлеты жаришь?

— Котлеты. Ах, штоб тебе!.. Как раз сожгет,— и подхватил сковороду.

— А ты был на войне?

— Был, в польское восстание. Гляди, как бы мамаша не застукала, осерчает.

С этих пор для меня началась новая полоса. Так вот что... Так это все Нефед? И с Багратионом при Шенграбене шел Нефед. И на площади у нас, когда я смотрю в окно, маршируют на параде казаки,— тоже Нефед.

Какое уж тут:

Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел...

когда это просто Нефед, тот самый, который жарит котлеты и так заразительно хохочет и выделывает козла, когда бежит через двор в ледник.

И не то чтоб я об этом думал мыслями,— нет, я скорее думал об этом чувствованиями, почти ощущениями.

«Война и мир» сделалась моей настольной книгой. Как только уходил отец, я уютно забирался с ногами на диван и в сотый раз начинал читать сражение при Шенграбене. Я его знал наизусть и до того сжился с действующими лицами, что разговаривал с ними. Кто-то, огромный, разбросав мои катушки, повелительный и незнаемый,— я знал, что книга называется «Война и мир», но не удосужился посмотреть, кто автор,— открыл двери, и я увидел живую жизнь, живых, настоящих людей.

Моя жизнь по-прежнему шла; по-прежнему я упивался Майн-Ридом, Купером, Эмаром, описаниями походов, битв и путешествий, но книга, упавшая тогда со стола, расширялась, занимая все больше и больше места в моей душе.

Я играл в героев Майн-Рида, Купера, в путешествия, но никогда не играл в героев Толстого, ибо всякая игра есть подражание жизни, а когда я раскрывал «Войну и мир», я просто жил, и не было надобности в подражании жизни,— я просто жил, даже не расценивая этого, как книгу.

Как-то подошла мать, заглянула и мягко взяла книгу:

— Это тебе еще рано читать.

Но я разыскал книгу и читал, когда никого не было в кабинете. Читал отдельными кусками, как попало, то в начале, то в конце, то в середине, и приговаривал:

— Так вот они какие!

Это про взрослых.

Потом мне подарили «Детство и отрочество», и я с изумлением увидел, что там все рассказывается про ме-

ня, до того про меня, что я бросился к матери и закричал:

— Мама, да ведь это про меня!

Последнее неумирающее впечатление детства, связанное с Толстым, это — смерть дерева в «Трех смертях».

Ни одна смерть, даже в действительности, не оставляла такого невытравимого впечатления, как смерть дерева среди радостно шепчущихся живых деревьев.

И опять, как среди людей, Толстой приподнял завесу над природой, и я с изумлением увидел, даже не увидел, а почувствовал, что живут деревья, трава, живет лес, поля, живут и умирают, как и люди. И это неизгладимое впечатление разлитой, бьющейся кругом жизни я несу через всю свою жизнь.

Ни одна книга, ни одна человеческая встреча не оставляли такого следа, не наполняли так до краев души, как эти первые страницы жизни, которые я вычитал у Толстого.

Ушло далекое детство, и Толстой встал перед сознательной мыслью колоссальным художником и настойчивым учителем. И что бы я ни читал, когда бы о нем ни думал, каким бы его произведением ни восхищался,— одна мысль, как неотступная тень, следовала за мною: как этот гигант, этот монолит по своей невстречаемой цельности, как мог он носить в себе вечное раздвоение?

Тонкий и чуткий ценитель произведений искусства и человеческой мысли, сам величайший из творцов, он отрицал создание человеческого вдохновения, отрицал свои собственные гениальные произведения.

Сурово отрицая то, что дает культура, он в то же время пользовался ее плодами. Он общался с людьми способами, дарованными культурой, он воздействовал на них механизмом, созданным тысячелетиями человеческой изобретательности.

Толстой со слезами читал телеграммы об армянской резне, жадно глотал телеграммы из голодных районов,— те телеграммы, которые рассылало «никому не нужное» агентство, над которым он смеялся.

Этими противоречиями, мелкими и крупными, полон весь его обиход. Бессмысленно было бы заподозрить

тут неискренность и неправду. И жило это противоречие в поразительно цельном человеке.

Я качался в душном вагоне третьего класса. Против, опираясь черными, как земля, руками о колено, сидел бородатый, с проседью и нависшими бровями, хлебороб.

В окнах летела степь, пустая и сожженная, а по бокам редко жили люди, ворочая чернозем, и солнце жгло их, и ветер палил, и жили с ними почти одной жизнью овцы, лошади, быки, и разговаривала на понятном им языке птица,— так протекали века.

Я разговорился со стариком — он был черен и весь покрыт сеткою мелких, с забившейся пылью, морщин, похожий на глыбу вывороченного лемехом чернозема.

— А так,— говорил он сурово, насупленно глядя в качающийся пол,— старину забыли... Бог дал тебе скотинку,— ходи округ нее, дал землю,— в поте лица потрудись над ней. А мы что! Лясы да белиндрясы, спинжаки да сапоги под лаком. Теперича бог нам дал ноги, чтобы по святой его земле ходить, а мы вот с вами трусимся, беса тешим.

Я изумился:

— Так зачем же вы едете?

Он помолчал и спокойно ответил:

— Мне на ярманку надо, а на лошади-то сколько протянешь.

Сколько я с ним ни говорил, он, как кряж, вырастал из старины, из чернозема, из медленной вековой мужичьей жизни, которая медлительно проходит мимо астрономии, мимо усовершенствованных способов обработки, ибо есть солнце, дожди, ветры. И если он понемногу сдается просачивающейся каплями культуре, если едет в вагоне, когда есть ноги, так это — не противоречащее противоречие.

Но ведь это — Толстой!

Толстой — это огромная глыба мужичьего чернозема, над которым только солнце, только ветер, дожди, да почти человечьи отношения с овцами, лошадьми и быками,— и надо всем тысячелетия.

Где-то в народных глубинах темно теряются толстовские корни.

Успенский удивительно изображал мужика, но *изображал.* Толстой сам поднимается из чернозема и, не

подозревая того, не изображает, нет, он *чувствует*, так, как чувствуют в тех черноземных глубинах. Он несет стихийные народные ощущения, может быть, звериные, звериные не в смысле жестокости, а в смысле первичности. Так зачем же ему астрономия и железные дороги?

Но ведь — граф! Но ведь утонченнейший из людей!

Так что ж... У Киплинга — чудесный рассказ. Молодой индус из джунглей попадает в Лондон, кончает университет, делает изумительную карьеру, становится министром великой страны. Все к его ногам — слава, почести, богатство и английские леди лучших фамилий.

А он, когда стукнуло сорок лет, снял министерские одежды, вернулся в родные джунгли, взял посох и странствующим дервишем шел все дальше и дальше через деревни, леса, пустыни, поднимаясь все выше и выше на суровые неприступные Гималаи. Над нависшими снегами поселился отшельник, и народ стекался к святому.

Так и Толстой.

ПИСАТЕЛЬ И ЧИТАТЕЛЬ

Ведь когда говоришь с собеседником, так смотришь в его глаза, видишь игру его чувств и мыслей, на каждое твое душевное движение отвечает немедля движение его души. В этом постоянном созвучии двух разговаривающих вся прелесть, смысл и значение живого разговора, живого человеческого общения.

Представители творчества во всех областях искусства в сущности ведут разговор с теми, кто воспринимает их творения. Говорят языком звуков, языком красок и линий, живым языком сценического искусства или языком недвижно запечатленных на бумаге рассказа, повести, романа. Но тут в положении представителей творчества глубокая разница.

Вот поет скрипка. Тысячный зал не шелохнется, не вздохнет, как будто среди освещенных стен никого нет, только блестят блеском затаенности тысячи глаз. Поет скрипка, и тот, кто поет на ней, как девятым валом взмыт на вершины своего творчества этим молчанием тысяч, дыхания которых не слышно.

Отзвучала последняя нота, трепетно замерла, а все стоит между освещенных стен гробовое молчание. Проходят секунды, как вечность, и только опомнившийся зал все заливает оглушающим взрывом. Такие минуты для артиста незабываемы.

И не в рукоплесканиях тут дело, нет,— это дешево стоит,—а в глубоком и непосредственном общении артиста и слушателей.

Артист, на сцене творящий жизнь, видит слезы зрителей, слышит рыдания или видит весь зал, заливающийся неукротимым смехом. И это незабываемо.

Даже художник, вмешавшийся в толпу, перед своей картиной, неузнанный, молча наблюдает эти не отрывающиеся от картины лица, захваченные творением.

Но в совсем особом положении огромный разряд представителей творчества — художники слова, писатели. Все их творчество проходит в тиши уединения. Они одиноко думают, одиноко чувствуют, одиноко создают образы, претворяют жизнь. Их творчество, как таковое, как индивидуальные переживания, нестираемой чертой отделено от читателей. Писатели — сами по себе, читатели — сами по себе; не любит творчество шума и суетности,— оно одиноко.

И только уже воплощенное, оно, как птица, легкими листками разлетается по свету. И вот тут-то, после мук творчества, надвигаются муки одиночества. Где же читатель? Где его лицо? И что говорят его глаза? Бьется ли его сердце в унисон с писательским сердцем? Друг ли он, читатель, или враг? Или — что наигорше — равнодушно проходящий мимо путник?

Нет ответа. Перед глазами не играет гамма чувств и ощущений на читательском лице; не спрашивают, не укоряют, не увлекают глаза читателя. Читатель, кто ты? И где ты, сфинкс-читатель?

Правда, в известной мере читатель отзывается на произведение писателя, это — в критике. Ведь критик— тоже читатель.

Но критик — не просто читатель, это — испорченный читатель. Он испорчен профессионализмом. Это читатель, потерявший непосредственность восприятия. Для него дело не в переживаниях творчества, а в технике, не *что*, а *как*.

«ЗАЯЦ»



«ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЗАБАСТОВКИ»



Он во что бы то ни стало должен дать анализ произведения, и это убивает непосредственность переживаний.

Обыкновенный читатель, тот, который так дорог писателю, заразится отчаянием героя рассказа или повести, заплачет его горем, посмеется его смеху, порадуется его удачам.

Критик же в первую голову спросит себя: «А как сделан этот герой?», «Как построен рассказ?», «Вытекают ли поступки, душевные движения, горести и радости героя из его внутреннего душевного строя и внешних условий?»

Конечно, и обыкновенный читатель в известной мере задает себе эти вопросы: и самый заядлый критик в известные моменты забывает свой профессионализм, забывает о технике и непосредственно переживает творческие образы. Но это в известной мере. В основном же они каждый по-своему подходят к художественному произведению.

И чем непосредственнее читатель подходит к произведению, тем он дороже писателю. И тем жаднее писатель ищет читательского отклика на свое произведение, ищет общения с читателем-другом.

ТРЕЩИНА

В Америке, в Калифорнии, как-то произошло громадное землетрясение. С грохотом лопнула земля, и — не окинешь глазом — побежала чудовищная трещина.

Все, что было около, все стало валиться туда: люди, лошади, дома, заборы, улицы, сады, рощи. Так и зияла, чернея, эта трещина, разделяя стену,— и по краям ее было пустынно.

Такая же трещина побежала между социальными слоями русской земли от взрыва великой революции. И стали валиться туда, выворачиваясь: старые порядки, старые формы грабежа и угнетения народного, старые, всосавшиеся привычки подавления народной воли,— и по краям в грозной наготе глянули друг другу в лицо те, кого сосали и кто сосал.

Ахнули все!..

Можно ли задержать опять этот провал? Можно ли засыпать пропасть, перекинуть мостик, замазать, чтоб дыры не видать было?

Нельзя, ибо бездонно.

«Нет, можно»,— хором и хрипло подняли вой те, от кого, отрываясь, повалились в провал и прежняя власть, и сытость, и уж готовы повалиться и земли, и часть огромных прибылей банков, фабрик, заводов, домов; «можно»,— хрипло и исступленно кричали они.

Чем же добиться?

Лганьем.

И их газеты, их журналисты, их ученые, их писатели, их ораторы лганьем, клеветой, искажениями, неверными сопоставлениями, умолчаниями, искусно ложным освещением событий стали засыпать роковую трещину.

В поте лица своего эти люди едят хлеб свой — за полгода все оболгали.

И по-разному лгут, соответственно своей специальности и натуре своей.

Иные цинично и нагло, в открытую: с голого, мол, как со святого. Иные — тонко и заботливо, как кружево плетут, по-ученому. Иные — вдохновенно, ибо сами верят своему лганью. Иные — горько и смиренномудро, ибо — иудушки. Всяк по-своему, но все в одно.

Ведь стоит сказать, что крестьянство должно получить землю, как со всех сторон:

— Ага, демагогия! Заискивание перед мужиком...

Достаточно сказать, что рабочему нужен восьмичасовой день:

— Демагогия! Лесть и заискивание перед рабочим...

Достаточно сказать, что солдат — такой же человек, как все, как вой со всех сторон:

— Развал армии.

Достаточно сказать, что рабочие, крестьяне, солдаты могут отстоять мало-мальски человеческую жизнь для себя только своими организациями, как раздается оглушительный вой:

— Возбуждение классовой розни и вражды!..

Что же, искусники неправды, неужто надо крестьянину говорить:

— Ты и помещик — одно.

И рабочему:

— Ты и фабрикант — братья.

И солдату:

— Будь бессловесным, покорным животным,— начальство все за тебя обдумает.

Нет, так прямо они не скажут. А шесть месяцев стараются обвить паутиной обмана и искажениями народный ум, шесть месяцев капает пот предательства с преступного клеветнического чела.

Но не засыпать вам, лгуны, рокового провала!

Пусть только рабочий, крестьянин и солдат отчетливее различают лгунов, под какой бы личиной они ни выступали.

Грозный провал можно разве только завалить телами расстрелянного народа.

Но...

Судьба не выдаст, свинья не съест.

ПАУКИ И КРОВОСОСЫ

Капиталист владеет средствами и орудиями производства. Его дело наживаться на чужом труде, всеми дозволенными и недозволенными способами выжимать прибыль. Ему бы платить рабочему за его каторжный труд как можно меньше, лишь бы рабочий не умер с голоду, мог работать. Рабочие ничего не имеют и, чтоб не умереть с голода, вынуждены соглашаться на условия, какие поставит им капиталист.

Тут происходит безумная, бесчеловечная эксплуатация человека человеком. Рабом дорожили, как дорожат лошадью, потому что тот и другая стоят денег. Рабочим не дорожат, а выжимают из него все, что можно выжать. И если он упадет, его выбрасывают, а на его место найдутся десятки незанятых рабочих рук.

Посмотрим же, в каких условиях работает, живет и дышит русский рабочий.

Отчеты фабричных инспекторов, расследование различных правительственных и земских комиссий дают тяжкую картину.

Вот, например, льнопрядильные фабрики. Мастерские грязны, пол липкий, воздух тяжелый, гнилой, а на некоторых фабриках буквально запах помойной ямы.

Где обрабатываются низшие сорта льна, не только трудно дышать, но и трудно видеть,— все в сером ту-

мане, и каждый входящий покрывается пылью, как мукой. В этой пыли, кроме волокон, еще кремне-кислые соединения, разрушающие легкие,— оттого так много чахоточных,— да летит с пылью костра, выедающая глаза, и рабочие ходят с вечно распухшими, красными веками. О вентиляции, о покрытии крышками чесальных машин, отделяющих массу пыли, нет и помину.

На хлопчатобумажных фабриках та же масса выделяющейся пыли, то же отсутствие вентиляции, так же косит чахотка.

На суконных фабриках невероятная теснота; машины набиты в мастерских, и в узких проходах еле пролезешь. Спереди, сзади, с боков грозно несутся в безумной скорости валы, шестерни, маховики, приводные ремни, вырывая чудовищное число жертв среди рабочих.

Так называемые «мокрые» отделения — холодные, сырые, пронизывающие подвалы; работницы то и дело ходят оттуда в сушильни, в сушильнях сорок градусов жары, а из сушилен опять в подвал.

На табачных фабриках невероятная теснота, скученность, грязь и отравленный табаком воздух. От отравления никотином у рабочих желудочные и головные боли, одышка, нервные страдания. Из махорочных сушилен рабочих нередко вытаскивают в глубоком обмороке.

На фосфорных заводах и спичечных фабриках воздух отравлен массой ядовитых газов, а вентиляции никакой. От паров фосфора чернеют омертвевшие челюсти и вываливаются зубы.

У всех рабочих зеркальных заводов дрожат руки, изо рта отвратительный запах, синие десна распухли, лица серые, вид худосочный, болезненный,— все поголовно отравлены страшными ртутными парами.

На химических заводах, вследствие отсутствия хорошей вентиляции, все рабочие отравлены ядовитой пылью, газами и парами.

На сахарных заводах зловонно, тесно, грязно и невероятная до сорока градусов жара. Задыхающиеся рабочие, чтоб глотнуть свежего воздуха, выбивают зимой в окнах стекла, а от морозного сквозняка — ревматизмы, тяжкие простудные и легочные заболевания.

Из этой страшной жары через весь двор в мороз бо-

сые и полуодетые рабочие, бегут в отхожие места. Но есть заводы, где таковые совсем не устроены, и рабочие отправляют естественную надобность где попало.

В невероятно темных, сырых, грязных помещениях для мойки бураков рабочие целый день стоят босые в воде, а в паточных — в патоке, которая до язв разъедает ноги.

Крутящиеся маховики, шестерни, мелькающие огромные приводные ремни тесно расставленных и редко огражденных машин уродуют и калечат работающих,— сахарные заводы поставляют огромное количество инвалидов.

В бакинском районе ежегодно добываются и перерабатываются сотни миллионов пудов нефти. И в этом громадном производстве, обслуживающем всю Россию, полное отсутствие санитарных мероприятий.

Нефть и ее газы, едкие щелочи и кислоты разъедают кожу, и рабочие поголовно страдают болезнями кожи и подкожной клетчатки. По всему телу сыпь. Заболевания тягостны и мучительны и иногда приводят к смерти. Почти у всех болят глаза.

Человеку, попавшему на металлургический, чугуноплавильный и сталелитейный завод по выплавке из руды металла и его первичной обработке, чудится, что он попал в ад кромешный. Пышет невыносимый ослепительный жар. Рабочие с красными лицами, с налитыми кровью глазами обливаются потом. Пульс учащен, дыхание торопливо. Не выдерживая, они бросаются и глотают ледяную воду. А когда высыхают их рубахи, то становятся как лубок,— так много остается солей от пота.

Разные предохранители: особенная одежда, очки, наличники — либо совсем не имеются на заводе, либо преспокойно хранятся в кладовых.

В этом аду люди изнашиваются необыкновенно быстро, и болезни органов дыхания, пищеварения, ревматизм, заболевания мышц, сочленений плодят массу преждевременных инвалидов.

Но и в тех отделениях завода, где нет такого страшного жара, не лучше. Вследствие отсутствия хорошей вентиляции в отделениях по точке и шлифовке металлических изделий носится тончайшая металлическая и каменная пыль,— ведь сухой точильный камень делает три тысячи оборотов в минуту.

Эта пыль разрушительна и в громадном числе вызывает тяжкие заболевания слизистых оболочек и легочную чахотку. Рабочие доживают здесь только до сорока пяти лет.

Как ни тяжка обстановка всех этих работ, но люди хоть видят дневной свет.

А в рудниках при добыче каменного угля работают в кромешной тьме, слабо раздвигаемой красноватым светом дымящей лампочки. С потолка, со стен бежит вода, и каждую минуту обвал грозит задавить обрушившейся грудой; либо хлынет и затопит вода, либо страшным взрывом подземных газов завалит рудник, ибо меры предосторожности принимаются слабые.

Рабочий-забойщик, вырубающий уголь, даже сидеть при работе не может. Он врубает в пласт кайло, лежа на боку или на спине. Вентиляция так плоха, что воздух насыщен угольной пылью, и она проникает в легкие, в желудок, в кишки. И целыми днями поднявшийся из рудника шахтер харкает черной, густой, как сажа, мокротой.

От вечно мокрой одежды — частые простуды, бронхиты, воспаления легких, плевриты, ревматизмы. Вследствие неудобного постоянно лежачего положения на боку или на спине и плохого освещения — параличи глазных мышц. Пятнадцати лет работы на шахтах совершенно достаточно, чтоб из молодого крепкого деревенского парня сделать к тридцати пяти — сорока годам разваливающегося старика.

Вот в какой обстановке изо дня в день, из года в год приходится проводить в напряженном труде свою жизнь русскому рабочему.

Конечно, фабрика на фабрику, завод на завод не приходится. На иных санитарные условия несколько лучше, на иных — хуже. Есть даже блестящие, хотя и единичные, исключения по прекрасной постановке санитарных условий и заботе о здоровье и безопасности рабочих. Но общая картина невыносимо тягостна. Люди живут и работают, задыхаясь, без просвета и надежды.

Посмотрим теперь, как и в каких условиях проводят остальную свою жизнь рабочие,— каковы жилищные условия рабочего класса.

Самое отвратительное положение тех рабочих, которые живут, и едят, и спят в тех же мастерских, где и работают.

Вот, например, рогожная фабрика.

Когда входишь в нее, попадаешь будто в лес — всюду густо висит на жердях и веревках мочала, из-за которой ничего не видно. Пол под мочалами на два, на три вершка затянут липкой вонючей грязью. Доски сгнили; в выбоинах — лужи жидкой грязи. Всюду кадки с водой, между кадками ползают дети.

Вдоль стены, против каждого окна, грязного, низкого и тусклого, стоит становина,— четыре стойки с перекладинами, нечто вроде клетки длиною в четыре, шириною в три аршина. А между становинами — лес висящих мочал.

Становина — это стойло, где рабочая семья проводит все двадцать четыре часа суток. Здесь кипит работа, работают рогожники, здесь же едят, отдыхают; здесь же спят, одни на досках поверх становины, другие на куче мочалы — на полу,— о постелях нет и речи. Здесь и рожают на глазах у всех, здесь отлеживаются больные, здесь и умирают.

Гигиена требует на человека 3 куб. саж. воздуха. В рогожных же мастерских на человека приходится иной раз 0,9 куб. саж. воздуха,— такая невыносимая теснота и давка. Как дышат люди, непонятно.

К тому же жарко топят печи, чтоб скорее сохли мокрые мочалы, и стоит тяжкий банный, распаренный воздух, ибо вентиляции, конечно, никакой.

Вся смываемая с мочалы грязь стекает на прогнивший пол, с которого ее в виде толстого слоя сгребают только раз в году, когда рогожники на лето уходят в деревню.

Так живут поколения...

В овчинно-дубильных заведениях рабочие сплошь и рядом также не имеют отдельных квартир и живут и спят в квасильнях, всегда жарко натопленных, полных удушливыми испарениями от квасильных чанов и сушащихся овчин.

В хлебопекарнях тоже нередко рабочие спят на тех же верстаках, на которых размешивается и раскатывается тесто, а случается, спят и на тесте.

Исследователи положения рабочего класса утверждают, что на всех крупных фабриках с ручным произ-

водством, как, например, ручные бумаготкацкие, шерстоткацкие, шелкоткацкие, ситценабивные и другие, все рабочие живут в тех же мастерских, где работают, располагаясь на ночь на полу, на верстаках, на становинах. И только переход ручного производства на механическое и почти одновременный и неразрывный с этим переход от дневной работы на непрерывную работу в течение целых суток делает ночевку рабочих в мастерских уже немыслимой.

Многие заводы и фабрики строят для своих рабочих казармы или общие спальни. Эти спальни набиваются народом сплошь. Женатые и холостые, дети и взрослые, старухи, парни, девушки спят вповалку без всяких перегородок, тесно и грязно.

Если казарма разделена на каморки, в каждую каморку напихивают по нескольку семей.

Те рабочие, которые не живут в казармах, снимают углы и койки у съемщиц квартир; редкие занимают отдельную комнату. Углы же и коечно-каморочные помещения — гнезда заразы, грязи, нечистоты, болезней и разврата.

Так отдыхает и набирается новых сил для работы рабочий.

Постоянно подвергаясь на работе опасности быть искалеченным, убитым, отравленным, обеспечен ли по крайней мере рабочий медицинской помощью со стороны искалечившей его фабрики или завода?

Или совсем нет, или очень неудовлетворительно.

Еще в 1866 году издан был закон, по которому заводчики и фабриканты обязывались устраивать больницы из расчета одной кровати на сто человек рабочих, но этот закон так и остался на бумаге. Хотя заводские и фабричные больницы и были открыты, но только для отвода глаз.

Заболевшего рабочего, вместо того чтобы класть в больницу, попросту выгоняли из фабрики или с завода, а на его место брали здорового,— для предпринимателя и просто, и удобно, и выгодно.

Так расправлялись хозяева с заболевшим рабочим.

Еще горшая судьба постигала рабочих, изувеченных машинами, тех рабочих, которых фабрики и заводы превратили в инвалидов.

Тут страшные цифры.

Самые лютые войны не давали такого процента раненых, какой дают русские фабрики искалеченных инвалидов.

В русско-турецкую войну русская армия потеряла ранеными 13,5%. Во франко-прусскую войну 1870—1871 года число раненых не превышало 10,8%.

А на русских фабриках ежегодно калечится из каждых *ста* человек *четырнадцать.*

По отдельным производствам этот процент еще выше. Так, на фабриках Московского уезда из каждых *ста* человек калечится *тридцать,* то есть треть рабочих выбрасывается ежегодно за ворота калеками. Чудовищная цифра! На всю Россию фабрики и заводы поставляют от ста пятидесяти до двухсот тысяч искалеченных людей.

Разумеется, каждый искалеченный рабочий мог предъявить к хозяину иск за увечье, но и тут в большинстве случаев его ждала неудача, ибо гражданские законы построены были так, чтоб оберегать интересы главным образом капиталиста, хозяина. По гражданским законам при иске о вознаграждении потерпевший должен был доказать вину предпринимателя. А доказать вину предпринимателя при обычной обстановке фабрично-заводской работы чрезвычайно трудно, и предприниматель всегда легко сваливает вину на неосторожность рабочего.

Да к тому же надо принять во внимание бедность, темноту, забитость народных масс, судебную волокиту. Не удивительно, что в лучшем случае дело оканчивалось выдачей калеке нескольких десятков рублей.

Один пример, но типичный для всех предпринимателей, ярко освещает положение рабочих.

На Ушкинском заводе графа Стенбок-Фермора рабочий Демид Векшин проработал *пятнадцать* лет. За *один* прогульный день все эти пятнадцать лет были вычтены из срока на пенсию. Векшин снова проработал *четверть века* и погиб в турбине. Трое его сыновей проработали на том же заводе в общей сложности восемнадцать лет, и один за другим все трое погибли от несчастных случаев. Осталась их мать, старуха, жена Демида Векшина. Заводское управление назначило ей пожизненную пенсию в *один рубль семьдесят две копейки в год.*

Итак: пятьдесят восемь лет работы, четыре жизни и... 1 рубль 72 копейки пенсии.

Так было по всей России.

Так тяжко приходилось жить и трудиться русскому рабочему. Так беспомощен был он во время болезни, так не обеспечены были он и его семья в случае несчастья, в случае смерти.

Теперь взглянем, какой длины был его рабочий день, как он оплачивался и каковы бытовые условия жизни рабочего класса.

По отчетам фабричных инспекторов длина рабочего дня на большинстве фабрик и заводов, где работа шла и день и ночь, была двенадцать часов. Такая продолжительность работы без отдыха, такое длительное напряжение силы и внимания крайне изнурительно и разрушающе действуют на здоровье.

Но там, где этот же двенадцатичасовой день разбивается на две шестичасовые смены, причем в течение одной недели смены приходятся на ночную работу,— еще тяжелее. Все сутки рабочего разбиваются на кусочки. После смены ему дается только три с половиной часа на сон. Едва уснул, будят на полчаса, и только затем, чтобы не стояла машина. После этого снова дается три с половиной часа на сон, и опять свисток на работу. И так всю жизнь.

Двенадцатичасовой день был установлен примерно в 80% фабрик. 20% фабрик и заводов устанавливали у себя еще более продолжительный день, который доходит до тринадцати — пятнадцати часов в сутки и даже, как это ни невероятно,— еще выше.

В некоторых крупных ремесленных заведениях рабочий день отличается необыкновенной продолжительностью — без отдыха, даже без праздников, как, например в булочных.

Заработная плата по разным производствам в 80-х годах для рабочего в среднем колебалась от семи рублей в месяц (позументные фабрики) до тридцати пяти рублей в месяц (Московский округ).

Но эту чудовищно низкую плату предприниматели умели всякими правдами и неправдами и еще урезать. Для этого пускались в ход всякие средства.

Одно из них — штрафы. До закона 1886 года

штрафные деньги шли в карман хозяину, и предприниматели щедро сыпали на рабочих штрафы, повышая таким образом свою прибыль.

На Никольской мануфактуре Саввы Морозова, например в Орехове-Зуеве, штрафы достигали трехсот тысяч рублей в год и более. Это составляло до 40% всей заработной платы.

На огромном Юзовском заводе рабочий шагу не мог ступить, чтобы не быть оштрафованным. Опоздал на пятнадцать минут — штраф в три рубля. Покажется мастеру или сторожу, что рабочий вышел,— штраф. Поздоровался недостаточно приниженно — штраф.

Встречаются штрафы за перелезание через фабричный забор, за охоту в лесу, за сборище в одном месте нескольких человек и т. д.

Следующий способ выкачивания из рабочего прибылей — это оттягивание расплаты с рабочими. Так, например, на многих крупных фабриках заработная плата выдавалась только под большие праздники — восемь раз в год, шесть раз, пять и даже четыре раза в год. Наконец, были фабрики, на которых вовсе не существовало определенных сроков расплаты. И когда, например, надо купить шапку, рабочий вымаливал несколько гривенников.

Удерживаемую на длинные сроки заработную плату предприниматель пускал в оборот, то есть рабочий ссужал капиталиста беспроцентно своей заработной платой, а капиталист, пуская эти деньги в торгово-промышленный оборот, получал на них процент.

Но ведь жить-то надо. Кормиться и кормить семью надо, и рабочий, не получая долгие сроки заработной платы, был совершенно беспомощен.

Тут к услугам являлись фабричные лавки для рабочих,— это третий насос для выкачивания из рабочего его кровного заработка. На многих фабриках забор продуктов в фабричных лавках был обязателен. А там, где не обязателен, рабочий волей-неволей берет в фабричной лавке, так как вследствие долгих сроков расплаты он не может покупать на наличные, а в долг посторонние лавочники не дают без ручательства конторы, а контора, разумеется, не ручается.

Цены же в фабричных лавках гораздо выше рыночных, выше на 20%, иногда на 80%. Благодаря этому

капиталисты клали в карман десятки и сотни тысяч рублей прибыли от фабричных лавок.

Итак, если из нищенских 4,26 копейки за час вырезать то, что идет на штрафы, да в фабричные лавки, поедающие своей безбожной дороговизной, да в беспроцентную, подневольную ссуду хозяину, то... то остается удивляться, как же все-таки ухитрялся жить русский рабочий.

Всю эту невероятную эксплуатацию, обирательство окутывают, как удушливым дымом, бесправие, гнет, полнейшее подавление человеческой личности рабочих, необузданный хозяйский произвол.

Не только труд, не только рабочие руки в полном бесконтрольном распоряжении хозяина, но и на все время рабочего, на все его действия предприниматель кладет свою тяжелую руку.

На некоторых фабриках рабочему в свободное время воспрещалось выходить за ворота, жили как в тюрьме. На других фабриках штрафовали за пение песен на улице, за «многоглаголание» и проч.

В Смоленской губернии находилась громадная мануфактура купца Хлудова, нажившего миллионы. Но он не только наживал, он заботился и о спасении своей души. Однажды пожертвовал сто двадцать тысяч рублей на типографию, печатавшую богослужебные книги для старообрядцев. Сделав пожертвование, отправился на мануфактуру и понизил жалованье рабочим на 10%. Не только о душе позаботился, но и хорошо заработал. В 1882 году громадная пятиэтажная мануфактура его загорелась. Тотчас рабочих заперли в горевшем здании, чтобы лучше тушили пожар. После пожара вывезли *семь возов обгоревших трупов*, а Хлудов получил миллион семьсот тысяч рублей страховой премии.

Такая же история вскоре повторилась в Петербурге на табачной фабрике братьев Шапшал. Фабрика загорелась, а работниц заперли, чтобы... не расхитили какнибудь хозяйский табак,— масса работниц сгорела.

Фабричная и заводская администрация была обычно крайне груба, придирчива и высокомерна с рабочими. Лица, получившие образование, били рабочих, осыпали их бранью. Про мастеров, вышедших из среды рабочих, и говорить нечего.

«Культурные» представители западноевропейского капитала, основавшегося особенно в наших южных ме-

таллургических предприятиях, ничуть не отставали от наших доморощенных предпринимателей в эксплуатации рабочего. Они с таким же азартом пускали в ход и отвратительную ругань, и кулаки, и нагайки.

Так тяжко слагались жизнь и труд русского рабочего.

Что же сказать о малолетних рабочих фабрик и заводов?

По закону было установлено, что на казенных горных *заводах* не могут приниматься дети моложе двенадцати лет. Рабочий день малолетних моложе пятнадцати лет не должен был превышать восьми часов; ночные работы для них были совсем запрещены, и работать они могли только на поверхности, а не в рудниках.

Этот закон потом был распространен на все заводы и промыслы.

Закон, разумеется, постоянно обходился.

Работали наравне со взрослыми по двенадцати часов и более, работали и днем и ночью. Работали и одиннадцатилетние и десятилетние и еще меньше.

В фабричной промышленности детский труд широко был распространен, особенно в таких вредных производствах, как спичечное, где малолетние составляли более 50% всех рабочих, фабричным инспекторам пришлось выдерживать упорную борьбу с предпринимателями, которые скрывали противозаконно работавших у них малолетних — ниже двенадцатилетнего возраста. Детей прятали на чердаках, в погребах, в отхожих местах. А ведь работали пяти-шестилетние ребятишки.

А отсюда — худосочие детей, анемичность, всевозможные болезни и страшная смертность. Конечно, школы мог посещать ничтожный процент детей. Да и те, кто посещал школу даже после восьми часов работы, засыпал на уроке от переутомления.

Положение женщины-работницы было не менее тяжко. Те же непосильные работы, та же грубость, отвратительные обыски, которым их подвергали всенародно каждый раз при выходе из фабрики, и страшная проституция, на которую их толкали мастера и вся фабричная администрация. Девушка, которая не поддавалась, всячески преследовалась и выгонялась с фабрики, а если становилась матерью, тоже выгонялась.

Таково было положение рабочего класса.

В КАПЛЕ

Существует в Москве Литературно-художественный кружок. Это — клуб литераторов, художников и артистов.

В этом клубе в известные дни собираются, между прочим, члены литературного общества «Среда». «Среду» организовали беллетристы и поэты. Собираются они там, читают свои новые рассказы и стихи, потом обсуждают прочитанное. Приходят туда и гости,—доктора, адвокаты, чиновники, художники, артисты, дамы, барышни, вообще народ, так или иначе интересующийся литературой. Я состою членом «Среды» почти с самого ее возникновения. Родилась она лет шестнадцать — семнадцать тому назад. Не раз и я читал там свои произведения.

На днях состоялось такое заседание «Среды». Председательствовал журналист, старый народник Юлий Бунин. Были писатели: Иван Бунин, Евгений Чириков и многие другие.

На этом заседании группой членов было мне заявлено, что я не могу быть больше терпимым в «Среде», что должен выйти из состава ее членов. Было сказано это с неожиданно страстной злобностью и принято остальными с молчаливым злорадством.

Сам по себе случай маленький, но, как в капле, отразилась в нем вся громада событий.

Что же я сделал такого, за что писатели, поэты, артисты, художники вынуждены были исключить меня из своей среды?

Может быть, я обманул, оклеветал кого-нибудь?

Нет.

Может быть, поиздевался над бессильным, обидел беззащитного?

Нет.

Может быть, обокрал, избил, изувечил?

Нет.

Может быть, поставлено было в вину присутствующими социалистами мое участие в буржуазной прессе?

Нет.

Может быть, наконец, я изменил себе, изменил свое литературное лицо, изменил тому сокровенному, что

бережно нес через всю свою четвертьвековую литературную работу?

Нет, я все тот же, и такого обвинения мне никто не бросил.

Так за что же меня исключили из своей «Среды» писатели, поэты, журналисты?

За то, что я принял на себя ведение литературно-художественного отдела в «Известиях совета рабочих и солдатских депутатов», где я сотрудничаю уже восемь месяцев.

Что же я буду делать в этом отделе?

Я буду стараться подбирать рассказы, очерки, стихотворения; буду стараться давать читателям «Известий», то есть рабочим, солдатам и крестьянам, по возможности лучшее художественное чтение.

Но разве это преступно и безнравственно?

Нет, это не преступно вообще, но это становится сейчас же преступным, как только делается рядом с большевиками.

Почему?

Да потому, что литераторы — Иван Бунин, Евгений Чириков, Юлий Бунин и все, присутствовавшие на собрании, заявили, что между ними и большевиками вырыта глубокая непроходимая пропасть: по одну сторону — писатели, журналисты, поэты, художники, артисты, а по другую — большевики.

Но кто же такие большевики?

Большевики — это почти поголовно все рабочие, громадная масса солдат и очень много крестьян; сказать, что большевики — это кучка «захватчиков» в редакции «Известий» да в Смольном — глупо или для всех явно лицемерно.

Но как же могло случиться, что представители русской литературы, распинавшиеся за мужика, за рабочего, солдата, очутились по одну сторону пропасти, а эти самые мужики, рабочие и солдаты — по другую?

Как могло случиться, что Иван Бунин, так тонко, так художественно писавший мужика, очутился по одну сторону пропасти, а эти самые мужики — по другую?!

Как могло случиться то же самое с Евгением Чириковым, который писал мужиков хоть и не художественно, но жалостливо и любовно, и с Юлием Буниным, ко-

торый в молодости боролся за мужика как революционер? И со всеми остальными членами собрания, которые до революции мужика и рабочего любили, а если и не любили, то были благорасположены к нему и жалели его?

Как могло случиться, что пострадавшие за мужика и рабочего, вплоть до каторги, с ненавистью говорили об этом мужике, рабочем и солдате?!

Это все объясняет одно, но роковое слово: наступила социалистическая революция, и, как масло от воды, отделилось все имущее от неимущего. И стали мужики и рабочие на одном краю глубочайшей пропасти, а имущие и так или иначе связанные с ними — на другом.

И все-таки десятки и сотни раз я слышу один и тот же вопрос: но писатели, писатели-то, это совесть русского народа, как они могли стать на краю пропасти вместе с купцами, помещиками, денежными тузами, банкирами, а следовательно, с Калединым, с Корниловым, Дутовым, как бы они от них на словах ни открещивались.

Но ведь писатель — человек. Только милые провинциалки, приезжая в Москву и Питер, думают, что писатель — существо неземное.

Писателю нужно есть, пить, одеться, жить где-нибудь, воспитывать детей, не бояться, что под старость очутится на улице. И если он скопил хоть немного денег или приобрел недвижимость или землицы, он станет на том краю пропасти, где накопленному не грозит опасность, то есть там, где нет ни рабочего, ни крестьянина. Это же естественно.

То же самое и с художниками, с артистами, с докторами, учителями,— с интеллигенцией, которая тоже всегда распиналась за мужика и рабочего.

Позвольте, ну, а как же те писатели, художники, артисты, которые ничего не успели скопить, которые живут заработком?

Но ведь и они кровно связаны с существующим строем, связаны заработком, привычками, культурой, всем обиходом своей жизни, самым воздухом, которым они дышат вместе с имущими.

При коренном социальном перевороте они не уверены, будет ли им лучше. А если и верят в лучшее, все-

таки предпочитают синицу и незаметно перебираются на тот край пропасти, где нет рабочего и крестьянина.

И вовсе не нужно представлять себе все это грубо или что люди делают все это лицемерно, втайне думая только, как спасти свое имущество, или социальное положение, или свой заработок. Ничуть. Люди совершенно искренно думают, что, отстаивая существующее, они отстаивают интерес *всего народа*. Создается определенная психология, в которой нет лжи в самой себе, но покоится она на фундаменте желания оставить по-старому свое положение.

Но почему же, возражают, при царском гнете многие из них боролись, не щадя себя, а теперь точно подменили их?

Да все потому, что тогда добывались политические права, нужные, необходимые имущим. Оттого тогда и из помещичьих и буржуазных семей шли на борьбу, а теперь громадная масса учащегося юношества — студенты, курсистки, гимназисты — идут в демонстрации на той стороне пропасти, где «нет ни одного солдата», нет рабочего, нет крестьянина, которые бы грозили этой молодежи и ее семьям имущественным перераспределением.

И все это естественно и понятно.

Одно мне непонятно, перед одним я останавливаюсь в великом недоумении: отчего затемнились часто зоркие творческие глаза художников? Отчего мимо них, как мимо слепых, проходит красота, грандиозность совершающегося? Как творчество художников не заразится жаждой отображения невиданной общественной перестройки?

Все видят, как солдаты торгуют спичками, переполняют трамваи, ломают вагоны, разбивают погреба, как рабочие вывозят на тачках администрацию, как крестьяне разоряют имения; видят ошибки, падения и злоупотребления; и никто не видит колоссального, невиданного до того в мире созидания народной власти. Даже не в центре, не в Смольном, а по всему лицу земли русской, в каждом уголке ее. После сотен лет рабства, угнетения, мертвой петли, убийства всякого почина русский народ выпрямляется, гигантски организуясь. Тридцать лет и три года без ног, а теперь поднимается.

И пока без ног лежал, как чудесно, как тонко, как художественно воссоздавали его художники! Как про-

никновенно, любовно писали они мужика, забитого, темного, корявого, бессловесного!

А когда он стал подниматься, когда широко разинул на сотни лет смежившиеся глаза, когда пытается заговорить не косноязычно: «тае», а по-человечески,— тогда от него слепота перекинулась на художников, и видят они только спички, трамваи, винные погреба.

«Мне отомщение, и аз воздам».

Да, страшное отомщение: слепота творческого духа. Мелкая злоба, мелкая и мстительная, заслонила вещие очи творчества.

Ну, что ж! По ту сторону непроходимой пропасти, где сгрудилось крестьянство, рабочие и солдаты, осталось чудесное писательское наследство — великая русская литература, а русские писатели потихоньку перебираются на ту сторону неизмеримого провала, где нет рабочих, нет крестьян, нет солдат.

Принимайте же, товарищи, это чудесное наследство и готовьте новое поколение, которое бы достойно умножило его!

И берегите, как зеницу ока, то, что родилось среди вас, родилось, развернулось в громадном даровании... и не *оторвалось* от вас!

* * *

Из прокламации

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь:

КРАСНОГВАРДЕЙЦАМ, ЕДУЩИМ НА ДОН, ОТ МОСКОВСКОГО КОМИТЕТА Р.С.-Д.Р.П.

НАКАЗ

Товарищи и братья наши!

Вы несете свои молодые жизни на борьбу с последним оплотом угнетения замученного трудового люда, идете против засевших с ген. Калединым на Дону и на Украине помещиков.

Вы идете туда, и наши глаза, не отрываясь, все вре-

мя будут смотреть в ту сторону; наши помыслы, наши тревоги, наши радостные надежды будут тянуться за вами, и наши сердца будут биться вместе с вашими сердцами.

Как пролетариат во всех революционных выступлениях идет впереди восставшего народа, так и вы, дети пролетариата, идете впереди революционных войск и открываете беспощадную борьбу с кровавыми угнетателями трудящихся — с буржуазией.

Помните: во всей России сломлена сила помещиков и капиталистов, и последнее свое убежище они нашли на Дону и на Украине, у донских и украинских помещиков и богатеев.

Помещик — генерал Каледин поднял восстание против рабочих, крестьян и солдат. Он старается захватить на юге каменноугольные шахты, чтобы не дать городам, фабрикам и заводам угля,— пусть, мол, вымерзнут жители городов; пусть остановятся фабрики и заводы и нельзя будет наладить снабжение крестьян-землеробов мануфактурой и железом. Он старается захватить железные дороги и уже не пропускает в Россию и на фронт хлеб — пусть вымирает население, пусть вымирают от голода солдаты в окопах. И когда эту разруху он доведет до высшего предела, снова возьмут власть в свои руки помещики, капиталисты, генералы, архиереи — вернут себе земли и огромные барыши, затопят народной кровью русскую землю, наденут на шею трудящихся еще не виданное ярмо бесправия, и застонет русский народ от невыносимых налогов.

Как это всегда бывало, донские помещики, капиталисты, и украинские и прибежавшие к ним наши российские, ведут борьбу за власть, за землю, за капиталы обманом. Как прежде при царской власти, обманутые темные солдаты, не ведая, что творят, стреляли в своих братьев-рабочих, так казаки и украинцы ныне обманываются своими генералами, офицерами, помещиками, которые их пугают тем, что будто бы рабочие и крестьяне хотят отнять у них земли, отнять у них волю.

Товарищи красногвардейцы, громким голосом скажите вашим братьям-казакам, вашим братьям-украинцам: это полный обман. Никто на их земли не посягает, ибо они такие же труженики, как и рабочие; они так же пóтом своим поливают родную землю, как и крестьяне. И они так же страдают от гнета своих генералов, офи-

церов, помещиков и капиталистов, как и весь трудящийся люд России. И они так же несут всю неизмеримую тяжесть государственных расходов, как рабочие и крестьяне остальной России, в то время как помещики и капиталисты пожинают обильные плоды ими не сеянного.

Пусть же подымутся братья-казаки и братья-украинцы, пусть стряхнут с себя кровавых обманщиков, пусть не дадут надеть всероссийское ярмо беспощадной помещичьей власти на шею великому русскому и украинскому народу. Пусть помнят братья-казаки и братья-украинцы: у них свобода, у них воля, у них неутесняемая земля только до тех пор, пока свобода у всероссийского рабочего класса, у всего российского крестьянства.

Идите же вы, молодые стройные ряды Красной гвардии, идите выбивать помещиков и капиталистов из их последнего убежища, идите с великим сознанием, что боретесь не с обманутым тружеником-народом, казаками и украинцами, а с злыми угнетателями всего русского трудящегося люда — с помещиками и богатеями.

Когда царское правительство слало свои войска на бой, духовенство с молебнами, с водосвятием, с хоругвями об одном только старалось — переполнить сердца воинов кипучей, неугасимой ненавистью, и это для того, чтобы ненавистью погасить сознание и братское чувство между людьми.

Пролетариат же, посылая вас, громко говорит: товарищи, не злобу и жестокость несете вы братьям-казакам и братьям-украинцам, а боль сердца и ласковое просветленное слово убеждения.

Помните: казаки и украинцы — ваши братья, ваши так же веками замученные братья, как и вы. Протяните же им братскую горячую руку и этой братской любящей рукой перетяните их на сторону трудящегося русского народа.

Пусть и у них широко откроются глаза на мир: пусть и они, замученные и усталые, полившие землю своей кровью в угоду богачам, пусть они увидят, что и для них пришел великий день освобождения от помещиков, от богачей, от генералов, от офицерства, ото всех, кто кормился их кровавым трудом.

И вместе, рука об руку, вы свергнете последнюю заговорщическую кучку помещиков и капиталистов.

Совершите же ваш подвиг, и засияет невозбранно знамя свободы и счастья трудящихся над всей русской землей от края и до края.

Да здравствует борьба рабочих, крестьян и солдат против капиталистов и помещиков!

Да здравствует международная революция!

Да здравствует социализм!

Московский комитет Р.С-Д.Р.П.

ОСИНОЕ ГНЕЗДО

Турки брали у христиан детей и воспитывали из них янычар, с непотухающей ненавистью ненавидевших своих кровных.

Более тонкую и сложную систему выработала буржуазия всех стран. С помощью гимназий, реальных училищ, всяких институтов, университетов, политехникумов и проч. создаются отряды, обслуживающие буржуазный строй, буржуазную жизнь.

Инженеры, доктора, писатели, журналисты, адвокаты, учителя, чиновники, судьи, профессора, всякого рода служащие выращиваются в этих гнездах и идут в жизнь строить и поддерживать господство имущих. У них с детских лет создается своя собственная психология неотрывности их жизни от жизни имущих классов.

Даже пролетарские дети, попадая в эти ядовитые гнезда, часто забывают, откуда они пришли, и, как все, становятся янычарами.

Мне скажут: «Но разве доктора не лечат рабочих? Разве адвокаты не защищают их на суде? Разве учителя не учат пролетарских детей? Разве писатели не жалобятся над мужичком?».

Да, профессионально, технически они обслуживают и трудящиеся классы, общественно же они работают на поддержание господства имущих, работают часто бессознательно.

Только глупец или бесстыдник скажет, что это не так.

В будничные дни янычарское воспитание детей буржуазией ускользает от глаза.

В дни же громадных политических потрясений,

в дни общественных катаклизмов, система, вылепившая их разум и сердце, проявляется в страшной наготе.

Я хочу дать типичный образчик такого ядовитого гнезда.

На Малой Никитской, в великолепном доме графов Бобринских, помещается мужская гимназия Адольфа.

Среди учащихся — дети докторов, учителей, чиновников, купцов, фабрикантов, заводчиков, землевладельцев, нефтепромышленников.

Такой состав сразу определяет психологию учебного заведения. Это—лучше. В других учебных заведениях более демократический состав учащихся обманывает глаз, а ведь сущность-то самой системы гнезда одинакова.

В гимназию Адольфа случайно попал мой сын. Перевестись было трудно, волей-неволей пришлось в ней оканчивать, и на моих глазах протекала жизнь гимназии.

Технически гимназия недурно обставлена — подбор опытных учителей, пособия и проч. Внутренно — это типичнейшее осиное гнездо по воспитанию самых непримиримых янычар имущего класса. Трудно найти другое место, откуда бы выходили более злые, более беспощадные ненавистники трудящихся.

Перед учениками — молчаливая заповедь: «Делай, что хочешь, испытывай все подлые грязные мерзости жизни, но лишь при одном условии,— соблюдай внешнюю благопристойность и приличие».

И гимназия все знает: пьянство, подлый разврат, картежную игру, секретные болезни и такие вещи, о которых и говорить не хочется.

Знали ли об этом педагоги с директором во главе?

Великолепно.

Но ведь для них одна заповедь: «Утопай в какой угодно грязи, лишь бы внешне прилично».

Но что же запрещалось и преследовалось?

Одно: какое бы то ни было общение с трудящимися. Это выражалось прежде в преследовании «политики», ныне — в злобном, ненавистном преследовании большевизма.

Тут нет ни границ, ни предела ярости педагогов и учащихся.

В это ярое, ни перед чем не останавливающееся преследование попал мой сын.

Он — в восьмом классе.

Как только узнали в гимназии о его работе среди трудящихся, началась дикая невероятная ежедневная, в самых подлых формах травля.

Ученики восьмого класса поголовно сыпали на своего товарища. шпион, провокатор, продавшийся за немецкие деньги. Заявили, что изобьют, свернут шею, если он будет ходить в гимназию. От имени всего класса заявляли на уроках учителям: немедленно уйдут все из класса, если в классе будет оставаться преследуемый.

Что же педагоги?

Они всячески, во главе с директором, подогревали эту травлю и сами травили, как могли.

Застрельщиком выступал господин Адольф, владелец гимназии, он же — преподаватель латинского языка.

При всех подсиживаниях господин Адольф никак не мог поддеть нетерпимого им ученика на своем предмете — хорошо учился. Тогда стал науськивать учеников.

Каждый урок господин Адольф неизменно начинал одной и той же речью против большевиков, отборно ругая их и обливая ушатами грязи и клеветы.

Куда чеховскому человеку в футляре до Адольфа! Как куцому до зайца! А ларчик просто открывался: однажды господин Адольф, предварительно обругав большевиков, поведал классу со слезами:

— Что же это такое: работал я, работал всю жизнь, скопил, купил земельку, а теперь... а теперь ее у меня отни-мают...

Во время Октябрьской революции кто-то вызвал меня к телефону. Подхожу. Голос:

— Вы — писатель Серафимович?

— Да.

— Кремль только что взят юнкерами. Ваш сын вместе с другими пленниками поставлен под расстрел.

Я заметался.

— Но я вывел его, не беспокойтесь. Сейчас он в дворцовой канцелярии. Тут другая опасность: было разорвали его дворцовые служители,— их собралось че-

ловек сто. Хотел увести его и его товарища к себе на квартиру, не пускают, говорят,— большевиков покрываю. Грозят мне. Я — офицер... Употребляю все усилия...

— Я сейчас приеду...

— Боже вас сохрани... только испортите дело... Я все сделаю, что в моих...

Я судорожно вцепляюсь в трубку,— он перестал говорить. Боюсь выпустить,— последняя нить, соединяющая с сыном... Звоню, куда попало. Потом бросаю— и в Кремль.

На улице — мой мальчик. Нет, это не он, это — чужой: чужое лицо, чужие глаза... Это не он.

Дома рассказывает спокойно-равнодушно, чужим, неузнаваемым голосом, темно усмехаясь.

Их поставили в шеренгу. Приготовили пулеметы. Юнкера вытаскивали револьверы, подносили к лицу его и товарища, долго держали и злорадно смеялись.

— Ну, что, приятно издыхать?..

Подошел донской офицер.

— Ты откуда?

— Я с Дону, донской казак...

Офицер, держа в одной руке револьвер, другой размахнулся и сшиб кулаком сына, потом его товарища — рабочего.

Мимо проходит молоденький офицер, на год раньше окончивший гимназию Адольфа, это сын директора гимназии, Стрельцов, недавно произведенный в офицеры. Он вместе с юнкерами расстреливает безоружных, сдавшихся солдат.

Сын обращается к нему:

— Подтвердите, что я гимназист из гимназии Адольфа.

Стрельцов поворачивается к юнкерам и говорит:

— Этого первого надо расстрелять: он—большевик, и отец его— большевик.

Затрещали пулеметы. Корчась в стонах и крови, попа́дали солдаты. Иные неподвижно лежали, и пелена пепельности быстро набегала на лица. Незадетые солдаты бросились бежать и рассыпались на площади, прячась, куда попало.

Сын с товарищем рабочим забились за немецкую

пушку, все стараясь почему-то одну голову спрятать между спицами колес.

Юнкера опять согнали всех прикладами, штыками и пулеметами. Тут подошел офицер и спас сына и его товарища.

Когда затихла борьба и сын пришел в гимназию, преподаватель истории господин Сыроечковский сказал:

— Зачем вы пришли в гимназию? Разве между гимназией и вами не легла кровь? Вам здесь не место.

Господин Сыроечковский забыл об одном сказать, что и между остальными учениками и гимназией тоже легла кровь — *ни одно учебное заведение не дало столько белогвардейцев, сколько гимназия Адольфа.* Они усердно расстреливали солдат и рабочих. Были среди них отличные стрелки, бившие на выбор и потом хвалившиеся учителям и товарищам числом убитых.

Забыл господин Сыроечковский сказать, почему это многие ученики гимназии Адольфа после Октябрьской революции скрылись из Москвы и гурьбой отправились на Дон. Отдохнуть, что ли? Господин Сыроечковский, господин Адольф, и вы, господин директор Стрельцов, не скажете ли нам? Что же вы?

Да, забыл еще упомянуть, что господин Сыроечковский — народный социалист, а эта партия, как известно, создана для благочестивых, тихих, богобоязненных людей, чтобы спасти маленькое именьице, или крохотный капиталец, или домик от революционных посягателей. А тут как раз маленькая земелька, и мужички пахали и кормили святое семейство господина Сыроечковского.

Как просто открываются все ларчики...

Так ли, сяк ли, но учителя, не смея прямо выкинуть ненавидимого ученика, вместе с остальными учениками сделали пребывание его невозможным в гимназии. И в то же время директор Стрельцов заявил сыну:

— Я ничего сделать не могу, но твое отсутствие я и педагогический совет будем считать незаконным...

Ну, не Иудушка ли!

А отсутствие ученика Маргулиеса (папаша — крупный купец), явившегося только после рождества? Маргулиес все время был во втором батальоне ударников. Его отсутствие как находите — законным?

А отсутствие тех, что отправились на Дон?

Что же, за ними за всеми аттестаты обеспечены!

— Не так ли, господа?

Справедливость требует сказать, что среди захлебывающихся черносотенством учителей нашелся один, который, отбросив всякую политику, требовал одного — знаний. Это — преподаватель физики и математики.

Эта история является другим концом саботажа школы: тысячи пролетарских детей выброшены учителями-саботажниками на улицу, а дети купцов, банкиров, спекулянтов, нефтепромышленников, заводчиков преспокойно учатся, получают аттестаты с тем, чтоб разлететься из осиного гнезда по всей России лютыми врагами трудового народа.

Справедливо ли? И почему осиные ядовитые гнезда должны быть терпимы?..

КАК МЫ ЧИТАЛИ КАРЛА МАРКСА

Недаром и станица-то называлась Усть-Медведица: медведей много водилось в свое время, медвежий угол, непроходимая глушь,— ни железной дороги, ни парохода.

Старая седая река, а над рекой горы, а за рекой леса, а на горе станица. Жизнь в ней текла медленно, сонно и... страшно.

Нас душили в гимназии латинским, греческим, законом божиим, давили всем, лишь бы задушить живую душу. Всякую книжку по общественным наукам отнимали, а нас сажали в карцер. И были учителя нашими палачами.

Когда мы кончили и ехали в университет, мы наконец вздохнули от проклятой жизни. Хотелось знаний, свободы, хотелось общественной работы,— живые ростки все-таки остались в душе, даже палачи не сумели их убить.

Но в Питере оказалось еще хуже,— стояла удушливая тьма самодержавия и в общественной жизни и в университете.

Как это ни странно, мы были социалистами. Правда, наивными, невежественными; но постоянно кололо

в душе жало, что нельзя жить, радоваться солнцу, деревьям, морской глади, человеческим голосам среди нечеловеческой нищеты, тьмы, нечеловеческих страданий народных.

А жить так хотелось!

Верилось в какое-то чудо: вдруг что-то случится, и все переменится, и придет счастье народное.

Иногда приходило отчаяние, и странной казалась эта наивная вера среди полицейщины, жандармов, шпионов, провокаторов, среди тюрем, ссылок, казней, каторги.

Сердце и глаза жадно искали, на что бы опереться.

Студенты и курсистки сбивались в кружки для самообразования. Попал и я в один такой кружок.

Я в первый раз услыхал, что есть наука — политическая экономия, что весь строй жизненный в конечном счете определяется экономическим строением, что существует Карл Маркс. Невежество тащилось за мной пудовыми гирями.

В кружке решили читать «Капитал» Карла Маркса.

Ну, Маркса так Маркса,— мне было все равно.

Один из старых студентов сказал:

— Что вы! Да разве можно начинать с Маркса, не имея ни малейшего представления о политической экономии? Ведь все равно ничего не поймете, только время убьете. Возьмите любой учебник политической экономии, вызубрите,— ну, тогда, пожалуй, и приступайте к Марксу.

Нас, молодежи, студентов и курсисток, собралось человек пятнадцать.

И начались муки.

И не то чтоб Маркс поразил с самого начала сложностью построений и труднодоступностью. Нет, напротив, в первой главе он сбивал как раз тем, что говорил и растолковывал до смешного очевидные вещи.

«Товар есть прежде всего внешний предмет, вещь, которая по своим свойствам способна удовлетворить какую-нибудь человеческую потребность...»

Ну, так что ж? Это я отлично понимаю.

«20 арш. холста = 1 сюртуку, или 20 арш. холста стоят одного сюртука».

И это великолепно понимаю.

Так в чем же дело?

А в том, что каждое слово в отдельности отлично понималось. Слова складывались в фразы — и это понималось. Но когда надо было фразы сцепить вместе в одно целое, все разваливалось, и мы, ничего не понимая, сидели опять у разбитого корыта и мучительно начинали сызнова.

По вечерам чтение продолжалось по пять, по шесть часов, а успевали прочесть полстраницы, а то и того меньше. А когда на другой день приходили — и это разваливалось, и прочитанное опять читали, как новое.

Мне было особенно тяжко — нападала необыкновенная сонливость. Вот сидишь, напряженно слушаешь, во все глаза ловишь движения губ чтеца, и вдруг веки начинают наливаться, лицо читающего товарища длиннеет, длиннеет, делается журавлиным, да и сам он уже не Макарыч, а шпиц на Петропавловской крепости, качается, качается, да как вдруг...

И я неожиданно качнусь на стуле... Да спохватишься, испуганно разинешь глаза и исподтишка оглядишь всех подозрительно — не заметили ли?

И опять напряженно слушаешь, напряженно ловишь слова, и опять наливаются веки, и опять журавли... Всплывает, как был на охоте... Зайцы на задних лапах развесили уши, ухмыляются... И качнешься. Вот мука-то!

Не то Карла Маркса читаешь, не то с журавлями, зайцами сражаешься.

Так тянулось. И если в голове что-нибудь оставалось, так потому, что одно и то же место перечитывали раз по тридцать.

Понемногу слушатели отпадали, переставали ходить, и нас осталось человек шесть.

Мы не могли уйти: железными зубьями нас захватывал и втягивал в изложение Маркс, и уже нельзя было вырваться.

Что же он говорил?

А говорил, что новые ценности создаются только трудом.

Как вы ни хитрите, говорит буржуазным экономистам Маркс, капитал не создает никаких новых ценностей, он только повышает производительность труда. И только труд, живой труд служит мерилом стоимости вещей.

Так, строка за строкой, страница за страницей, Маркс громит буржуазную науку и на развалинах строит колоссальное свое здание.

Мы подвигались. Пропала сонливость. Точно из болота мы вылезали на твердую, незыблемую почву, и кругом стало светлее.

Прежде мы просто сердцем болели за страшную жизнь трудового народа. Теперь мы понимали, какой бы благородный, какой бы честный, отзывчивый человек ни был фабрикант,— а такие есть,— сколько бы он ни строил для рабочих больниц, библиотек, домов, все равно он — хищник, ибо все это делает на прибавочную стоимость, на отнятую у рабочего часть труда.

И мы впервые не только поняли, но и почувствовали классовую непримиримость.

Заставив нас мучительно преодолеть первые трудности, Маркс дальше разворачивался неотразимо увлекательно, как роман.

Как гениальный художник, он рисовал колоссальные, потрясающие картины рабочей жизни в Англии, картины первоначального накопления и железный ход вещей, который неумолимо ведет теперешний капиталистический строй к социалистическому.

И среди мрака царского и буржуазного владычества для нас загорелся вдали ослепительный яркий огонь надвигающегося, и кругом посветлело: явился смысл жить, работать, бороться.

ИЗ МРАМОРА ТВОРЯЩИЙ ЖИЗНЬ

Живописью, картинами русский народ давно украшает стены своего жилища. И в избе крестьянина, и в полутемной комнатке городского рабочего всегда встретишь картины, хоть и лубочные, наивные, но картины.

Скульптуры же русский человек не знает. Вы нигде не встретите у крестьян, у рабочих фигур, вырезанных из дерева или вылепленных из гипса.

Странно это, ибо крестьянство выдвинуло из своей среды скульпторов с громаднейшим талантом.

Во главе их Сергей Тимофеич Коненков.

Двадцать лет назад, окончив московскую школу жи-

вописи, ваяния и зодчества, в родной деревне среди дремучих лесов Ельнинского уезда Смоленской губернии, в сарае, работал он свою первую крупную работу «Камобоец». Восемь месяцев работал.

Приходили крестьяне, подолгу стояли, смотрели и удивлялись:

— Ну живой, чисто живой!.. А потом, Тимофеич, он зачнет у тебе сам работать? Камни будет бить? внутре-то машины небось приспособил?

Выставил эту работу, получил серебряную медаль и... и начал голодать.

Буржуазное общество слепо и стихийно. Как и во всем, как и в экономической области, в области искусства оно не умеет планомерно использовать талант и гениальность. Ему подай известность, славу, общепризнанность. Без этого, будь хоть семи пядей, умрешь в нищете.

Судьба «Камобойца» лучше всего отражает судьбу художника. Некуда ему было деть свою работу. Жил в крошечных комнатушках, постоянно перетаскивался из одной в другую. Попросил он знакомых на время поставить к ним своего «Камобойца». Те согласились. Время шло. Коненков бился в нищете. Знакомые переехали на дачу, перевезли и «Камобойца». Потом уехали. «Камобоец» остался. Уходили годы; о нем уже забыли. Дача была перепродана совсем в другие руки.

Случайно на днях нашел заброшенным в течение двадцати лет это произведение в провинции г. Микули и привез к его творцу, огромный талант которого ценою тяжких годов наконец признан.

Только в социалистическом обществе создадутся условия, когда каждый росток таланта будет внимательно оберегаться.

Хотя крестьяне и ждали, когда «Камобоец» сам начнет бить камни, в их среде все же было здоровое чутье таланта; в лесной, по-звериному суровой, строгой и крепкой семье Коненковых никому никогда не выдавалась бумага, которая ценилась в этих дебрях лесных на вес золота,— баловство. Маленькому же пяти-шестилетнему Сереже торжественно выдавался лист писчей бумаги, и вся семья, сгрудившись, смотрела, как рисует мальчик-самоучка.

А рисовал он так, что, когда приходил поп, семья радостно просила его освятить рисунок как икону.

Поп, сбычившись, поглядел.

— Нет, не буду святить: дюже морда страшная у святого,— ишь ты, зверь зверем глядит.

Тогда Сережа нарисовал морду полегче, поп освятил, прибили в угол и молились.

Видно, лесные люди, лесная жизнь, океан шумящих деревьев сделали Коненкова неподражаемым, неповторимым в творчестве по дереву. Под его резцом из липы выходят подлинные живые люди. «Старичок-полевичок», «Старенький старичок», «Стрибог», «Монах», «Нищая братия»...

Да ведь мы их встречали на полях, в лесах, на дорогах.

Надо подойти к удивительным фигурам из мрамора. Что это: блестят ли кристаллы, или играют мускулы. И не теплеет ли это мраморное тело?

И неужели эти изумительные творческие создания все уйдут в частные руки и, может быть, будут увезены за границу? А русский рабочий? А русский крестьянин?

К. А. ТИМИРЯЗЕВ

Московский совет прав: не покормишь, не поедешь. Если хочешь выжать всю полезную работу из общественного работника, не дай ему упасть от нечеловеческой измученности, от полного нервного истощения, от разъедающих болезней, которые если запустишь, уж не подымешься. Дать упасть работнику — преступно.

Много партийных работников сгорает от туберкулеза, от нервного истощения.

Совет открывает санатории для больных, для истощенных, для измученных. Переведет дух человек, и опять с прежней силой берется за работу.

Бывшие князья, бывшие денежные тузы, фабриканты, крупные помещики разбросали по окрестностям Москвы свои великолепные имения, дворцы. Вот их-то совет и обращает в санатории, отдает трудовым колониям подростков, школьным колониям.

В тридцати верстах от Москвы — прекрасное имение бывшего князя, которого убил бомбой Каляев, Ильинское.

Здесь санаторий.

Чудесный воздух. Река. Парк. За рекой широко раскинулся луг — трава по пояс, а за лугом синей стеной сосновый бор — царство ягод и грибов.

Двухэтажный, старинной стройки, помещичий дом утонул в зелени деревьев. Со всех сторон огромные террасы. А с них отлогий спуск в парк, чтобы со второго этажа без лестницы можно было спускаться в парк. Дом очень напоминает огромный волжский пароход. Живали здесь когда-то Огарев, Герцен.

Потом дом был куплен князем. Чем же занимался великий князь?

В промежуток между противоестественными оргиями этот властитель Москвы вырезал из русских и иностранных журналов картинки и развешивал их. Все стены увешаны.

В парке два небольших изящных памятника — гранитный обелиск и мраморный куб. Это уж дело горестной княгини: сдохла сучка Шпуня, и на памятнике начертано золотом: Флоренция 1880 — Ильинское 1895. В бозе упокоился кобель Сыч, и начертано: 1891—1894.

Это — памятники не собакам, а гнилостному, разложившемуся трупу помещичье-царского самодержавия.

Теперь в этих комнатах, от которых веет стариной, уютом, работники революции. Какие измученные лица, с неизгладимой печатью болезней!

И у каждого позади за революционной борьбой чернеют в прошлом бесчисленные тюремные камеры: у кого мрачно подымается каторга, у кого бесконечно расстилаются снежные пустыни сибирской ссылки, у кого туманно-тоскливыми днями теряется сзади проклятая эмигрантская жизнь.

Мы лежим с моим товарищем по комнате на койках, слушаем, как шепчет через растворенные окна дождь в листве, и он рассказывает:

— Из Сибири, куда я попал на поселение, я бежал в Маньчжурию, потом в Японию, потом в Америку. Исколесил я ее вдоль и поперек. Кем только я не был: и на лесных промыслах, и коров доил на фермах, и в тоннелях, задыхаясь, работал, и кочегаром, умирая от

жары, был,— не знаю, есть ли профессия, которой я не испробовал бы. Не одну тысячу километров сделал пешком, месяцами бродил по бесконечным канадским лесам, где лишь лоси, дикобразы да дикие кошки...

Я слушаю, и у меня перед глазами, как роман, переворачиваются страницы.

Мы знаем биографии наших революционных работников с их внешней, формальной стороны: там-то организовал, там-то сел в тюрьму, но мы не знаем их жизни во всех ее ярких и многообразных проявлениях и красочной обстановке.

А жаль: так и потухнет невоспроизведенная чудесная полоса русской революционной жизни, и будущему историку достанутся лишь сухие ее протоколы.

— Отчего вы так чутко спите?

— Видите ли, мне пришлось в свое время пробыть в коридоре, где были смертники. И вот мы, все товарищи, напряженно караулили их,— не идут ли за ними, вести на смертную казнь. Все ночи напролет прислушивались к малейшему шороху.

И это так и осталось на всю жизнь: достаточно малейшего не шороха, а беззвучного движения, и он уже открывает глаза и внимательно прислушивается,— не ведут ли на казнь. На всю жизнь...

А в парке «в бозе» покоятся княжеские собачки.

В санатории здоровый режим, хорошее питание, своя, не навязанная, не казенная дисциплина. Иногда звучит рояль, женский голос.

Много ребятишек. И эти милые кузнечики вносят ощущение домашнего уюта, нисколько не мешая больным.

В отрочестве, в далекой юности, я был страшно религиозен. Часами стоял и мотал рукой перед иконой, и бог, тяжелый, жестокий и несправедливый бог, давил меня всюду, давил мои помыслы, движения, поступки. Стал я почитывать Писарева, Чернышевского и других, и как будто покачнули они мою каменную веру.

Но покачнули формально, внешне. А в глубине сидел все тот же мрачный бог и мертво давил юную душу. И не мог я изжить его, избавиться от его каменной

тяжести, сминавшей молодые крылья. И это было мучительно.

Попалась мне книга «Жизнь растений». Прочитал ее, не отрываясь, и, когда закрыл последнюю страницу, радостно почувствовал, как мрачно покачнулся и вывалился из души каменный истукан божества.

Но ведь в книге ни слова о боге. Там гениально рассказана с изумительной ясностью внутренняя физиологическая жизнь растения.

Но позвольте, тогда есть конструкция и моей жизни: и моя жизнь, мои помыслы, поступки, порывы зависят от взаимодействия клеточек, так же, как конструкция растения побуждает его тянуться вверх, а не вкось!

Да ведь я сам из таких клеточек. И каменный бог рухнул.

И вот через много, много лет я встретил в Ильинском санатории дотоле незнакомого мне автора этой чудесной книги. Это — профессор К. А. Тимирязев.

У него европейское научное имя. Еще Дарвин указывал на него как на выдающегося молодого русского ученого.

Редкое и драгоценное сочетание: глубокий ученый, он в то же время удивительный популяризатор. Он сумел научные положения рассказать широкой публике удивительно простым и ясным русским языком, совершенно не подлаживаясь к читателю, а подымая его до себя.

Тимирязев — глубокий материалист; он верит только фактам, только наблюдениям и ненавидит все, что хоть малейше отдает мистицизмом.

Конечно, русское правительство гнало и преследовало такого профессора. Черносотенный князь Мещерский писал в свое время в «Гражданине»: «Разве не возмутительно, что русское правительство на казенные деньги позволяет профессору Тимирязеву ниспровергать бога?»

А профессор Тимирязев нигде не обмолвился словом «бог», но такова разрушающая сила истинной мысли.

После февральской революции профессор Тимирязев, больной, с трудом передвигающийся старик, шел

к избирательной урне подавать за номер пятый (за большевиков).

И какой вой поднялся среди московской профессуры: одни ухватились за живот и покатывались со смеху. другие возмущались с пеною у рта, третьи решили, что Тимирязев сошел с ума, и трезвонили об этом.

К. А. Тимирязев формально не принадлежит к коммунистической партии, но внутренне он целиком идет навстречу всему, что строит большевизм, что строит партия.

Профессор Тимирязев — глубоко искренний человек. И то, что такой человек целиком на стороне строительства коммунистов, показывает всю мелкую, подлую гнусность меньшевистской и буржуазной своры, которые, задыхаясь, неустанно лгут о варварстве коммунистов, об азиатчине и прочем.

— Чтобы судить о людях, чтобы судить об обществе,— говорил он мне как-то мимоходом,— надо посмотреть, как они обращаются с детьми. А вы посмотрите, как здесь,— кивнул он на взрослых, которые шалили и любовно ласкали бегающих ребятишек.

Это крохотное замечание внутренне открыло мне еще раз всего Тимирязева. Еще в семнадцатом году он шел подавать голос за большевиков, когда и речи не могло быть о том положении для них, какое они заняли теперь. Но и сейчас его зоркий, привыкший к наблюдениям глаз схватывает малейший факт, который служит доказательством верности его оценки и его отношения к большевикам,— он доверяет только фактам.

Климентию Аркадьевичу Тимирязеву семьдесят семь лет, но какой душевной свежестью, какой душевной молодостью веет от этого старика!

— Посмотрите, как чудесно, какой чудесный вид,— говорил он, показывая на озаренные багровым закатом дальние деревни, далеко краснеющий глинистый обрыв Москвы-реки, на багровый бор, точно там вставал огромный пожар.— Такую удивительную картину я видел только за Лондоном на Темзе.

К. А. Тимирязев интересуется всем, что дает художественная литература, искусство. Терпеть не может мистиков, декадентов, кубистов и прочих.

Читает Байрона и приводит интересное место, неиз-

вестное у нас, из одной его вещи. Байрон говорит там о пожаре, охватившем Москву в двенадцатом году.

И предсказывает: в той же Москве забушует иной пожар, идейный, неизмеримой силы. И могучее пламя его забушует по всей Европе.

Разве не сбывается пророчество Байрона, приводимое К. А. Тимирязевым?

РАБОТНИКИ ЗЕМЛИ СОВЕТСКОЙ

(IX съезд Советов открыт)

Бывают два праздника. Один истертый, заезженный, когда люди надевают заранее приготовленные одежды, заранее приготовленные выражения лиц, заранее приготовленные чувства. А другой, когда в самой будничной, в самой серой, трудовой и подчас страшной обстановке вдруг придет письмо или известие, и на мгновение все посветлеет кругом, и торопливо и радостно забьется сердце.

Вот на таком втором празднике я и был.

Громадина Большого театра. Весь он снизу доверху залит работниками Советской России.

Приветствия? Но ведь приветствия — это же казенщина, это скучно? Почему же сегодня так жадно их слушают? Так блестят глаза во всей громадине зала, блестят глаза, не затмеваемые блеском электричества?

Потому что впервые приветствуют новые социалистические, советские республики.

Грузия, прекрасная Грузия, социалистическая, Советская Грузия. Да разве не она при меньшевиках кроваво дралась со всеми, со всеми, кто ее окружал? Разве не она огнем и мечом опустошала свои собственные области? «А теперь,— говорит представитель Грузии,— мы с представителем Советской Армении, с которой резались грузинские меньшевики, подписали договор о границах, и я, грешный человек, даже и не прочитал его».

Границы тают между пролетарскими республиками. И оттого так празднично в зале.

Зазвучал голос Украины:

— Ох, как врет, как подло, беспредельно нагло, как

чудовищно лжет буржуазная печать: и банды заливают Украину, и восстания, и разорение!

— Слушайте, да вы составьте делегацию от иностранных журналов,— страстно восклицает представитель Украины,— пошлите их на Украину, пусть собственными глазами посмотрят и увидят. банды на Украине уничтожены, и уничтожены *самими крестьянами незаможними*, производство подымается, Донбасс оживает.

Взрыв праздничных рукоплесканий.

Раздается голос представителя Дальневосточной республики:

— Все мы сделали, чтобы сохранить мир, чтобы избегнуть кровопролития: сохранили все виды частной собственности, права и владения иностранцев, политическую самостоятельность в отношениях с Советской Россией, созвали Учредительное собрание. И нам было обещано, обещано Японией, что при этих условиях нас оставят в покое. И Япония солгала, нагло, подло солгала. На нас из Владивостока двинулась ничтожная шайка черносотенцев, но, когда наши партизаны бросились, чтобы смести их, за черносотенцами блеснули штыки надвигающейся японской пехоты, которая заняла порядочный кусок республики. И это в то время, когда японское правительство вело самые мирные переговоры с Дальневосточной республикой, чтобы подло отвести глаза.

Чудовищное коварство! В зале потемнело, разлились сумерки и молчание.

И в этом молчании и в этих сумерках вышел на эстраду... японец. И это был японец-коммунист Катаяма. И зал взорвало от грянувших рукоплесканий.

Он заговорил на непонятном, таком чуждом, далеком для уха языке. Но отчего же, отчего так посветлело в зале? Отчего так блестят глаза? Отчего в таком напряженном внимании вытянуты шеи? Отчего праздник снова разливается по залу?

Звучала чуждая, непонятная речь, а каждый отлично понимал: там, в далекой, таинственной, голубой Японии, так же бьются пролетарские сердца, так же жгучи материнские слезы, так же падает кровавый пот с чела замученных рабов капитала.

Что? Два с половиной миллиона пролетариев в Японии?

Ах, не надо, не надо переводить, мы все, все до кусочка понимаем, не понимая слов, не понимая речи.

Что? Пять миллионов пролетаризованных замученных крестьян.

Нет, нет, не надо переводить того, что непонятно для уха, но жадно схватывается сердцем, не надо переводить, что есть две Японии: империалистов и пролетариев. И от этого стало так ярко, так светло в зале, так празднично. И от этого так дрогнули стены от взрыва рукоплесканий, и я посмотрел вверх: не обвалится ли потрясенный свод.

Вышел товарищ Ленин и стал говорить...

И, как в чудесном, невиданном кинематографе, открылась громадина чудесной картины. Тонко дрожала неуловимая дымка, и в ней простиралась Россия, социалистическая, советская, пролетарская Россия, ободранная, голодная, разоренная, но полная напряжения пролетарских сил, а кругом облегали чудища с огромными кровавыми клыками, с налитыми кровью убийств и грабежей глазами. И они не спускают этих страшных глаз с пролетарской России и оглушительно щелкают кровавыми клыками. Вот-вот надвинутся и растерзают пролетарскую республику, только пойдут гулять по закоулкам клочки.

И вот уж,— выбрасывает вперед руку товарищ Ленин,— пятый год пошел, а кровавые чудища буржуазных империалистических правительств только грозно разевают пасти, а сожрать социалистическую республику, при всем своем страстном желании, все не могут.

Но почему же, почему?

И тонко дрожащая в дымке картина далеко развернулась в речи товарища Ленина простором. И сколько глаз окинул, открылись заводы и фабрики страны. И зачернелись беспредельно ряды пролетариев. Пролетариат наступил своей бесчисленной пятой на хвост чудовищ, и при всем своем страстном желании они не осмеливаются впрямую и в открытую сожрать пролетарскую республику.

И в этом — все значение, в этом мировой смысл совершающихся событий. И напоминание об этом, как прикосновение к земле, вливает постоянные силы в борющуюся пролетарскую Россию.

Т. Г. ШЕВЧЕНКО

Если на минуту только отойти от громады совершающихся событий, такой громады, что они с трудом мыслимы, так откуда же они взялись? Не с неба же упали.

Ведь было что-то, откуда они так титанически, так неизмеримо выросли?

Было.

Что?

Тяжко, медленно нараставшие экономически-социальные изменения.

Это — стихийный, слепой, железный, мертвый, неотвратимый, вне воли человека, процесс. И в этом темном историческом ходе, как светочи в ночной тьме, горели гении отдельных людей.

Гений Маркса во всю глубину, до дна освещал этот неотвратимый исторический ход. Он этим помог трудящемуся человечеству целесообразно использовать социально-экономическую стихию для построения новой, чудесной человеческой жизни. Это *научное* освещение было чудовищно-гениально. Но для человечества его одного, как оно ни неизмеримо, недостаточно.

Ибо мало понять, надо почувствовать.

И вот в разных концах вспыхивали гении, которые озаряли не ум, а *сердце* людское, зажигая жажду свободы, жажду борьбы за свое, за человеческое счастье. Они несли психологическое воспитание. Они зажигали людей огнем поэтического творчества.

К таким светочам принадлежал Тарас Григорьевич Шевченко.

Это гениальный поэт и гениальное сердце.

Оно умело страстно любить и огненно ненавидеть.

Покрывало оно своею кровью, своей жалостью, своей незаживающей болью, своей бесконечной нежностью всех, кто задавлен, кто обездолен, унижен, у кого на руках кандалы, всех, кто пóтом поливал свой хлеб.

Непрощающе оно было ко всем прямым и скрытым убийцам трудовых масс. Тут это великое сердце не знало пощады; тяжкий, невиданной силы карающий удар разил, не останавливаясь перед дымящейся кровью врага.

АНИСИМОВИЧ

Так мы в 1887 году его все звали в ссылке — Анисимович.

Он был сын своего класса, и все черты, которые выковывают в пролетарии тяжкая жизнь и беспощадная борьба, в нем выступали отчетливо и резко. Та особенная сметка, практичность, которая так характерна для рабочего, пронизывала всю его революционную деятельность,— и оттого результаты ее громадны, несмотря на невероятно тяжелые условия.

В каждом данном случае он был тем, чем требовалось быть: он был ткачом, он был столяром, он был слесарем, он косил с крестьянами, он был плотником,— и каждый раз он работал, как профессионал. Это давало ему широчайшую возможность проникновения в рабочие массы не как агитатору со стороны, а был он там как свой брат, рядовой рабочий,— от этого его выступления производили поразительное впечатление. Оглушительно резкий, чуть с хрипотой, тенор, немного на первый взгляд корявая речь, с постоянными повторениями «это самое»,— но почему же она производила одинаково потрясающее впечатление на рабочие массы, где бы он ни говорил? А потому, что из огненного сердца его рвались самые простые, может быть десятки раз слышанные слова, но в его устах — пламенные.

После трех ссылок он попадает на юг, и тут начинается невероятно кипучая революционная деятельность и непрерывная звериная охота за ним жандармов и полиции. Отдан был приказ — во что бы то ни стало поймать его и... убить.

Судьба сохранила революционного бойца от подлой руки царского жандарма, но отняла его, точно в насмешку, когда он наконец мог вздохнуть, празднуя пролетарскую победу.

Его нет. Но его пламенное сердце огненно выжгло в истории пролетариата его имя навеки.

КРУЖКОВОЕ ЗАНЯТИЕ РАБКОРОВ

В 1919 году Владимир Ильич Ленин дал задание «Правде»: во что бы то ни стало привлечь рабочих писать в газете. Ленин говорил, что никакое революцион-

ное строительство не может быть доведено до конца, если рабочие, не отдельные из них, а всей массой, всей своей громадой не войдут в советскую печать.

Время-то было чрезвычайно тяжелое.

Ленин своим гениальным глазом увидел, что, как бы ни было страшно кругом, а втянуть рабочих в газету надо. . И он дал задание газете «Правда» разделить своих сотрудников по районам, по фабрикам и заводам, где мы должны были убеждать рабочих, что надо писать.

Мы отправились. И вот, как сейчас, помню одно из таких моих посещений. Это было, кажется, в Кировском районе, а может быть, и в Бауманском районе Москвы, хорошо не помню. Я да еще один товарищ приезжаем в райком. Смотрю, сидят человек 25—30 рабочих, смотрят угрюмо, видно, голодные, усталые, измученные...

У нас было определенное задание, пришлось их всячески убеждать, что вот, мол, рабочим нужно писать.

Они сидели молча, слушали, но на изможденных лицах их было написано:

— Да когда же, наконец, вы нас отпустите?

Но вот подымается один рабочий-металлист. Щеки втянулись, глаза запали, от грязи весь черный, и сердито так говорит:

— Хорошо это вам соловьем-то распевать. Вы поди и в гимназиях учились и знаете, как там писать, а я вот возьму карандаш-то, а у меня и пальцы не гнутся. Да еще вот придешь с завода домой измученный, усталый, восьмушка хлеба лежит на столе, лопать хочется, а ее не знаешь, что: целовать, что ли, или глядеть на нее, да и холодно в хате... а вы говорите — писать.

В сущности говоря, положа руку на сердце, прав он был — от первого слова до последнего. Но все же мы начали им рассказывать о том, как трудно сейчас на фронтах и т. д. Словом, пели, действительно, соловьем, а на самом деле у нас на сердце тоже щемило, знали, что он прав.

Тогда мы с товарищем полагали, что долго придется дожидаться, пока рабочие, не отдельные, а целой массой, научатся писать.

И вот прошло три года. И в Доме Союзов я смотрел на громадный Колонный зал, залитый рабочими от стан-

ка, объединенными в целую организованную армию рабочих-писателей. Их насчитывается по Советскому Союзу до ста тысяч. Это, товарищи, чудо! Когда я глядел на них, то я невольно вспоминал, как мы улещали тех рабочих на собрании. Вот вам и толстые пальцы, которые карандаш не могли удержать! Стали выходить эти рабкоры и селькоры и рассказывать о своей работе, о своей организации и высказывать свои мысли. Это были здоровые, ядреные мысли, это не те общие места и слова, которые мне раньше, в дореволюционное время, очень много случалось слушать на разных собраниях. Несмотря на страшно короткое время, организация среди пишущих изумительно как хорошо поставлена.

Пишущие рабочие и крестьяне совершенно стихийно, но вполне естественно тянутся друг к другу. В буржуазное время, в буржуазных журналах каждый был сам по себе и каждый друг в друге видел врага, потому что шла жесточайшая конкуренция. А пишущие рабочие... они чувствуют, что им еще надо многому учиться и что между ними нет врагов и конкурентов, а есть друзья и помощники.

И вот на этом съезде и выявилась эта организованность, удивительная спайка. Конечно, рабкоры поставлены в лучшие условия, чем селькоры. У тех это налаживается очень трудно, и нам надо отсюда протянуть им дружески руку и помочь. Это будет иметь огромное значение. Ведь помните, когда началась революция, буржуазия постоянно нам бросала упрек: куда, мол, ваша революция годится, и кровь тут, и ошибки у вас нагромождены одна на другую. Но им тогда резонно отвечали, что революция делается не на паркете и не на бархате, что это — борьба. То же самое относится и к селькоровскому движению. Разумеется, и сейчас среди нас попадаются лица, которые пользуются своим положением во вред общественности. Такие случаи, к несчастью, встречаются...

Но громадный зал съезда рабкоров переполнен, и в высшей степени отрадно на это глядеть.

Но еще что я заметил, и довольно печальное: рабкорок мало, всего десятка полтора — два. И то из больших городов. Они, видно, рождаются в таких городах, как Москва, Ленинград и т. д., а вот в провинции их совсем мало.

Вы являетесь ласточками весны, так давайте же проторять дорогу для своей сестры по всему Советскому Союзу.

ПРЕДИСЛОВИЕ К «МЯТЕЖУ» Дм. ФУРМАНОВА

«Мятеж» — это кусок революционной борьбы, подлинный кусок, с мясом, с кровью. Рассказано просто, искренно, честно, правдиво и во многих местах чрезвычайно художественно.

Перед вами встает страна, далекая страна, о которой мало кто знает,— Семиречье: ее степи, горы, ущелья, горные равнины.

Встают живые люди, расслоенные на классы, национальности. Русские крестьяне, казаки, в силу обстановки, созданной царским правительством, жестоко эксплуатирующие киргиз, несчастных, забитых, замученных, темных и бесконечно нищих. Баи, манапы, киргизские кулаки, мироеды, муллы жадной сворой сосут своих единокровных, держат в железных когтях и непроходимой темноте.

И вот в этой богато родящей, пестрой и сложной стране идет революционная борьба, строительство.

Революционная борьба велась в разной обстановке, в разных условиях — у Ледовитого океана, в дымном Петрограде, на черноземных центральных равнинах, на знойном Кавказе и в Крыму, в далеком, полном ярких восточных красок Туркестане.

И всюду партия, наша РКП, проявила удивительную приспособленность, гибкость, учет окружающей обстановки, исходя всегда из основных своих, незыблемых коммунистических положений,— и этим победила.

В «Мятеже» удивительно правдиво и ярко даны эти свойства партии в обстановке полуэкзотической, совершенно отличной от нашей российской, не говоря уж об обстановке промышленных городов, где рождалась, росла и крепла партия. Оттого эта книга может многому научить.

Читается с захватывающим интересом, хотя в ней строго вставлены подлинные документы, приказы.

ФЕДОР ГЛАДКОВ И ЕГО «ЦЕМЕНТ»

Я не помню, как и где я познакомился с Федором Васильевичем. Помню только, что при одной встрече он сказал мне: «Александр Серафимович, приходите ко мне, я прочитаю вам мою вещь, над которой сейчас работаю».

Пошел. Он жил в полуподвале один,— семья еще не приезжала. Даром что по-холостяцки, а в комнате было чисто, порядок, даже уют. На столе рукописи, книги.

— Одну минуточку, я только вздую чайку.

Первое, что бросилось, пока он возился с чаем, это — нервное, трепетное напряжение, присущее ему самому, а когда стал читать, это трепещущее напряжение разлилось во всем его творчестве.

Со страниц летели выпуклые, острые черточки, замечания, определения, характеристики, местами, может быть, чуть-чуть более яркие, чем нужно, но я не делал замечаний, чтоб не спугнуть автора. Да и некогда было: на меня наплывало широкое полотно, на котором мелькали люди, характеры, людские отношения, борьба, события. Опять-таки не со всем я был согласен, но я опять не делал замечаний, чтоб не спугнуть этой страстности творчества, которая пронизывала все его существо и захватывала меня.

Пролетарская литература тогда только нарождалась. Она еще делала детские шаги. В ее рядах было немало попутчиков, которые туго втягивались в круг идей пролетариата. И были, как плевела, вкраплены враги народа.

И вот из этой не сложившейся, не оформившейся еще литературы скалистым углом поднялся «Цемент».

Чем же он так привлек читателя? Широкой картиной реорганизации человека, широкой картиной реорганизации хозяйства. Появился хозяин обобществленного хозяйства — это внутренне преобразующийся пролетарий. Картины, где работает в *своем* хозяйстве рабочий, великолепны в «Цементе». И это *первые* картины в нашей литературе.

Федор Гладков, один из первых организаторов пролетарской литературы, в высшей степени честный автор;

то, что пишет, он пишет так потому, что так чувствует, так видит. Он не подыгрывается, ибо ему нет в этом надобности,— то, что он пишет, это кусок его сердца, он выстрадал его еще в своей горькой молодости, в царской тюрьме, в царской ссылке, в незаслуженной нищете, которую навязал ему царско-буржуазный строй. И как же он рад в широких картинах рисовать это великое преобразование людей, преобразование хозяйства, преобразование строя.

Но ведь кто-то организует эти преобразования? Партия... И Гладков удивительно умело рисует значение, влияние партии в небольшом эпизоде: на партийном собрании исключают из партии одного из членов. Он вытаскивает пистолет и молча пускает себе пулю в висок,— без партии он жить не может и не хочет.

У Федора Васильевича Гладкова — тяга к широким картинам, к широким просторам. Но и в отдельных небольших картинах он отличный мастер. Вот, например, «Старая секретная». Да ведь это же прекрасно! Ведь это же мастерство! Но вот странно, критики толкуют, обсуждают его большие вещи, а мимо таких прекрасных, как «Старая секретная», проходят молча. Товарищи критики, чего же вы молчите? Молчите? Молчание знак согласия: вы неправы.

...Партия высоко оценила творчество Гладкова: на груди его сияют ордена.

Чем же привлекает «Цемент» Ф. Гладкова?

Да ведь это первое широкое полотно строящейся революционной страны. Первое художественно обобщенное воспроизведение революционного строительства зачинающегося быта.

И картина дана не осколочками, не отдельными уголками, а широким, смелым, твердым размахом.

Но в чем же правда этой вещи?

Правда — в простоте, внешней грубоватости, пожалуй, корявости рабочего напора. И говорят-то — маленько лыком вяжут. Правильно: по гимназиям, по университетам не образовывались, самоделковый все народ.

И под этой корявой глыбистостью какой чудовищный упор,— как будто, медленно переворачиваясь, неуклюже скатывается по целине откол горы, а за ней —

глядь! — дорога, как водоем, прорытая. И это — правда, ибо нигде не подчеркивается, а разлито по всей вещи.

И быт новый строят кособоко, по-медвежьи,— слышно, как черепки хрустят, а строят.

Приехал Глеб, плечистый, громадный, приехал из трехлетнего огня пулеметов, шрапнелей, беспощадности, гражданской войны, сгреб Дашу,— ведь это же его *собственная* жена. И очень удивился, расставив впустую руки: она вывернулась, засмеялась — и была такова, вспыхнув красной повязкой. И каким-то иным, незнакомым до этого чувством к жене пронизалось сердце Глеба, чудесным чувством, когда он увидел ее как общественно-партийную работницу.

И что дорого: эта перестройка сердца, взаимоотношений не навязывается в романе, а сама собою ткется в громоздящихся событиях, в нечеловеческом напряжении работы, в дьявольском напряжении борьбы. Глеб и ревнует жену и, как бык с налившимися глазами, готов всадить пулю в противника,— и все-таки его сердце насквозь озарилось незнаемым дотоле, новым озарением. Новым озарением к Даше, к жене, к милой подруге, к товарищу по работе. Они не анализируют своих чувств, новизны отношений,— они просто борются, работают, живут, любят. И в этом — правда.

И Бадьин, предисполкома Бадьин... Да ведь знакомая фигура. Громадный, чугунный; этого не сдвинешь, и куда идет — проламывает дорогу. Чугунное лицо, чугунная воля. Громада революционного молота выковывает таких. И если Глеб — вспыхивающая революционная инициатива, революционный энтузиазм, пожаром зажигающий, без которого невозможна была бы борьба и победа, то Бадьин — тяжкий многопудовый молот, разрушающий и выковывающий. И такими революция проламывает пути.

И он любит, по-бадьински любит. Бычьи, налитые глаза, бычье сердце, и тяжело бьется во вздувшихся жилах густая темная кровь. Он берет женщин просто, тяжело, мимоходом — не до сантиментов. Он весь в колоссальной громаде работы, которая все покрывает, все собой окупает, оправдывает, и женщина для него — только одно из необходимых условий работы и жизни: перевернулся и сейчас же забыл.

Только Даша, только милая Даша не может погаснуть в его чугунном сердце и, может быть, против его собственной воли теплится тоненьким ласковым огоньком.

Лишь тонкий художник мог дать удивительно верную психологическую зарисовку: Даша, отчаянно отбивавшаяся от Бадьина, когда спасла его от смертельной опасности, отдалась ему.

А вот великолепная фигура инженера Клейста, надменная, сухая, замкнутая в своем высокомерии; он себя чувствует созидателем, а кругом — невежественные, грубые разрушители, безответственные перед столь дорогой сердцу Клейста культурой. И этот надменный останавливается в изумлении перед чудовищным, грубым, неотесанным рабочим напором созидания. Как в водовороте, подхватило и поволокло бессильного сопротивляться инженера Клейста. И Клейст отдал своим бывшим врагам все свои знания, всю свою культурную силу, отдал за совесть, а не за страх, и стал одним из кирпичей пролетарского творчества. Это — яркая, правдивая история спеца.

Все фигуры в «Цементе» отчетливы, запоминаются, разнообразны, живы.

Гладков сжат, экономен. Нет лишних слов, растянутостей, многоговорения. В своей манере писать он так же суров, как и его персонажи.

Его великолепный пейзаж своеобразен и красочен.

Яркие черты романа с лихвой покрывают, может быть, местами излишнюю приподнятость, цветистую взвинченность диалога. Может быть, несколько сгущена мягкотелость партийных интеллигентов. Не то что они не правдивы,— нет, они ярки, живы, убедительны, но для верности перспективы надо было дополнить фигурой интеллигента крепкой складки, ведь революция ж богата ими.

Но я повторяю,— это тонет в прекрасных, сверкающих образах.

По-своему написан роман,— у Ф. Гладкова свое лицо, ни с кем не смешаешь.

И не странно ли? Критики, которые особенно шумно носились с некоторыми писателями, вредя им этим шумом, проходят молча мимо «Цемента». Либо, оттопырив

надменно губу, глаголют: «Сказать неложно, тебя без скуки слушать можно, а жаль...»

Но читатель, пролетарский читатель произведение т. Гладкова оценил, ибо чует правду,— собираются, читают, обсуждают.

УМЕР ХУДОЖНИК РЕВОЛЮЦИИ

Что от большевика нужно? Чтоб он был закален и тверд, как сталь. Чтоб в принципиальных вопросах он не умел поддаться ни на волос.

Таков был т. Фурманов. Таков он был во всю свою молодую жизнь.

Что нужно от большевика? Чтоб он был гибок, как тронутая синью пружинная сталь.

Таков был т. Фурманов. И когда читаешь его «Чапаева», «Мятеж», с удивлением наблюдаешь эту большевистскую гибкость, гибкость во имя спасения революционного дела, удивительную способность учета и приспособления.

Что нужно от большевика? Чтоб он во всякой работе, во всякой деятельности был одним и тем же — революционным работником, революционным борцом.

Таков был т. Фурманов. Он был одним и тем же и в партийной работе, и в гражданском бою, и с пером в руке за писательским столом. Один и тот же: революционный боец, революционный строитель, одинаково не поддающийся и одинаково гибкий.

И если в гражданской борьбе гибкость его проявлялась в том, что, где нужно, он был великолепный дипломат,— на поле его последнего поприща, в писательской деятельности его гибкость драгоценно проявлялась в другом.

Значимость писателя, художника, творца — не в размерах его дарования в данный момент, а в размерах его роста, в способности его к этому росту. Бывали крупные художники, разом проявлявшиеся, застывшие и умершие как творцы задолго до своей физической смерти. Не таков был т. Фурманов.

Когда я прочитал первые два рассказика т. Фурманова, бледные, серенькие, беспомощные и наивные, я подумал: «Нет, этот не выделится».

Когда я прочитал написанный им в дальнейшем «Красный десант», передо мной вдруг блеснула черная южная ночь, шелест камыша и таинственность смерти, которая невидимо плыла с этими потонувшими в черноте баржами,— люди плыли на заведомую гибель в самую глубь, в самый тыл врагов,— пощады не будет. И мне вдруг стало трудно дышать. «Да ведь это ж художник!»

А потом я подумал: «Могла просто случайно вырваться небольшая художественная вещица».

А когда я читал «Чапаева», передо мной художественно развернулась гражданская война — так и с таких сторон, с каких и как я не умел ее увидеть своими глазами.

Потом... потом я читал «Мятеж». Я читал всю ночь напролет, не в силах оторваться, перечитывал отдельные куски, потом долго ходил, потом опять перечитывал. И я не знал, хорошо это написано или плохо, потому что не было передо мной книги, не было комнаты,— я был в Туркестане, среди его степей, среди его гор, среди его населения, типов, обычаев, лиц, среди товарищей по военной работе, среди мятежников, среди удивительной революционной работы.

Да, это — художник. Художник, вдруг выросший передо мной и заслонивший многих.

И его гибкость, его драгоценная гибкость художника — в этом непрерывном внутреннем, органическом росте. В том, что он с каждой вещью, с каждой картиной становился выразительнее, ярче, глубже, больше. И это не случайно: это его природа, это его естество.

...И он ушел. Ушел — и унес с собой еще не развернувшееся свое будущее. Ушел — и говорит нам своим художественным творчеством: берите живую жизнь, берите ее, трепещущую,— только в этом спасение художника. И не бойтесь. Все, что есть старого в писательстве, все, что есть в нем забвенного, все это с кривым лицом бросит в вас обвинение в фотографичности, в мемуарности. Не бойтесь. Выдумку всякий дурак сумеет обобщить,— живую жизнь сумеет синтезировать только истинное художественное творчество.

И еще: истинное творчество тогда не мертво, когда оно глядит на жизнь, на борьбу революционными глазами восставшего класса, а не померкшим взглядом уходящего в забвение.

ПРЕДИСЛОВИЕ К «ДОНСКИМ РАССКАЗАМ» М. ШОЛОХОВА

Как степной цветок, живым пятном встают рассказы т. Шолохова. Просто, ярко рассказываемое чувствуешь — перед глазами стоит. Образный язык, тот цветной язык, которым говорит казачество. Сжато, и эта сжатость полна жизни, напряжения и правды.

Чувство меры в острых моментах, и оттого они пронизывают. Огромное знание того, о чем рассказывает. Тонкий схватывающий глаз. Умение выбрать из многих признаков наихарактернейшие.

Все данные за то, что т. Шолохов развертывается в ценного писателя,— только учиться, только работать над каждою вещью, не торопиться.

ЕСЕНИН

«De mortuis aut bene, aut nihil» — «О мертвецах либо хорошо, либо ничего».

Так ведь это ж самая буржуазная, самая враждебная пролетариату поговорка, родившаяся в архибуржуазной общественности древних римлян?!

Умер — нет человека, кончилась индивидуальная жизнь. Осталась только общественная его часть, отношения к коллективу.

Как же не расценить их? Не только можно, но и должно. Не для мертвеца — его ведь нет, а для живых, ибо живые строят живую жизнь, анализируя жизнь мертвых. А если так, кому же нужно вранье?!

Если подох кровавый провокатор, неужели о нем молчать или говорить хорошее?

Обычно же человек оставляет после себя для коллектива двойное наследство — и положительное и отрицательное. Так как же тут молчать? А говорить только хорошее, значит, лгать. Нужен общественный анализ, правдивый, а не враки.

Буржуазная оценка мертвецов чрезвычайно похожа на буржуазные юбилеи. Сидит со святой рожей истомленный почестями юбиляр, а кругом с восторгом и со

слезами целый день несут ахинею и исступленно кадят в самые ноздри и, отвернувшись, измученно отирая пот, говорят вполголоса друг другу: «Вы посмотрите на эту дылду — сидит, как истукан, и все за чистую монету принимает». Вот то же самое и с мертвыми. Скажите, разве нужно пролетариату это лицемерие?!

Умер Есенин, и пошла писать губерния! Столько наворотили ахинеи (с восторгом и со слезами!), столько лицемерия, столько лжи общественной — уши вянут. Зачем, кому это нужно? Кроме зла, кроме извращенных представлений — ничего.

Кто такой был Есенин?

С огромной интуицией, с огромным творчеством — единственный в наше время поэт. Такой чудовищной способности изображения тончайших переживаний, самых нежнейших, самых интимнейших — ни у кого из современников. И огромная, все ломающая смелость эпитетов, сравнений, выражений, поэтических построений. Сам. Ни у кого не спрашивал, никому не подражал. За ним косолапо тащились другие, бездарно и убого.

Чудесное наследство.

Кто же такой был Есенин?

Это был несчастнейший человек. Судьба подарила ему дивный дар, судьба подарила ему счастье жить в чудеснейшую, изумительнейшую эпоху, а он, весь, сердцем, корнями, думами, любовью, весь, весь в прошлом, в былом. В прошлой деревне, в былых ее настроениях, в былом быте, чувствах, мыслях, отношениях,— ужас умирающего прошлого мертвенной длинной хваткой тянулся за ним, молодым, живым, талантливым, творческим, тянулся и омертвил...

ВЕЧЕРА РАБОЧЕЙ КРИТИКИ

Это были конюшни, и в них стояли лошади великих князей, которые приезжали в модный загородный ресторан по Каменноостровскому, пьянствовали и развратничали.

Теперь стены выбелены белой краской, стоят нетолстые белые колонны — клуб ленинградских металлистов.

Я — за красным столом и смотрю на лица рабочих читателей, желтеющие вплоть до задних окон и боковых стен.

Нет, я не за тем здесь, чтобы прочесть отрывок из своих вещей, раскланяться и уйти.

Ведь дают же отчет перед рабочими массами, отчет о своей деятельности, о своей работе партийные, советские, профсоюзные работники, наши хозяйственники. И разве художник не должен дать отчет о своей деятельности, о своей работе рабочему читателю?

Но почему же раньше об этом никто не заикался? Да потому, что в начале революции было не до того,— бои, голод, разруха. А второе — рабочим массам надо было подтянуться к литературе, да не отдельным единицам, не тонким читательским прослойкам, а нужно было появление массового читателя.

И он появился, этот читатель,— сотнями тысяч. И он предъявил свое право, право требовать отчета от своего работника в художественной области.

Я стою у красного стола; сотни глаз напряженно не отпускают меня. Мне не нужно излагать содержание своих произведений,— товарищи библиотечные работники союза металлистов организованно, умело и стройно провели подготовительную кампанию. В библиотеках союза — их тридцать — каждый раз, как рабочие приходили менять книги, им предлагали перечитать и вдуматься в произведения писателя, вечер которого подготовляется. Роздали крохотные листовочки-памятки с портретом, краткой биографией, очень сжатой, толковой оценкой. Опрашивали читателей, каково их мнение об этом писателе; причем помечали, какого завода, сколько лет, работник или работница. В «Металлисте» — статьи о писателе и о вечере.

И теперь эти сотни глаз уверенно и спокойно смотрят на меня,— знают, кто я, что дал и чего от меня можно требовать.

Читатель, рабочий с Балтийского завода, кратко говорит о значении «вечеров рабочей критики». Приглашенный специалист по истории литературы очень сжато дает для тех, кого миновала кампания, мою биографию и характеристику работ.

Потом я рассказываю, как строил «Железный поток». Их все интересует: и какие задачи ставил себе

(отразить в эпизоде отношения крестьянства к революционной борьбе — анархическая, беспорядочная вначале масса через невыносимые страдания, кровь, слезы, отчаяние приходит к организованности, пронизанной преданностью советской власти); и насколько близко совпадает изложенное с действительностью; и как я собирал материал (перекрестный допрос участников); и был ли сам в тех краях, знаю ли население, быт, страну; верно ли передал пейзаж.

Указывали на неверности, противоречия: матросы были самой революционной частью прежних войск и в революции самыми ярыми бойцами, а у меня — бандиты. Кожух собрался драть солдат за грабеж, а штаб свой, одетый во все новенькое, очевидно, снятое с грузин, не тронул.

Сыплется ряд вопросов, записок. Устные вопросы товарищи-устроители записывают, систематизируют, чтобы легче было отвечать. Записки нумеруются и тоже систематизируются с выключением повторных вопросов.

В зале с колоннами, наполненном желтеющими лицами, звучит низкий, густой, без напряжения, всюду слышимый, спокойный, уверенный голос металлиста.

— Я, товарищи, представитель литературного кружка...

— Какого завода? — перебивают устроители. Как и в анкетах, здесь заносятся опять-таки незаметно для опрашиваемого все о нем сведения.

— «Электросила».

— С «Электросилы»,— несутся, помогая, голоса со скамей.

— Наш литературный кружок поручил мне зачитать наш отзыв о произведениях писателя Серафимовича. Ну, мы читали и обсуждали его «Железный поток» и нашли, что очень хорошо написан и образы такие, будто сам там побывал и сам все испытал. Ну, только есть одно, и мы это обсуждали; на кажной странице у него мат. Нам и так это надоело, куда ни сунься, все загибают: и на улице — мат, и на заводе — мат, и домой придешь — мат, и в книгу заглянешь — мат. Нам надоела эта чубаровщина. И мы желаем, чтобы в книге этого не было.

Он смолк, тишина наполняла бывшую конюшню с белыми колоннами. Да вдруг сорвался с передней ска-

мейки в линялом пальтишке (а за стенами мороз) и замазанный, видно, прямо с производства.

— Так что, товарищи, неправильно,— заговорил он страшно торопливо, захлебываясь воздухом,— так что неправильно! Ды я сам был на фронте. Дык во, прямо наступают... Схватишься за пулемет, ах тты... заело...— он необыкновенно торопливо, слегка присев, замотал руками над самым полом, с страшным напряжением выправляя заевшую ленту,— ну, никкак!! а энти во, тут!.. Ахх тты мм... стало быть, это как даванешь энтим словом, лента сразу на место и...

Он весь изогнулся, страшно вытянул шею, глядя на врага одним правым глазом, и повел над полом пулеметом.

— ...Та-та-та — па-а-бежали! — проговорил он с засветившимся лицом, выпрямляясь.

Зал охнул, все облегченно заворочались и зааплодировали.

Вышел молодой:

— Товарищи, это неправильно тот товарищ говорил, не знаю, как по фамилии, с «Электросилы». Ежели бы автор смаковал, дескать, эх-мма, просто, чтоб подковырнуть, просто для куражу, ну, тогда так... Есть такие писатели, за каждым словом загибает и без всякой надобности, читать противно. А тут сущую правду пишут. Возьмите этих крестьян, которые отступали около моря,— он те загнет без всякой злобы, в быту у него, вот его надо правильно описывать, а то много ли радости в брехне? Крестьянин — как есть крестьянин, ты и пиши.

— Правильно! Верно!

Тогда приходит записка:

«А когда крестьяне, которые в этом походе столько страдали и где через кровь и страдания организовались, опять сядут на землю, будут ли они такими же организованными или опять обрастут самоварами?»

Да, рабочие в художественном произведении ищут не только удовольствия, отдыха, но и учебы, разрешения социальных, экономических, бытовых запутанностей.

И когда кончился вечер, рабочие настойчиво и сурово выносили:

— Писатели должны дать нам такую же широкую картину нашей жизни, быта, как мы работаем, обраща-

емся с женами, детьми, как выпиваем, чего мы добились,— такую же широкую картину, как те, где описывается крестьянство.

В Ленинграде эти вечера проходят наиболее умело, организованно. Но и на вечерах в Москве, в Харькове, хотя там и не так стройно, рабочие предъявляют свои читательские требования.

«Пишите понятно, а то у вас не русский язык, а какой-то бестолковый». «Пишите про рабочих, а то все про крестьян». «Очень короткими строчками пишете, не успеешь раскусить, глядь, ан она уже кончилась, и не понял». «Нам нужно большие книги,— взял человека с начала и веди его до конца. А то что́ тоненькие,— и обернуться не успел, а конец. Так мы лучше старых будем читать».

Наконец, наконец-то создается широкая читательская среда для писателей — своя классовая среда, без которой жизнь и здоровое творчество невозможны.

ЧИТАТЕЛЬ И ПИСАТЕЛЬ

Товарищи, перед вами часто выступают с отчетами политические и общественные работники, хозяйственники и др., и вы контролируете их работу, указываете на их ошибки и всегда держите их, так сказать, под своим контролем. Но вот впервые перед вами с таким же отчетом выступает художник-литератор.

Может быть, вам покажется странным, как это литератор будет давать отчет.

А вот буржуазия отлично знала, что нужно художника держать под таким же контролем, под каким она держала своих общественных и политических работников.

В дореволюционное время буржуазия влияла на литературу и прямо-таки требовала от писателя тех или других тем. Конечно, это влияние проводилось очень тонко. Не надо себе представлять дело так, что вот буржуазия приходит к художнику, берет его за горло и говорит: «Пиши, мол, о том-то и о том-то». Картина была другая; вот пишет человек о крестьянстве, а критика говорит: «Мужиком заполнили всю литературу, в лите-

ратуре дегтем воняет, пора наконец кончить»,— и буржуазный читатель не читает и не покупает таких книг.

Рабочие и крестьяне и темны были и безграмотны, царь их накачивал водкой, они поддержать близкого им писателя не могли. И получалось: писатель вертится-вертится, и приходится ему в конце концов писать о высокой любви, о том, как «она» и «он» сидели на бархатном диване, о том, какие утонченные и сложные были у них переживания и т. д. Так буржуазный читатель создавал нужную ему литературу.

В начале нашей революции глубоко треснула русская литература, и у вновь поднявшегося класса почти ничего не осталось. Отдельные одиночки-писатели были, появилась и масса начинающих, зачастую малограмотных писателей из рабочей и крестьянской среды, а литературы не было.

Почему? Да потому, что для создания литературы недостаточно иметь писателей,— нужно, чтобы эти писатели имели поддержку, имели идейное питание, а такую поддержку, такое питание может дать только класс. Но прежний класс, питавший свою литературу, великолепную литературу, мировую, сошел со сцены, а пришедший к власти пролетариат в этом отношении не успел организоваться с самого начала. И хотя появились отдельные писатели, они еще не окрепли, масса рабочих не могла им создать той питательной среды, в которой они могли бы жить, развиваться и художественно расти.

Вот вы только первый раз собрались в этот зал, чтобы проверить художника, как он пишет, как он работает, как он выполняет задания своего класса. А вот раньше вы не собирались. А писатель вне своего класса существовать не может: он хиреет, сбивается. Это мы видим на примере некоторых наших писателей.

Эти писатели погибли, как только они отошли от рабочей массы; так и пошло одно за другим: ушли из партии, чтобы уж заодно партийная работа не мешала писать, порвалась у них связь со своим классом, с партией — и стали они хиреть.

Итак, в начале революции пролетариату было не до литературы, во-первых,— а во-вторых, тогда у массы

пролетарской не было подготовки, не было пролетарской литературной среды, и поэтому было чрезвычайно трудно работать пролетарскому писателю, было почти невозможно расти пролетписательскому молодняку.

И вот только теперь собрались рабочие читатели и позвали к себе писателя, стали писателя контролировать.

Теперь развертывается целая полоса бесед читательской массы с писателем. Подобные собрания происходят в Москве, в Харькове.

Стало быть, это не искусственное и не единичное явление, а это общее явление. Эти вечера показывают, что поднимается рабочий класс в массе, что в массе его вырастают читатели-критики, что уже настало время, когда рабочий класс почуял силу создать свою литературу, направлять ее, корректировать ее,— словом, дать ей жизнь.

Конечно, процесс этот совершался медленно, но совершался непрестанно. А теперь мы сразу увидели его потому, что он всем бросается в глаза.

У меня лично слабые внутренние связи с пролетарским читателем были и раньше, но этих связей, которых часто даже не проследишь, было недостаточно; не было у меня раньше прямых видимых связей, и только теперь они устанавливаются.

Только теперь класс стал забирать писателя под свой контроль, и теперь пролетарская литература с новым успехом начнет развиваться.

Это, милые товарищи, не беда, что сейчас нет таких звезд, какие были раньше среди буржуазных писателей. Ведь за буржуазной литературой — столетия, а революционному пролетариату, как строителю своего государства — без году неделя, десять лет всего! Но тяготение пролетариата к созданию своей литературы так же бурно, как его тяготение к переработке всех общественных отношений, всех областей хозяйства. Вот и не беда, что пока нет у нас такой блестящей литературы, как в старое время. Важно, что мы над нею работаем,— значит, она будет.

Товарищи спрашивают меня: «Что дают вам вечера рабочей критики?»

— Очень много, очень много, очень много! На этих

вечерах я встретил своего читателя, я почуял связь с ним, я, так сказать, поглядел на него, я выслушал его требования, я выяснил ту правку, которую он вносит в мою работу, и это для меня, как для работника пролетарской литературы, драгоценно.

Это как раз и есть та смычка писателя с читателем, которая заставляет писателя расти, которая наполняет его нужным классовым содержанием, которая дает ему классовую директиву. Все, что вы говорите мне, я продумаю, и скажу вам прямо, в чем вы меня двинули вперед, а в чем вы и сами ошибаетесь.

Пролетариат уже научился выковывать себе работников в военной области, в области политического руководства, в области хозяйства, и вот наконец наступило время, когда пролетариат делает усилия, чтобы и в области художественной выковывать своих работников и влиять на тех, которые остались нам от прошлого. Такие вечера в известной мере также помогают выполнять эту задачу.

Один товарищ здесь спрашивал: почему в нашей литературе жизнь рабочих не описывается, почему не описывается работа на заводе, отношения рабочих друг к другу, отношения их ко всему окружающему.

Правильно товарищ делает это замечание.

Нужно показать рабочий быт, а до сих пор этого не было сделано. Нет ни одного, в сущности, произведения, где бы жизнь рабочих во всех ее проявлениях была ярко дана.

В старой литературе чудесно дана жизнь помещиков, жизнь буржуазии, жизнь интеллигенции, а жизни рабочих нет ни в прежней, ни в нашей литературе. Показан разве только крохотный, маленький осколочек, да и тот очень не типичный.

Причины этого явления лежат глубоко. До революции писатели жили в буржуазном обществе, в интеллигентской среде. Эти писатели крестьян еще могли наблюдать: они ездили в деревни, либо на дачу, либо к помещику репетитором и видели, как живут крестьяне. Приедет писатель в деревню, видит: солнышко светит, пойдет гулять, к крестьянам зайдет, молочка попьет, с крестьянином потолкует. А к рабочему в подвал писатель не ходил: там негде гулять, там сливок не покушаешь.

А на фабрику до революции, если бы и хотел писатель нельзя было попасть: сию же минуту загребут.

Поэтому-то вся русская литература и была оторвана от рабочих, особенно от заводских и фабричных.

Теперь же дело в том, что за десять лет советская литература просто не могла перестроиться; она перестраивается, но очень медленно, сравнительно с запросами. Вот чем объясняется, что даже пролетарские писатели или совсем не уделяют места описанию быта рабочих, или уделяют очень мало.

Вы задаете мне вопрос: почему вы, писатели, наш быт не описываете? Этим вы нас, художников, толкаете на определенную работу, этим вы до известной степени осуществляете тот контроль, о котором я говорил.

Теперь этот контроль рабочих-читателей разрастается, собираются читатели и дают директивы, задания писателю. И я думаю, что этим путем художника и можно привлечь к быту, к жизни рабочего класса.

Я думаю, что жизнь рабочих глубоко и всесторонне будет описана прежде всего самими рабочими, когда они создадут писателей из своей среды.

Я, грешный человек, думаю об этом написать, но, признаться, написать очень трудно. Не трудно написать, как за станком стоит рабочий, можно описать и семейную жизнь рабочих, но теперь этого мало. Теперь нельзя давать отдельные картины, как бы они ярки ни были: они потеряли свою ценность. Теперь нужно дать большое полотно, нужно жизнь рабочих связать со всем теперешним строительством. Такое произведение должно говорить не только о жизни рабочих, но связать эту жизнь со всеми жгучими вопросами нашего времени, а это страшно трудно. Это неизмеримо труднее, чем было дать «Железный поток». Трудно потому, что люди изменяются чрезвычайно быстро, изменяется и характер событий, постоянно сталкивающихся. Из этих столкновений тысячи противоречий вылезают.

Возьмите дореволюционный быт рабочих: этот быт был определенный, устоявшийся. Посмотрите на рабочий быт теперь: сколько в нем расхождений и противоречий, которые объясняются сложными внешними причинами, глубокой социальной перестройкой.

В Москву я повезу от вас наказ себе и всей пролетарской литературе. Правильны ваши слова. Надо нако-

нец взять эту почти нетронутую, невспаханную черноземную землю — рабочий быт и рабочую жизнь. Я сказал, что у меня нарастает потребность отразить рабочий быт в большом художественном произведении, назревает она и у других пролетарских писателей, я это наблюдал. Сегодняшний вечер меня особенно на это наталкивает. Попробую написать из рабочей жизни и строительства, а уж что выйдет — не знаю.

Товарищи! Здесь многие касались больного вопроса об отрыве писателя от рабочего читателя. Да, мы оторваны, и это для нас — самая опасная вещь.

И отрыв этот есть не только у старых писателей, связанных с прошлым, но и наша молодежь в значительной мере страдает этим. Вопрос этот очень больной, для писателя такой отрыв очень опасен, ибо если такая оторванность вклинивается в его жизнь надолго — он мертвый писатель, он ни для читателя, ни для рабочего класса совершенно не нужен, ибо жизнь-то ведь идет, строится и строится обновляющимися, растущими людьми, и как только писатель оторвется от этой жизни, сядет за стол и начнет высасывать,— с этих пор он и становится никому не нужным.

Я повторяю, что этот вопрос очень сложный, и я остановлюсь только на одной стороне этого вопроса.

Я думаю, что и читатель мог бы в этом деле помочь писателю, сам читатель мог бы до известной степени выправить положение,— и вот это сегодняшнее собрание — это кусочек такой выправки. Но читатель может еще и в иной форме к нам подойти. Прежде всего, товарищи, не нужно смотреть на писателя как на икону, как на что-то такое, чему нужно удивляться. Мы, писатели, из такой же кожи сшиты, как вы все, и простое, товарищеское, самое обыкновенное отношение — оно для нас чрезвычайно важно. Читатель, как только он встречается в той или иной форме с писателем, должен ему говорить, что он находит у него верного или не верного со своей точки зрения: мало этого, он должен идти к нему со своими запросами, со своими размышлениями, со своей оценкой жизни. Конечно, самый правильный путь связи с читателем заключается в том, чтобы писатель работал среди масс, но это не всегда осуществимо, и поэтому мы должны устанавливать смычку писателя с читателем всяческими путями и формами.

Товарищи, массовый читатель подходит с разными требованиями к писателю. Одни, например, говорят, что вот «Цемент» Гладкова — великолепная вещь, а другие говорят: ничего не понимаем, потому что язык трудный. И это не только к «Цементу» относится, но и к другим вещам. Как разобраться в этих противоречивых отзывах?

Читательская масса не одинакова, в ней есть, несомненно, разные прослойки: это — один момент, который объясняет эти разноречивые отзывы. А другой момент состоит в том, что нельзя заставить писателя, чтобы он держался только старых форм. Язык — ведь это живая штука, ведь он развивается, поэтому появление новых форм — это неизбежное движение жизни. Конечно, и тут есть уродливости, как и во всем, но это читатель должен отмести, он должен сказать: «Да, здесь форма, стиль растет, а тут коряво, тут неправильно».

Итак, я думаю, что нельзя предъявлять общих требований, а тут нужно известное деление. Вы посмотрите, как ни гениально просто писал Толстой, но и он проводил такое деление. Ведь, скажем, он дал «Войну и мир», «Анну Каренину», а в то же время он для крестьянина написал гениальные по форме, но уродливые по идеологии маленькие вещи, например «Два старика», «Трое нас, трое вас» и т. д. Он чувствовал, что пока рабочая и крестьянская масса культурно не поднимется и в целом не будет предъявлять одинаковых требований писателю, приходится в известной степени идти навстречу различным слоям. Это остается верным и для нашего времени.

Но тут горе вот какое: писатель думает, что ежели он пишет большой роман или рассказ для толстого журнала, то это и есть художественная литература, а если он пишет для крестьянок и работниц, которые только начинают читать, так это какая-то черная работа, которую приходится поневоле делать. Такое отношение — глубочайшая ошибка.

Толстой над своими крохотными вещицами работал с большой тщательностью, и у него получались истинно художественные произведения, а мы, работая над такими вещами, халтурим, мы стремимся поскорее их сделать да с рук сбыть. Вот тут ваше дело, читатель, нас одер-

нуть и потребовать, чтобы мы одинаково, с одинаковым творческим напряжением работали над романом и над такими крохотными вещами, которые писатель дает для начинающего читателя.

ОТКУДА ПОВЕЛИСЬ СОВЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ

Пришел Октябрь. Задымилась Москва. Заухали орудия.

Пулеметы, дробно перебивая друг друга, зататакали бездушно и суетливо. Юнкера стреляли из окон, с крыш. Рабочие и солдаты в одиночку и группами проползали к воротам, к подъездам тех домов, откуда стреляли юнкера, притулялись в уголку, терпеливо ждали и винтовкой или маузером снимали неосторожно высунувшегося врага.

Но и юнкера не дремали и иной раз били наверняка, и долго у ворот или подъезда, свернувшись, серела или чернела на застывающей октябрьской земле неподвижная фигура в заношенном пиджаке, пока в темную, холодно моросившую ночь не пробирались товарищи и не уносили тело.

Так тянулись мутные дни и сырые ночи.

И вдруг все смолкло, и потекли по улицам толпы победившего пролетариата. И было голодно, и было холодно, и хрустела под ногами отбитая штукатурка, и не было одежи, но закипела работа. С ввалившимися лицами рабочие среди развалин, саботажа, заговоров, подпольной злобы воссоздавали организации, учреждения, здания, снабжение, школы, лекции, санитарию, печать, литературу — среди чудовищной разрухи. И литературу...

Да надо создавать печать свою, литературу свою...

Московский Совет поручил мне издание журнала. Трудно было. Представители старой литературы отвалились. Новых не было. Да и не до литературы было — голод, холод, неукротимая борьба. Сидел я на пустом месте и с отчаянием выискивал, чем наполнить журнал.

И тогда пришел солдат. Рваная шинель, и был он испитой и замученный. Лицо ввалилось, да и лица-то не было, бескровное, землистое,— были одни глаза. Свети-

лись они,— и я не мог разобрать,— не то лихорадкой, не то неизбывным горем, не то невместимой безбрежной радостью.

Ах, да что это! Как будто уж некуда,— как будто расплескивался этот блеск, и не было человеческих сил удержать его.

— Садись, товарищ.

Он сел на краешек стула, обдавая меня, заливая комнату все затопляющим блеском лихорадящих глаз...

И протянул конфузливо:

— Вот, товарищ... тут про окопы... стало быть, как мы...

И мне вдруг показалось — чуть-чуть померкли глаза. Я с трудом разворачиваю вдоль и поперек свернутый серый оберточный клочок и с величайшим трудом не столько разбираю, сколько догадываюсь по этим во все стороны расползающимся кривулям. Ничего не разберешь. Чую только — окопы, ахвицеры, деревня, сынок Ванюша...

И мне стало жаль его. И я сказал:

— Товарищ, я напечатаю ваши стихи. Только... вам подождать нужно, а то материалу много... так по порядку...

И комната, и я, и он сам, мы захлебнулись горячечным блеском его глаз и неудержимой улыбкой морщинами. Он радостно поднялся:

— Ффу-у!.. Ды я хучь год!.. Сами понимаете— хлебнули всего... теперича в деревню...

А назавтра пришло двое. В таких же потрепанных шинелях, в рваных сапогах, заморенные.

— Во, товарищщ... може, напечатаете?

И так же долго разворачивали много раз сложенную оберточную бумагу. Так же с величайшими усилиями едва можно было расшифровать чудовищные каракули.

А потом стали ходить рабочие, с ввалившимися голодными лицами, отрепанные и с блестящими глазами.

А потом меня пригласили в Московский Совет.

— Вот, товарищ Серафимович, вот нам присылают каждый день,—по двадцать, по тридцать стихотворений присылают. Есть и рассказы, но в подавляющем большинстве стихи. Вот мы их и собираем.

На полу лежали наваленные тюки, перехваченные шпагатом.

— Не используете ли хоть что-нибудь? Ведь это первые попытки освобожденного народа. А?

Я порылся. Из сотен, из тысяч можно было взять одно, два, да и то с переделкой. А стихи текли и текли неудержимым потоком, как будто прорвало плотину.

Я ахнул. Да ведь это же не стихи! Это — неудержимый, неостанавливающийся вопль... Неугасимый голос слез, отчаяния, ужаса и вместе радости счастья, безмерности надвигающегося. Это — радостный крик людей, глянувших из сырой задыхающейся могилы, — и вдруг блеснул просвет чуть приоткрывшейся судьбы.

А теперь в поездках моих в каждом городе, в каждом городишке, в глухой станице я встречаю кружок пролетарских писателей. И в провинции, если только есть газета, так в ней непременно литературная страничка местных, своих писателей. И газете уже не нужно клянчить и выпрашивать у центра литературный материал. И посмотрите, какая у них идет работа! Как тянутся они к мастерству!

И разве пролетарский молодняк не начинает наполнять журналы в центрах? Разве читатели не повернули головы к «Разгрому» Фадеева? Разве широко размахнувшийся красочный и углубленный Шолохов не глянул из-за края, как молодой месяц из-за кургана, и засветилась степь? И разве за ними шеренгой не идут другие? И ведь это все комсомол либо только что вышедшие из комсомола.

Да, когда-то дикий, нераспаханный чернозем, захлебнувшийся воплем — стихами. И из него за десять лет густо, как озимь, — молодая поросль творчества, пронизанная наливающимся мастерством. За десять лет!

Послушайте, — ведь этого же нет ни в одной стране!

ИЗ ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ

Некоторые хозяйственники на наших фабриках и заводах долго и упорно относились друг к другу по старинке, как относились друг к другу в буржуазное время: тогда каждая фабрика караулила другую, чтоб та не

пролезла в ее производство, не подметила ее методов улучшения, ее производственных находок. Такое отношение в те времена было неизбежно, ибо для фабриканта было вопросом жизни и смерти сожрать своего конкурента, ибо каждый был за себя, а только лживый и кровавый бог — за всех.

И только теперь наши хозяйственники медленно освобождаются от таких волчьих отношений, часто под давлением рабочих масс, ибо спасение и жизнь ныне — только во взаимно согласованных усилиях, в коллективном строительстве.

Но отчего же у писателей по старинке? Отчего писатель забивается в нору, и там в полутемноте совершается творческий процесс его производства? Редакция «Октября» предлагает писателям: давайте время от времени сходиться вместе в отделе «Записки писателя», сходиться так, как сходятся теперь красные директора, и делиться опытом, методами работы, производственными находками.

Какой смысл?

Огромный. Читатель растет не только на готово поданном ему произведении, но и наблюдая самый процесс художественной стройки. И молодой, начинающей писательской поросли это поможет.

Только — выходить не в плаще, ниспадающем небрежно с плеча, не в шляпе с великолепным пером вдохновения, а попросту, в рабочем костюме.

У меня спокон веков плохая память и на события и на лица,— я близорук. Но я был горд и не вел никаких записей или очень редко записывал. «Кто записывает — это канцелярист, а не писатель, он раб своих записей, они его съедают, он теряет способность к синтезу, утопая в сыром материале». Нет, я не записывал,— я брал все типичное из головы и строил.

Давно это было, задолго до революции. Заходит ко мне знакомая курсистка и рассказывает:

— Вчера я была у Льва Николаевича Толстого в Хамовниках. Студенчество делегацию к нему посылало. Наши курсы выбрали меня в эту делегацию депутаткой. Приходим. Подождали немножко. Выходит Лев Николаевич. Не пригласил сесть. Каждому подал руку. На каждом лице на долю секунды задержал острый, колющий взгляд из-под насунутых бровей. Нас было двена-

дцать человек. Студент сказал короткую приветственную речь. Лев Николаевич поблагодарил и, такой же нахмуренный, повернулся и ушел,— видно, от работы оторвали. Пробыли мы у него минуты четыре.

Ушла курсистка. Время побежало. Время от времени мы с ней встречались. Года через три она уже кончила.

Как-то зашла и среди разговора, перебив его, она, странно взбудораженная, стала рассказывать:

— Можете себе представить, ведь я опять попала в делегацию к Льву Николаевичу — студенческая. Делегация вся новая, за исключением меня. Повторилось то же самое, что три года назад. Ему нездоровилось, а отказывать не хотелось. Вышел, насупленный, на минутку, сесть не пригласил, чтоб не задерживаться, каждому подал руку, на крохотную долю секунды каждого кольнул глазами и вдруг странно забеспокоился, больше насупился и еще раз остро пробежал глазами по лицам. И, перебивая скороговоркой говорившего приветствие студента, с тем же напряжением беспокойства и сердитостью в глазах, точно он торопливо что-то разыскивал в голове и никак не мог найти, сказал, обращаясь ко мне:

— Мы с вами будто встречались где-то?..

— Да, Лев Николаевич, я у вас была три го...

— А-а... да, да... помню... помню...

Попрощался и ушел. А у меня ноги задрожали от испуга. Понимаете, человек раз в жизни долю секунды скользнул по лицу другого человека, да еще в этой мимолетной обстановке встречи надоевших депутаций,— и это лицо отпечаталось в мозгу. Через три года! А за эти три года перед его глазами тысячи людей прошли. Через три года опять в мимолетной встрече, да еще среди девяти новых человек — нас было всех десять — он полез в свою память и вытащил этот отпечаток... Ведь это же почти нечеловеческая, противоестественная память.

— Ну, что же, стало быть, судьба расщедрилась: подарила гений и изумительную память.

Через несколько лет мне показали... записную книжку Льва Толстого. Оказывается, записывал.

Поразила запись: «Белый с черной оторочкой чибис пролетел и опустился». Да ведь он тысячу раз видел так характерных для степи птиц — чибисов.

Так зачем же он записал? Ясно, что тихо севший чибис с траурной оторочкой — это только крохотный кусочек, от которого разворачивалась в его воображении, быть может, огромная картина пережитого настроения, встречи с людьми, картина событий, воспоминаний. Записанный чибис—это тоненький конец, за который если потянешь — развернешь целую картину.

Я пошел, купил себе книжек и стал записывать. Уж если Толстой с его чудовищной памятью записывал, так мне и подавно.

Но оказалось,— это не так легко. Конечно, просто наворотить в книжку все, что видишь, но ведь под этой грудой записей задохнешься. Очевидно, надо выбирать, очевидно, надо научиться записывать.

И я стал учиться. Я стал учиться записывать в книжку.

Надо выбирать для записи *самое главное, самое типичное*. А что самое главное? Я стал присматриваться: у Толстого записи — одни, у Чехова — другие, у крестьянского писателя — третьи, у пролетарского — четвертые (если он хотя бы в известной степени высвободился от давящего влияния великих писателей, откуда технически мы все тянемся).

У каждого *самое главное* — свое.

И чибис страшно характерен для Толстого. От чибиса, от светлой птицы, потянулись бескрайные картины толстовских полей, пашен, деревенского быта, помещиков и помещичьей жизни. В этом маленьком чибисе весь необъятный Толстой.

У него есть городская запись: «Женщин из публичных домов согнали выбирать траву, которая с неудержимой весенней силой пробивается между камнями мостовой». «Воскресенье» и начинается с этой картины. И тут, в этой коротенькой записи — весь Толстой, все его отношение к городу, отношение вражды и ответственности.

У Чехова много записей смешных людей, смешных фамилий, смешных событий — все, что характеризует мещански-уродливое искривление жизни, интеллигентскую изломанность, бессилие.

У каждого писателя записи определяются всем его внутренним писательским строем.

Я оглянулся: у меня либо никаких записей, либо случайные и хаотические.

Я много писал о трудовой жизни, о тружениках. Но как мало у меня индивидуального разнообразия! Живо только конкретное, а конкретное берется только из жизни — это *единственный источник*.

И я стал учиться и до сих пор учусь. Учусь организованно схватывать наблюдения, схватывать то, что есть самое главное для моего писательского строя.

ТИССА ГОРИТ

Быть может, мало произведений оказались столь нужными, пришлись так ко времени, заполнили столь огромную нужду знать, что происходит, как помещенное в «Роман-газете» произведение венгерского коммуниста Бела Иллеш «Тисса горит».

И это не столько потому, что мы о венгерской революции ничего не знаем (а знать мы обязаны), сколько потому, что в венгерской революции удивительно типично в чистом виде расположились классовые силы. А Бела Иллеш четко сумел отразить эту расстановку, точно перед вами расстилается историческая шахматная доска и вы своими глазами следите за всеми ходами классовых сил.

Экономно, сурово-сжато вводит читателя Бела Иллеш в самую гущу революционных событий.

Венгерским революционерам-большевикам некогда пить, некогда поесть, некогда хоть на минуту завести воспаленные глаза, чтоб ухватить крохотный кусочек сна в сутки, ибо с безумной быстротой несутся исторические события.

Западная художественная литература не знает социально-революционного романа нынешней эпохи, не знает широкого полотна *реалистического* воспроизведения кипящей революционной борьбы.

Есть два произведения, которые подошли к этому типу романа: «Джимми Хиггинс» Синклера и «В огне» Барбюса. Но каждый из них изобразил по одной половинке революционного процесса: Синклер — широко общественные события, но, в сущности, не дал живых людей; Барбюс огненно зарисовал тончайшие человеческие переживания, из которых вырастает революционная

борьба, но у него нет полотна революционно-исторических событий.

Бела Иллеш сумел объединить то и другое. У него живые люди, живые большевики раскрываются в самой ткани развертывающихся исторических событий.

Венгерских большевиков видишь глазами, их чувствуешь. Как будто давно с ними сталкивался, давно их видел. Их корни тянутся из семьи, из окружающей обстановки, из дружбы, из классового происхождения. Их живыми видишь в разных изломах событий и борьбы,— это не трафаретные фигуры в кожаных куртках с стальными глазами.

И, дополняя картину расстановки сил, живым рисунком выделяет Бела Иллеш в ткани проносящихся событий то, что всюду противостоит большевикам: гангрену рабочего класса — социал-демократию.

Неумолимо, шаг за шагом, раскрывается беспредельное меньшевистское предательство революции. И тут чуешь, это — не венгерские только меньшевики, это — меньшевики, это — социал-демократы как тип; это — мировые предатели, предатели по самой своей внутренней конструкции. Это — предатели за совесть. Если бы и хотели, они не могли бы быть (во всей своей массе как тип, а не отдельные исключения, которые только подтверждают правила) — они не могли бы быть иными. У них самая внутренность глаза устроена предательски,— революцию, рабочий класс, взаимоотношения пролетариата и буржуазии они видят навыворот: защищая пролетариат, они видят его с точки зрения буржуазии. Оттого они так долго слепят рабочих; оттого они так долго его предательски предают.

И эта внутренняя конструкция, этот мировой тип защитника — предателя жизни, счастья, революционной борьбы пролетариата развертывается в романе «Тисса горит» с неодолимой силой. Это оттого, что развертывание происходит органически в самой ткани грандиозных революционных событий.

Разве мало было фактов и статей о бесконечном предательстве социал-демократов, то есть меньшевиков? Но эти статьи берешь умом. А в «Тисса горит» воспринимаешь социал-демократическую натуру нутром, чувством, сердцем, и оттого закипает безудержная ненависть, которая родит борьбу и беспощадность.

И в этом громадное значение вещи.

Написано сжато, убыстренно,— тут чувствуется городская интенсивная культура, та интенсивность культуры, к которой с такой быстротой идет тяжко перекованный революционной борьбой пролетариат Советского Союза.

Реалистов-писателей в Венгрии не было, были романтики. Бела Иллеш не у кого было учиться в родной литературе. И он воспитался на русских реалистах — дореволюционных и нынешних революционных — и на немецких. «Тисса горит» — первое художественное полотно западной литературы, в котором — живые большевики.

Роман написан на венгерском языке, потом переведен на немецкий, а с немецкого — на русский. Нет переводчиков, знающих одинаково хорошо и венгерский и русский. Этот трехэтажный перевод сказывается на вещи.

«Тисса горит» — только первая часть развертывающихся революционных событий в Венгрии.

Автор романа «Тисса горит» — коммунист, венгерский эмигрант. На фронте империалистической войны из русских окопов в венгерские окопы, заражая, текли большевистские листовки, брошюры. Эти брошюры жадно подхватывались венгерскими солдатами. Солдат отдавали под суд, суд давил вплоть до расстрела, но рабочие и крестьяне в гимнастерках заражались большевизмом все больше и больше, и имя Ленина не сходило с уст.

Бела Иллеш, молодой солдат (родился в 1894 г.; кончил университет в Будапеште), был опален огнем большевистского учения, и с этих пор он — неутомимый революционер-большевик. Он дрался в рядах венгерской Красной армии с наступавшей со всех сторон буржуазией Чехословакии, Румынии, Югославии, Франции; дрался, защищая рабоче-крестьянскую власть Советов Венгрии. Он был непосредственным участником побед и поражений советской власти Венгрии, и выведенные в романе лица взяты из действительности. Оттого голос автора звучит так убедительно.

Теперь, в 1929 году, Бела Иллеш работает организатором пролетарских писателей в международном масшта-

бе. И в Германии, и во Франции, и в других странах смыкаются в объединения революционные писатели.

До романа «Тисса горит» Бела Иллеш дал книгу «Николай Шугай»,— это история революционной борьбы крестьянства в зарубежной Украине.

ЖИВОЙ ЗАВОД

(Впечатления)

Нет, этого мало — дать, что он дымит, завод-то. Что стоит грохот, и содрогается земля, и ухает паровой молот. Это — завод — декорация, который стоит в стороне и на фоне которого обычно разыгрывается повествование.

Именно такой завод чаще всего встречается в нашей пролетарской литературе до сих пор.

Не странно ли? Нет. Это — одна из форм отставания художественной литературы.

Оглядываешься — одни пролетарские писатели совсем не касаются завода. У других он только упоминается, где-то стоит за кулисами. У третьих он — только фон.

Исключение — лишь немногие.

Среди пролетарских писателей вырос один. Он дал живой, настоящий дымно-дышащий завод.

Живая ткань производства пронизывает ткань повествования. Рабочие дышат трудом, как дышат воздухом. Производство проникает быт, мысли, чувства.

Автор и техническую сторону изучил вдумчиво, подробно, и это необходимо.

Производство — это несказанного роста, неохватимой силы действующее лицо романа. Оно сурово и повелительно живет тяжкой громадой своей собственной жизни, в тончайших извивах свиваясь со всеми сторонами жизни людей, органически, неотделимо.

Любят, целуются, пьют, вредят, приходят смена на смену, работают, изобретают, отдыхают, борются, внутренне растут, невиданно расширяют свои знания о мире,— словом, жизнь. И все это громадно отформовывается производством, тем особенным, что дает заводской труд.

Но это отформовывание чувств, мыслей, познания, быта, тысячи мельчайших извивов жизни вырвано из слепого потока стихийности. Партия организованно и планомерно перевоспитывает, переделывает людей. И эта партийная работа правдиво, органически вплетена в ткань романа.

Два враждебных класса смертельно схватились в заводской производственной работе. Погибнут ли сыны мировой буржуазии, кроваво отстаивающие свою плотоядную жизнь (у них — могучее оружие производственного знания и опыта, без которых завод мертв), или армия рабочих, с напряжением строящая социализм, надломится,— вот вопрос. Этот вопрос в романе решается так, как он решен в жизни: сыны буржуазии гибнут, пролетариат победоносно строит социализм.

Все это пролетарский писатель, товарищ Ильенков рисует, пишет красками в своем романе «Ведущая ось» (журнал «Октябрь» — октябрь, ноябрь, декабрь 1931 г.).

Ведущая ось — это основная, ответственная ось в паровозе, на которую насажены работающие колеса. Паровозостроительный завод,— по-видимому, брянский, но местное, индивидуальное пронизано широким художественным обобщением. Масса лиц, и почти у каждого — свои черты, свое нутро, свои оттенки.

Ходит по заводу, ходит по цехам «хозяин». В грохоте, в отсветах кроваво-просвечивающего металла черные задымленные фигуры рабочих режут, вздымают молоты, потрясающе ахают, скрежещуще прокатывают. И ходит, ходит, постукивает палочкой «хозяин». Потускнел глаз, но пытлив, видит, все видит. «А как же это, ребятки?» Видит все неполадки, видит, постукивает палочкой.

Рабочий, трудовой заводской «отец». Рабочие его так и зовут. Скидают ему шапки, смотрят, ласково посмеиваясь,— любят его. Нет, никакой официальной должности он не занимает, никакой работы на нем не лежит, он только ходит, постукивает палочкой и замечает, все замечает, что незаметно проскочит для другого глаза.

Чудесно задумана фигура.

Нет, не задуман. Это — живой. Вырван из жизни, из заводской жизни, из заводского быта и чудесно озарен отсветом творчества.

Рабочий десятки лет дышал копотью и гарью завода — до революции. Потом после революции. Тут его дом, семья, любовь, заботы и труд, труд, труд. Труд раба до революции, труд хозяина после революции. Тут был молодым, тут состарился, тут и умереть. Опустились слабеющие руки, потускнел глаз.

Он — уже советский пенсионер. Но не только молодость, силу, труд, но и старость — заводу, но и накопленный долгий опыт — заводу. Ходит по цехам, когда они и молчаливые, постукивает палочкой, подслеповато всматривается. «Ага-га, вот оно...»—постучит палочкой.

Пронюхал, выследил старый вредителя. Вредители его убивают: тут родился, тут и умер.

Красный директор фабрики Честный старый партиец, бывший прежде каторжанин, преданный пролетариату, сам пролетарий, преданный делу социалистической стройки.

И как трудно, как трудно руководить этой громадиной, направлять эту заводскую машину. Чуть свернул с настоящей тропки,— глядь, а ты головотяп: разогнал всех спецов, и честных и нечестных; производство, искривившись, рушится, как гнилой дом.

Чуть неверно подался в другую сторону, и уже в лапах вредителей, и производство рушится. Вот это последнее и случилось с красным директором товарищем Корченко.

И какая тут страшная логика: оторвался от рабочей массы, попал в лапы спецов. А попал в лапы спецов, все больше стал отрываться от рабочих. И уже стал подтасовывать цифры, стал врать в лицо товарищам партийцам, конференции,— нет, не из шкурных побуждений, а для «пользы» завода, для пользы рабочих. И это уже торная дорожка к краху. Классовая борьба имеет свою железную логику: кончик пальца закусили, всего втянут.

Но какая же неодолимая сила в рабочем классе, в пролетариате, в рабочем коллективе! Тонущему протягивается заскорузлая с почернелыми от металла мозолями рука, он хватается, признает ошибки и опять дышит жизнью, интересами, великими задачами великого творящего на земле новую жизнь класса.

Так и с Корченко. Когда оглянулся: кругом дымятся развалины его руководства да исступленно оскаленные

морды вредителей, схваченных непрощающей рукой,— когда оглянулся, честно пошел в цех и стал опять частицей своего великого класса, частицей, выправляемой его великой силой, его великой работой, его неохватимым творчеством.

Эта замкнутая кривая развития характерна для многих действующих лиц романа. Роман пронизан диалектикой развертывающихся событий, развертывающихся характеров.

Рабочие в начале и рабочие в конце романа — это одни и те же, даже персонально одни и те же люди завода.

Рабочие в начале, рабочие в конце романа — это же совершенно разные, непохожие люди.

Вот рабочий Мохов. Он крепко прирос к старым формам семьи, быта. Он отодрал сына. А сын-то пионер. А пионеры постановили привлечь отца за битье сына к суду. И привлекли.

Мохов возмущен, взорван, а в глубине души горд и ухмыляется на сына: «А? видал времена!..»

Прошло время. Да разве это тот Мохов?! Мохов же, да не тот.

И рассказано это ласково и тепло.

Тем хорош роман: в нем не выдумано. В нем взяты люди живые, настоящие и обобщены в своих сплетениях, в своих сложных, часто противоречивых, отношениях, и большинству этих людей он сумел приобщить индивидуальные, им только присущие внутренние черты.

И еще чем силен тов. Ильенков, автор романа «Ведущая ось»: у него партийная организация живет не своей особой отдельной самодовлеющей жизнью, как в большинстве произведений до сих пор, а живет, дышит, работает вместе с жизнью, дыханием, работой завода, всей массы рабочих.

Только недостаточно полно развернута партийная работа. Ведь работают цехячейки, проводят кампании. И не два же человека в ячейке действенны. Надо было дать ячейку, бюро полностью.

Оговариваюсь: это ведь только первая книга. Быть может, автор широко развернет партийную работу. Все равно вначале надо было наметить.

Есть в романе и другие бо̀льшие или меньшие недостатки; на них укажет критика, которая развернется во-

круг этого романа. Одно несомненно: из небольших рассказов автор вырос и построил широкое полотно. И молодые пролетарские писатели будут учиться по нем, как строить большие полотна.

РАССКАЗ О ПЕРВОМ РАССКАЗЕ

Так вот. Меня на север привезли два голубых архангела — два жандарма; привезли в Мезень, у Ледовитого океана. Признаюсь, мне скучно показалось. Я сам с юга, с Дона, там веселые степи, яркие дни. А на севере, над тундрой — низкое тяжелое небо. Зимой двадцать три часа ночь, а летом солнце не заходит. Я летом приехал, так три дня спать не мог. Кругом были окна: взойдет солнце с того окна, а к вечеру опять в то же окно глядит. У нас, политических ссыльных, тяжелое было положение: полиция и жандармы всячески мешали крестьянам приходить к нам, старались изолировать нас. Но с нами был в ссылке один рабочий, ткач, с орехово-зуевской фабрики, Петр Моисеенко. Он создал первую в России крупную организованную стачку на фабрике; стачка великолепно прошла и так напугала правительство, что были созданы потом фабричные инспектора. У этого Моисеенко удивительная находчивость была. Столяром он никогда не был, а устроил отличную столярную мастерскую, и мы научились и выделывали там столы, шкафы, стулья учреждениям и купцам; работали и зарабатывали деньги. Приходили к нам с мелкими заказами и крестьяне. Обыкновенно полиция их не пускала, но крестьянин возьмет доску и говорит: «Мне в мастерскую». А полицейский ворчит: «Ты не сиди долго, скажешь и уходи». Эта мастерская дала нам возможность связаться с населением.

Но тут опять вышло нехорошо: приходит, бывало, мужик, снимает шапку и начинает искать по углам икону,— а иконы нет. Крестьяне перестали к нам ходить. Кругом слух пошел: «Там, мол, нехристи живут».

Моисеенко и тут нас выручил, он взял старый рубаночек, покрыл его лачком, и в самом темном углу, в паутине, прибил. Мужик приходит, кланяется и крестится на рубанок — и овцы целы, и волки сыты.

И опять повалил к нам народ. Приходят, рассказывают, как они выходят в океан бить зверя,— в открытых лодках. Нужно колоссальное искусство, чтобы в шторм не погибнуть. Удивительные моряки. А зимой выходят на льдины и там бьют зверя. Эта охота чрезвычайно опасная, но она может, в случае удачи, приносить большие доходы. Однако эти поморы жили в нищете. Почему?— Да потому, что поморы бьют на льдине зверя, а на берегу сидит кулак. Для того чтобы идти в море, нужны средства, нужна лодка, продовольствие, одежда, нужно оружие, припасы, а у поморов, конечно, ничего этого нет. Кулак им все дает и записывает. А когда помор с улова приходит, то оказывается, что у него не только ничего не осталось, но он еще должен кулаку. И так из года в год беспросветно. По-прежнему нищета: по-прежнему уходят,— нужно и дома оставить продовольствия и нужно с собой взять,— и из кабалы поморы не вылезают. Это они нам рассказывали.

Я и засел писать. Писал с необыкновенным трудом. Хотелось описать громадное впечатление от северного сияния. Бывало, зимой смотришь часами, как раскрывается эта колоссальная симфония. А на бумаге не выразишь. Писал, писал,— нет, не то! Никак слов не подберешь, чтобы передать читателям те ощущения, которые сам переживаешь.

Мы там жили коммуной в пять человек. Я помещался на чердаке в крохотной комнатке. Возьму двери на крючок и пишу. Днями, ночами сидел. Пишешь, пишешь, глядь, а к концу дня только строк пять-шесть напишешь. Писал, перечеркивал. Товарищи стали замечать что-то неладное. Серафимыч, как меня звали, исчезает. Подойдут к комнате, потянут дверь, а она на крючке. Раз спрашивают меня: «Что это ты там, по-английски, что ли, за галстук заливаешь в одиночку?»

Почему я запирался, никому не говорил? Потому, что мне казалось, что если расскажу, что взялся за рассказ, так они умрут от хохота и будут издеваться: «Писатель нашелся».

Так я работал целый год. Рассказ был небольшой, размером на газетный подвал. Теперь бы я написал такой рассказ в несколько дней. А тогда целый год работал.

Наконец однажды, в крепкий мороз ночью — а ночь двадцать три часа — я кончил. Надо же эту тяжесть

кому-то передать, не зря же я столько муки принял. Свернул рукопись в трубку, спустился вниз, стою под дверью, не могу открыть. Скажу, что рассказ написал — хохот пойдет. Мороз донял, потянул дверь, открыл; все глянули,— деваться некуда. Они сидят вокруг стола, получили почту из России, чай пьют. Я сел. Сижу совершенно убитый. Трубка свернутая около меня лежит. Они разговаривают. Вижу, время идет, надо уж спать ложиться. А никак не выговорю, язык не повертывается. Сидел-сидел, да и буркнул:

— Я... товарищи...

— Чего?

— ... хочу вам что-то прочитать.

— Письмо, что ли, получил?

— Да нет... я...

— Чего?

— Я хочу вам рассказ прочитать.

Все изумились:

— Рассказ? Ну, ну, валяй читай.

Я сел, облокотился и начал читать. При первых звуках вдруг душно и страшно стало — до такой степени рассказ мне показался невероятной чепухой. Я только удивлялся: «Ведь я с мозгами, в твердой памяти, как же я мог написать такую чепуху?» Но было поздно,—деваться некуда. Сижу и страшным гробовым голосом читаю. С меня капает пот на стол, в чай. Читал, читал... товарищи молчат, хотя бы заворочались или закашлялись. Это меня повергло в такое отчаяние, что не знал, куда бы провалиться. Кончил. Молчат! Я стал медленно сворачивать рукопись в трубку. Молчат. Потом как заорут:

— Серафимыч! Да это ты написал,— верно ли? Вот не ждали...

А я расширенными глазами смотрю: «Что они, издеваются, что ли?»

Потом до утра сидели, разбирали, обсуждали, как, куда направить. Все были в восторге, а я под собой земли не чуял. Потом ушел в глухое место и пробродил до самого утра.

Послал рассказ в «Русские ведомости» — буржуазная либеральная газета была такая. Ждем. Проходит месяц, другой. Ни слуху ни духу. Вдруг приходит почта, разворачиваем газету, видим «На льдине», а вни-

зу подпись — Серафимович. Все глазам своим не верят. Все были в диком восторге. Один из товарищей взял вырезал рассказ и наклеил на стену у меня в каморке. Когда товарищ ушел, я подошел и прочитал. Потом походил, еще раз прочитал. Опять походил и еще раз прочитал. Читаю да читаю до сумерек, больно глазам, а я читаю. И все новым рассказ кажется,— чего-то раньше как будто не замечал. Что влекло и поражало — это ощущение, что по белому листу черными значками изображены мои собственные переживания. Мало того, в этот момент на громадном расстоянии друг от друга, не зная о существовании друг друга, тысячи людей переживали, благодаря этому белому листу, такие же чувства и ощущения, какие я переживал. Это мне казалось фантастическим. Спустились сумерки, а я все читал, и подумал,— не сошел ли я с ума.

Вот так родился из меня с большим трудом писатель.

О ПИСАТЕЛЯХ «ОБЛИЗАННЫХ» И «НЕОБЛИЗАННЫХ»

Я не знаю ни одного писателя, о котором бы так противоречиво, взаимно исключающе высказывались, как о Панферове.

Позвольте мне сегодня быть читателем. Почему? А вот почему. Я критик-аналитик очень плохой, тут ничего не поделаешь, таким родился. Да и положение сложное: ведь каждая сторона взаимно исключает высказывания другой. И, товарищи, не надо думать, что это только группировки. Конечно, группировки играют крупную роль. Но и читатель подходит с такой же взаимно исключающей характеристикой. Так, мне не под силу этот сложный анализ. А позвольте поделиться с вами просто впечатлениями читателя. Впечатлением того, что в конце концов остается у меня от писателя.

Есть писатели «облизанные», а есть «необлизанные». Так вот т. Панферов, он «необлизанный», а я вот «облизанный», Фадеев «облизанный» и другие в большей или меньшей степени.

В чем же «необлизанность» Панферова? Есть у него растянутость? Есть. Есть у него слабые образы?

Есть. Есть у него места навязывания читателю? Есть. Он не просто дает образ, а и понимание его дает, да еще подтвердит, да еще расскажет. Это уж чрезмерность.

Но тогда что же у него остается?

Видите ли, какая штука: идешь, бывало, по лесу, бледный туман. Смотришь, что-то вырисовывается, человек не человек, а что-то такое рогатое торчит во все стороны. и не сразу сообразишь, в чем же дело? А когда подойдешь — это просто громадная вывороченная бурей сосна. И вот торчит корнями во все стороны. И потом, много спустя, как-нибудь случайно припоминаешь, как среди этого тумана во все стороны торчит какая-то сила. Но в этой рогатости заключена сила, которую постоянно с собой носишь, от которой не отделаешься, если бы и хотел. Вот это — Панферов.

Плохо ли это или хорошо? А, может, лучше, если бы он был «облизанный»? Почему не быть вычищенным, почему торчать коряво, почему не обрезать и придать форму? Ведь работают над этим писатели, вовсе не в укор им.

Но я думаю, что если бы Панферов к этому стремился, так он Панферовым бы не был. Такой уж он. Такого мать с отцом родили, и ничего не поделаешь. Сидит в нем мужицкая сила, и ее не вырвешь из сознания. Как он бедняка мужика описывает? А вот как: «Да там, брат, у тебя у забора на заду лошадь сидит и жует забор».

Вдумайтесь в смысл этого образа. Как здесь много сказано и до какой степени это сжато! На заду лошадь сидит? Да ведь этого не забудешь никогда, и это жутко. И никакими лохмотьями не дашь ужасы мужицкой нищеты так, как эта сидящая на заду лошадь. Когда читаешь Панферова, иной раз злишься: не так—нужно иначе. Я бы иначе это сделал. Но я знаю, было бы облизаннее, но стихийность, но внутреннюю силу вещь бы потеряла, ту силу, которая пронизывает все его творчество. Стихия внутри и снаружи, она повсюду, она как громадный пень торчит во все стороны.

У Панферова тысячи противоречий — в психологии его героев, в быту, в человеческих отношениях, потому что это люди.

Значит ли все это, что т. Панферов не должен работать над языком своих произведений. У него встречаются то великолепные куски языка, а то заношенные. Но в первом издании это было, а во втором нет. Значит, человек работает, сам чувствует, где и как нужно выправить.

Ну, а если бы он задумал сделать свою вещь «облизанной», ничего не вышло бы, она потеряла бы свою силу, этакую корявую, здоровую, мужичью, и это ему не удалось бы не потому, что он малодаровитый, но ведь каждому дана его индивидуальность.

Заставьте вы дать стихийную речь Фадееву. Он даровитый парень, но вот такой стихийности он не даст, потому что внутренне он иначе построен.

Я говорю — пройдет время, многие из нас «облизанных» будут белеть костями на полках,— мы свое дело тоже, я думаю, сделали и делаем,— но многие из нас будут белеть костями на полках, а вот панферовская вещь корявая, такая, что торчит во все стороны, надолго останется, ибо вопреки своим недостаткам, своей корявости она насыщена той силой, которая свойственна мужику. Эта сила тоже корявая, тоже с этакими штуками.

Вот это мнение читателя, который перед вами, и мнение многих читателей, искушенных в литературе и неискушенных, с которыми я говорил.

Прошлой зимой я получил из Владимирского района письмо вдумчивого молодого колхозника. Он жаловался, что мало литературы, что страшно хочется читать. И между прочим рассказал, что читал «Бруски» Панферова, что он по этой книге учился. Но это было много времени назад, а теперь уж нет, теперь жизнь развивается дальше, и нужно, чтобы Панферов показал дальнейшее движение жизни, дал развитие типов, показал, как разворачивается жизнь. Вы понимаете — этот человек из глуши воспринимает прочитанное без критического анализа, но так непосредственно, что дает прекрасную характеристику. По произведениям Панферова учатся сейчас и в будущем будут изучать нашу эпоху.

Так вот, товарищи, я к вам, как к читателям, и вы как читатели.

ОТВЕТ А. М. ГОРЬКОМУ

Алексей Максимович!

Разрешите ответить по пунктам на ваше открытое письмо ко мне в «Литературной газете» от 14 февраля.

Вы бросили мне упрек в том, что я моими отзывами о писателях помогаю засорению русского языка, стремлюсь к снижению качества литературы, канонизирую, причисляю писателей к лику святых угодников, уже не подлежащих «мирской критике», провозглашаю: «Писатель, хотя и молод, но уже гениален и обречен на бессмертие в памяти людей», что я утверждаю за Панферовым «право остаться таким, каков он есть, не заботясь о дальнейшем его техническом и культурном росте».

Все это неверно.

Вы же читали мою статью о Панферове. А я там говорю: «Значит ли все это, что т. Панферов не должен работать над языком своих произведений? У него встречаются то великолепные куски языка, то заношенные. Но в первом издании это было, а во втором нет. Значит, человек работает, сам чувствует, где и как нужно выправить».

И еще: «...А вот панферовская вещь, корявая такая, что торчит во все стороны, надолго останется, *вопреки своим недостаткам*, своей корявости...»

И еще:

«...есть у Панферова растянутости? Есть. Есть у него слабые образы? Есть. Есть у него места навязывания читателю? Есть. Он не просто дает образ, а и понимание его дает. Да еще подтвердит, да еще расскажет. Это уж чрезмерность».

И это называется стремлением к снижению качества литературы?

И это называется моим утверждением за Панферовым права остаться таким, каков он есть, не заботясь о дальнейшем его техническом и культурном росте?

И это называется «канонизацией», причислением к лику святых угодников, уже не подлежащих мирской критике, возглашением Панферова гениальным, обреченным на бессмертие в памяти людей?

Предвзятость, она убивает чувство действительности.

Вы говорите: «Кто-то редактирует, кто-то издает обильнейший словесный брак; какие-то безответственные люди хвалят эту продукцию безответственных бракоделов, хвалят, очевидно, по невежеству и по личным симпатиям к авторам».

Выходит, что и я хвалю брак не только «по невежеству, но и по симпатиям к авторам».

Правильно,— «по симпатиям». Только неправильное это слово «хвалю». Не «хвалю», а разбираю, ищу то главное, чем ценен писатель.

У каждого читателя есть симпатии: одних авторов он больше любит, других меньше, третьих терпеть не может. Плохого тут ничего нет. Весь вопрос, что служит основанием для симпатии. Если половой вопрос в его растленной арцибашевской форме,—это плохо. Если широкое в коммунистическом освещении, скажем, изображение колоссальнейшего переворота в крестьянстве,— это хорошо.

К кому же у меня симпатии?

У меня симпатии на стороне коммуниста-писателя, отдающего все свои творческие силы интересам партии, интересам пролетариата, перерождающейся деревне.

У меня симпатия к писателю-беспартийному, который, весь отдаваясь, делает дело партии, дело пролетариата, ибо это — мой близкий, мой брат.

Было бы хуже, если бы мои симпатии были на стороне литераторов ловкачей, которые не останавливаются ни перед какими средствами, лишь бы выдраться повыше,— лгут, клевещут, интригуют, исступленно ревут о своей преданности генеральной линии партии и тут же ведут неправильную политическую линию, от которых медленно, как отравленная мгла, плывет по рядам слабых писателей яд разложения.

Да, у меня есть симпатии, как у всякого человека,— весь вопрос, на чем они покоятся.

Вы говорите:

«В области словесного творчества языковая, лексическая малограмотность всегда является признаком низкой культуры и всегда сопряжена с малограмотностью идеологической — пора, наконец, понять это».

Нет, это вы написали сгоряча. Это глубоко неверно. Это хуже формализма. Разве враждебные пролетариату

писатели не утверждают всюду: в первую голову и превыше всего — это художественное оформление, это разработанный язык. А содержание и его классовое освещение на втором плане.

Куда же девать выросшие из рабочих масс в великой революционной борьбе, в великом социалистическом строительстве, несшие и несущие незапятнанные знамена Маркса—Ленина—Сталина бесчисленные литературные рабочие кружки на производствах, в колхозах, совхозах, МТС. Ведь пока они приобретут отличный язык, их и близко нельзя подпускать к перу и бумаге, ибо идеологически они понесут несусветное.

А ведь профессура, писатели, инженеры, врачи, агрономы и пр. с блестящим литературным языком дали в недавнее время немало вредителей — великолепная языковая, «лексическая» грамотность была сопряжена с великолепной идеологией только навыворот.

Нет, тут какое-то недоразумение. Ведь вы как никто вынашивали писателей из рабочих, которые приходили к вам с шершавым, малокультурным языком, вынашивали так бережно, любовно, матерински воспитывали, направляли, помогали им развивать их язык, стиль, умение строить произведения. И не одна сотня их, выбившись на литературную дорогу, с теплой любовью и благодарностью вспоминает о вас.

Нет, это у вас описка.

«Я спрашиваю вас, Серафимович, и единомыслящих с вами,— пишете вы,— возможно ли посредством идиотического языка, образы коего даны выше, изобразить героику и романтизм действительности, творимой в Союзе социалистических советов».

Вы привели вереницу уродливых «идиотических» словечек: «скокулязило», «вычикурдывать», «ожгнуть», «небо забурманило» и пр. Но какое же все это имеет отношение к Панферову? Где у него это глупое «скокулязило»? Ведь у него совсем другое — он использовывает народную речь. У Шолохова, прекрасного писателя, не только весь диалог насыщен словами местного говора, но эти слова очень часто мелькают в его собственной речи. Предать его анафеме? Да ничуть,— это сообщает ему живой местный колорит, и ничего тут страшного нет, ибо у него чутье и чувство меры. Вы противопо-

ставляете его «Поднятую целину» «Брусками» Панферова. Но почему же то, что разрешается Шолохову, не разрешается Панферову? Панферов использует, как и Шолохов, народную речь. С другой стороны, и у Шолохова есть языковые неудачи. По-моему, к писателям надо подходить одинаково.

А к чему приводит односторонность в чистке языка, показывает следующий пример. Недавно мне попалась рукопись харьковского профессора. Он там изо всех сил старается доказать, что слово «смычка» в высшей степени неблагозвучное, царапающее слух слово или, как он выражается прямо, оно раздражает. Слово, в которое Ленин гениально вложил самое революционное понятие об отношениях пролетариата и крестьянства, для него, этого профессора, неблагозвучно. А там, смотришь, самое содержание неблагозвучно, царапает ему слух. Одно за другое цепляется ведь!

И еще вы пишете:

«...Ни один из наших критиков не указал литераторам, что язык, которым они пишут, или трудно доступен или совершенно невозможен для перевода на иностранные языки».

Это у Панферова трудно доступен? У Ильенкова трудно доступен? У Фадеева трудно доступен? У Малышкина трудно доступен? У Сейфуллиной трудно доступен? У Новикова-Прибоя трудно доступен? Да у всех наших лучших писателей язык трудно доступен? Да ведь их миллионы читают. По ним миллионы учатся. На них воспитывается вся наша подрастающая молодежь, зарубежная пролетарская молодежь. Как же может воспитываться молодежь, как могут читать миллионы произведения с труднодоступным языком?

Потеря чувства действительности.

Вы говорите:

«...Язык наших литераторов совершенно невозможен к переводу на иностранные языки».

Как же невозможен, когда эти и подавляющее большинство других авторов переведены и переводятся. Да, ведь это же всем известно!

Утеряно чувство действительности.

«Бруски» Панферова, как сообщает журнал «Литературный критик» (№ 6 за 1933 г.), изданы в Германии, Франции, Англии, Дании, Испании, Америке, Японии, Китае.

Наибольшее количество отзывов «Бруски» получили в Германии. Обсуждение книг писателя проводилось в фабрично-заводских ячейках Берлина, где рабочие высказывали свои положительные мнения о «Брусках».

О «Брусках» дает отзывы и популяризирует их и заграничное радио. Бреславльская радиостанция говорит:

«Типы, обрисованные в «Брусках», психологически весьма интересны, действия развертываются живо и многообразно. Очень и очень важная книга для ознакомления с духом живого народа».

Гамбургская радиостанция.

«Панферов не остановился на традиционной форме русского крестьянского романа. Он избрал новые краски, он нашел яркие слова, он описывает сцены, понятные только для молодежи и недоступные старикам, потому что традиционные навыки сделали старое поколение закостеневшим. Это — роман из жизни новой русской деревни».

Рехенбергский «Форвертс» дает следующую рецензию:

«Эта книга — шедевр! Эта книга должна быть в каждой коммунальной библиотеке. Каждый рабочий, каждый горожанин должен прочесть «Бруски». Это неприкрашенное, лишенное сантиментов, оригинальное изображение крестьянского характера приводит к тому, что нас подобно молнии пронизывает сознание: крестьяне везде одинаковы. Борьба между реакционными и революционными элементами, между замкнутым в себе индивидуальным хозяйством и хозяйством коллективным — этот конфликт будет протекать в наших немецких и чешских деревнях примерно так же, как и в России. Книга Панферова абсолютно честна. Он рисует не идеальных людей и не карикатуру. Панферов в своих «Брусках» дает нам животрепещущую современность, нынешнюю жизнь со всеми ее конфликтами, со всеми устремлениями, со всей ее тягой к будущему».

В журнале «Дас Нейс Фольк» рецензент говорит:

«За такой русский роман я готов отдать пятьдесят хваленых романов нашей западной цивилизации».

Большой интерес, который вызывает роман Панферова у читателей, отмечают «Дейч Вольгедейгер Прессе Винет», «Блюменталер Цейтунг», «Винет Цейтунг», а также альманахи Вельхагена и Квазинга.

Французская «Ля репюблик» говорит:

«Этот роман нужно прочесть каждому. Этот роман — одно из лучших произведений советской литературы... В книге Панферова надо особенно подчеркнуть внутреннюю и внешнюю точность, с которой обрисованы люди».

Фашисты, естественно, дают другую оценку. Критик итальянского фашистского органа «Лавора фашиста» пишет:

«...Роман Панферова не освобожден от апологетизма, от программной тенденциозности и даже от общих мест, свойственных коммунистическим молитвенникам...»

Критик А. Назаров (подозрительно русская фамилия. Не белый ли?) в «Нью-Йорк Таймс» пишет:

«...Бруски» Панферова не на таком высоком уровне. Это роман из крестьянской жизни, в котором автор стремится показать классовую борьбу в деревне и «успехи коллективизации» (кавычки автора рецензии) среди крестьянства. Беда, однако, в том, что в «Брусках» есть целые страницы нудных и ненужных деталей, действие развертывается с изводящей медлительностью, за исключением нескольких мест — книга скучна».

Коммунистическая печать («Юманите», «Дейли Уоркер»), отмечая в специальных статьях появление первой и второй книги «Брусков», подчеркивает громадное значение этих книг в ряду других книг советской художественной литературы.

«Юманите» печатает отрывок из «Брусков» Панферова со следующими комментариями:

«...Мы читали романы о военном коммунизме, о гражданской войне, о героизме Красной Армии, о пролетарских «бунтах»; каковы: «Неделя», «Железный поток», «Красная кавалерия», «Вихрь» и т. п. Знаем ряд романов, в которых отражались новые человеческие отношения; рожденные эпохой этого грандиозного осво-

бождения, как «Голый год», «Цемент», «Виринея», «Города и годы»..., но ни одна из этих книг не давала нам картины современной нам эпохи, той, когда все приготовления окончены и совершается последний этап революции, когда, наконец, проявляются с фантастической мощью и быстротой первые результаты промышленного и аграрного социалистического строительства».

«Дейли Уоркер» пишет:

«...Неоцененное значение «Брусков» в том, что они дают нам такую картину, которая помогает полнее понять все значение достижений коллективизации при пятилетке...»

Во всех этих отзывах иностранной печати о «Брусках» несомненно одно,— это произведение произвело громадное впечатление на различные круги читателей. Книга Панферова явилась агитатором и пропагандистом идей социалистического строительства за рубежом.

В «Литературном Ленинграде» от 10 февраля помещено письмо немецкого рабочего, заключенного в концентрационный лагерь.

«...Вы не можете себе представить, до чего скучно в лагере. Опасность опуститься умственно не менее страшна, чем истязание и муштровка. Мы конспиративно организовали библиотеку. С огромным риском читались книги. Очень сильное впечатление произвели на нас «Попутчики» Анны Зегерс. Мы все нашли, что эта вещь блестяща. Но от чего мы все пришли в восторг— это от «Брусков» Панферова. Книга вселила в нас бодрость, мы усиленно давали ее читать аполитичным заключенным».

И после этого можно говорить, что советская литература идет на понижение; что «советские издательства выпускают обильнейший хлам»; что «язык советских литераторов трудно доступен или совершенно невозможен для переводов на иностранные языки»; что в частности «Панферов плохо знает литературный язык и вообще пишет непродуманно и небрежно»?

Чувство действительности убито.

Вы говорите: «...были и еще анекдоты. Недавно *некто* Резников утверждал, что Панферов тоже равен Бальзаку и классикам».

«Правда» — центральный орган партии,— там нет «некто», ибо подбор сотрудников очень строгий.

И второе: т. Резников совсем не упоминал о Бальзаке. И не говорил, что Панферов равен классикам. Он сказал, что Панферов ввел в литературу тип Ждаркина, как Толстой — Каратаева, как Горький — Самгина. Это не значит возвести Панферова в ранг классика. Это значит, что он схватил и живо обрисовал новый тип новой колхозной деревни, как Толстой дал новый тип Каратаева.

И не случайно комсомол, «Комсомольская правда» занесла «Твердой поступью» Панферова на «красную доску» советской литературы.

Но откуда же такое разноречие у нас с вами в определении писателя, его творчества? Единственно, от метода разбора писателя, анализа его творчества. Вы считаете правильным механически оторвать от произведения органически связанный с ним элемент творчества — язык, рассматривать его отдельно и из этого рассмотрения умозаключить о значении и роли писателя.

Я беру писателя в целом со всеми его достоинствами и недостатками и из этой суммы за вычетом недостатков вывожу значимость писателя.

С другой стороны, нас разделяет отношение к языку. Язык нельзя рассматривать статически: дан классиками навеки, и кончено. Как и во всем — в быту, в культуре, в науке, в строительстве, в литературе и в языке — кипит революция. Чудесный был писатель Короленко, но теперь по-короленковски писать нельзя: иные классовые отношения, иные люди,— иные темпы, и ведь все это отражается на языке. Не надо цепляться за «скокулязило», «вычикурдывать» и пр. Это — накладные расходы. Они неизбежны были и в построении армии, и в построении экономики, и в литературе. С ними надо бороться, но из-за них не надо во что бы то ни стало тянуть назад к прекрасному, но уже прошлому, медленно отходящему назад, языку, к прекрасным классическим формам — наступающий день требует своего.

Вы берете писателя однобоко — язык, форма, словесность — и приходите к заключению, что Панферов

никуда не годен, а советская литература — обильнейший хлам. Неверный метод приводит к неверному выводу.

Надо связать оформление, стиль, язык со всем содержанием, с сущностью произведения, с его идеей, с его целеустремленностью, и тогда только в целом открывается та или иная ценность произведения.

У Панферова, как у всякого автора, это я уже отмечал, есть и провалы, и слабые места. И он же дает сильное, оригинальное, ему только присущее. Но все его произведение приобретает углубленный характер от социального содержания. От всей вещи остается ощущение громадной стихийной мужичьей силы, «корявой», неорганизованной.

По этому поводу, в первый раз говоря о содержании, вы указываете:

«Разрешите напомнить вам, что мужицкая сила — сила социально нездоровая и что культурно-политическая талантливо последовательная работа партии Ленина—Сталина направлена именно к тому, чтобы вытравить из сознания мужика эту его хвалимую вами «силу», ибо сила эта есть в основе своей не что иное, как инстинкт классовый, инстинкт мелкого собственника, выражаемый, как мы знаем, в формах зоологического озверения».

Весь вопрос — куда и как направляется эта сила.

Ленин говорит: «Пролетариат должен разделять, разграничивать крестьянина-трудящегося от крестьянина-собственника,— крестьянина-работника от крестьянина-торгаша,— крестьянина-труженика от крестьянина-спекулянта».

В этом разграничении вся суть социализма.

Разграничение, указанное здесь, очень трудно, ибо в живой жизни все свойства «крестьянина», как они ни различны, как они ни противоречивы, слиты в одно целое».

Сила в мужике сидит, сила колоссальная и «корявая», т. е. неорганизованная. Силу пролетариата никак не назовешь корявой — она высоко организована, выкована фабрикой и заводом.

Так вот эта громадная мужичья сила давала громадные социальные взрывы крестьянских движений Рази-

на, Пугачева, в разливавшихся по России крестьянских восстаниях перед «освобождением», в 1905 г., в 1917 г.

И эта же громада силы мелкого собственника упорно поддерживала буржуазный строй.

Ленин гениально утверждал, что эта мужицкая сила направляется двояко; что в мужике две «души» — собственника и труженика. Вопреки меньшевикам, кричавшим о невозможности вовлечь крестьянство в строительство социализма, Ленин гениально утверждал, что крестьянина возможно направить как труженика по одной революционной дороге с пролетариатом под его руководством. А теперь наша партия гениально это осуществила. Почему? Пробудили в мужике его «вторую душу» труженика, союзника пролетариата в революции, как неоднократно говорил Сталин. И ведь не кто иной, как Маркс, говорил, что у крестьянина есть не только предрассудок, но и рассудок. Ваше утверждение, что мужичья сила только социально вредная, неверно. Решительно неверно ваше утверждение, что мужик фабрикует в одну сторону только «нищих», в другую только «мироедов». Неверно. Решительно неверно. Панферов и дает эти две души в крестьянине.

Позвольте мне ответить и на остальные пункты вашего письма.

Вы очень часто в этом письме упоминаете, что мы с вами древние и дряхлые. Верно, древние: вместе нам около полутораста лет. Но волноваться не нужно,— это — закон: родился, расцвел, одряхлел, умер. Непреоборимый закон, и его выполнять надо спокойно.

Вы настойчиво и неоднократно повторяете в вашем письме, что «мы с вами «протопопы» в советской литературе, что мы проповедуем, а молодежь смотрит нам в рот, принимая наши вещания без всякой критики.

Нет, я — не «протопоп», никогда им не был, не хочу быть и никогда им не буду.

Были литературные «протопопы» в дореволюционное время. Они являлись вождями тогдашней оппозицион-

ной мысли и литературы, и в этом был исторически положительный смысл их существования.

Теперь же нет в них надобности; литературой руководит наша партия, и только она, наша великая партия, руководит внимательно, умело, изумительно гибко, с чрезвычайной любовью и мягкостью и с полным глубоким пониманием революционных задач искусства.

Нет, я — не «протопоп». Я просто — работник в колоссальной армии пролетариата, колхозников, трудящихся, строителей социализма.

Я нередко делаю ошибки. Когда правильно и непредвзято мне на них указывают, стараюсь всеми силами их исправить.

Прошел мирового значения наш всесоюзный партийный съезд. Перед партией, перед пролетариатом, перед колхозниками прошли на съезде невиданные в мире громады одержанных побед. Одна из них — металлически отлитое единство партии. И это — указание для нас, писателей. Мы идем к нашему съезду, и мы должны идти к нему единые.

Конечно, единство выковывается не благими пожеланиями, а совместной, дружной, товарищеской работой. Перестанем мы, все советские писатели, препираться из-за мелочей, из-за самолюбивого отстаивания ошибочных положений, будем работать.

А работы — непочатый край. Показать партию большевиков, приведшую нашу страну к победе, показать ее монолитное единство — это задача огромная. Красная Армия у нас в художественной литературе — на широком полотне — не представлена. Комсомол, учащаяся масса, пионеры — тоже. Это для нас непростительно. Показать в ярких художественных произведениях великую победу дела Ленина и Сталина, показать наш путь, наше движение к бесклассовому социалистическому обществу — это для наших писателей задача огромная. Задача великая. Задача почетная.

Вот что я хотел сказать вам, Алексей Максимович, в ответ на ваше открытое ко мне письмо. Хотел сказать вам и всем писателям и всей читательской громаде пролетарской и колхозной.

РАДИОПЕРЕКЛИЧКА ПИСАТЕЛЕЙ

ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Когда загремел мировой взрыв Октябрьской революции, не только социально-экономические твердыни закачались и рухнули, но и в области искусства глубочайшая трещина отделила старое от нового. Старая классическая литература, созданная лучшими представителями дворянства и разночинцами, с момента взрыва вдруг оказалась в прошлом. У совершившего единственную в истории мира революцию пролетариата и трудового крестьянства не было своей массовой литературы. Конечно, мы знаем двух крупнейших пролетарских писателей — М. Горького и Демьяна Бедного, которые принесли свое революционное творчество пролетариату и трудовому крестьянству задолго до Октября. Но массовой пролетарской литературы не было. Встала во весь рост громадная задача: помочь проявить и вызвать к жизни художественное творчество, таившееся в победившем классе. Началась борьба за пролетарскую литературу. Началась упорнейшая борьба за новое художественное освещение жизни людей, событий, за новые темы, за новое построение художественных произведений, за новую конструкцию их.

Прекрасна классическая художественная литература; она сыграла огромную роль в общем культурном подъеме масс и в общественном движении интеллигенции. Этим классическая литература, несомненно, помогала грядущей революции. Но как она ни прекрасна, она почти вся в прошлом.

Разгромленное буржуазное общество оставило революции наследство — материальное и культурное. Пролетариат стал разбираться в этом наследстве — нужное оставлял для своей стройки, ненужное выбрасывал в хлам.

Нигде эта разборка не была так сложна, нигде она не встречала столько противоречивых трудностей, как в художественной литературе. Сумейте-ка подойти к гениальной громаде художественного творчества Льва Толстого. «Какая глыба, а?» — говорил товарищ Ленин про Толстого.

Вокруг разборки классического литературного наследства завязалась борьба. Одни хотели целиком перетащить в художественную литературу пролетариата не только приемы художественного творчества классиков, их язык, образы, конструкцию, но и темы, но и освещение новых событий. Другие ставили под одну мерку всех писателей минувшей эпохи и выбрасывали даже гениев, полагая, что при всей силе художественного творчества они вредны для пролетариата своей чуждой идеологией.

Это была жестокая борьба двух течений.

Как же разрешилась эта борьба? Разрешила эту борьбу партия. Партия осторожно, не ломая, а направляя, вела к формированию и проявлению пролетарских писателей. Партия учила умело брать у классиков все, что повышает творческие силы, и отбрасывать все, что искривляет идеологически пролетарское творчество.

Партия учила пролетарских писателей спокойно, терпеливо, настойчиво втягивать в совместную работу беспартийных писателей, учась у них мастерству, уча их верному восприятию революционных событий, революционной борьбы, революционного строительства.

Каковы же результаты этого руководства? Колоссальные! В неуловимо короткое историческое время гигантски поднялась, по признанию даже врагов, единственная по своему значению в мире литература. Гигантски поднялась единая внутренне советская литература, ибо уже нет деления на партийных писателей и на «попутчиков»,— все писатели громадным фронтом несут свое творчество на великое социалистическое строительство. Задача создания писательских кадров решена.

Но как она решалась? Какую еще основную задачу надо было решить, чтобы решить первую задачу? Надо было создать питательную среду для писателей, ибо писатели не растут в безвоздушном пространстве. Они питаются мыслями, чувствами, критикой, идеями своего класса, его волей к социалистическому строительству, его революционной борьбой, его бытом, его жизнью.

Но чтобы писатели впитывали в себя все, что создает *классовое* творчество, чтобы несли на себе влияние своего класса, его контроль, его социальные требования к литературе, нужна известная высота культуры класса; нужно, чтобы пролетариат освоил литературу, умел в ней разбираться, испытывал бы эстетическое наслаж-

дение при чтении художественных произведений; нужно, чтобы художественная литература сделалась неотъемлемой частью его жизни, его умственной деятельности, неотъемлемой частью его чувств, его мысли. А ведь из проклятого прошлого пролетариат вынес низкую культуру, часто безграмотность, очень часто слабую потребность в чтении художественной литературы, отсутствие навыка в ней разбираться, неумение формулировать свои требования.

И вот встала вторая гигантская задача: создать высокую социалистическую культуру. И партия эту задачу вырешила в изумительно короткий срок. Она вырешила ее, решая общие задачи социалистического строительства — индустриализируя страну, меняя экономику, быт, коллективизируя деревню, уничтожая безграмотность, создавая и удовлетворяя новые потребности в пролетариате, в колхозном и трудовом крестьянстве. С другой стороны, партия совершила огромную работу, непосредственно внедряя художественную литературу в массы.

Результаты колоссальные: громадное влияние пролетариата, колхозной массы на художественную литературу неоспоримо. Появилась массовая потребность в художественной литературе.

В результате советская литература стала мировой литературой, особенной, со своим резко очерченным лицом. Какие же особые черты носит советская литература? Она резко отличается своим социалистическим содержанием. Она действенная. Партия учила писателей идти на фабрики, на заводы, на стройку, в коллективизированную деревню; идти не в качестве гастролеров, а в качестве работников в той или иной форме. Писатели работают в стенных газетах, писатели участвуют в производстве, выправляя в печати производственные ошибки, неполадки. Писатели делают на заводах доклады и чисто литературные и политические. Писатели живут единой жизнью пролетарской и колхозной массы.

Конечно, не все писатели одинаково выполняют этот наказ, но это общая линия, к которой в разной мере приближаются все писатели.

Ни одна страна не отдает столько внимания, ласковости, любви своей литературе, как Страна Советов. Это потому, что в условиях пролетарской диктатуры советская литература — органическая часть общепролетарского де-

ла, строительства, борьбы. Советская литература для пролетариата, для колхозной массы — свое, родное, кровное.

С необыкновенной яркостью эта любовь, эта неразрывность сказалась на Всесоюзном съезде писателей. Съезд шли приветствовать и несли наказы Красная Армия, красные моряки, рабочие, ученые, пионеры, колхозники, женщины, старики, читатели всех профессий. А кто не мог прийти на съезд, жадно следили за его работой в печати.

Этот съезд отразил в себе результаты гениальной политики партии: пятьдесят два братских народа — бывшие рабы царско-буржуазного строя, замученные, темные, беспощадно задавленные эксплуататорами, теперь свободные, развернувшие свою творческую силу, прислали на съезд своих писателей. Они создали и создают свою национальную по форме, социалистическую по содержанию литературу. Они пришли на съезд обменяться творческим опытом. Они пришли еще раз подтвердить единый громадный фронт всех национальностей Союза в борьбе за социалистическое строительство.

Но съезд был интернационален и вовне: представители революционной литературы Германии, Франции, Англии, Италии, Америки, Китая, Японии и многих других стран выступали на съезде плечо в плечо с советскими писателями. Благодаря такому единству советских писателей внутри своей страны и вовне съезд имел огромное революционно-организующее в мировом масштабе значение.

Но как и отчего так выросла советская литература? Как и отчего съезд советских писателей приобрел такое значение? Единственно оттого, что партия отдавала громадное внимание вопросам художественной литературы, вопросам организации писателей. В рабочей массе, в трудовом крестьянстве неисчерпаемо дремали литературно-художественные дарования. Партия призвала их к грандиозной работе, и создалась единственная в мире социалистическая литература.

ДВЕ ВСТРЕЧИ

Лесистые горы расступились, и река вырвалась на плоскость. Люди стояли черным морем мохнатых шапок, а по краям — лошадиные головы, и под ними чернели,

расходясь, бурки. Это — в двадцать первом или втором году, когда в городах закостенелыми штабелями лежали на больничном дворе сыпнотифозные мертвецы. Еще постреливали в укромных местах, и, когда мы ехали на съезд, в машине аккуратно лежали под руками холодноватые винтовочные стволы, а у меня оттягивал карман браунинг.

Съезд — как съезд: оратор говорил; из-под мохнатых шапок на него глядели внимательные черные глаза, или не глядели, упорно опущенные в землю, и почему-то вселяли тревогу. Я невольно пощупал браунинг — тут ли?

Обо всем говорили — и о том, что беден народ, что нехорошо воровать у своих же. В таком-то ауле и в таком-то ауле у бедных женщин, у которых мужья убиты белыми, увели коров, и им с детьми умирать с голоду. И теперь по аулам одинокие женщины, у которых мужья погибли в боях с белыми, целую ночь сидят на корточках у своей коровы, накрутив на руку веревку от рогов. Разве это хорошо? И о многом разном говорили. И стояли те с опущенными глазами.

А я все время чувствовал: за этими коровами, около которых сидели на корточках измученные женщины, за разными бытовыми вопросами что-то стояло другое, непроизносимое, и опять пощупал браунинг. И подумалось, почему же воры крадут только у женщин, мужья которых погибли в борьбе с белыми?

Море мохнатых шапок колыхнулось пробежавшей волной. И те подняли глаза. Ненависть?

Подкатил автомобиль к самому краю толпы. Быстро вышли несколько товарищей. За ними — спокойно, небольшого роста, крепкий, в белой гимнастерке, с темным, за которым внутренно-сжатая энергия и напор, лицом товарищ. И я уловил пронесшееся: Орджоникидзе... Все так же спокойно, но не теряющим времени широким военным шагом вошел он в раздвинувшуюся толпу. Стал. Небольшой опустевший круг замкнулся.

Его голос зазвучал. Он потребовал, чтоб переводили фразу за фразой. И голос опять зазвучал повелительно, неотвратимо, над громадой толпы:

— Нет, вы — не честные советские граждане,— вы — укрыватели бандитов!..

«Ого-гого!..» Я полез было к жалкому браунингу. Да ведь если засверкают кинжалы, блеснут шашки, в несколько секунд все будет кончено. «Браунинг... Тьфу!»

И я спокойно стал слушать.

— Среди вас — бывшие офицеры. Среди вас — богачи, смертельные враги советской власти,— стало быть, и ваши враги, враги бедноты, всех трудящихся. Среди вас — отъявленные контрреволюционеры.

Переводили фразу за фразой, и толпа сомкнуто сдвинулась,— круг около Орджоникидзе тесный.

— Вы... если только вы не враги советской власти, сейчас же, сию же минуту должны выдать врагов советской власти!

Всё недвижимо замерло. Тяжело нарастало ожидание непоправимого.

Вдруг волны пошли по толпе от краев к середине,— заколыхались мохнатые шапки. «Ага... все?!.» Я взглянул на Орджоникидзе: он был спокоен и нахмуренно ждал.

Волна человеческая добежала до середины и поставила, шатая, перед Орджоникидзе несколько человек; глаза их пылали неугасимой ненавистью. Особенно врезался мне старик: борода — седым клинышком, в черкеске с газырями, наискось кинжал. Нет, я никогда не видал такой нечеловеческой ненависти.

Орджоникидзе молча повернулся, пошел, не оглядываясь.

Толпа за ним донесла до автомобиля этих задыхавшихся ненавистью людей.

Далеко за автомобилем покрутилась пыль и растаяла. Слева стояли лесистые горы.

Когда мы ехали назад, товарищ сказал мне:

— А ведь знаете, дело на ниточке висело,— могли искрошить шашками.

И второй раз встретился я с товарищем Орджоникидзе. И эта встреча тянется минуты, часы, дни, месяцы, годы.

Выступаю ли на заводе машиностроения,— да ведь это же товарищ Орджоникидзе! Толкую ли о выработке с шахтерами,— да ведь товарищ Орджоникидзе! Наблюдаю ли за танками, самолетами, орудиями на ма-

неврах нашей чудесной Красной Армии,— да ведь тот же товарищ Орджоникидзе! Куда бы ни пошел, куда бы ни поехал, откуда бы ни полетел — товарищ Орджоникидзе.

Я разворачиваю газету, одну, другую, третью — товарищ Орджоникидзе. Вот он заставляет снимать с единицы пода печи максимальную плавку. Вот он организует, вот строит, вот он ведет густые шеренги стахановцев.

Ну, ладно. Я включаю громкоговоритель — чудесно поют. Товарищ Орджоникидзе! Он не только дает черный уголь, въедающуюся нефть, увесистый чугун, он дает и продукты тонкой культуры. Нет, от него никуда не уйдешь, его всегда помнишь, его всегда видишь.

Он выковал громадину тяжелой промышленности. Да ведь это же грандиознейшая задача! Ведь тут нужны специфические сложнейшие знания, а ведь у него их не было. И меня больше всего поражало, как такой человек, заваленный громадой дел, оторвавшись, садился учиться. Он приобрел огромные знания и прекрасно разбирается в самых сложных вопросах.

У него жесткая рука, спуска не даст, но его любят И удивительно оригинальна его манера обращаться с людьми.

Товарищ Орджоникидзе требует не только знаний, дела, работы, но и культуры.

Приходит к нему директор огромного, прекрасно работающего завода. Товарищ Орджоникидзе сидит за столом, работает.

Директор осторожно кашлянул: дескать, тут я. Но перед ним все та же широкая спина и наклонившаяся над бумагами черная голова.

Директор потоптался у кресла, опять, только погромче:

— Кхе, кхе!

Не оборачивается. Что тут делать? Осторожно говорит:

— Товарищ Орджоникидзе, вы меня вызывали?

А тот, не оборачиваясь:

— Пойди побрейся.

Директор вылетел, как из парной бани, понесся в парикмахерскую, вернулся, и они в несколько минут порешили все вопросы. С тех пор директор как с иголочки: гладкое приятное лицо, галстук, свежая рубаха.

Встречу с товарищем Орджоникидзе не забудешь, потому что это — прекрасная встреча, потому что это встреча с могучим социалистическим строителем страны.

НАПИСАНО ТАК, ЧТО ЗАПОМИНАЕТСЯ

Я начал читать «Рожденные бурей» Н. Островского с холодком и сначала не отдавал себе отчета почему. Потому ли, что плохо написано, или почему-то другому. Но когда стал читать дальше и дальше, я понял, почему был такой холодок. Я сразу попал в чуждую, враждебную, подлую среду. И это отразилось на восприятии этой среды. Когда я попал к рабочим, в их жестокую борьбу, я увидел, что сопоставление рабочей среды и аристократии — не механическое, что это сопоставление органически связано, и холодок у меня растаял.

Написано так, что запоминается. Я запоминаю обстановку, запоминаю то, что стоит за словами, за действиями у этих людей. Стало быть, дано умело.

Мне хочется в порядке тех вопросов, которые у меня возникали при чтении, поговорить с вами.

Э д д и — он дан полностью; больше ничего не нужно. Пожалуй, надо бы еще как-то больше углубить, но если спросите как — я не знаю. Может быть, если бы я сел и работал, продумал бы, возможно, что и нашел бы методы, как его можно углубить.

Л ю д в и г а —сначала она мне показалась милой барынькой, которая любуется своей красотой, когда ею кругом восхищаются, но оказывается — нет. Слова: «Вы — негодяй», которые она бросает Зарембе, сразу отделяют ее от своих резкой чертой. Но Людвигу тоже нужно углубить и обосновать психологически.

Как? Мы знаем, что из аристократической среды выходили даже революционеры. Возьмите Перовскую — дочку губернатора. Но ведь какие-то предпосылки должны же быть. Вот их нужно дать. Это очень трудно и очень скользко, но сделать это нужно. Тогда это будет действительно живой человек. Я не знаю, как она дальше развернется...

Островский.— Она в революцию не войдет.

— Это ничего не значит. Пусть не будет революционеркой, но это — человек, отклонившийся в известной линии от своего класса, от тех вещей, среди которых она живет, чем дышит, и с этой точки зрения это интересная фигура, если ее доработать.

Владислав — он, конечно, только намечен, но не разработан. Его нужно непременно внутренне расширить. Но, может быть, это только эпизодическое лицо, которое помогает общему разворачиванию движения? Это нужно продумать, но он дан поверхностно, неглубоко.

Архиепископ отлично дан. Чувствуешь за этим попом всех попов, которые вас давят.

Хорош слуга Адам. Это — раб до мозга костей, который даже не чувствует тяжести своего рабства. Такие есть, и их много.

Около них Франческа. — Не знаю, как она дальше развернется, но она производит впечатление эпизодическое.

Заремба — молодец, правилен внутренне во всех смыслах. И когда он говорит Людвиге нагло, что есть только победители и побежденные,— это очень хорошо его характеризует. Но я бы сделал не так. Эти слова «победители и побежденные» даны несколько отвлеченно, философски. Это мне показалось немножко искусственным и налепленным, как ярлык. А он — великолепная фигура.

Стефания — просто индюшка, хорошо откормленная, она здесь на месте.

Когда я дошел до рабочих, я сразу себя почувствовал как дома. Андрий великолепен, Васька великолепен, Олеся — милая девушка. Вероятно, она вырастет дальше. Перед ней — будущность человека, полезного революции. Вот с Раймондом дело труднее, а между прочим — фигура прекрасная. Как-то его надо дать на событиях, на столкновениях с людьми, с врагами, с друзьями, чтобы повернуть его несколько раз, чтобы он осветился со всех сторон.

Знаю, Николай Алексеевич, очень легко сказать: «Поверни несколько раз, освети со всех сторон», но трудно сделать. Если бы меня заставили поворачиваться несколько раз, я бы или долго поворачивался, или совсем бы не повернулся. Но это фигура, над которой стоит поработать.

Взрослый революционер — отец Раймонда — очень хорошо чувствуется. Я даже не знаю, почему это так, почему ребята так ярко вылезают из полотна. Их принимаешь, понимаешь.

Во всей прекрасной ткани произведения есть особенно хорошие места. Вот в сторожке, когда собрались мужички после похищения аристократок,— это же для них изумительно характерно: в опаснейший момент зарылись в сено и храпят там, а другие в дом попали, в тепло, и тоже захрапели. Это захватывает, волнует, и я сам, не замечая того, при чтении бормотал, не справляясь с волнением: «Вот дубье, ведь влезли же, идолы!»

Хорошо показаны взаимоотношения попавшихся. Плясали потому, что тут Андрий: не будь Андрия, не плясали бы. И то, что баре не ели, это тоже хорошо, это единственное у них оружие. А потом накушались — тоже великолепно. Сцена эта дана прекрасно.

Но вот одного героя в романе почти нет, героя, который обязательно должен бы там быть. Николай Алексеевич, по-видимому, ведет к этому. Я имею в виду массы. Ведь Андрий и другие — не висят же они в воздухе? Если «благородный народ» сидит в замке, это понятно: за ним в замкнутом окружении почти никого нет. А ведь рабочие, они же растут органически, растут своими корнями в массы,— и вот это почти не дано. Или если дано, то слабо. Сам доходишь до этого. А, между прочим, есть великолепные сцены, когда, например, Андрий залез в кочегарку и гудит, а громадный двор наполнен народом, только народ-то, к сожалению, никак не реагирует. Его будут пороть, рубить, но он еще не настолько революционен, чтобы броситься вперед. Эти колебания говорят о том, что вот-вот наступит катастрофа — всех их изрубят, расстреляют. Но эти колебания, это напряженное ожидание, что вот лопнет терпение, нужно усилить.

Я бы добавил вот что. Гудит гудок, по улицам бегут — бежит народ, бегут рабочие. Одни спрашивают — что такое, а другие просто бегут. Какой-то внутренний голос подсказывает, что что-то случилось. Может быть, в какой-нибудь хате один тянет старое охотничье ружье, другой топор, и какая-нибудь бабка кричит: «Куда ты?» — а он бежит.

Надо показать эту просыпающуюся толпу, которую знакомый рев гудка в необычное время привел в возбу-

ждение. Тут нужно развернуть картину. Пусть в конце концов всех разогнали, но это даром в сознании масс не прошло.

Немцы хотя и даны эпизодически, но даны хорошо. Показана выправка, непреклонность, надменность. Это есть. Но опять-таки масса показана очень мало, очень скупо. Я запомнил только одно место: когда немцы шли поперек улицы и, все сметая, очищали ее. Сцена — великолепная, но этого мало.

Очень хорошо изображен бухгалтер, которого избили ни за что, и потом обманутые немцы пошли с неуемной ненавистью. И все-таки чего-то им не хватает. Ведь у них в известной мере открылись глаза, и они, наверное, вспомнили, как шли поперек улицы и все на пути сметали. Тут надо дать ниточку, которая протянулась бы к тем, которых они сметали.

Островский.— Спасибо, Александр Серафимович. Хорошо, старик, поправил, что лишнее.

— Еще,— я уж забыл действующих лиц,— когда приходит хозяин выгонять семью сапожника Михельсона. Я бы их, как на фильме, подробно не показывал. Надо показать, как они, согнувшись, несут свои тощие сундучишки. А Абрам Маркович и Шпильман — это очень хорошо, когда они говорят: «Корабль тонет, крысы бегут».

Ну, Николай Алексеевич, чем богаты, тем и рады. Высказал, что думал о вашей хорошей вещи. Вы мне комплимент сделали, и я вам сделаю. Ваша «Как закалялась сталь» показалась мне сначала теплее и ближе, чем «Рожденные бурей», но я должен сказать, что мастерство у вас выросло. Ведь громадный, сложный материал, а вы его здорово разложили, сорганизовали, связали в одно прекрасное органическое целое.

ХУДОЖНИК СЛОВА

Сергей Николаевич Сергеев-Ценский — один из виднейших русских писателей, перу которого принадлежит не один десяток ярких, оригинальных произведений. Он — автор грандиозной военно-оборонной эпопеи «Севастопольская страда», большого цикла романов «Пре-

ображение», охватывающих русскую жизнь 1912—1918 годов, многих чудесных по колориту и острых по содержанию повестей и рассказов («Движения», «Печаль полей», «Дифтерит», «Пристав Дерябин», «Медвежонок», «Недра», «Наклонная Елена», «Устный счет», «Живая вода» и др.). В дни Отечественной войны Сергеев-Ценский опубликовал большой исторический роман «Брусиловский прорыв», посвященный замечательному русскому полководцу генералу Брусилову и его сподвижникам, нанесшим в 1916 году на Восточном фронте сокрушительный удар по германскому военному могуществу.

О таланте Сергеева-Ценского проникновенно писал А. М. Горький. Прочитав «Преображение», А. М. Горький писал автору романа:

«Вы встали передо мной, читателем, большущим русским художником, властителем словесных тайн, проницательным духовидцем и живописцем пейзажа». «Вы очень большой писатель»,— заключил Горький, подчеркивая подлинно русскую природу таланта Сергеева-Ценского, книги которого «властно берут за душу и возмущают разум, как все хорошее, настоящее русское...»

Сергеев-Ценский — писатель-новатор, ищущий и открывающий новые и новые возможности богатейшего русского языка. Сергеев-Ценский — всегда экспериментатор, искатель совершенной формы, новых оттенков содержания, изобразитель сокровенных движений человеческого сердца. Один из его романов так и называется: «Искать, всегда искать». В нем молодой советский ученый Слесарев неутомимо ищет «загадку кокса» и находит ее.

А. М. Горький имел право сказать Сергееву-Ценскому:

«Удивительно солнечно можете вы писать! И несмотря на мягкость, на лиричность тонов, удивительно пластично!»

Русские люди, всегда ищущие, жаждущие счастья, радости, солнца, свободного труда; русские бескрайние просторы — поля, леса и особенно природа Крыма — все это широко, объемно показано писателем.

Сергеев-Ценский создал галерею образов самых различных людей. Сотни действующих лиц разного звания и состояния, самые разные диалекты и наречия русского языка воспроизведены Ценским. Огромна жадность писателя к людям, главным же образом к роду их деятельности, труду, профессиям. Эту сторону человеческой жизни Сергеев-Ценский особенно ценит, прис-

тально изучает ее, благоговеет перед умело работающим человеком.

Он складывается как художник еще в ту далекую пору, когда в русской литературе господствовали декаденты. Он находил в себе силы не поддаваться модным декадентским настроениям. Вера в свой народ, в его великое будущее всегда жила в его творчестве. Замечательно, что «Верю!» (так называется один из самых ранних его рассказов) — лейтмотив большинства произведений Ценского. Прекрасно звучит у него «Ты сначала дослужись до человека. Человек — это чин, и выше всех чинов». В этом Сергеев-Ценский неизменно верен себе. Таким он и выступает сейчас в русской культуре — певцом труда, энергии, мужества и воли.

Писатель провел детство и юность в лесостепной полосе России, в Тамбовской губернии. Здесь он по примеру своего отца сделался учителем. В русско-японскую войну, а также и в войну 1914—1918 годов он служил офицером в армии. В отставку с учительской службы Сергеев-Ценский ушел уже литератором, имея позади семь лет писательского труда. Тогда же он поселился в Алуште, в Крыму, на берегу моря, построив себе антисейсмический домик, свою творческую студию, где и создал все, что появилось в печати за его подписью в последние тридцать семь лет.

Более четырех десятков лет неутомимо и самоотверженно отдает Сергеев-Ценский свои силы делу литературы. Выполненное им огромно по масштабу. И столь же огромны всегда замыслы художника на будущее. В самое последнее время Сергеев-Ценский, признанный мастер психологического повествования, обнародовал монументальное произведение — эпопею «Севастопольская страда», в которой открыл новые свойства своего дарования. В эпопее работа художника соединена в одно целое с пытливостью историка-исследователя. Велико познавательное значение эпопеи. И столь же велик в ней пафос утверждения силы русского народа, силы русского оружия. Глубочайшая любовь к родине — вот тот источник, который делает всю картину описанной Сергеевым-Ценским страды живой, волнующей, правдивой, современной в прямом смысле этого понятия.

О славе русского оружия, о доблести людей нашей родины пишет Сергеев-Ценский в дни Отечественной

войны. «Брусиловский прорыв» — произведение глубоко патриотическое. Брусилов для Сергеева-Ценского — олицетворение талантливости русского народа, его наступательной силы, его воинской и политической мудрости.

В дни Отечественной войны художник Сергеев-Ценский выступил как публицист. Его статьи в газетах — статьи грозные, обличительные, зовущие к отпору, к победе над наглым врагом, освещенные глубокой верой писателя в силы советского народа. В журнале «Большевик» Сергеев-Ценский пишет о природе героизма русских: «В нем нет ни надрыва, ни позы, он прост и естественен, он в духе нашего народа, а если теперь временами кажется, что он превосходит все, что было известно нам из истории, то ведь и великая борьба за родину, которую мы ведем, не имеет себе равной в истории мира».

Большой писатель еще порадует нас большими творениями.

МОИ ВСТРЕЧИ С ЛЕНИНЫМ

В начале революции в 1918 г. я заведовал литературным отделом Наркомпроса. В то время старая литература ушла, прежние литераторы ушли со сцены. А новая пролетарско-революционная литература еще не сорганизовалась. Один только Маяковский выдвигался как советский писатель. Нужно было собирать советски-революционно настроенных писателей. Это была трудная и сложная задача. Владимир Ильич Ленин в высшей степени внимательно относился к этому вопросу.

Однажды он вызвал меня в Совнарком, чтобы я дал отчет, что сделано по собиранию пролетарских писателей, по организации пролетарской литературы.

Прихожу в Кремль.

В громадном зале за длиннейшим столом сидит человек восемьдесят ответственных работников — наркомов, замнаркомов, заведующих управлениями, отделами, комитетами. Много приехавших из разных краев и областей.

Все расположились за столом и вдоль стен на стульях.

Товарищ Ленин председательствовал. Он давал ораторам слово и строго следил, чтобы ораторы не перели-

вали из пустого в порожнее, требовал сжатости изложения по существу. И ораторы боялись расплываться в многословии. Заседание шло напряженно, сжато и быстро. Товарищ Ленин употреблял многообразные приемы, чтобы сэкономить время.

Стали обсуждать вопрос о бумаге.

Мы совершенно сидим без бумаги. А она нужна и Красной Армии и гражданским учреждениям и для печатания литературы. Владимир Ильич взял папку, слегка приподнял ее и сказал:

— Вот проект, как упорядочить выработку бумаги, как заставить бумажные фабрики напряженнее работать. Ваше слово, товарищ... Впрочем, подождите минуточку,— обратился он к товарищу, поднявшемуся со своего места. (Он тогда занимался вопросами бумаги.) Я вас попрошу с автором этого проекта выйти за дверь. Пусть он вам расскажет сущность своего проекта. Если проект — дельный, мы сейчас же проведем его без прений. Если ж он пустой — автор проекта пусть сядет под арест на три дня. Даю вам обоим пять минут.

Товарищ Ленин продолжал заседание. А тов. Шведчиков и автор проекта с скукожившимся лицом вышли за дверь. Ровно через пять минут они вернулись. У автора проекта лицо было красное, как вареный рак. Товарищ Ленин сейчас же прервал речь очередного оратора и торопливо обратился к товарищу Шведчикову:

— Ну, как?

— Проект дельный.

— Ага! Ну, прекрасно. Мы его утвердим...

И обратился к секретарю, быстро передавая ему папку.

Заседание продолжалось.

Я был поражен удивительным умением Ленина вести заседание в высшей степени экономно, уплотненно. Я не помню ни одного председателя, который бы так умел это делать.

Товарищ Ленин в высшей степени внимательно слушал речи оратора, а сам в это время успевал перекинуться словом с кем-нибудь из сидящих товарищей. То и дело он писал маленькие записочки товарищам, сидевшим за столом: «Вы неправильно ставите вопрос...», «Надо сделать так-то и так-то». Эти записочки он ловко бросал сидевшим поодаль.

Ночь... Уже два, три, четыре часа непрерывной работы. У всех глаза посоловели. Усталые лица бледны. Товарищ Ленин видит, что нужно дать передышку. Он кладет карандаш, хитро оглядывает сидящих товарищей и говорит, пряча усмешку:

— Я, знаете ли, прошлой осенью поехал в деревню с товарищами отдохнуть. Ну, беседовали мы с крестьянами и крестьянками о деревенской жизни. Чайку попили. Потом пошли поохотиться. Хозяин говорил, что под самой деревней есть озерцо в камышах, там масса уток. Приходим туда. Сняли башмаки, закатили штаны и полезли в озеро... Топко. Шуршит камыш, из-за него ничего не видно. Высо-кий.

Мы шлепаем по воде. Ноги уходят выше колена в тину, с усилием вытаскиваем их. Слышим, где-то впереди из камыша вылетают утки и... пропадают — нам из-за камыша их не видно. Мы все болтаемся в тине, с плеском и шумом. Так, должно быть, с час промаялись... «Да ну их к черту,— говорит товарищ...— Этак мы до вечера без толку будем болтаться...»

Насилу вылезли. На берегу собрались ребятишки. Как глянули на нас, давай хохотать и шлепать в ладошки. «Дяденьки, дяденьки, да вы всю тину с озера выгребли».

Мы глянули друг на друга и тоже стали хохотать. Жалко — не было ни художника, ни фотографа. Надо было нас увековечить.

Ленин хитро посмеивается. А зал оглашается хохотом товарищей. Усталости — как не бывало. Блестят у товарищей глаза. Напряженны приготовившиеся к работе лица.

Товарищ Ленин постучал по столу карандашом, и опять началась напряженно-громадная работа по спасению страны от врагов, по строительству.

Как-то вечером в 1920 году товарищ Ленин прислал за мной машину. В Кремле подымаюсь по лестнице в маленькую, чрезвычайно просто обставленную квартирку Ленина. За небольшим столом сидит Надежда Константиновна Крупская и сестра Ленина, Марья Ильинична Ульянова. С Марьей Ильиничной мы долго работали вместе в «Правде». Через нее Владимир Ильич

давал направление газете. Он указывал на ошибки в ведении газеты и подчеркивал ее хорошие стороны. Это чрезвычайно ободряло редакцию и всех сотрудников.

Вскоре вышел Ильич, подошел ко мне, крепко пожал руку, пригласил за стол. Глядя на меня чуть усмехающимися глазами, он быстро спросил:

— Ну, с кем вы больше встречаетесь — с интеллигентами или с рабочими?

— Да понемногу и с теми и с другими.

— Да-да-да,— быстро проговорил Владимир Ильич,— вот литературу нужно нам свою организовать. Кого из старых писателей можно привлечь?

— Да ведь как... Много их, да, пожалуй, самых талантливых, враждебно убежало на запад, за границу. Другие — в Харбин, в Японию. Третьи притаились тут у нас, и о них ничего не слыхать...

Владимир Ильич на минуту призадумался, потом быстро заговорил:

— Да-да-да... Надо новых писателей создавать, из рабочих, из крестьян. Кружки...

— Кружки у нас есть. Кружки рабкоров, селькоров. Пишут.

— Да-да-да... отлично... Постепенно из них и художники выйдут.

— Рабочие, Владимир Ильич, своими силами стараются культурно выбиться. Вот пришлось мне побывать на северной дороге на станции Лосиноостровской. Там интересно проявили себя в самодеятельности рабочие. Жил там богатый помещик. У него была скаковая конюшня. Когда пришла революция, он сбежал совсем с лошадьми. Осталась конюшня, заваленная навозом. Рабочим арсенала очень хотелось иметь свой клуб. А здания не было. Выпросили они у местной власти эту конюшню. Им дали. Рабочие выгребли навоз, поделали окна, настлали пол и потолок, потом сделали эстраду [повесили портреты вождей], электричество провели, повесили занавес, поделали сами скамьи, кресла. Получился клуб, вроде «Дворянского собрания».

Владимир Ильич заразительно расхохотался. И все приговаривал:

— Да-да-да, совершенно «Дворянское собрание», совершенно «Дворянское собрание».

И в этом радостном смехе, в этом радостном блеске глаз неизъяснимая любовь и гордость за рабочий класс.

И все приговаривал:

— О, рабочий класс все может сделать!.. И из конюшни — «Дворянское собрание».

В начале Великой Октябрьской социалистической революции я с группой товарищей организовал литературно-художественный журнал «Творчество». Владимир Ильич опять внимательно следил за жизнью журнала, за всем тем, что в нем появлялось. В общем он хорошо относился к журналу. Но однажды сказал:

— Хорошо, что журнал отдает внимание жизни рабочих и особенно, что сами рабочие там пишут. Но скажите, почему у вас ничего не рассказывается о жизни советской женщины, о крестьянке. Ведь в преобразованном государстве, в социалистическом государстве, она играет громадную роль. Ведь впервые у нас она выходит на широкую общественную арену. Посмотрите, как наши женщины, даже в деревне, рвутся к учебе, к образованию. Пройдет немного лет, и у нас появятся женщины-врачи, женщины-агрономы, женщины-инженеры, женщины-ученые, женщины — государственные деятели. Да-да,— опять проговорил он, думая о своем,— нужно писать о нашей женщине. От них много зависит, как пойдет строительство нашей жизни.

Не было ни одного вопроса общественной жизни, который бы проходил мимо товарища Ленина. Но один из таких вопросов всегда, при всяких выступлениях, по всякому поводу, он особенно подчеркивал — это вопрос о защите отечества.

На партийных собраниях, на комсомольских и на общих больших собраниях рабочих, крестьян и интеллигенции он упорно говорил:

— Готовьтесь к отражению враждебных нападений. Готовьтесь защитить вашу родную страну... Помните, мы окружены со всех сторон враждебными государствами...

Это упорное напоминание глубоко проникло в народные массы,— и нынешняя война ярко показала это: народ, все национальности, по завету Ленина, страстно бьются с подлыми врагами и ломят их.

Ленин чрезвычайно внимательно заботился о людях умственного труда — об ученых, о профессорах, изобре-

тателях, инженерах. В те трудные времена он старался всячески возможно лучше устроить их жизнь.

В высшей степени внимательно он относился к жизни и обстановке писателей. Марья Ильинична Ульянова как-то рассказала ему, что я нуждаюсь, живу в сырой квартире. Владимир Ильич сейчас же распорядился отвести мне комнату в 1-ом Доме Советов и дать мне обед в совнаркомовской столовой. Это чрезвычайно поддержало меня.

В 1918—19 годах рабочие голодали. Ленину часто присылали из деревни мясо, печеный хлеб, овощи, фрукты. Владимир Ильич все это отсылал в детские дома, в больницы. Однажды Марья Ильинична сказала ему:

— Володя, ты бы хоть немного себе оставлял... А то ослабеешь, свалишься, не в состоянии будешь работать...

Владимир Ильич ответил:

— Я не могу есть, зная, что рабочие и их дети голодают.

25 декабря 1943 г.

ПИСАТЕЛЬ-ПАТРИОТ

Для Алексея Толстого самым священным, самым глубоким чувством была любовь к родной земле. Это чувство определяло все содержание, характер и образы его творчества.

Русский народ, Россия — такова основная тема Толстого. Разгадка русского характера во всем его многообразии, богатстве оттенков, широта жизнеощущения — вот что особенно занимало пытливую мысль писателя-патриота. Но «чтобы понять тайну русского народа, его величие,— говорил Толстой,— нужно хорошо и глубоко узнать его прошлое: нашу историю, коренные узлы ее, трагические и творческие эпохи, в которых завязывался русский характер». К этим эпохам и обращался писатель в своих монументальных произведениях: «Петр I», «Иван Грозный», «Хождение по мукам».

«Петр I» — это огромное историческое полотно, это широчайшая картина нравов, быта, исторических собы-

тий. Но прежде всего это — книга о русском характере. С изумительным мастерством нарисован писателем образ Петра — человека и государственного деятеля; показаны его любовь к России, его демократизм, раскрыта сложность его богатой пылкой натуры. Бесконечно больно, что неоконченным осталось это произведение, украшающее нашу отечественную литературу.

«В трех водах топлено, в трех кровях купано, в трех щелоках варено. Чище мы чистого» — это народное изречение Толстой поставил эпиграфом к одной из частей своей трилогии «Хождение по мукам». И эта мысль о великой очистительной силе борьбы и страданий, выпавших на долю русского народа, красной нитью проходит через все три книги романа. Но не скорбь и не уныние рождает рассказ об этих муках, по которым вместе с героями своего романа, вместе с бесконечно дорогим ему народом проходит писатель, показывая, какой дорогой ценой покупалась новая, свободная, светлая жизнь на нашей земле. Горячей верой в мощь России, в неисчерпаемые силы народного духа проникнута каждая страница романа.

Той же уверенностью и твердостью дышат горячие строки Толстого-публициста, с первых же дней Великой Отечественной войны выступившего с пламенными призывами к русским людям, к родному народу. Верный сын России, пламенный патриот, Алексей Толстой великим оружием слова помогал своему народу в его борьбе с врагом,— и в светлый день победы, который уже близок, его образ будет с нами.

В ГОСТЯХ У ЛЕНИНА

Я не раз слышал Владимира Ильича Ленина на съездах и конференциях. Меня всегда поражало, что по количеству времени Ленин говорил обычно меньше ораторов, выступавших и до и после него, но впечатление от его речей оставалось всегда колоссальным.

С глазу на глаз я разговаривал с Владимиром Ильичем только однажды. И мне хочется рассказать об этом

единственном незабываемом дне,— дне, когда я был в гостях у Ленина.

Как-то под вечер в моей квартире раздался звонок, вошел человек и сказал:

— Товарищ Ленин прислал за вами машину.

Минут через пять я был в Кремле. Молодой красноармеец провел меня в верхний этаж, где была расположена квартира Ильича. Очутившись в маленькой полутемной передней, я стал раздеваться и тут же услышал быстрые и легкие шаги: из внутренних комнат вышел Ленин. Он разом окинул меня взглядом с ног до головы и, горячо пожимая руку, приветливо сказал:

— Ну-с, пойдемте, пойдемте...

Мы вошли в столовую. Это была тесная, но удивительно опрятная и уютная комнатка, заставленная простой, довольно потертой мебелью. Мне случалось часто бывать в квартирах рабочих, обставленных значительно богаче. Видимо, в частной жизни, в быту Ильич строго придерживался принципа жить в тех же условиях, в которых живут сейчас трудящиеся массы.

— Как живете? С кем больше встречаетесь? С рабочими или с интеллигентами? Расскажите,— спросил Владимир Ильич, не спуская с меня глаз, как будто боялся, что я убегу.

— Да понемногу и с теми и с другими...

Я был смущен: «Ну, что я буду рассказывать Ленину,— думалось мне,— ведь все, о чем я могу рассказать Ильичу, он давно уже знает, и едва ли это будет ему интересно».

Владимир Ильич чутко заметил мою растерянность и, чтобы дать мне время прийти в себя, попросил Надежду Константиновну:

— Ты бы нам чайку...

Я не мог представить себе другого человека, который, стоя высоко над людьми, был бы так чужд честолюбия и не утратил бы живого интереса к «простым людям».

В тот памятный вечер я увидел Ленина совсем иным, не похожим на вождя и трибуна, каким встречал его ранее на съездах и конференциях. Передо мной явился но-

вый Ленин — прекрасный товарищ, веселый человек, с живым неутомимым интересом ко всему миру, удивительно мягко и любовно относящийся к людям.

— Пишете что-нибудь? — спросил он.

— Трудно сейчас писать: очень много организационной работы.

Ильич нахмурился.

— Да, организационной работы у нас сейчас в стране много. А вам, писателям, необходимо привлечь в литературу рабочих. На это надо направить все усилия. Каждому маленькому рассказу рабочего надо сердечно радоваться. У вас в журнале рабочие помещают свои вещи?

— Маловато, Владимир Ильич, видимо, знаний, культуры не хватает.

Он поглядел на меня смеющимися прищуренными глазами.

— Ну, это ничего, научатся писать, и будет у нас превосходная, первая в мире пролетарская литература...

Была в этих словах яркая вера в человека, в русское искусство, неугасимая действенная вера и любовь к рабочему народу.

На столе появился самовар: он был помят и выглядел поношенным; стаканы, чашки, блюдца — все было сборное, а угощение отличалось удивительной скромностью.

Неприхотливый, занятый с утра до ночи сложной тяжелой работой, Владимир Ильич совершенно забывал о себе. И сейчас, сидя за столом Ильича, мне казалось, что мы «чаевничаем» где-то в глухой деревне, пьем, обжигаясь, горячий, из бурлящего самовара, чай, осторожно и экономно покусывая сахар.

Улыбаясь, глядя прищуренными глазами, Ленин все ждал от меня рассказа.

«Да ведь надо,— думал я,— рассказать Владимиру Ильичу о рабочих; ведь затем он и пригласил меня, чтобы заглянуть в тот мир, от которого он порой бывает отодвинут своей колоссальной работой».

— Недавно я был на станции Лосиный Остров,— собравшись с духом, начал я,— там находится крупный арсенал, и в нем работает более тысячи рабочих.

Владимир Ильич придвинулся и наклонился ко мне, ласковый и внимательный. С поразительной, присущей ему живостью, ясностью и интересом он стал подробно расспрашивать о жизни рабочих арсенала, об их заработке, о работе, о школах, об отдыхе. И по этим метким, острым вопросам я почувствовал в Ильиче какое-то особое чутье, глубокое органическое понимание того, что переживает в данную минуту рабочий класс. Речь Ленина была скупа словами, но обильна мыслями.

Чувствуя заинтересованность Ильича, я рассказал в тот вечер о том, как рабочие-арсенальцы задумали выстроить у себя клуб. Ни средств, ни стройматериалов у них не было. Райисполком не смог прийти на помощь. Тогда на специальном собрании арсенальцы решили приспособить под клуб... конюшню.

Ленин внимательно слушал мой рассказ. С висков на углы век набегали морщинки, глаза засветились юмором и добродушием.

— Позвольте, это как же из конюшни клуб? — спросил Ильич, полный живого неутомимого интереса.

— В Лосином Острове жил прежде богатый помещик. Он держал первоклассных скаковых лошадей, а для этих лошадей была выстроена огромная конюшня. Вот рабочие, засучив рукава, принялись переделывать конюшню в театр: вычистили помещение, побелили, прорезали окна, настлали полы, возвели сцену, понаделали мебель, провели электричество, а когда все было закончено,— отправили в Москву делегацию за артистами. Артисты с радостью откликнулись на призыв. Весь поселок пришел на открытие нового театра. Это был чудесный праздник.

Ильич восторженно слушал, и глаза его сияли.

— Ну-ну,— поторапливал он мой рассказ.

Краткому, характерному «ну-ну» Ленин умел придавать бесконечную гамму оттенков — от осторожного сомнения, от едкой иронии до одобрительного поощрения, доступного человеку очень зоркому и понимающему все «превратности» судьбы.

— ...И вот рабочие своими силами из конюшни построили, так сказать, фешенебельное «дворянское собрание».

Глаза Владимира Ильича вспыхнули непотухающе ярким светом. Он вскочил, коренастый и плотный, и,

держась за лацканы пиджака, залился чудесным ленинским ребячьим смехом. Никогда я не встречал человека, который умел бы так заразительно смеяться, как смеялся Владимир Ильич. Было даже странно, что суровый реалист, человек великих исторических дел может смеяться по-детски, до слез. А Ильич, захлебываясь смехом и с трудом преодолевая его, проговорил:

— Только рабочий умеет построить из конюшни «дворянское собрание»; а то ли он еще построит — дайте срок...

Если бы я никогда прежде не слыхал об Ильиче, не видал бы его, не знал бы, как относится Владимир Ильич к рабочему классу,— эти слова, а всего более задушевный отцовско-ласковый смех открыли бы мне всю глубину его любви, веры и гордости за созидателя жизни, рабочего-творца.

Мысль Ленина, точно стрелка компаса, всегда обращена была в сторону классовых интересов трудового народа.

Стирая слезы смеха, уже серьезно, с большой силой, негромко Ленин сказал:

— Страшно дорого заплатили рабочие за свое право быть хозяевами жизни, но в конце концов выиграют они. Это — воля истории.

Надежда Константиновна прислушалась к шуму в коридоре и торопливо вышла. Вернувшись, она шепнула что-то Владимиру Ильичу.

Словно пеленой подернулось его лицо. Взор стал ровным, холодновато-насмешливым, а взгляд твердым и непреклонным. Это был уже не веселый собеседник, а вождь рабочего класса, гениальный полководец пролетарских сил.

— Вы меня простите,— сказал Ленин,— но сейчас получено известие, что белые выбили наши войска из Ростова. Я должен идти работать...

На этом наша беседа окончилась. Я откланялся, с трудом отрывая глаза от Владимира Ильича.

Через два дня было получено сообщение о том, что белые выброшены из Ростова, что Красная Армия гонит их к Новороссийску, а еще через несколько дней страна узнала, что полчища белых сброшены в море.

МОСКВА

После царской ссылки я, по окончании гласного полицейского надзора, приехал в Москву.

Не понравилась мне Москва: лохматая, кривобокая,— как старушки, горбатые домишки. То ли дело Петербург-щеголь, где я учился в университете до ссылки, прямые улицы, красивые здания, торцовые мостовые, прекрасные мосты. А тут что? Захолустная деревня.

А жить надо. Поселился я на Пресне. Понемногу протиснулся в среду писателей, стал писать и печататься. Издал первую книжку.

Вздулась волна революции. Непотухающая ненависть заливала рабочие ряды. Прогремела Пресня — отчаянная борьба, расстрелы, кровь. В каждой рабочей семье нет либо отца, либо брата, либо сына. А на льду Москва-реки лежали сотни трупов.

Москва стала для меня другой — отблеск огней Пресни ложился на город.

Этот скользящий огонь не потух. Раздался взрыв Октября. Москва стала советской.

Социалистическая столица стала перестраиваться.

Каждый раз, возвращаясь из частых поездок по стране, я не узнавал Москву, так лихорадочно из старого облика встала новая Москва. Сначала буйное преображение столицы удивляло и поражало, а потом этот облик строящейся Москвы стал привычным, обыденным.

А когда я ездил по стране, чувствовалось, как свет Москвы освещает все уголки огромной страны.

Я получил возможность съездить за границу, познакомиться с чужой жизнью. Попал в Париж. Получил в гостинице комнату. Вечером вышел на улицу. Улица ярко, как днем, освещена. Народу было мало. Завернул за угол в переулок. Передо мной вырос плохо одетый человек и сказал, торопливо оглядываясь.

— Деньги! — это прозвучало просительно и угрожающе.

Я полез в карман, подыскивая мелкую монету. Он все так же просительно и настороженно-враждебно оглядывался кругом. И вдруг спросил:

— Немец?
— Нет.
— Англичанин? — быстро переспросил он.
— Нет.
— Кто же вы?
— Я — русский.

Он бросился ко мне. Я попятился.

— Москва?
— Да.

Секунду он молчал, потом схватил меня за рукав, прижал к груди и вскрикнул захлебываясь: «Москва! Москва!»

Я растерянно молчал. Из-за угла вышел полисмен и медленно прошел мимо, поглядывая в нашу сторону. Незнакомец быстро отшатнулся. Я сунул [ему] серебряные монеты, а он сконфуженно сказал:

— Нет, не надо. Я — безработный.

Я кивнул головой и медленно пошел; а он все шептал мне вслед:

— Москва! Москва!

Я вышел из переулка на ярко освещенную улицу. Услышал за собой торопливые, тяжелые шаги. Оглянулся — передо мной стоял полисмен. Он вежливо вскинул пальцы к каске и сказал:

— Пардон, мсье, к вам, кажется, приставали за милостыней?

— Нет,— торопливо ответил я,— никто не просил.

Он немного растерянно оглянулся. Перед нами стоял аккуратно одетый господин в шляпе и улыбался.

— Я видел,— сказал он,— у вас просили милостыню. Вы иностранец?

— Да.

— Ну понятно,— сказал он со злобой, передернувшей его лицо.— У нас запрещено.

Он было пошел. Опять обернулся ко мне.

— Вы англичанин?
— Нет.
— Немец?
— Нет.
— Кто же вы?
— Русский.
— Москва,— зашипел он злобно и стал переходить

улицу. Я тоже отвернулся и пошел по переулку. Москва, милая, родная Москва, ты тревожишь все сердца.

Я не предвидел тогда, что в такой короткий срок орды таких, как этот господин, двинутся во главе с Гитлером на нашу Москву.

Они пришли, чтобы разрушить социалистическую Москву. Чтобы убить социалистический строй, Гитлер обещал взять и разрушить сердце его — Москву. Но наглый и бездарный шпик обманул свои орды: Москва их отбросила. Чудовищные гитлеровские волны отхлынули. Перед ними стояла Москва.

Москва, строгая, вобравшая в себя всю силу и волю народа. И во всех уголках страны, и во всех уголках мира и друзья и враги тревожно спрашивали: «Как Москва?» Москву защищали и армия и московские сапожники, академики, школьники, ткачи, бухгалтера — народное ополчение. Кто не ушел на фронт — до упаду работал у станков на фабриках, на заводах. Это было нечеловеческое напряжение.

Гитлер просчитался. Нет, не просчитался, он просто не знал и не мог понять, что Москва не просто город. Ведь любой город можно взять, если напасть внезапно и иметь преимущество в военных силах. Ведь брали же столицы раньше?! Он не мог понять, что это — социалистическая Москва, столица социалистической страны.

Что же такое социалистическая столица? А вот что.

Однажды в Париже зашел ко мне в гостиницу знакомый французский писатель, и мы решили с ним осмотреть музей.

— Как мы с вами поедем?

— На метро.

Мы вышли на улицу. За углом — толпа. Черная дыра зияла, и в нее проваливался народ. Так это метро? Я тоже провалился. И все боялся убиться. Грязная, скользкая лестница, ноги разъезжались. Люди скользили, толкали друг друга, хлопались спинами о заплесневелые темные стены. Раздраженные восклицания, крики стояли в тяжелом, затхлом воздухе подземелья.

Я не убился, уцелел и вместе с другими добрался до поезда метро. Мы втиснулись в переполненный вагон, по свистку его дернуло, и он начал качаться и греметь, как телега.

Я вспомнил наше социалистическое метро в Москве. Да ведь это же дворец! А тут что? Я сказал это своему спутнику.

— Чего же вы хотите? — ответил он.— Ведь это же капиталистическое предприятие. Хозяева метро думают об одном — поменьше расходов, побольше барыша. А если это не удобно, то ходи своими ногами.

Я забыл конкретную разницу: капитализм и социализм. А тут вдруг почувствовал, это — Париж и Москва. Ну, конечно, знал: социализм — это равенство всеобщее, а капитализм — это упорное, неприкрытое неравенство. Но это я знаю в мыслях, в теории, а конкретно?

Капитализм: буржуазия катит в великолепных машинах, а трудовое большинство скользит, хватаясь друг за друга, по скользким, черным, заплесневелым лестницам в трущобах метро, похожих на заплесневелые дыры,— это Париж.

Социализм: дворцы под землей, сухие, теплые, блестящие, освещенные,— это для всех,— это Москва.

И так во всем.

Социализм: разбиваются новые парки и бульвары, это — для всех, строятся музеи, это — для всех, санатории — для всех. Это доступно всем, и это — Москва.

Все строится удобно, красиво, и это для всех,— это социалистическая Москва.

За границей умеют строить и великолепные здания, и театры, и санатории. Но все это для маленькой кучки с тугой мошной, а громадная, задавленная подневольным трудом масса этим не пользуется. Для этой массы все некрасивое, неудобное, последний сорт. И все втридорога, и поэтому приносит хозяину большой доход.

Правда, в Москве есть еще дореволюционные остатки, ветхие домишки, узкие улицы и пр., но каждый москвич знает, что все это временно. На его глазах осуществляется план реконструкции Москвы, который быстро поглощает все эти остатки старины...

Москва моя, чудесная, единственная, неповторимая, ты полна творческой мысли, ты учишь благородному отношению людей друг [к] другу, ты воплощаешь лучшие мечты человечества!

Вспомнишь о Москве, затрепещет сердце,— какая она мужественная, героическая, величественная и... родная.

ВОСПОМИНАНИЯ О ГОРЬКОМ

Я подошел к парадному квартиры писателя Андреева. Снег медленно садился на деревья, на белую улицу, на горевшие по-ночному фонари.

Никак не подыму руку, чтобы нажать пуговку звонка Запушенные снегом окна длинного одноэтажного дома по-зимнему и загадочно светились. Тут жил Леонид Андреев, писательская звезда которого и слава неожиданно вспыхнула, загорелась ярко и ослепительно. Я был с маленьким именем — журналист, писатель,— жил в глухих местах донской земли. Андреев — мы с ним не были знакомы — письмом пригласил меня переехать в Москву работать в газете «Курьер», в которой он принимал ближайшее участие.

Никак не подыму руку к звонку. Я знаю, за этими светящимися окнами в больших, уютных, тепло натопленных комнатах сегодня все, что было лучшего и знаменитого в России. Но главное — Горький.

Не подыму руку — страшно после провинции. И вдруг неожиданно для самого себя позвонил, и в ту же секунду остро прохватила мысль: «А не удрать ли?.. Метнуться за угол, только и видали,— и никто не узнает». Но было поздно: дверь отворилась. Вошел, разделся.

В длинной столовой за громадным столом сидело человек восемьдесят, все знаменитости, и никому из них не было дела до меня, никто не повернул головы. А я уж никого не различал, как в тумане. Андреев ласково меня усаживал. Застольный гул и говор колыхался из конца в конец. В отдаленном конце стола поднялся широкоплечий, высокий, с длинными, откинутыми назад волосами, с открытым, смело глядящим лицом. Раздвигая стулья и людей, он подошел ко мне, взял за руку, сжал так, что у меня пальцы склеились, с славной улыбкой тряхнул и коротко:

— Горький...

Потом пошел назад, все так же раздвигая стулья. Гул, смех, говор сразу смолкли. Все головы ласково повернулись ко мне, заулыбались, закивали. Соседи задвигались, давая мне попросторнее сесть. Внимательно спрашивают, какого мне налить вина, как мне нравится Москва, как поживают мои детки, супруга. Одни накладывают мне на тарелку икры, лососины, семги, устриц,

к которым я не знал, как приступиться. А с другой стороны льют мне в бокал вина, шампанское... Ух ты?! Вспотел... Сердце ласково билось, и я думал: «Так вот он, Горький».

Это первое впечатление от Горького потянулось через жизнь. Уже оба мы стариками стали, уже фигуры погнулись, а перед глазами немеркнуще: широкоплечий, в серой перехваченной блузе, и лицо гордо и смело закинуто, он чувствовал в себе рвавшуюся силу и хотел ее понести трудящемуся человечеству на счастье, на радость...

...Мне позвонили. Подхожу к телефону. Голос Горького. По-нижегородски нажимает на «о»:

— Товарищ Серафимович? Здравствуйте. Заходите ко мне, потолкуем насчет издания ваших рассказов.

Только я вошел в его кабинет, он — большими шагами мне навстречу, крепко пожал руку, с хорошей, влекущей улыбкой, и, все так же нажимая на «о», с места к делу:

— Вот задумал я дело, и большое дело. Надо собрать писателей. У нас отличные писатели есть, а все врозь. Вы сколько за лист получаете?

— Шестьдесят рублей.

Он сердито прошагал из угла в угол. Сел.

— Вы у нас будете получать триста. Это — для начала. Чехову, Андрееву мы платим по восемьсот. Писатель должен напряженно думать о своей вещи, а не о том, как он завтра достанет молока ребятишкам.

У меня все пошло кругом: неужели, неужели же проголодь, нищета, мучительное выколачивание строчек,— все это позади? И я могу писать спокойно, целиком отдаться творческой работе? И не будут надо мной с величайшим презрением издеваться толстосумы, в руках которых были издательства?

— Только...— Горький поднялся во весь свой рост, поднял палец,— ...только, чтобы писатель давал лучшее, что может дать. Каждый писатель может дать лучшее, если честный, у которого в душе лежат слитки... Ну, у одного побольше, у другого поменьше, не в этом дело. Золотая она, хоть крупинка, а золотая,— главное, честно относиться к своей работе. Ведь читать будут сотни тысяч, а дальше и миллионы. Революция созревает, ра-

бочий класс все более и более революционизируется, и в этой атмосфере даже легальная (и потому охватывающая широкие массы), но честная литература сыграет большую мобилизующую роль. Рабочие умеют читать между строк, и всякая честная мысль найдет у рабочего отклик.

Он вдруг выбросил длинные и сильные руки вперед, вверх, вниз, два раза присел и вытянул ногу. Я смотрел во все глаза. Он улыбнулся, потрогал мои мышцы.

— Мускулы у вас ни к черту... Гимнастикой не занимаетесь? Ну, конечно, не до гимнастики! А надо. Я вот сегодня семь часов из-за стола не вылезал. Понимаете, рукописей горы. Ведь надо взвесить каждое слово, каждую строчку. Сотни тысяч читать-то будут!

В этот вечер я родился писателем.

Зеленых книжечек сборников «Знание» все ждали с величайшим нетерпением. Только выйдут, их моментально расхватывают в магазинах.

Горьковские сборники имели громадное значение. Они стали выходить, когда революционные настроения закипали все больше и больше. Сборники «Знание» помогали подыматься этим настроениям. Помещаемые в них художественные произведения, конечно, не были революционными в прямом значении этого слова, да это и невозможно было при тогдашней цензуре. Но таково удивительное действие внутренне честной, правдивой художественной вещи, что она, не призывая прямо к революции, прокладывает к ней широкую дорогу в сердцах, в чувствах людей.

Горький сумел сгруппировать вокруг издательства «Знание» все лучшее, что было среди писателей. Все же гнилое гнал беспощадно и яро.

Горький был не только гениальный, незабываемый пролетарский писатель, но и удивительный организатор. Две эти черты особенно ярко его характеризуют. Кипучая энергия всегда билась в его груди и сказывалась в его соприкосновении со всем окружающим. Неуемная жажда, неуемная энергия, бившаяся в груди Алексея Максимовича, прорывалась во всем — во встречах с людьми, в характеристиках людей, в его разборе произведений молодых писателей, в его указаниях им, как пи-

сать, как освещать явления быта, общественности, всего окружающего.

...Я принес ему для сборника «Знание» мой рассказ «Маленький шахтер». Это — рассказ о мальчугане, сыне шахтера. Мальчика спустили в шахты откачивать ручной помпой воду. Он работает в темноте один и медленно, унывно считает: раз, два... тоненьким голоском. Все шахтеры наверху — праздник. Алексею Максимовичу рассказ понравился.

— Хорошо! — сказал он, нажимая на «о». Да вдруг поднялся во весь свой рост, протянул руку и проговорил взволнованно:

— Вы не забывайте: шахтеры — ведь это же рабочие! Они ведь создают все, что кругом. У вас они только бедненькие, забитые,— жалко их... А ведь это не вся правда. Шахты-то кто попрорыл? Кто взрывал каменные неприступные пласты? От воды-то захлебываются,— кто откачивал? Вот у вас этот мальчонок,— ну, жалко его, конечно. Но вырастет, он же настоящий, потомственный шахтер будет! Перед ним земля-то, недра раздвигаться будут. Это вот, знаете, забываем мы все... А надо помнить. А раз помнить, значит, и изображать.

Я шел от него, оглушенный. Мимо катился шумный Невский, и фонари заливали его, и не было голубых теней.

«Как же это я мог пропустить такую громадину? — говорил я в сотый раз сам себе.— Ведь рабочий, ведь он же — творец. Ведь, действительно, нельзя же его изображать только бедненьким, забитым, темным. Ведь это же мировая сила, которая в конце концов свернет шею мировой буржуазии».

И сколько мне ни приходилось потом наблюдать Горького, когда он помогал молодым начинающим писателям, всегда Горький поправлял и направлял не только в области литературной техники, но еще больше в области изображения той силы, которая заложена в массах.

В боях фронт всегда выдвигает впереди себя отдельные части. На них сыпятся злые удары врагов.

Нет битвы более ожесточенной, более яростной, чем классовая схватка. И вот в этой колоссальной, теперь

уже переходящей в революционно-мировую, схватке есть свои выдвинутые посты.

Одну из таких выдвинутых далеко вперед позиций занимает Максим Горький.

Мы здесь, в Советском Союзе, пишем боевые статьи, очерки, стихотворения, рассказы,— и это имеет громадную социальную боевую значимость. Это — неохватимое по своему значению оружие, и разящее и строящее. Но мы здесь бьемся плечо в плечо в товарищеском строе. Мы дышим дружеской атмосферой взаимной поддержки, уважения, любви. Мы все здесь среди своих, социально родных и близких.

Максим Горький — один. Он страшно выдвинут своей позицией в глубь вражеского стана. Он — в злобной вражеской атмосфере.

Конечно, он окружен не только ненасытной враждой буржуазии, но и любовью, сердечностью западноевропейского пролетариата, мирового пролетариата.

Только ведь пролетариат там пока плохо вооружен. Его печать скудна и большей частью вдавлена в подполье. Его чувства и мысли трудно пробиваются вовне. А рев подлых глоток буржуазной печати сплошь затягивает гнилым туманом, все извращая.

И вот тут-то выделяющаяся из желтого тумана фигура Максима Горького отовсюду видна. И его голос, голос правды о строящемся социализме в стране пролетарской диктатуры, звучит до самых далеких краев. И гнилостные волны буржуазной лжи и клеветы не в состоянии подавить этот ясный, четкий, честный голос, и пролетариат мира слышит его.

Сегодня он возвращается на родину.

Мы встречаем не только крупнейшего нашего писателя, но и бойца на одной из самых выдвинутых позиций в толщу врага.

Имя Горького, великого русского писателя, его пламенная любовь к родине и неукротимая ненависть к фашизму сейчас, в дни Великой Отечественной войны, вдохновляют советских людей, доблестных воинов Красной Армии на подвиги в боях за честь и свободу нашей земли.

В творчестве Максима Горького выражены лучшие черты русского народа: сила, мужество, выносливость, воля к победе, высокий патриотизм, уважение и вера в человека.

Горький знал, что фашисты могут двинуть против Советского Союза полчища разбойников, грабителей и убийц. И, предвидя грядущую битву, битву, которую мы сейчас ведем, он сказал однажды, что на эту священную борьбу встанет весь советский народ, «встанет армия, каждый боец которой будет хорошо знать и чувствовать, что он бьется за свою свободу, за свое право быть единственным властелином своей страны. Этот боец победит».

По складу своего характера Горький был подлинным бойцом. В работе, в борьбе с врагами родины он горел и никогда не отступал перед трудностями. Любимым и главным героем творчества Горького был гордый человек, способный, подобно юноше Данко, поднять свое сердце, как факел, указывающий людям дорогу к свету, к свободе. Высшей похвалой человеку в устах Горького было: «Годен для драки!»

Таким нетерпимым к злу, ко всякой несправедливости и рабству борцом, страстным и мужественным, знал я Горького.

Горький всегда был занят, всегда работал — с утра до поздней ночи. Он боролся с тогдашними мракобесами, учил и помогал молодым писателям, собирал деньги на революционное движение. Горький любил трудовых людей, и масса народа, самого разнообразного, с самыми разнообразными нуждами толклась у него целые сутки. За Горьким охотилась полиция, но это его не останавливало.

В течение всей своей жизни Горький был и оставался не только писателем, но и революционером, активным общественным деятелем. Он пользовался огромной любовью и уважением великих наших учителей — Ленина и Сталина.

В последние годы А. М. Горький был одним из крупнейших организаторов антифашистского фронта. За ним следовала передовая литература Запада. Горький писал, что фашизм «...по сути его, является организацией отбора наиболее гнусных мерзавцев и подлецов для порабощения всех остальных людей... Вышеназванные мерзав-

цы и подлецы... озабочены расширением и укреплением наглого и откровенного деспотизма, небывалого по бесчеловечию порабощения трудового народа. Термины «подлецы» и «мерзавцы» я употребляю только потому, что не нахожу более сильных».

Приход к власти фашистов в Германии, сопровождавшийся кровавой резней, истреблением лучших людей страны, Горький гневно назвал подлой победой «Тройного, зловонного «Г» (Гитлер, Геббельс, Геринг)».

Весь свой талант, все силы своего горячего сердца Горький отдал борьбе за свободу и счастье трудового народа. Он много сделал и много мог еще сделать...

Но такие люди, как Горький, не умирают. Великий русский писатель — с нами. В одной из последних своих статей Алексей Максимыч писал, что он, старик, пойдет рядовым бойцом в тот бой, который предстоит Красной Армии. Армия, рядовым бойцом которой мечтал быть такой человек, как Горький, эта армия непобедима...

МИХАИЛ ШОЛОХОВ И ЕГО «ТИХИЙ ДОН»

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ К «ТИХОМУ ДОНУ»

Ехал я по степи. Давно это было, давно,— уж засинело убегающим прошлым.

Неоглядно, знойно трепетала степь и безгранично тонула в сизом куреве.

На кургане чернел орелик, чернел молодой орелик. Был он небольшой; взглядывая, поворачивал голову и желтеющий клюв.

Пыльная дорога извилисто добежала к самому кургану и поползла, огибая.

Тогда вдруг расширились крылья,— ахнул я... расширились громадные крылья. Орелик мягко отделился и, едва шевеля, поплыл над степью.

Вспомнил я синеюще-далекое, когда прочитал «Тихий Дон» Михаила Шолохова. Молодой орелик желтоклювый, а крылья размахнул.

И всего-то ему без году неделя. Всего два-три года чернел он чуть приметной точечкой на литературном про-

сторе. Самый прозорливый не угадал бы, как уверенно вдруг развернется он.

Неправда, люди у него не нарисованные, не выписанные,— это не на бумаге. А вывалились живой сверкающей толпой, и у каждого — свой нос, свои морщины, свои глаза с лучиками в углах, свой говор. Каждый по-своему ходит, поворачивает голову. У каждого свой смех; каждый по-своему ненавидит. И любовь сверкает, искрится и несчастна у каждого по-своему.

Вот эта способность наделить каждого собственными чертами, создать неповторимое лицо, неповторимый внутренний человечий строй,— эта огромная способность сразу взмыла Шолохова, и его увидали.

Точно так, как он умеет очень выпукло дать человека, он умеет сосредоточенно и скупо обрисовать и целую людскую группу, человеческий слой.

Легко, свободно, творчески-спокойно и уверенно, знающим, рачительным хозяином вводит он вас в свой дом, в громадину, возведенную им на протяжении сорока печатных листов. Без напряжения, без усилий, без длинного введения сразу вы попадаете к казакам, к этим мужикам-хлеборобам в мундире, с мужицким нутром, однобоко и уродливо искривленным царско-помещичьим строем.

Но весь быт, навыки,— все — от земли, от черно-дымящейся пашни, степной и бескрайной.

Прокофий привез из Туретчины турчанку. Затосковалась.

«Прокофий вечерами, когда вянут зори, на руках носил жену до татарского ажник кургана. Сажал там на макушке кургана, спиной к источенному столетиями ноздреватому камню, садился с ней рядом, и так подолгу глядели они в степь. Глядели до тех пор, пока истухала заря, а потом Прокофий кутал жену в зипун и на руках относил домой...» («Октябрь», 1928, кн. 1-я).

Не думайте, здесь и не пахнет сентиментальностью: казаки грубы, насмешливы, темны, подчас дики,— и турчанку Прокофия затоптали коваными сапогами, как ведьму.

«Тонкий вскрик просверлил рев голосов. Прокофий раскидал шестерых казаков и, вломившись в горницу, сорвал со стены шашку. Давя друг друга, казаки шарахнулись из сенцев. Пластая над головой мерцающий визг

шашки, Прокофий сбежал с крыльца. Толпа дрогнула и рассыпалась по двору.

У амбара Прокофий настиг тяжелого в беге батарейца Люшню и сзади с левого плеча наискось развалил его до пояса. Казаки, ломавшие колья с плетня, сыпанули через гумно в степь...».

Да, темны и дики,— и внезапно и неожиданно вдруг прощупываете вместе с Шолоховым чудесное сердце, чудесное сердце в загрубелой казачьей груди. Естественно, просто открывается человечье сердце, как естественно растет трава в степи.

Яркий, своеобразный, играющий всеми цветами язык, как радужно играющее на солнце перламутровое крылышко кузнечика, степного музыканта. Подлинный живой язык степного народа, пронизанный веселой, хитроватой ухмылкой, которой всегда искрится казачья речь. Какими дохлыми кажутся наши комнатные скучные словотворцы,— будь им легка земля...

Рискованные у других писателей, те же самые сцены у Шолохова правдивы и не вызывающи. Он называет вещи их именами, но рассказ сдержанно целомудрен. Здоровое и крепкое сидит в молодом писателе. На громадном протяжении сорока листов автор показывает быт казаков, службу, войну, революцию.

Нигде, ни в одном месте Шолохов не сказал: класс, классовая борьба. Но как у очень крупных писателей, незримо в самой ткани рассказа, в обрисовке людей, в сцеплении событий это классовое расслоение все больше вырастает, все больше ощущается, по мере того как развертывается грандиозная эпоха.

Да, из яйца маленьких, недурных, «подававших надежды» рассказов вылупился и писатель особенный, ни на кого не похожий,— с своим собственным лицом, таящий огромные возможности.

И все-таки его жадно подкарауливает опасность: он может не развернуться во всю ширь своего таланта.

С молоком матери Шолохов всосал родную синеющую степь, родной донской говор; навеки с детства запечатлел родные казачьи лица, тончайшие движения их ума и сердца, и чудесно все это зазвучало со страниц журнала.

Ну, а дальше? Дон будет исчерпан. Исчерпано будет крестьянство в своеобразной военной общине. И если

молодой писатель не пойдет в самую толщу пролетариата, если он не сумеет так же удивительно впитать в себя лицо рабочего класса, его движения, его волю, его борьбу,— если не сумеет этого сделать, сам себя ограбит народившийся писатель. Если не сумеет всосать в себя великое учение коммунизма, проникнуться им, писатель не даст полотен, которые мог бы дать.

Но молод и крепок Шолохов. Здоровое нутро. Острый, все подмечающий глаз. У меня крепкое впечатление — оплодотворенно развернет молодой писатель все заложенные в нем силы.

Пролетарская литература приумножится.

МИХАИЛ ШОЛОХОВ

Бескрайный степной простор изнеможенно тонет в знойном мареве. С увала на увал лениво тянется полынок, краснеют глиной овраги. По балкам вдоль степных речушек, где куры бродят, потянулись хутора. Лишь за Доном, что разлегся среди песков, под прибрежными горами,— лес, озера, поросшие камышом и осокой — рыбные места. Да станицы сверху до самого устья осели по берегам его.

Затеснили Вешенскую станицу пески,— к самому Дону притулилась она.

Еще до войны и революции в 1905 году родился на хуторе Кружилином, Вешенской станицы, у вдовы казака сын Михаил. Муж ее, Шолохов (они жили невенчанные), был, как тогда называли, «иногородний», то есть выходец из центральной России из Рязанской губернии. Он нес на себе тяжесть, какую несли все «иногородние».

С самого рождения маленький Миша дышал чудесным степным воздухом над бескрайным степным простором, и жаркое солнце палило его, суховеи несли громады пыльных облаков и спекали ему губы. И тихий Дон, по которому чернели каюки казаков-рыболовов, неизгладимо отражался в его сердце. И покосы в займище, и тяжелые степные работы пахоты, сева, уборки пшеницы,— все это клало черту за чертой на облик мальчика, потом

юноши, все это лепило из него молодого трудового казака, подвижного, веселого, готового на шутку, на незлую веселую ухмылку. Лепило его и внешне: широкоплечий, крепко сбитый казачок с крепким степным бронзовым лицом, прокаленным солнцем и ветрами.

Он играл на пыльных заросших улицах с ровесниками-казачатами. Юношей он гулял с молодыми казаками и девчатами по широкой улице, и песня шла с ними, а над ними луна, и девичий смех, вскрики, говор, неумирающее молодое веселье.

Казаки — веселый, живой, добродушно-насмешливый народ. Как соберутся кучкой, так — гогот, свист, подымающий хохот, друг друга умеют высмеять, позубоскалить.

Песни поют чудесные, задушевные, степные, от которых и больно и ласково на сердце. И они разливаются от края до края, и никогда не забудешь их.

Михаил впитывал, как молоко матери, этот казачий язык, своеобразный, яркий, цветной, образный, неожиданный в своих оборотах, который так волшебно расцвел в его произведениях, где с такой неповторимой силой изображена вся казачья жизнь до самых затаенных уголков ее.

Когда пришел срок, мальчика отвез отец в гимназию.

Мать, чудесная женщина, совершенно неграмотная, но крепкого, проницательного, живого ума, чтоб самостоятельно вести с сыном переписку, принялась учиться грамоте и выучилась. Мать и сын радостно писали друг другу. Видимо, мать подарила ему наследство быть крупнейшим художником, подарила драгоценный дар творчества.

Пришла Октябрьская революция. Рвануло застоявшийся, слежавшийся, неподатливый уклад казачьей жизни. Всюду глубоко пробежала расселина по казачеству: голытьба пошла с революцией, богатеи — с контрреволюцией. Как и для всех, этот вопрос, куда идти, стал перед молодым Шолоховым. Было не до гимназии. Он бросил школу, и широкая революционная волна подхватила его и понесла в гущу событий.

Молодой Шолохов — выходец из трудовой семьи, и в его груди вспыхнула жажда битвы за счастье труд-

щихся, замученных. Вот почему он еще юношей-комсомольцем бился с кулаками в продотрядах. Вот почему он участвовал в борьбе с бандами. Вот почему в своих произведениях стал на сторону революционной бедноты. Партия и комсомол революционно выправили его мысли, революционно зажгли его сердце жаждой принять участие в великой битве эксплуататоров и эксплуатируемых. И он принял это участие сначала с винтовкой, а потом с пером в руке.

Во время гражданской войны Шолохов мыкался по донской земле. Долго был продработником. Гонялся за бандами, которые бушевали на Дону до 1922 года. Нередко банды гонялись за его отрядом.

Когда схлынула гражданская война и было покончено с разорявшими землю бандами, Шолохов начал в 1923 году писать. В этом же году он начал печататься в комсомольских газетах и журналах. Первую книжку рассказов он выпустил в 1925 году. В 1925 году родился как писатель Михаил Шолохов.

Вешенская станица у самого Дона. Казачьи курени белеют по широким улицам. На них много пыли, мало зелени. Только милая река, уютно огибая станицу, тихо зеленеет берегами. То голубая под синим высоким небом, то ослепительно золотится солнечным мельканием, то сердито нахмурится и, серая, зашумит волнами и ветром.

Недалеко от Дона новый дом с мезонином,— дом Шолохова. Наверху кабинет, там работает писатель. Летом в нем не усидишь — жара, зимой не усидишь — холод,— шутит Шолохов.

Работает он только по ночам. Привычку эту создают посетители, которые валом валят к писателю. Тут казаки, колхозники, рабочие, командиры, студенты, туристы, иностранцы, старухи, дети, журналисты, писатели, музыканты, поэты, композиторы — все едут на машинах, на лошадях, верхом, на лодках, на пароходе, летят на самолетах. И всех Шолохов ласково принимает, поговорит, разъяснит, поможет, направит.

Он страстно любит свою степь, с ее суховеями, то знойным, то ласковым солнцем, с ее оврагами, перелесками, с ее зверями, птицами. Он страстно любит свой ти-

хий Дон, который, ласково изогнувшись, так мягко, нежно обняв станицу зелеными берегами, создал удивительно уютный, задушевный, тихий, чуть задумчивый уголок. А в Дону ходит рыба, богатая востроносая стерлядь, и Шолохов весь отдается рыбной ловле.

Дон дает ему массу впечатлений, типов, часто неожиданных проявлений народного творчества, самобытного, оригинального в борьбе с природой. У писателя — большие знакомства и тесные дружеские отношения с рыбаками-казаками. Он у них учится, он их наблюдает, он берет от них сгустки векового народного творчества.

Старый, седобородый, лет под девяносто, казак-рыбак, молчаливый, сосредоточенный, ставит переметы на стерлядей, как и другие рыбаки, чьи баркасы сереют по синеве в Дону. Но вдруг исчезает, и никто не знает, куда он подался. Только всегда гонит к станице свой баркас, и в плетеной корзине густо бьется стерлядь.

Стерлядь — капризная рыба: то не успевают ее с накатных крючков снимать, то вдруг пропадает,— ни одной! — и рыбаки сушат свои снасти на берегу,— без толку и ставить. А дед откуда-то пригоняет баркас полон стерляди. Между казаками-рыболовами твердый слух: колдун! Как ни просили, как ни кланялись деду, чтобы открыл секрет, молчит, как каменный.

Стал просить открыть секрет Шолохов. Дед — ни за что. Раз вытащил из кармана Шолохов бутылочку, выпили. В другой раз вытащил, пошатнулся старик, не выдержал.

— Слухай, внучек, только перед богом дай обещание — никому не скажешь. Это мой дедушка папаше моему передал, а папаша мне. Пойдем.

Спустились к воде. По всему берегу виднелись вытащенные баркасы: стерлядь начисто ушла куда-то, густой Дон синел. Подошли к сапетке, плетенной из прутьев корзине, что тихонько качалась на приколе. Полез дед в нее рукой, вытащил маленькую, вершка в два, стерлядочку,— у него всегда их было наготове несколько,— достал из шаровар длинную-предлинную суровую нитку, протянул конец ее иголкой через хвостик стерлядки, захлестнул, а к другому концу привязал гусиное перо.

— Ну, садись.

Сели в баркас. Зорко проглядел дед весь берег,— никого. Оттолкнулся. Проплыли за поворот. Дед осторожненько сунул в воду стерлядку и выбросил перо с ниткой. Стерлядка исчезла в глубине, а перо, нырнув и вынырнув, мигая, торопливо поплыло вверх по Дону. Дед изо всех сил налегал на весло, поспевая за пером.

Перо вдруг остановилось, постояло вертикально, потом легло и понеслось вниз. Дед за ним. И километр, и два, и три бежит, белея, перо, и баркас за ним. Много проплыли по течению. Вдруг опять стало. Остановился и баркас. Долго стояли. Тогда дед снял шапку, перекрестился.

— Здесь...

Поставили перемет. Скоро стали снимать трепещущих стерлядей.

Стерлядь — общественная рыба,— живет стадами. И кочевая рыба: поживет на одном месте, снимется и уйдет за десяток-другой километров, а на прежнем месте пусто, и рыбаки сушат переметы. Вот стерлядка-то и нашла стаю.

Нужно было видеть восторг Шолохова,— восторг охотника, и восторг наблюдателя, и восторг писателя, в руки которого попался из россыпи народного творчества крошечный червонный кусочек.

Рыбная ловля на Дону и охота, когда он от зари до зари бродит по степи, в которую вкраплены по балкам, по степным речушкам колхозы, дают Шолохову и огромное наслаждение и огромный творческий материал. Дон, степь, казачество, его история, его быт, его психология, вся эта громадина неохватимо надвинулась со всех сторон и кровно связана с психологией, с настроениями, с чувствами самого писателя.

Едет Шолохов верхом домой после прогулки в степи. Под станицей между садами вьется узкая, сдавленная высокими плетнями дорога. Из-за поворота вылетает на большом ходу машина. Лошадь — на дыбы, еще секунда, и она валится вместе с седоком на груду щебня у плетня. Машину затормозили, выскочили седоки, охают, извиняются, просят сесть в машину, довезут домой, а вскочившую лошадь доведут.

— Ладно... ничего...— говорит Шолохов и садится в седло: унизительно верховому ехать в машине, а лошадь вести в поводу.

Въезжает в станицу, глядь, а морда у лошади в крови. Э-э, стой! Разве можно в таком виде явиться в станицу? Поворачивает к Дону, слезает на берегу, заводит лошадь в воду и начинает тщательно отмывать лошадиную морду от крови. Потом отмыл пузо и ноги от грязи,— заляпались, когда упала через камни. Вымыл с величайшим трудом, усилиями и болью: нога как свинцовая, взобрался на седло и въехал в станицу на вымытой, чистой лошади. Дома уже не мог сам слезть — сняли. Внесли в комнату. Сапог нечего было и думать снять,— нога почернела, раздулась, как бревно. Пришлось сапог разрезать. Характернейшая черта казачья — сам изломался, но лошадь должна быть в порядке.

Он часто приезжает в какой-нибудь колхоз, соберет и стариков и молодежь. Они поют, пляшут, бесчисленно рассказывают о войне, о революции, о колхозной жизни, о строительстве. Он превосходно знает сельскохозяйственное производство, потому что не со стороны наблюдал его, а умеет и сам участвовать в нем.

Шолохов принимает близкое участие в общественной жизни станицы. Он — член ВКП(б) и член райкома партии. При его помощи организован театр молодежи в станице.

Он — отличный семьянин. Трое ребятишек.

Несколько лет тому назад Шолохов поехал за границу и было помер с тоски. Он попал в Берлин. Чуждый язык, особый, строгий уклад громадины-города подавляли его. А перед ним все стояли золотые под солнцем степи, без конца и краю размахнувшиеся в теряющуюся по краям синеву. Синел перед глазами тихий Дон, уютный, весь в зелени его уголок под Вешенской станицей, колхозные собрания, веселые сборища, песни и пляски казачьей молодежи. Нет, не мог вытерпеть Шолохов, поехал на вокзал, в вагон — и на милую родину, такую милую, родную, что ни забыть ее, ни надолго оставить невозможно.

В 1935 году он снова поехал за границу, теперь возмужавший, теперь уже, кроме «Тихого Дона», автор «Поднятой целины» — вещи, которая открыла глаза зарубежному читателю на удивительный процесс един-

ственной в мире переделки индивидуалиста-крестьянина в коллективиста.

Произведения Шолохова по своей правдивости, искренности, по своей внутренней красоте и художественной убедительности, по своей красочности, по своему умелому психологическому анализу нашли широкий доступ в сердца зарубежных читателей. Его вещи переведены на все европейские языки.

Его поездка за границу вызвала огромный интерес в широких кругах Дании, Швеции, Норвегии. «Тихим Доном» и «Поднятой целиной» в переводах зачитывались. Он разбудил в скандинавских странах своими вещами огромный интерес к советской литературе, к советской культуре. Скандинавских читателей нагло всегда обманывала буржуазная печать, которая в лучшем случае замалчивала достижения советской литературы, советского искусства, советской культуры, в худшем случае — несла тупую околесицу, расписывая большевиков как полудикарей, у которых не может быть талантливых произведений. И вдруг датчане, шведы и норвежцы собственными глазами стали читать в переводах прекрасного советского художника, развернувшего огромные полотна, равных которым не найдешь в буржуазных странах в теперешнее время.

Но не только стали читать, они увидели воочию этого писателя, они услышали его, этого представителя незнаемой советской литературы, о которой так злобно и упорно, так долго лгала буржуазная печать или с ненавистью упорно молчала. А он, вот он стоит, живой представитель литературы прекрасной советской страны. Ему задают массу вопросов обманутые читатели, и он спокойно и ясно отвечает, и обман постепенно рассеивается. Это — победа: умение вторгнуться в чужое, искусственно созидаемое буржуазной печатью непонимание и разломать его!

В скандинавских странах Шолохов знакомился с постановкой сельского хозяйства. И когда вернулся домой, рассказал колхозникам о хорошей постановке там удобрения полей, о борьбе с сорняками и чесоткой скота.

— Но,— говорил Шолохов,— по механизации сельское хозяйство в СССР стоит на самом высоком уровне.

Во всех виденных им хозяйствах самый новый трактор был куплен в 1924 году.

Из Дании Шолохов поехал в Англию. В полпредстве состоялась его встреча с рядом английских писателей, журналистов и общественных деятелей. Шолохову было задано много вопросов о писателях и читателях в Советском Союзе. На всех произвели сильное впечатление громадные массы книг, издаваемых в СССР. Особенно большое впечатление на английских журналистов произвели миллионные тиражи и распространение произведений Горького. Шолохов указал, что удивляться тут нечему,— ведь число читателей увеличилось в сто раз со времени свержения царизма. Это объясняется ликвидацией безграмотности, весь народ теперь читает книги. Шолохов указал, что нигде в мире писатели не пользуются таким уважением и любовью, как в Советском Союзе.

Через два дня в Лондоне же Общество культурной связи с СССР устроило большой прием в честь Шолохова. Зал был переполнен представителями английской интеллигенции, литераторами и художниками. Председательствовал известный профессор литературы Лондонского университета Аберкромби, который в своей речи тепло приветствовал Шолохова.

Встреченный бурными аплодисментами собрания, Шолохов в яркой и живой речи рассказал аудитории о новой советской литературе, о новом советском писателе и о новом советском читателе.

Директор Британской академии художеств Ротенштейн, выступив от имени собравшихся, выразил большое удовлетворение в связи с приездом Шолохова в Англию. Он подчеркнул чрезвычайную важность подобных визитов как средства культурного сближения между СССР и Великобританией.

Из Лондона Шолохов поехал во Францию. В Париже Общество по изучению советской культуры устроило встречу французских писателей с Шолоховым. Встреча носила чрезвычайно дружественный характер и вызвала большой интерес во французских литературных кругах.

На приеме присутствовали выдающиеся представители французских литературных кругов.

Своими прекрасными произведениями и своей поездкой в зарубежные страны Шолохов сослужил большую службу народам СССР. Он хорошо поработал над уничтожением той неправды и лжи, которой оплетает буржуазная печать своего зарубежного читателя.

ИЗ ИСТОРИИ «ЖЕЛЕЗНОГО ПОТОКА»

Не странно ли: не с завязки, не с интриги, не с типичных лиц, не с событий, даже не с ясно осознанной первичной идеи зачинался «Железный поток».

Не было еще Октябрьской революции, не было еще гражданской войны, не могло, следовательно, быть и самой основы «Железного потока»,— а весь его горный плацдарм, весь его фон, вся его природа уже давно ярко горели передо мной неотразимо влекущим видением. Могучий пейзаж водораздела Кавказского хребта огненно врезался в мой писательский мозг и велительно требовал воплощения.

Перед самой империалистической войной с сыном Анатолием шли мы по водоразделу Кавказского хребта. Громадой подымался он над морем, над степями,— здесь, у Новороссийска, было его начало.

Серые скалы, зубастые ущелья, а вдали под самым небом не то блестящие летние облака, не то ослепительные снеговые вершины.

Мы все подымались, и постепенно закрывалось море возникавшими со всех сторон скалами. Воздух становился реже. Дышалось быстро. Над головами проносились ослепительно белые облачка. Зной лился так, как он льется только высоко в горах.

Вдруг скалы стали исчезать. Мы остановились, ахнули: Кавказский хребет, громадина водораздела, вдруг сузился, и открылось несказанное: справа и слева хребет оборвался в бездонную глубину. Справа необозримой стеной синело море, неподвижно синело — на этом расстоянии не было видно волн. Слева, в недосягаемой глубине, толпились голубые стада лесистых предгорий, а за ними неохватимо уходили кубанские степи.

Мы стояли безмолвно на узком, метра в два, перешейке, и не могли оторваться, точно карта мира раскрылась перед нами.

Потом опять пошли. Узенький перешеек остался позади. Пропали синие предгорья, пропали далекие кубанские степи. Пропала безмерная недвижная синева моря. Кругом опять скалы, рододендроны, чинары; хребет снова могуче раздвинул исполинские плечи.

Победила Октябрьская революция.

Москва, уже своя, красная, родная. Она с выбитыми зубами, с выбитыми, чернеющими окнами, исковерканными улицами, облупленными, простреленными стенами. И все — оборванные, и все голодные. И у всех блестят ввалившиеся глаза.

Ну, что ж! Верно, от этого кругом бешено скребут, чистят, чинят, надстраивают, организуют, исследуют, создают, борются с ядовитыми врагами,— строят социализм.

«А я что? а мое какое место?»

Ну, я участвую по мере сил и разумения в этой невиданной в мире борьбе-строительстве,— пишу воззвания, обращения, статьи, полемизирую, ругаюсь. В «Безбожнике» с тов. Моором обличаю антисоветских попов, затаптываю поминутно вырывающийся из-под ног смрад удушливого «опиума» с ладаном, шлю корреспонденции с фронта, и... и все-таки странное постоянно живущее чувство: «нет, не то, не такое ты делаешь». Нужно сделать... какой-то нужен размах, размах хоть в каком-нибудь соответствии с тем, что гигантски творилось среди развалин, обломков старого, которое выкорчевывалось... кругом, как муравьи, бегали. Но и в литературе нужно было как-то широко захватить.

«Как?»

Хожу ли по ободранным улицам, спотыкаюсь ли молча в сугробах под обвисшими трамвайными проводами или в непроходимом махорочном дыму сижу на собрании,— то и дело мне слух и зрение застилает: синеют горы, белеют снеговые маковки, и без конца и краю набегают зеленовато-сквозные валы, ослепительно заворачиваясь пеной.

Тряхнешь головой, и опять — непролазный дым, усталые, ввалившиеся от голода лица, серые шинели, даже на девушках, которые их кокетливо перешили. А там опять наплывает. .

Я одно чувствую: эти серые скалы, нагнувшиеся над бездонными провалами, откуда мглисто всплывает вечный рокот невидимого потока, белеющие снеговые маковки,— и по ним синие тени; эти непроходимые леса, густые и синие, где жителями лишь зверь да птица: всё это, как чаша, требует наполнить себя.

«Чем? Какое содержание я волью?»

Синий едкий дым, проступающие и исчезающие голодные лица, голос оратора, всплывающий возле меня обрывками, и опять: синие, как трава, леса предгорий, далекие ослепительные маковки, бескрайные степи и необъятная громада морской синевы.

Мне вспомнилось: бежал мой мотоциклет, по кличке «Дьявол», по этому самому извилисто-серому шоссе, еще до империалистической войны, и также слева громоздились горы, справа синело море. В горах остановился. Поставил своего «Дьявола» на ноги, купил у крестьянина молока. Он — из Рязанской губернии. От нищеты пришел сюда, ребятишки мал-мала меньше, замученная жена, зажившиеся на свете старики, которых кормить надо.

В первую голову засеял пшеницу,— не чернослив, не виноград, которые тут великолепно растут, а пшеничку «расейскую». Великолепная пшеница поднялась, литой колос. Вся семья над ней затаила дыхание. Дня через два снимать.

Да зачернелась над горами тучка, хлынул горный ливень, зашумели потоки, стали прыгать, снося деревья, валуны,— через четверть часа вместо пшеницы — исковерканное валунами черное поле. Никому в голову не придет, что тут густо золотилась пшеница, что тут вложен был бешеный труд. К самым коленям опустилась победная головушка. Кругом голодные детишки.

Разве написать, написать этого мужичка среди гор? Ему нет выхода — социального выхода: там, у себя, в Рязанской губернии, зубастыми губами сосет помещик, кулак, поп, становой; здесь, где он один на один с горами, с лесами, с скалами и ущельями, с морем,— здесь тоже его сосут, те же,— сосут тем, что отняли

знание, науку, уменье и навык бороться с незнакомой природой. Он социально прикован к своей сохе. Разве написать?

И бреду по сугробам снега, таскаю за спиной мешочек с мерзлой картошкой, везу на салазках дровишки.

Нет, нет... нет! Про «бедного мужичка» слишком много писали,— бедного, темного, забитого. И я слишком много писал его таким. Ведь — революция. Ведь он же бешено борется на десяти фронтах, голодный, холодный, вшивый, разутый, в лохмотьях, и страшный,— как медведь ломит. Разве это то же?

Нет, я напишу, как оно, крестьянство, идет гудящими толпами, как оно по-медвежьи подминает под себя интервентов, помещиков, белых генералов. И опять встают скалы, сверкающие маковки, синей стеной море, оскаленные ущелья...

«Хорошо, но содержание, содержание-то какое? Какие события, каких людей я вставлю в эту обстановку?»

И почему крестьянина, прежнего мужика, почему его, его борьбу, его страдания, его победы? Почему я непременно хочу вставить в экзотику — в эти горы, в скалы, ущелья, в эти сверкающие вечные снега, среди пальм и кипарисов у синего моря? Разве в такой обстановке он жил, несчетно работал, мучился и умирал?

...ель да осина,
Не весела ты, родная картина...

Вот его извечная рама.

Да, эта экзотика, эта солнечность, яркость, эти живые слепящие краски — все это неестественно для русского «мужика».

Больше всего я боялся, это — впасть в красивость, а тут было похоже.

И я опять встряхиваю головой, отгоняя столпившиеся картины, и опять либо в ядовитом дыму собрания всплывают и пропадают голодные лица, либо коченею в маленькой комнатушке замороженного завода,— бежит, траурно колеблясь, хвост над керосиновой лампочкой, мертво белеют языки инея, пробившего стылые стены завода, и я, по поручению «Правды», агитирую рабочих сорганизовать кружки рабкоров. И опять спотыкаюсь в сугробах, таскаю дровишки на са-

лазках, и всегда в животе аппетит старого голодного волка.

Глядь,— скалы, море, зубастые ущелья... Измучился!..

Понемногу в этой изнурительной борьбе с самим собой у меня в голове стало что-то оформляться. Хорошо. Я пущу по этим горам, ущельям, вдоль моря по шоссе крестьянские толпы, которые не то спасаются, не то гонят кого-то. Ну, а дальше? Не знаю.

У меня немало в прошлом рассказов, в которых события, люди, характеры, взаимоотношения навиваются вокруг движения. Едет ли герой на велосипеде, или на «Дьяволе», идут ли пешком, плывут ли на барже или на лодке, по мере движения разыгрываются события. («В пути», «Дьявол», «По родным степям» и др.). Для меня легче такое построение. Ладно. А тема? А содержание? А события?

Я стал жадно расспрашивать товарищей, приезжавших с фронтов гражданской войны, жадно записывал. Я услышал удивительные эпизоды. Передо мной развернулись удивительные картины потрясающего героизма, потрясающего напора, а я все ждал чего-то, чего-то другого и.. дождался.

В Москве у меня был знакомый украинец, Сокирко, коммунист. Однажды, когда я у него сидел, к нему пришли трое. Один — веселый, белокурый и пел, должно быть, мягким голосом чудесные украинские песни. Другой — спокойный, все курил. Третий — как с отлитым из темной меди, замкнутым лицом.

— Ну, от вам таманьцы и расскажуть про свой поход по Черноморью, тильки пишите,— сказал Сокирко.

Сокирчиха заварила нам чаю, целую ночь просидели, и я слушал, слушал, пока под утро Сокирчиха нас не выгнала:

— Та спаты вже треба! Цилую ничь балакають, а у мени голова нэ держиться на шее. Геть, хлопцы, до дому!

И я шел по сугробам, живот голодно подтянуло, а голова была радостно переполнена: мне рассказали о походе Таманской армии как раз по тем местам, по Черноморью.

Таким образом Октябрьская революция наполнила кипучим содержанием столько лет мучивший меня могучий горный пейзаж, для которого я так долго не находил достойного сюжетного наполнения.

Меня словно осенило: «Да ты пусти на эти горные кряжи поднявшееся революционное крестьянство. Они же, эти бедняки-крестьяне, действительно тут шли, тут клали головы...» Сама жизнь подсказала мне: «Лепи этот «Железный поток» — недаром тебя там носило, по этим самым местам. И крестьян этих ты хорошо знаешь...»

Я вообще смутно носил в себе вырисовывавшуюся для меня тему об участии крестьянства в революции.

Мы знаем из истории, что крестьянство многократно участвовало в революционных выступлениях, часто недостаточно организованно, анархической массой (разиновщина, пугачевщина, позднейшие бунты крестьян в разных губерниях). Но такие выступления не могли привести к утверждению революции. Социалистическая революция смогла окончательно победить, лишь когда во главе ее стал пролетариат. Бунт потрясал строй, но не сменял его другим. Революция же разрушила до основания старый строй и поставила на его место новый.

Но как же все-таки крестьянство пошло в нашу, Октябрьскую революцию? Одно дело представить это себе теоретически, другое — показать конкретные факты в художественных образах. Эта мысль страшно сверлила меня.

Я думал...

Крестьяне дрались с помещиками за землю. Дрались-то дрались, но что местами на первых порах получалось? Были случаи на Украине: прогнали крестьяне помещиков, скот поразобрали, потом несколько волостей объединили и порешили: «Ну вот, это наше собственное государство, мы будем жить, никого касаться не будем, но и нас не касайтесь — ни большевики, ни меньшевики, ни красные, ни белые». Таких «самостоятельных государств» было несколько. Я и думаю: «Ну, хорошо, а как же все-таки революция создала изумительную армию из тех же крестьян, которые не хотели знать ни красных, ни белых,— армию, которой крепко руководил пролетариат?»

Конечно, главной движущей и организующей силой революции является пролетариат, однако Октябрьскую революцию он совершил не один — он сумел толкнуть на борьбу громаднейшую массу крестьянства.

Если бы рабочий класс в революционной борьбе оказался один, он был бы разбит, как это мы видели в предыдущих революциях. В Октябрьской революции крестьянство помогло пролетариату, и поэтому Октябрьская революция победила.

Дореволюционное крестьянство по самому складу своему — класс совсем иной, чем рабочий класс. Рабочий выкован производством, он всей своей жизнью, так сказать, подготовлялся к революционной борьбе, у него нет никакой собственности.

Крестьянин же, которого я должен был показать в «Железном потоке», являлся собственником: у него и коровка, и лошадка, и землица, и изба. Крестьянин этот являлся хозяйчиком, пусть маленьким и захудалым, но хозяйчиком,— и это коренным образом его отличало от рабочего и ставило его в совершенно иное положение по отношению к нашей революции. Ему, правда, тяжко жилось, но он думал примерно так: «Хорошо бы спихнуть помещика и взять себе его землю; хорошо бы у помещика забрать инвентарь, пару коров, пару лошадей да плуг, и больше ничего не нужно — буду жить, богатеть, приумножать». Вот какой был строй мысли у этого мелкого собственника. И когда грянула революция, часть крестьянства во многих местах поднялась во имя того, чтобы поскорее спихнуть помещика и загрести себе его добро, а о дальнейшем развитии революции оно в подавляющем большинстве мало думало и не представляло себе, что и как придется идти дальше.

Как же все-таки крестьянство при таком складе мыслей двинулось в революционную борьбу, в конце концов сорганизовалось в колоссальнейшую и удивительную Красную Армию, которая доставила победу пролетарской революции?

Объективный ход истории заставлял крестьян идти в революцию плечо в плечо с пролетариатом. И только при этом условии крестьянство смогло окончательно свалить помещиков. Я искал для «Железного потока» материал, который дал бы мне возможность показать

крестьянство во всех его проявлениях. Меня занимало, как бы это все изобразить художественно, и я искал материал, который с наибольшей яркостью характеризовал бы революционную силу крестьянской массы и показал бы, как пролетариат направляет эту силу по своему пути.

Материала на тему о гражданской войне у меня накопилось много. Мне рассказывали товарищи, приезжавшие из Сибири, поразительные картины, среди них более яркие и более трагические, чем те, которые описаны в «Железном потоке». Однако, продумав их, я все-таки не мог остановиться на этом материале и вот почему. Ведь требовалось нарисовать полотно, которое дает обобщение, в отдельных картинах выразить что-то общее, пронизывающее все одной идеей, которая осмысливает эти отдельные картины.

Когда трое таманцев рассказали мне о своем походе, я почувствовал, что это как раз и есть нужный мне материал. И я, не колеблясь и долго не раздумывая, остановился на отступлении громадных масс бедноты из Кубани, где поднялись против Октябрьской революции зажиточные кулацкие слои. Крестьянская и казачья беднота и разбитые части советской армии двинулись из Кубани на юг, на соединение с советскими войсками Северного Кавказа. Крестьянской массе пришлось поневоле отступать: зажиточные казаки стали резать бедноту, сочувствовавшую советам. Но уходила эта бедняцкая масса крайне беспорядочно. Она была путаной и неорганизованной, не хотела подчиняться командирам, которых сама же выбрала.

В походе столько страданий и мучений перенесли отступающие, таким страшным для них университетом был поход, что к концу его они совершенно преобразились: голые, босые и измученные, голодные, они сорганизовались в страшную силу, которая смела все преграды на своем пути и дошла до конца. И когда она прошла через эти страдания, через эту кровь, отчаяние, слезы, у нее раскрылись глаза; тут она почувствовала: да, единственное спасение — советская власть. Это не было еще сознательное понимание, как у проле-

тариата, крестьянская масса действовала во многих случаях инстинктивно.

Я уцепился за рассказ таманцев о своем походе, так как, на мой взгляд, этот поход всесторонне отображал именно такое преображение крестьянства. По рассказу таманцев так и выходило: вначале это была анархическая масса, мелкобуржуазные хозяйчики,— потом ценой напряжения, страшной борьбы, слез, крови она перерабатывалась, революционно преображалась, и под конец похода это была уже та революционная масса, то революционное крестьянство, которое помогло рабочему классу.

Как раз то, что мне нужно было для «Железного потока».

Передо мною все явственнее, все осязательнее разворачивалась тема. Однако рассказов таманцев мне было мало; хотелось узнать как можно больше подробностей; хотелось возможно более объективного изложения. Я стал искать встреч с другими участниками похода и вскоре отыскал еще одного из участников похода — рабочего, который шел рядовым бойцом. Он мне тоже много интересного рассказал.

Но когда слушаешь, всегда учитываешь, что рассказывающий о своей жизни неизбежно все освещает со своей особой точки зрения. Я разыскал поэтому еще других товарищей, которые участвовали в походе, и учинил им, так сказать, перекрестный допрос. Послушаю, что один расскажет, а потом переспрошу о том же другого, третьего, десятого. Затем мне удалось еще добыть дневник,— один рабочий вел записи во время этого похода,— и вот таким образом, сличая показания разных участников похода, я создал в своем воображении картину этого движения.

Надо заметить, что таманская масса дошла не только до пункта, где я их оставил в «Железном потоке», они двинулись и дальше, до Астрахани, но я прекратил повествование раньше. Почему? Да потому, что задача моя была окончена. Я взял анархическую массу, не подчинявшуюся, каждую минуту готовую посадить на штыки своих вожаков. И через страдания, через муки провел их до конца, до тех пор, пока они не почувствовали себя организованной силой Октябрьской революции. Для меня этого было достаточно. Моя задача выполнена.

Почему материал именно этого похода мне так приглянулся? Я хорошо знаю Кубань: она граничит с Донской областью, моей родиной. У них очень много общего: и в населении, и в природе, и в социальном укладе. У нас, на Дону, половина населения — украинцы. Правда, говорят они не на чистом украинском языке, как в Полтаве, а на жаргоне. На том же жаргоне в значительной степени говорит и Кубань. На Кубани я жил. Черноморье еще до войны избороздил на мотоцикле, хорошо знал и природу и людей. Поэтому, когда мне надо было дать характеристику, дать типичных представителей этого населения, вроде бабы Горпины и ее деда, мне это было не так трудно. Впрочем, я еще раз поехал к описываемым местам во время самой работы, чтобы восстановить в памяти обстановку края, пейзаж, людей.

Из каких же элементов сложился материал? Рассказы таманцев были положены мною в основу. Это был первый материал,— материал со слов. Затем я использовал еще материал записей, дневники и письма участников похода. Третий источник материала — печать,— правда, здесь я нашел немного.

Вот три источника получения материала.

Как же я работал над ним?

Начал я писать «Железный поток» в 1921 году, а в 1924 году он вышел из печати. Я, следовательно, писал его два с половиной года. Писал разбросанно, кусками. Не так, чтоб с начала, с первой главы начал — и до конца по порядку. Нет. Помню, прежде всего написал хвост, последнюю сцену митинга. Меня мучил этот конец — митинг. Стояла передо мной эта баба Горпина такой, какой она выросла. В заключительной сцене для меня сконцентрировался весь смысл вещи. Она, эта сцена, необыкновенно ярко горела у меня в мозгу.

Я ощущал конец, этот митинг в степи, когда таманская армия встретилась с Красной Армией, как заключительный аккорд, как разрешение всей темы. Я много раз его переделывал, так как здесь — я мыслил — сосредоточен главный психологический удар по читателю. Я считал, что если эта последняя часть произведет на читателя нужное мне впечатление, задача, поставленная

при написании «Железного потока», с моей точки зрения, будет разрешена.

Сцену митинга я написал сразу, а потом почувствовал, что то тут, то там нет сосредоточенного удара, сжатости, ясного и сильного проявления отдельных героев, проявлений, которые характеризовали бы их внутренний строй, их внутреннюю переделку, как, например, у бабы Горпины. Мне пришлось очень много работать над каждым персонажем, например, над той же бабой Горпиной, стариком ее, а также и другими. Каждый отдельный момент заключительной картины я переворачивал так и сяк, подыскивал фразы и слова, при помощи которых получилась бы сжатая и в то же время сильная картина.

Нужно было как-то гармонично связать обстановку, пейзаж со сценой митинга. Над этим пришлось усиленно работать. Хотелось сделать так, чтобы пейзаж не стоял особняком от развертывающихся событий, а органически сливался с настроениями, с внутренним состоянием пришедшей армии, гармонировал бы с ними и помогал раскрывать замысел автора.

Вслед за концом я написал начало, которое также подверглось усиленной обработке. Начало и конец органически связаны. В первой главе начинается процесс, в последней этот процесс заканчивается психологическим напором на читателя. В конце и начале заключалась вся сущность вещи. И начало и конец, чтоб они получились согласованные, пришлось много раз переделывать, так как нужно было дать общую гармоничную картину настроения масс и отдельных лиц, а также пейзаж, укладывающийся в рамки событий. Прежде чем я этого достиг, пришлось много и упорно поработать над каждым кусочком в отдельности.

Когда конец и начало были уже готовы, нужно было их соединить. Конец и начало ярко стояли в голове, и легче мне дались, а середина далась гораздо труднее. Пришлось все время обдумывать, как создать самую ткань повествования. Середину я писал кусками: то одну сцену напишу, то другую, по мере того как они складывались в сознании. Несмотря на то, что в голове вся тема держалась полностью, почему-то не все сцены вставали с одинаковой яркостью, они не шли гуськом, вслед, в порядке друг за дружкой. Куски я потом постепенно

склеивал и переклеивал, а когда склеил окончательно, то заново переписал весь роман сплошь. Переписал, потом по частям стал перерабатывать; возьмешь один кусок, переработаешь и вставишь. Мне все казалось — недостаточно четко, недостаточно выпукло. В голове все вырисовывалось, как мне казалось, чрезвычайно ярко, отчетливо: лица, движения, горы, море, а, глядишь, на бумаге выходит не то. Писал и перерабатывал произведение с напряженным трудом.

Мне хотелось дать повествование, возможно более близкое к живой действительности, поэтому я старался целиком брать материал из рассказов, из записей. Однако я предпочитал брать материал, дающий известное обобщение. В этих целях приходилось вносить элементы выдумки. Часто я принужден был жертвовать некоторыми рельефными чертами, характеризующими быт, отношения с близкими и т. д. Образ, благодаря этому, отходил от живой модели.

Это я делал умышленно, чтобы сосредоточить впечатление на определенной стороне характера героя. Я предпочитал отчетливо выявить одну наиболее важную сторону характера, а если бы я обрисовал героя со всех сторон, то эта наиболее характеризующая сторона его значительно ослабела бы. Например, баба Горпина. в ней я сосредоточил основную идею перерождения под влиянием революции крестьянской бедняцкой массы. Это — тип собирательный, сделанный на материале, который у меня был раньше. Для подлинного похода он выдуман и нарочито вплетен в ткань произведения, так как мне нужно было дать крестьянина и крестьянку, сначала индивидуалистов, собственников и потом показать их перерождение к концу похода. Именно эта черта Горпины была для меня самой важной. Ее я и выпятил.

Я ставил себе задачей — дать реальную правду, но правду, конечно, не фотографическую, а правду синтетическую, обобщенную. А раз так, то смазывать происходившее никак нельзя было, нельзя было разукрашивать людей: есть жестокость — жестокость, можно сказать, звериная, но эта жестокость — я старался это убедительно показать — оправдывается необходимостью, всей об-

становкой, всем течением событий. Пусть звериное, но пусть таманцы будут такие, какие они были в жизни. Конечно, они вовсе не звери, но когда их поставили в положение, при котором они должны рвать клыками направо и налево — иначе им пропадать,— тогда и звериные инстинкты вырвутся.

Я, как художественный летописец, просто не считал себя вправе смягчать, вуалировать, прикрашивать.

Вывожу я, впрочем, за костром паренька мягонького, рыхлого. На него все и окрысились: идет смертельная классовая борьба, так третий не суй нос в дверь, а то оттяпаем. Эта сцена дает понять, что не потому таманцы жестоки, что они звери, а потому, что находятся в таком положении, а не в ином.

Надо учитывать, что я пытался в «Железном потоке» очертить синтез борьбы жесточайшей, борьбы небывалой, не на жизнь, а на смерть. Мать любит ребенка, а его шрапнель кладет на месте... Любовь тут глубоко схоронилась, но она неистребимо живет в человеке. Матери, например, бьют своих детей, чтоб они шли дальше, но ведь понятно — бьют из любви к детям. Потом, например, когда колонны проходят мимо пятерых повешенных, измученные люди сразу преображаются. В чем дело? Повешены их братья! Разве это не любовь? Любовь! Но я пуще всего боялся малейших оттенков сентиментальности. Эти пятеро повешенных так точно в действительности висели. Мне рассказывали, что командование нарочно повело таманцев мимо виселиц, чтобы они видели, что́ белогвардейцы делают с их братьями. И они ломились потом на врага стеной. Это и есть любовь: не толстовская, конечно, беспомощная, непротивленческая, а такая, какою она только и могла быть в революцию: любовь — не жаление, а любовь — подвиг, любовь — самоотверженность, любовь, зовущая идти бить своих классовых врагов.

Вообще же в «Железном потоке» у меня выдумки мало. События в большинстве случаев представлены так, как были. Отдельные эпизоды нарисованы с очень незначительными изменениями. Например, история с граммофоном. Она придумана для того, чтобы усилить впечатление. Перед перевалом через горы народ шел словно одержимый; страшно было смотреть. Я долго подыскивал такую художественную форму, которая бы

наиболее полно выражала состояние умопомраченной массы. Написать просто: «Они были возбуждены, с блестящими глазами» и проч. мне не хотелось: уж очень это шаблонно и поэтому мало действует на читателя. Тут-то я и придумал историю с граммофоном. В отряде действительно имелся граммофон, и он в течение всего времени действовал. Но не было того потрясающего момента смеха, о котором я написал. Я это выдумал для того, чтобы нарисовать наиболее ярко и напряженно состояние обезумевших людей.

Еще о подлинных фактах и о выдумке. Возьмем сцену митинга — концовку произведения. Конечно, никакая баба Горпина не говорила именно так. Здесь опять-таки понадобилось подыскать такую форму резкого, ударного, впечатляющего рисунка, которая сделала бы ясным резкий перелом в психологии собственника-индивидуалиста, ставшего к концу похода сознательным борцом за новую жизнь.

Я настолько близко держался подлинности событий, что есть в «Железном потоке» места, которым читатель не всегда верит. Например, мордобой между казаками и солдатами. У тех и других есть оружие, а они не пускают его в ход: кинулись в кулаки. Я считал нужным изобразить сцену именно так, потому что между казаками и иногородними существовали очень сложные взаимоотношения. С одной стороны, это — враги. Вражда их выросла из того, что одни владели землей, другие же ее не имели. А с другой стороны, эти враги — соседи. Часто они — близкая родня, женятся друг на друге, учатся в одной школе, ребятишками играют вместе.— у них самая кровная связь. Поэтому не удивительно, что и методы борьбы у них колеблются: то они расстреливают друг друга, то бьют друг другу морду. Эта сложность их прежних отношений и отражена в книге.

Отбор фактического материала я подчинял основной идее, основной линии, основной мысли, вокруг которых навивался весь художественный материал,— это реорганизация сознания массы. Материал, даже хороший, даже яркий, но не продвигавший каждый раз основную линию, основную мысль вперед, я отбрасывал. Требовалось быть очень экономным. Если бы я брал материал, исходя лишь из оценки его яркости, то основная мысль, основная идея потускнели бы, заслонились бы обилием

материала. Несмотря на строгий отбор его, у меня в середине произведения есть все-таки некоторые длинноты, я не сумел их избежать.

Как композиционно я строил «Железный поток»? Как приводил в столкновение героев? Я стремился органически связать начало и конец, дать ряд событий, ряд действий, которые нарастали бы в ходе повествования и которые должны были последовательно-фабульно вести от начала к концу. По этому принципу и построена вся вещь.

Героев я приводил в столкновение постольку, поскольку в их психологии, и в их настроениях, в их целях внутренне рождалась и зрела необходимость этих столкновений. Возьмем, например, Смолокурова. Этот герой «Железного потока» — славный парень, революционно настроенный, отличный митинговый оратор, но он расплывчатый человек, полная противоположность Кожуху. Смолокуров не всегда знает, чего хочет. Идет иногда на поводу у других. Его столкновение с Кожухом построено на его внутренней неорганизованности. Между этими совершенно разными героями не может не родиться конфликт,— и это должен ясно уразуметь читатель. Точно так же и с Кожухом. Например, его столкновение с матросами. Эти столкновения, с одной стороны, рисуют внутреннюю структуру, психологию матросов, а с другой стороны — психологию Кожуха. Крепкий, твердый, не останавливающийся перед препятствиями, он уверенно ведет свою линию и этим влияет и на матросов.

...Сознательно ли я избрал формой «Железного потока» эпопею? В основном я себе более или менее отчетливо представлял, как должно пойти развитие действия. По мере работы над произведением форма его, конструкция, делалась для меня все яснее и яснее. Костяк был планово детально разработан заранее. Но помимо основного материала, у каждого из нас, писателей, как на складе, где-то в подсознании хранятся накопленные опытом слова, фразы, которые в нужный момент вытаскиваешь и начинаешь разрабатывать. Я затрудняюсь сказать, с какого момента, как и почему «Железный поток» четко вырисовывался мне именно как эпопея.

Можно ли героические события нашей жизни укладывать в обычные формы повествования (роман, повесть, рассказ)? Я лично думаю, что не только можно, но и нужно. Это зависит, впрочем, от индивидуальности писателя. Мое произведение, конечно, выиграло бы, если бы я дал более широкое полотно, обрисовав и бытовые черты героев. В сущности говоря, персонажи «Железного потока» мало разработаны. У них оттенены только ударные стороны. Если бы я дал большое полотно, разработал бы бытовые черты, показал человека со всех сторон,— вышло бы что-то вроде «Войны и мира» советского времени. Но мне, по-видимому, было не под силу справиться с такой широтой художественного охвата, и поэтому я отметал все, что в обстановке похода не служило основной цели яркого освещения коллективных стремлений и общих переживаний массы.

Всесторонне осветить тогдашнего борца за новый мир я не мог еще и потому, что писал по свежим следам событий на маленьком окраинном участке огромного фронта. Теперь, когда я оглядываюсь на гражданскую войну и охватываю ее значение во всей ее необъятной шири, она мне представляется иной, чем тогда. Я описывал отдельный поток, смутно лишь представляя себе, в какой бушующий океан вскоре сольются эти октябрьские потоки.

Мне хотелось бы остановиться на значении художественных деталей и на вопросе о том, какую роль они сыграли в произведении. Например, партизаны были одеты в отрепья: я беру эту деталь, и не один раз, а несколько раз. Чтобы хорошенько довести ее до читателя путем противопоставления, делаю ярче основную деталь. Желая оттенить, в каком положении были грузинские солдаты, погибавшие от холода, я описываю параллельно одежду грузинских офицеров, которая была совсем иной. Я стремлюсь выпуклить эти детали, чтобы они не только изображали факты, но и помогали раскрывать внутренний строй человека, взаимные отношения людей. Взять хотя бы тот факт, что грузинские офицеры были накормлены, а солдаты голодны. Эти детали должны были характеризовать в известной мере и классовые отношения в тогдашней Грузии.

В «Железном потоке» есть одна частность. После боя с грузинами некоторые командиры таманской колонны внешне преобразились. Они оделись, воспользовавшись военной добычей. Думаю, что это следовало изобразить. Люди были раздеты и разуты, и такие детали больше характеризуют положение, чем отдельных людей.

Таким образом я пытался подчинить детали общей идее произведения и сделать так, чтобы не просто, произвольно приклеивать детали, а в меру возможности связывать их с внутренним состоянием людей, делать их дополнительным штрихом в характеристике создавшегося положения и умонастроения.

Мне хотелось еще дать какой-то юмор, свойственный данной массе украинцев, которые в самых тяжких условиях умеют находить в жизни юмористические моменты. Для этого я ввел эпизод с переодеванием в дамские панталоны. Это — тоже деталь, характеризующая массу. Тут не грабители,— ведь они сумели взять эти принадлежности туалета весело, со смешком. Я считал нужным ввести этот эпизод, несмотря на то, что по конструкции романа достаточно освещены теневые стороны массы.

К концу 1923 года я закончил «Железный поток». Отнес в одно издательство, поглядели: «Да, знаете, большая вещь... да нет, не возьмем, еще провалишься с ней». Так и не взяли. Тогда я отнес рукопись в альманах «Недра». Там ухватились. С того времени «Железный поток» понемножечку и пошел...

После выхода «Железного потока» мне не раз приходилось встречаться с некоторыми участниками похода. Они рассказывали мне интересные вещи: большая часть партизан погибла в боях, а некоторые возвратились на Кубань и стали там хозяйствовать. Привезли туда несколько экземпляров «Железного потока». Участники похода прочитали и говорят: «А товарищ Серафимович в какой части у нас был?» Значит, правдиво написано...

Вскоре после появления его в печати покойный академик Лебедев-Полянский в «Красной нови» дал хороший, толковый отзыв. В общем, советская критика отнеслась к роману весьма положительно. Не могу не отметить глубокий и умный анализ «Железного потока», данный покойным писателем Д. Фурмановым. Некото-

рые критики, однако, указывали, что недостаточно даны пейзаж, природа. Другие, наоборот, говорили, что природа занимает слишком много места. Я же думаю, что природа дана в меру. Больше не следовало давать, потому что иначе это разжижало бы события, и меньше тоже нет.

Как встретила рабочая масса «Железный поток»?

В подавляющем большинстве случаев это произведение принималось рабочими хорошо. Я на собраниях в этом убедился, получая многочисленные записки и письма. Записки я собирал (для характеристики аудитории) в Москве, Ленинграде, Горьком, Туле, Сталинграде, Ворошиловграде (Донбасс), Свердловске, в Архангельске, Вологде и во многих других городах. Большинству нравится, увлекаются даже. Один рабочий писал: «Прочитал — и знаете, так кулаки и сжались. Черт их дери, белую свору! Буду их бить направо и налево».

Те, кто пережил гражданскую войну, высказывались, что очень правдиво. Говорили: «Я был на гражданской войне, как раз оно — то самое».

Доступен «Железный поток» по форме, по рисунку, по языку.

Но были и другого характера отзывы, хотя в очень незначительном количестве. Так, например, в Ленинграде я выступал несколько раз на Кировском заводе. Там, кстати сказать, очень хорошо были организованы отзывы рабочих. Отзывы давались не экспромтом, не в момент чтения. Объявили культработники за месяц до моего приезда: «Вот-де, товарищи, берите книги Серафимовича, подготовьтесь хорошенько и, когда прочитаете, давайте отзывы». И вот писала работница двадцати пяти лет: «Скучная вещь, как-то мало понятно». Еще было в Ленинграде таких отзывов два-три. В Горьком тоже среди положительных отзывов мелькали и отрицательные. Выступает, например, рабочий,— длинный у него в руках манускрипт такой,— и говорит: такие вот и такие неправильности, несвязности. Заведующий библиотекой рабочего клуба тоже привел несколько отрицательных отзывов рабочих. Некоторые писали мне: «Скучно», некоторые «Непонятно».

В целом, однако, «Железный поток», по-видимому, хорошо оценивается рабочим читателем. Один молодой рабочий в Ленинграде рассказывал так: «Знаете, мне

все говорят: «Прочти да прочти «Железный поток». Ну, лезли ко мне... Как-то товарищ принес однажды книжку. Я не хотел ее читать, но потом начал. Так знаете, всю ночь не мог оторваться. Надо утром на работу идти, пришлось прервать. Потом, как кончил работу, выскочил из завода, полетел, опять засел читать, пока не кончил». Это рассказывал молодой комсомолец. Старики тоже хорошо отзывались.

Приезжавшие из разных стран товарищи рассказывали мне, что зарубежные рабочие читают «Железный поток» с интересом и говорят, что написано хорошо и что они почувствовали, как шла Октябрьская революция в Союзе Советских Социалистических Республик; газетные статьи не давали им такой живой картины нашей борьбы. В «Железном потоке» они почувствовали колоссальнейшую стихийную силу крестьянства, которую организует и направляет по своему пути пролетариат.

Очень любопытны также отзывы буржуазных газет. Буржуазные читатели в первые годы появления «Железного потока» за рубежом страшно изумлялись: вот, мол, чудеса! Совершенно для них неожиданно оказывается — художники-коммунисты умеют художественно писать. Они, по-видимому, воображали, что мы ходим в лаптях, едим сальные свечи и т. д.— так в начале 20-х годов буржуазия писала о нашей культуре. В общем, книга имела явный успех и за границей.

Мне и в письмах и в записках во время моих выступлений на заводах, в воинских частях и пр. задавали много вопросов о «главном герое» моего произведения — Кожухе. Как я его лепил, что он собой выражает, какие идеи я воплотил в его образе.

Один из товарищей спрашивал, является ли Кожух главным героем, или, может быть, «Железный поток» — роман безгеройный, может быть, в нем нет главного героя?

На это я отвечал. Кожух — герой и не герой. Он не герой потому, что если бы его не сделала масса своим вожаком, если бы она не влила в него свое содержание, то Кожух был бы самым обыкновенным человеком. Но в то же время он и герой, герой потому, что масса не только влила в него свое содержание, но и шла за ним

и подчинялась ему, как командующему. Вспомним, например, каким обтрепанным и рваным он всегда ходил, ничего не позволяя себе взять, в то время как его командиры прекрасно оделись. Он постоянно чувствовал на себе взоры массы. Отнимите от него массу, и пропадет весь его ореол.

В другой записке меня спрашивали:

— Почему мало выявлена личность Кожуха?

До известной степени я, может быть, это сделал инстинктивно, а в некоторой мере и с расчетом: я не хотел дать штампованного, избитого героя, на коне ведущего вперед эти самые массы, а я хотел его дать простым, но деловым, умным и строгим командиром, сросшимся с массой.

А вот еще записка:

— Почему Кожуху придается такое большое значение?

Нет, где уж там... Если бы я придавал слишком большое значение Кожуху, так я бы сделал большую художественную ошибку. Это — неправда. По-моему, большого значения Кожуху в романе не придается,— наоборот, я именно и пытался показать, что в Кожуха вливает свое содержание масса, что без нее он самая заурядная фигура.

Один ленинградский товарищ спрашивал:

— Почему вожаком взят офицер Кожух? Как будто нельзя было взять героем кого-нибудь из крестьян?

Конечно, можно было бы, и такие примеры в жизни бывали. Простые солдаты, крестьяне во время гражданской войны в Сибири и в других местах чудеса делали. Но я все-таки остановился именно на Кожухе, на офицере, потому, что мне показалась его роль очень характерной. Именно это самое офицерство, вернее, производство в офицеры, выковало из Кожуха жесточайшего врага помещиков и их представителей — офицеров. Это было настолько характерно, что я остановился именно на этой интересной фигуре офицера из народной толщи.

Другой товарищ писал мне:

— А в «Железном потоке» вот какое противоречие: Кожух, мол, показан вами человеком, который не гоняется за славой; он дескать, и собой жертвует, и как будто интересуется он не тем, чтобы его похвалили и

чтобы славу себе создать, а чтобы освободить массу,— он действительно борется за идею. А тут же в «Железном потоке» есть рядом страницы, в которых говорится, что Кожух боялся, что его слава может померкнуть.

Нет, по-моему, противоречия тут нет никакого, ибо ведь людей нельзя представлять себе выкрашенными одной краской. Вы возьмите честнейшего, благороднейшего революционера, который отдает всю жизнь за революцию. Если вы мне скажете, что у него в душе нет ни зерна честолюбия и т. д., то я скажу вам, что это не верно. Есть это зерно, оно живет в каждом человеке! Весь вопрос только в размерах. У Кожуха на протяжении романа честолюбие постепенно сошло на нет, а готовность отдать себя революционной борьбе выросла в огромной степени. А бывает наоборот: честолюбие разрастается, а желание отдать себя понемногу суживается. Людей надо брать такими, какие они есть, со всеми их внутренними противоречиями. Тогда это будет правда и правда поучительная, особенно в художественном произведении.

Указывали мне еще и на другое противоречие: Кожух, мол, хотел пороть солдат, а своих офицеров он не тронул... Опять-таки противоречия тут нет, и я повторяю еще раз: плох тот художник, который рисует людей, как на лубочных картинках дореволюционного времени: солдаты все одинаково ноги поднимают, по ногам мазнули синей краской, по груди — красной, по лицу провели желтой краской — и все. Нельзя так — это не художественно.

Человек сложен и противоречив. Кожух хотел пороть солдат, а на своих помощников у него рука не поднималась: начни их драть, а они, может быть, и сковырнут его. Здесь он боится не только за свою шкуру, но и за все дело. Я вовсе не хотел изобразить Кожуха идеальным человеком. Таких людей нет на свете.

Две записки относительно матросов, показанных в «Железном потоке»:

— Почему матросы выведены контрреволюционерами?

— Матросы выведены как бандиты,— это неправильно.

На это необходимо ответить.

Из песни слова не выкинешь, а я, работая над «Железным потоком», больше всего боялся неправды, лакировки. Все мы отлично знаем, что в царской армии и флоте матросы были революционным элементом. Во время Октября они бесстрашно шли в революционную борьбу и погибали массами, а тут вдруг,— пишут мне,— «такая музыка». Но, видно, революция не идет по ровной дорожке, в революции масса всяких отклонений, внутренних противоречий. Это сказалось, в частности, и на матросах. Они отдались революции и клали головы без колебаний. Но вот когда в Новороссийске матросы топили флот, который по Брестскому миру надо было передать немцам, они, по общему согласию, вынули из корабельных касс деньги, которых много было на каждом корабле, и поделили поровну между собою. Потом они закрутились, стали пить, гулять с девчатами; деньги у них сыпались, как из мешка, они как будто старались от них скорее отделаться. Это даром не прошло: матросы стали разлагаться, и когда началось контрреволюционное восстание казаков и громадная масса беженцев стала уходить, матросы почуяли, что их всех до одного перережут кулаки. Часть матросов осталась в Новороссийске, и офицеры их живыми закапывали в землю; другая часть матросов влилась в таманскую колонну и стала разлагать ее, и это разложение, как смерть, все время ослабляло таманцев.

Эти матросы не были злонамеренными контрреволюционерами, но не было у них достаточного сознания, что Кожух поступает правильно, устанавливая железную дисциплину. Матросы стали бузить, разводить демагогию: Кожух, дескать, был офицером и пр. И матросы даже хотели убить Кожуха. И только под конец, когда они увидели, что были неправы, они всенародно покаялись.

Всегда надо иметь в виду, так сказать, «издержки революции». Ведь, бывало, и старые партийцы разлагались. И тут тоже целая прослойка действительно революционных матросов разложилась. У меня ведь дается обоснование: у них была масса денег, а главное, их портила бездеятельность. Не было у них приложения сил, по крайней мере в таком деле, в котором они оказались бы на месте. Вот когда раньше раздавался клич: «Да-

ви, руби!», «На митинг!» — это их заполняло. Потом все схлынуло. Некуда было энергию девать.

Конечно, этого никак не скажешь про матросов Кронштадта: среди них выступали настоящие старые большевики. Мне, впрочем, рассказывали, что часть матросов стала потом в таманской колонне в строй. Вот эту здоровую часть действительно надо было отметить, выделить. Я этого в «Железном потоке» не сделал, и в этом моя ошибка...

Главным образом от представителей малых народностей Кавказа, а также из других мест Советского Союза я получил много писем, в которых читатели высказывают резкое недовольство моей обрисовкой роли грузин: я будто бы нарисовал их «трусами», «плохими вояками». Это, конечно, в корне неверно. Какие бы то ни были оттенки «шовинизма» и «великорусского зазнайства» мне всегда были чужды. Я в данном случае отобразил то, что происходило в действительности, без злого умысла.

Участники похода единодушно свидетельствуют, что казаки дрались упорнее, чем грузины. Грузины, действительно, сравнительно слабо сопротивлялись, но, конечно, не потому, что они «плохие вояки», а главным образом потому, что не знали, *за что*, собственно, дерутся. Кроме того, они, хоть и глухо, все же слышали, что в Советской стране крестьяне получили землю. Это до Грузии смутно доходило, и поэтому у грузинских солдат в глубине сознания копошились сомнения: нужно ли воевать против Советов. Они еще были к тому же страшно голодны, подвоза не было. Черноморское побережье всегда питалось подвозом, а море было отрезано. И в то время как грузинские солдаты страшно голодали, хотя и были великолепно экипированы союзниками, офицеры грузинские хорошо ели. Конечно, на боеспособность грузинской армии это оказывало влияние. Вот в чем кроется главная причина того, что они слабо дрались.

А что грузинский офицер улепетывал, то в его положении всякий бы улепетывал. Ведь и генерал Покровский в одной рубашке выскочил, высадив раму. У них положение такое создалось: или беги, или ложись сейчас под штыки.

Я не в том смысле хотел дать эту сцену, как она бы-

ла истолкована некоторыми критиками и читателями. Я стремился показать, что грузины были ошеломлены неожиданностью нападения. Их загипнотизировало зрелище свалившихся на голову таманцев. Они считали свою позицию неприступной. В сущности говоря, шаг Кожуха был в известной мере авантюристичен. На него можно было решиться только с отчаяния. Не полезь таманцы, их бы всех перебили. Им некуда было деваться. А был ничтожный шанс ночью одним ударом сшибить врага,— и таманцы этого достигли.

Но я, видимо, недостаточно развил темпы движения и недостаточно нарисовал обстановку. Так ясно представлялось в голове, а до некоторых читателей не доходит или доходит не в том разрезе и не в том строе. У меня ведь указано, что, когда грузины стали отступать, около собора осталась их рота, которая героически умирала. Но тут получилась какая-то несоразмеренность, и потому некоторым читателям кажется, что грузины плохо сражались.

Мне еще много говорили насчет «крепких слов». Каюсь, я грешен. Помню, как в дореволюционное время в журнале «Русское богатство» один талантливый писатель дал рассказ из казачьей жизни на Дону: казак ушел на службу, казачка, его жена, молодая, красивая, полюбила другого. Известно, чем это кончается: она забеременела и сделала аборт самыми ужасными средствами. Для того времени это было очень характерно. Однако «благородные» читатели и особенно читательницы «Русского богатства» возмутились. В редакцию посыпалась масса протестующих писем и даже отказов от подписки. Письма были примерно в таком роде: «У меня дочь восемнадцати лет, из журнала она может узнать, что на свете существует аборт и т. п.».

Ну, как вы думаете, эти читатели были правы? По-моему, они были не правы. Конечно, только восемнадцатилетние институтки не знали ничего об аборте, казачки же росли в других условиях. Что же, прикажете «по-благородному» жизнь давать, или так, как она есть?

Нет! Жизни бояться нечего, и нечего бояться самых мерзких ее сторон. Надо поставить только одно условие: если писатель пускает «крепкое слово» или описывает какую-нибудь фривольную сцену только для того, чтобы нервы читательские пощекотать, то на это он не

имеет никакого права. В этом случае читатель вправе бросить писателю самый горький упрек... Но если то или иное крепкое слово неразрывно связано со всей тканью художественного произведения, если оно подчеркивает ту или иную черту в изображаемых людях, тогда прав писатель.

От писателя надо требовать, чтобы он прежде всего был правдив, чтобы он не боялся жизни, а брал все, что в ней есть, но брал это не для того, чтобы пощекотать нервы или доставить нам минутное удовольствие, а для того, чтобы читатель самую жизнь прощупал, все ее язвы и гнойники.

Спрашивали меня во многих письмах и во время моих выступлений в разных городах, почему я ввел украинский язык? Некоторые говорят, что это делает «Железный поток» непонятным, неудобочитаемым.

Не так уж, по-моему, это непонятно. Я не ввожу чистого украинского языка, я даю тот говор, который держится в Донской области и на Кубани. Это очень своеобразный украинский язык, и я думаю, что он передает характер местности и, в общем, усиливает правдивость изображенной картины.

Скажешь по-украински, и как-то сразу чувствуется образ, который хотел показать. Однако, мне кажется, что, несмотря на это, картина, показанная в «Железном потоке», является типичной для всего нашего крестьянства в начале Октября. Конечно, Союз наш так велик, что крестьянин Северного Кавказа, Кубани отличается, разумеется, от сибиряка или от крестьянина северо-двинского или центральных губерний по говору, по обычаям и т. д., но внутренне — это один и тот же социальный тип.

Невзирая на то, что в «Железном потоке» диалог дается большей частью на украинском жаргоне, очень мало рабочих жаловались, что им непонятно. «Чего и не знаешь,— говорили они,— так догадаешься». Зато квалифицированные читатели из кругов советской интеллигенции говорили, что украинская речь придает роману большую колоритность. Из этих соображений я ее и оставил.

Самым трудным местом в построении «Железного потока» и вообще в моей литературной работе была не-

достаточная теоретическая подготовка. Я, пожалуй, больше других писателей, вышедших из рабочей и крестьянской среды, был подготовлен к литературной работе: и школа меня больше подготовила, и в окружении я был более культурном. Но организованно учиться, как строить литературное произведение, я научился очень поздно. Я ощупью к этому подходил. Я читал, скажем, классиков, как большинство читает. Читаешь и думаешь: «Как хорошо». С захватывающим интересом следишь, как развивается повествование, а как построено произведение, как подобраны, как обрисованы типы, как даются события, это все упускаешь.

Не было у меня систематической литературной учебы. А если и была, то случайная, неорганизованная, стихийная — это мало приносит пользы. Надо учиться, так сказать, «технологии» литературного процесса, надо подходить к произведению, на котором хочешь учиться, так, чтобы видеть, как оно построено, чтобы его блеск не затемнял процесса построения.

Бывает, подходишь к великолепному художественно оформленному зданию, и из-за лепки, из-за скульптуры, из-за внешнего оформления не видишь, как оно построено, как расположены части, как они связаны, какой взят материал. Вот такая точно история вышла у меня с классиками. Я не умел рассматривать и распознавать их построения. Читал, например, Толстого, и у меня ускользала из внимания книга как творческий процесс: я воспринимал у него только события. Скажем, в «Войне и мире» я слышу, как ходит Наташа, как вошла в комнату, как села за инструмент играть. Толстой с такой изумительной яркостью воспроизводит события, что творческий процесс создавания его произведений пропадает. Наташа — живая, но как ее вылепил Толстой, этого не умеешь, это трудно открыть.

От такого восприятия литературных произведений надо отделаться, если хочешь учиться построению образа. Надо уметь, особенно писателям, за жизнью произведения видеть его структуру. Я постепенно этого, наконец, отчасти добился, но добился очень поздно. Я учился этой технологии всю жизнь, и, надо сказать, беспорядочно, потому что некому было мне рассказать, растолковать неясное.

Во время работы над «Железным потоком» я теоре-

тически был все-таки уж лучше подготовлен, однако недостаточность литературной учебы я ощущал весьма осязательно и в этот период (и ощущаю и теперь). У меня всегда была груда материала, который я тщательно собирал. Но я не умел использовать весь этот материал, тонул в нем. Произведение получалось не плохое, но лепилось оно очень хаотическими приемами, материал использовался непропорционально. В данном случае в «Железном потоке» мне было страшно трудно совладать с пейзажем, чтобы выходило в меру, чтоб не переступить за грань строгой необходимости. Я боялся завалить пейзажем все повествование. Плацдарм «Железного потока» я изучил превосходно,— и я мог бы написать много страниц с описанием природы в горах. Я и написал немало, но потом безжалостно вычеркивал, чтобы ради «красивости» красок не загромождать. Брал из пейзажа только безусловно необходимое для хода событий, для пояснения и оправдания поведения людей.

Я строго выбирал материал соответственно задуманной вещи. И могу сказать — в «Железном потоке» соблюдены надлежащие пропорции. Пейзаж взят лишь постольку, поскольку он органически входит в ткань произведения. В рассказах же, например, «На льдине» и в «Снежной пустыне» этого нет. Там навален пейзаж, и он самодовлеет, существует для какой-то собственной цели. Это свидетельствует о неумении использовать нужное, а остальное отставить.

Я, строго говоря, писатель-бытовик. Всегда во главу ставил быт. Проблемы мои возникают и разрешаются через быт. Но в «Железном потоке» я — впервые, может быть, за свою долголетнюю литературную деятельность — сознательно, намеренно игнорировал быт. Здесь я не считал обязательным для себя выявлять бытовые черты героев. Жизнь коллектива требовала других методов обрисовки, не укладывающихся в бытовые рамки.

В «Железном потоке» я рисую коллективный процесс борьбы, который стремился выявить возможно более сильно и экономно. Это — не эпизод из жизни отдельного героя или маленькой группки людей, где требуется показать как можно ярче человека, его положение, его жизненную обстановку, его специфическую работу,

показать его и на людях и у него дома, его личные отношения.

Жизнь огромного коллектива в «Железном потоке» я считал необходимым рисовать в «крупном плане» и в убыстренном темпе: ведь в революцию месяц — за год. Мелочи быта затормозили бы и обеднили бы героическое движение и героические цели массы, главное, не дали бы убедительных черт ее облика. Ибо масса, хотя и однородна, но разнолика. Бытовые черты одного человека не могут совпадать с чертами многих других. Тут нужны другие мерила, другие критерии — чисто психологического, можно сказать, идеологического порядка.

Я старался поэтому с наибольшей силой выявить в «Железном потоке» основные мысли, основные идеи, основные задачи массы. И соблюдать огромную экономию — ничего лишнего: не только лишнего человека, но даже лишнего куска пейзажа, лишней фразы, даже лишнего слова, запятой, если они непосредственно не служат для продвижения всего повествования вперед. Это очень сложная работа, которая дается не сразу.

До «Железного потока» я писал в значительной степени стихийно. Меня тянул за собой материал, а не я располагал его. Да это было не только со мной. Леонид Андреев мне как-то рассказывал, что иногда он пишет — получается великолепный кусок. Чувствует писатель, что очень хорошо обрисовано, а потом оказывается, надо выбросить, потому что лишнее. Как это постигается? Это дается только опытом и выучкой, что мы называем писательским «чутьем».

В построении «Железного потока» я действовал не «интуитивно», а более или менее осмысленно анализируя свою работу. Два с лишним года я корпел над произведением в восемь печатных листов, и, сравнивая свои вещи, написанные раньше, и «Железный поток», я много раз убеждался, что в последнем достиг экономии в пользовании материалом и научился строить части целого целесообразно и стройно. Дом как можно построить? По-разному. Можно построить его кособоко или крышу набоку. Так и в художественном произведении: сделаешь здоровую шапку, а остальное скомкаешь, или часть какую выпятишь, удлинишь или сузишь, и в результате части повести и станут несоразмеримы одна с

другой. Часто читатель чувствует, что в повести что-то неладно, в чем дело, разобраться не умеет, потому что не умеет анализировать литературный процесс. Говорит: «Да, что-то не то». Непосредственное впечатление — какое-то разбитое, ощущается неудовлетворенность, потому что повесть построена неправильно. В «Железном потоке» я твердо знал, чего домогаюсь, что и как строю и что должно получиться. Выношен он был хорошо, зрело: обдуман, взвешен и полновесно отработан, местами, можно сказать, вычеканен.

Тех немногих героев «Железного потока», которых мне пришлось выделить из массы и выдвинуть на авансцену, я старался осветить с разных сторон; я их ставил в разные положения, в разные отношения с другими людьми, показал их в разных событиях, в разной обстановке, в столкновениях с разными людьми. И каждую «перемену декорации» делал необходимой произведению для движения его вперед. При этом я учитывал, что надо располагать весь материал по степени важности, чтобы важнейшей части больше места уделить, менее важной — меньше.

У меня при писании «Железного потока» был обдуманный и разработанный «рабочий план». Конечно, в точности по плану у меня все-таки не вышло. План в процессе работы мне пришлось в деталях несколько изменить, однако общие черты, основы плана остались те же. Некоторые, по-моему, хорошо написанные сцены, которые выпирали, я без колебаний выбрасывал, много переделывал. Я шел в данном случае за Толстым: Толстой всегда так делал. Андреев тоже мне рассказывал. «Иногда жалко выбрасывать, до такой степени сцена хорошо вытанцевалась, и люди яркие,— а в целом она не годится, в архитектонике, в плане построения не годится, и надо выбрасывать».

Этому умению я учился и у Чехова. Мне один из товарищей как-то указал: «Посмотри, как пишет Чехов». Ему нужно было дать жизнь в уездном городе. Мы бы с вами написали, что вот-де уездный город, немощеные, пыльные улицы, свиньи разгуливают и проч. Длинная история... А как Чехов пишет? «Из-за острога всходила луна...» А потом начинается рассказ. И перед вами — уездный город. Острог ведь бывает только в уездном городе. В деревне острога не бывает. В Москве, в этой

громаде, его не увидишь,— в уездном же городе он выпирает. Или так: есть у Чехова одно место, где ему надо было дать лунную ночь. Так он написал: «От мельницы тянулась уродливая тень, а в венце плотины блестел осколок бутылки...» А мы бы написали: «...Взошла луна, она лила голубоватый свет...» и т. д...

Чехов владел изумительной способностью в двух-трех словах дать целую картину. В «Железном потоке» я старался идти по его стопам и быть, как он, возможно более сжатым и точным.

Я, однако, внимательно следил, чтобы в погоне за сжатостью не выкинуть существенное. Тут уж подскажет художественное чутье, которое надо в себе выработать. Я выбирал такие черты, которые дают читателю живое представление, не расплывчаты и в то же время страшно экономны. Описывая, например, в «Железном потоке» море, я давал две-три черточки, но наиболее, на мой взгляд, характерные, чтобы читателю сразу запомнились.

И во все время писания «Железного потока» я непрестанно спрашивал себя, достаточно ли сжато я изобразил. Нет, еще недостаточно, казалось мне,— и я вычеркивал и вычеркивал; жалко было выкидывать то, над чем сидел, думал, что родил в муках. Но ничего не поделаешь. Я был к себе беспощаден.

Я раньше, бывало, частенько заглядывал в хранилища толстовских рукописей, стараясь у старика учиться. Толстой — гениальный из гениальных. А как он работал? Я брал его корректуры и убеждался, что сколько раз ему ни давай корректуру, он все будет править. Жена его, Софья Андреевна, видя, что от бесчисленных корректур у него глаза лезут на лоб, бывало, возьмет да и отошлет корректурные листы в типографию, так как видела, что если ему двадцать раз принести их, он все будет править.

Так ведь Толстой писал легко, у него мысли и слова лились. Он иногда говорил: «Я сегодня за день написал лист». Но нужно сказать, что этому предшествовала громадная внутренне-невидимая работа. Вот Толстой ходит, разговаривает, прислушивается, а сам думает: «Ах, а вот Наташа, когда встретилась с Пьером неудачно, так она закрыла лицо руками». Толстой проснулся ночью, и вдруг ему вспомнилась Наташа, и он опять на

разные лады стал перестраивать и ее и окружающих ее людей.

Я лично в корректурах сравнительно мало ломал, уж лишь в случае крайней необходимости — совесть не позволяла бесплодно расточать труд наборщика. Но в своей «лаборатории» я бороздил рукопись неисчислимыми вставками, вписками, вычеркиваниями, заменами, перестановками. Разукрашу так густо, что потом сам не разберу, и переписываю заново, и опять разукрашиваю доотказа.

Л. Андреев,— я видел у него на даче в Финляндии,— ходил по громадной комнате и диктовал машинистке так, что она не успевала за ним писать. Со стороны могло показаться, что легко пишет человек (я, например, сижу с пером и медленно вывожу букву за буквой). Оказывается, Андреев предварительно проделывал громадную работу. Когда? Пойдет, бывало, гулять — думает. Поедет на велосипеде — думает. У разных авторов разные манеры обдумывать. Одни сидят над бумагой, другие думают во время прогулок. Я обдумывал «Железный поток», сидя с пером в руках часами, ночью и днем, над бумагой. Работа над «Железным потоком» протекала трудно. Порой работал до полного изнеможения: падал на диван от усталости и засыпал. Просыпался — и опять начинал грызть ручку, опять вставлять, переставлять, вычеркивать. Потому что, даже когда мне казалось, что произведение совсем готово, я вдруг наталкивался на какое-нибудь хорошее емкое словечко, или я решал что-нибудь добавить или выкинуть. Таким образом до появления «Железного потока» в печати текст его сильно видоизменялся, однако не сплошь, а лишь отдельными кусками, которые я переписывал иногда по три, четыре, пять, семь раз.

С течением времени пришлось внести кое-какие поправки в первоначальную редакцию. У меня, например, вначале так и было, как мне рассказали таманцы, что Кожух выдрал партизан, но потом я эту сцену переделал. Дело было так. Пошел я прочитать свою вещь в кружок «Рабочая весна», собрались там рабочие и красноармейцы. Прочитал я им эту главу, вижу — кучка красноармейцев поднимается и уходит. Возмущены: «Как так — драли? Это оскорбительно». Я говорю им: «Милые товарищи, не забывайте, что это были партиза-

ны в начале революции; дисциплина тогда только внедрялась, и установить ее было нелегко. Случалось, что прибегали к строжайшим мерам, но все-таки боролись с грабежами и насилиями...» Однако же в конце концов я согласился с ними. Они были правы: художественно правдивее, вернее, если сцены порки не будет. Ведь что нужно было показать и в чем убедить? Что масса безропотно подчинялась дисциплине. Это — достигнуто. Я был очень благодарен красноармейцам. «Правильно,— говорю,— ребята. Изменить надо».

Чем же разнится последний текст «Железного потока» от первоначального? С тех пор как книга появилась впервые в печати, я ее в общем мало перерабатывал. Переработаны только отдельные места.

Почти четверть века, год за годом, издается и переиздается «Железный поток» в столичных и областных издательствах. За это время я мало работал над текстом этого произведения. Однако каждый раз, при каждом переиздании, не удержусь: кое-что да изменю, внесу поправку. За долгие годы этих поправок накопилось изрядно, и они несколько изменили первоначальный текст альманаха «Недра». Все же и в настоящее издание я, совместно с редактором этого собрания сочинений Г. Нерадовым, внес кой-какие поправки, которые показались нам необходимыми.

И еще — в заключение...

Меня спрашивали много раз, не нахожу ли я сам недостатков в «Железном потоке»? Да, нахожу. Я думаю, что людей, всю массу я изобразил,— поскольку мне судьбой отпущено,— сравнительно неплохо, местами довольно выпукло. Но все же в повести есть крупный недостаток, которого я бы не сделал, если бы мне пришлось писать «Железный поток» теперь. Дело в том, что я в этой вещи не показал прямо, как пролетариат руководит крестьянством. У меня там это руководство, так сказать, молчаливо подразумевается,— ведь Кожух не из пальца же высосал то, что он говорил своим войскам о Советской власти, о революции. Он откуда-то это взял. Откуда же он мог взять? Не от крестьян же, среди которых он находился. Взял он это от революционного пролетариата. В общем, руководство пролетариата чувствуется, но это нужно было бы гораздо ярче подчеркнуть живыми образами партийцев. Нужно бы-

ло показать рабочих. Я допустил эту ошибку потому, что рабски следовал за конкретными событиями, а в них рабочие играли небольшую роль. Мне следовало показать рабочих в руководящей роли. Эта ошибка — крупная.

«Железный поток», по-моему, вообще нуждается в доработке, его бы расширить надо, углубить. Но дело в том, что я от него уже отошел, как-то потускнела для меня тема гражданской войны. Сейчас уж смотришь на другое, занимает другой материал — материал социалистического строительства...

С ВЫСОТЫ ВОСЬМИДЕСЯТИ ПЯТИ ЛЕТ

Скитаюсь, бывало, по горным кряжам. Идешь и идешь, поднимаешься все выше, выше, в гору. Перед глазами кусты, камни, змеистая тропа. Болят ноги, тревожно и напряженно бьется сердце; на лбу — испарина и набухшие жилы. Тяжел и труден подъем. Хочется сесть или лечь, а то и отказаться от подъема к манящей вершине. И вдруг оглянешься и ахнешь: какой простор открывается с вершины! И радостно вздохнешь... И почему-то грустно, и рой неосознанных дум и образов волнует сердце.

Так вот и сейчас — с высоты своих восьмидесяти пяти лет, оглядываясь на ушедшие десятилетия, невольно хочется вскрикнуть:

— Друзья! А жизнь-то какая чудесная! Да как она вкусно пахнет!

...Шалит сердце; какие-то колесики и пружинки внутри поскрипывают; отяжелевшие ноги подгибаются и тянут прилечь и забыться. А оглянешься на пройденное, вдохнешь густой аромат нашей жизни — и хочется опять продолжать подъем, преодолевать все препятствия, лишь бы еще... ну хотя бы вот до этой вершины подняться и там, оглянувшись, порадоваться голубым бескрайным просторам нашей жизни, ее многоцветной и ароматной радости...

Мне выпало большое счастье: я стою на пороге коммунизма. Коммунизм подходит в пламени войн, порою

в голоде, в холоде, в смертных муках, медленно, но — непрерывно, неуклонно и неотразимо. Часто его не угадываешь. Но он, коммунизм, с несокрушимой силой мнет старые привычки жизни, старые отношения людей друг к другу, прокладывая новые пути.

...Прекрасна наша повседневная ожесточенная борьба, прекрасна наша жизнь, еще прекрасней будущее. И я безмерно счастлив, что из мрака прошлого, преодолев владычество трех царей, мне удалось хоть краешком глаза заглянуть в будущее нашей Родины, наших людей. И хочу по-стариковски сказать молодежи напутственное слово:

— Жизнь пахнет упоительно! Жизнь наша — необъятный голубой простор моря! Так украшайте эту жизнь еще более, еще более раздвигайте ее просторы!

ДРУГ И УЧИТЕЛЬ

После Октября Александр Серафимович, верный солдат революции, был призван принять непосредственное участие в организации пролетарского литературного цеха. В 1920 году в скромной кремлевской квартире Владимира Ильича Ленина, за стаканом чая, он услышал то, о чем смутно думал еще в дни октябрьских боев: «Литературу нужно нам свою организовать». И еще: «Будет у нас превосходная, первая в мире пролетарская литература».

Трудно было тогда найти человека более подходящего для этой организующей роли, чем Серафимович. Глубоко демократичный, чуждый чванства, предвзятости, он всегда руководствовался сердечностью и доброжелательством, если видел в писателе талант и желание верно служить своему народу. Забота Серафимовича о молодых писательских кадрах из среды рабочих и крестьян, его внимание к их творчеству особенно проявились в годы его работы в Лито — Литературном отделе Наркомпроса, сначала в качестве заведующего Литературно-издательским подотделом, а затем — в качестве главы всего Лито. Этой работе писатель придавал огромное значение. «Главная задача и первейшая,— писал он,— создать новую художественную литературу, а для этого открыть новые художественные силы и организовать их... В провинции открыты молодые талантливые литераторы, художники и интеллигенты... надо организовать дело так, чтобы давать задания — не сплеча, а тонко, мягко, умело, индивидуализируя каждую литературно-художественную силу...» [1].

«Не впадая в сентиментальность, Серафимовича смело можно назвать отцом нового поколения пролетарских писателей»[2],— сказал один из современников писателя. И действительно, Серафимович дал путевку в жизнь многим видным советским писателям, пришедшим в литературу в двадцатые годы. Уже в «Донских рассказах» он открыл Шолохова, увидел своеобразие и красочность Гладкова с его «Цементом», сражался с самим Горьким за «корявую», но самобытную и талантливую прозу Панферова, радовался, что не сбылось его предсказание о Фурманове — «нет, этот не

---

[1] ЦГАЛИ. Записка А. С. Серафимовича, озаглавленная «Лито».

[2] Петр Кузько. «Организатор и друг пролетарских писателей». В кн.: «А. С. Серафимович в воспоминаниях современников», М., «Советский писатель», 1961, стр. 89.

выделится»,— и восторженно писал о нем: «Да это — художник. Художник, вдруг выросший передо мной и заслонивший многих».

«В те дни, когда только что собирались литературные силы и закладывались основы советской литературы, Александр Серафимович чутко интересовался успехами молодых литераторов,— вспоминал Федор Гладков,— привлекал их к себе, возился с ними, умно и тонко руководил их работой, разбирал каждую строку, давал советы, указывал на причины неудач, предупреждал об опасностях и проникновенно подчеркивал удачные, яркие образы, особенности языка и восклицал возбужденно:

— Ах вы, леший этакий! Да вам же только работать и работать! У вас же силищи — непочатый край...» [1]

Но творческие уроки Серафимовича состояли, разумеется, не в оценке или чисто литературной правке присланных рукописей (хотя было и такое), а в том неистребимом интересе к жизни, который был присущ всегда ему самому и который он так ценил в начинающих литераторах. «Только тот писатель имеет значение, который идет в ногу с эпохой, который отражает жизнь и борьбу передового революционного класса, помогает ему строить новое, счастливое, коммунистическое общество» [2],— говорил он.

Серафимовичу было глубоко чуждо пренебрежительное отношение к литературному наследию классиков. Говоря, что, «приступая к работе, писатель прежде всего должен спросить себя: «Нужно ли это партии?» И если нужно, то в какой мере, нет ли тем, более нужных, более важных в данный момент?», он в то же время призывал осваивать классическую литературу. «Нужна известная высота культуры класса», чтобы создавать новую социалистическую литературу.

«Уроки Серафимовича» состояли также и в той исключительной требовательности, с которой он относился прежде всего к собственной работе, главным образом в требовательности полной и безусловной правды. Писатель Ильенков рассказывает в своих записках, как однажды, в 1943 году, восьмидесятилетний писатель расстроился, узнав, что нельзя бесшумно передвинуть танк, о чем он написал в своем рассказе. «Нет, рассказ я печатать не стану до тех пор, пока не уверюсь сам, что так могло быть. В Москве есть заводы, где ремонтируют танки. Вот я поеду на завод и там все проверю». И узнал, что танк бесшумно передвинуть можно. «Он улыбался, видимо, довольный тем, что рассказ оказался правдивым.

— Я назову рассказ «Веселый день...» [3].

Так учил Серафимович своих молодых собратьев писать правду, одну только правду, ничего кроме правды.

В его отношениях к молодежи проявлялась «и отцовская требовательность, и заботливость», поэтому к нему в полной мере

---

[1] Ф. Гладков. «А. С. Серафимович». В кн.: «А. С. Серафимович. Исследования, воспоминания, материалы, письма», М.-Л., изд. АН СССР, 1950, стр. 161.

[2] К. Новицкий. «Писатель-гражданин». В кн.: «А. С. Серафимович в воспоминаниях современников», стр. 78.

[3] В. Ильенков. «Литература — подвиг». В кн.: «А. С. Серафимович. Исследования, воспоминания, материалы, письма», стр. 173, 174.

можно отнести сказанное однажды Михаилом Александровичем Шолоховым: «Мне рассказывали, как беркут воспитывает своих птенцов, когда они начинают летать. Подняв их на крыло, он не дает им опускаться, а заставляет набирать высоту и гоняет их там до полного изнеможения, заставляя подниматься все выше и выше. Только при таком способе воспитания повзрослевший беркут научится парить в поднебесье... Своих молодых писателей мы должны учить таким же способом, должны заставлять их подниматься все выше и выше, чтобы впоследствии они были в литературе настоящими беркутами...» [1].

В истории советской литературы имя Серафимовича звучит не только как имя прославленного писателя, но и как воспитателя и наставника. «Рядом с А. М. Горьким стояло имя Серафимовича, чудесного друга и учителя молодежи, всей своей жизнью завоевавшего право учить и пестовать подрастающую в литературе молодежь,— писал Аркадий Первенцев.— Вся его жизнь была наукой формирования молодой патриотической смены, все его произведения были учебниками, весь пыл его великого сердца был источником энергии» [2].

В статьях и очерках писателя, посвященных вопросам литературного творчества, рассыпаны бесценные советы молодым: учиться литературному мастерству, искусству «лепки» произведения, учиться отбору действительно необходимого для замысла, и главное — учиться труду, неустанному труду. Недаром Серафимовичу принадлежат слова: «Литература — ведь это подвиг».

Литературный подвиг совершил и сам писатель, прошедший по словам В. Ильенкова, «тяжкой дорогой подвига — из царской Мезени к коммунизму» [3]. И как завещание тем, кто продолжает его дело в литературе, звучат слова, сказанные им за год до смерти, в день восьмидесятипятилетия:

— «Друзья! А жизнь-то какая чудесная! Да как она вкусно пахнет!»

Г. Ершов

---

[1] Михаил Шолохов. Собр. соч. в восьми томах, т. 8, М., изд. «Правда» (Библиотека «Огонек»), 1975, стр. 225—226.

[2] Аркадий Первенцев. «Друг и учитель молодежи». В кн.: «А. С. Серафимович в воспоминаниях современников», стр. 291.

[3] В. Ильенков. «Литература — подвиг». В кн.: «А. С. Серафимович. Исследования, воспоминания, материалы, письма», стр. 171.

ПРИМЕЧАНИЯ

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

СКИТАНИЯ

У холодного моря. Впервые, с подзаголовком «Из книги «Жизнь моя и моих предков. Записки Ципляева»,— журн. «Современный мир», 1909, кн. 5.

Это произведение носит автобиографический характер: в нем Серафимович описывает свое пребывание в ссылке на Севере, сначала в г. Мезени, а затем в Пинеге, с 1887 по 1890 год.

«Был выслан на Север в административном порядке — за составление прокламации по поводу неудачного покушения на Александра Третьего.

В повести вывел живых людей — товарищей по ссылке, с которыми жил в коммуне. Под кличкой «Патриций» обрисовал я студента Петербургского университета Шипицина. «Француз» был студентом Московской Петровско-Разумовской с.-х. академии (нынешней Тимирязевки). Акушерку звали Анна Семеновна. Она умерла в Сибири приблизительно в 1928 году. Под фамилией «Основа» выведен в рассказе мой пожизненный друг Петр Анисимович Мосеенок (Моисеенко), организатор исторической Морозовской стачки орехово-зуевских ткачей. Жену его — тоже ткачиху — звали Екатериной...

В повести нет ничего сочиненного. Мной почти фотографически дан быт ссылки 80-х годов. Выводил я живые портреты. Сам я в ту пору был таким, как в повести,— рыхлым и несколько сентиментальным начинающим автором» (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. IV, М., ГИХЛ, 1947, стр. 478).

В номере. Впервые — «Новый журнал для всех», 1910, № 17, март.

Рассказ автобиографичен. В нем отражены впечатления и переживания автора, прежде всего относящиеся к его первому приезду в Петербург, но, по заключению исследователей его творчества, и некоторые факты и наблюдения, сделанные автором в более поздние посещения им и Невского проспекта, и петербургских гостиниц. Сам автор время написания рассказа предположительно относит к 1904 году, а то, что рассказ не сразу попал к читателям,

объясняет так: «Какой интерес и какой смысл имело для буржуазных редакторов самих себя высечь моим рассказом о том, как преступно равнодушен был режим к дореволюционному писателю, как держали его в вечном страхе за завтрашний день. Никто не хотел печатать. Рассказ долго лежал у меня в архиве».

Скитания. Впервые — газ. «Речь», 1913, 17 сентября — «Дьявол», «Наваждение», «Украинцы» (под заглавием «Про белого бычка»); 22 сентября — «Золотая полоска»; 1 октября — «Раб»; «Ночлег» — Собр. соч., т. V, «Книгоиздательство писателей в Москве», 1913.

В основу произведения легли впечатления писателя от путешествия по Кавказу на мотоцикле. 24 июля А. С. Серафимович выехал из Новороссийска в сторону Геленджика и, сделав по побережью Черного моря более тысячи километров (Геленджик, Туапсе, Сочи, Гагра, Гудауты, Красная Поляна, Абхазия), 18 августа вернулся в Новороссийск.

Странная ночь. Первая публикация не установлена. Вошло в Собр. соч., т. V, «Книгоиздательство писателей в Москве», 1913.

Мышиное царство. Впервые, под заглавием «В мышином царстве» — журн. «Русское богатство», 1913, кн. 4, апрель.

«Типы — сборные. Кое-что написано по рассказам, кое-что сам наблюдал,— говорил писатель об этом произведении.— До Октября в городах жило много людей с неопределенной профессией, вроде моего «фабриканта мышей». Большею частью — это были бедняки, боровшиеся всю жизнь с нуждой. Жили они в подвалах, в темных и сырых углах. У них был узкий мещанский кругозор: перед богатыми и сильными они готовы были ползать на коленях. Жили они в тусклом, как их подвал, мире мелких дрязг и сплетен, полные суеверий, измученные заботами о хлебе насущном. Это была мышиная возня, подлинное мышиное царство... После революции такие элементы постепенно исчезли. Лучшие из них, не испорченные окончательно старым режимом, перестроились и взялись за честную и нужную работу. Часть же пришлось принудительно приучить к труду и полезной деятельности» (А. С. Серафимович, Собр. соч., т. VI, М., ГИХЛ, 1948, стр. 432—434).

НА ЗАВОДЕ

Никита. Впервые, под заглавием «На заводе»,— газ. «Донская речь», 1898, 14, 16, 18 и 20 июня. Под заглавием «Никита» был опубликован (уже в новой редакции) в журн. «Новое слово», 1906, №№ 5, 6 и 8. В этой редакции рассказ публиковался во всех последующих изданиях.

Семишкура. Первая публикация не установлена. В Собрании сочинений 1940—1948 гг. автор напечатал его с пометкой «до 1897 года». По своей теме рассказ примыкает к циклу произведений о жизни и труде шахтеров, напечатанных в 1895 году («Под землей», «Маленький шахтер»).

Инвалид. Впервые, с подзаголовком «Отрывок из повести»,— журн. «Трудовой путь», 1907, № 3.

Ночная поездка. Впервые, под заглавием «Встреча»,— газ. «Донская речь», 1900, 6 и 10 сентября.

В снегу. Впервые — газ. «Курьер», 1902, 25 декабря.

Качающийся фонарь. Впервые — журн. «Северное сияние», 1909, № 7. Рассказ неоднократно переделывался автором.

Заяц. Впервые — сб. товарищества «Знание» за 1904 год, кн. 5 (СПб., 1905).

«Золотой якорь». Впервые — сб. «Ключ», М., 1915.
«В рассказе моем — неподкрашенная правда тогдашней действительности»,— дает комментарий к этому рассказу сам писатель (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. VI, М., ГИХЛ, 1948, стр. 444).

История одной забастовки. Впервые — журн. «Безбожник у станка», 1924, № 7—8.
«Я изобразил в нем рассказанный мне когда-то случай из рабочей жизни в Иваново-Вознесенске. Художник Д. Моор дал к рассказу яркие иллюстрации»,— писал Серафимович (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. X, М., ГИХЛ, 1948, стр. 445).

[ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА]

Клятва. Впервые — «Литературная газета», 1941, 13 июля.

Ребенок. Впервые — газ. «Правда», 1942, 17 сентября. Очерк точно воспроизводит подлинный эпизод из жизни писателя.

Веселый день. Впервые — газ. «Красная звезда», 1943, 14 января.

Творчество. Впервые — газ. «Известия», 1943, 3 марта

Юная армия. Впервые, под заглавием «Ребята»,— журн. «Красноармеец», 1943, № 11.

На хуторе. Впервые — газ. «Красная звезда», 1943, 14 августа.

ОЧЕРКИ, СТАТЬИ, ФЕЛЬЕТОНЫ, ВЫСТУПЛЕНИЯ

Сумерки. Впервые — газ. «Донская речь», 1899, 31 мая, в серии очерков о Ростове-на-Дону.

Как создается газета. Впервые — газ. «Донская речь», 1900, 25 и 30 июля, в серии «Беседы с читателем».

Опять посетители. Впервые — газ. «Донская речь», 1901, 9 декабря, в серии «Беседы с читателем».

Действующие лица фельетона «Опять посетители» — это «герои» фельетонной серии Серафимовича «Беседы с читателем». «Пакостник», гонитель печати, «председатель ученого общества» — это «просвещеннейший из просвещенных» мужей ученого общества, который побоялся допустить на заседание общества представителя печати; «юбиляр» — начальник управления Владикавказской железной дороги, приказавший по случаю собственного юбилея собрать со служащих дороги деньги ему на подарок; «человек, построивший вавилонскую башню»,— действующее лицо сказки «Светочи» (см. т. 2, стр. 197).

[Сарказм — могучее оружие]. Впервые — газ. «Курьер», 1903, 19 марта.

[Странные, подчас трудно объяснимые вещи...]. Впервые — газ. «Курьер», 1903, 11 апреля.

[Из всех зол и несчастий...]. Впервые — газ. «Курьер», 1903, 13 апреля.

Братья-газетчики. Впервые — газ. «Курьер», 1903, 19 мая.

Для того времени любопытен сам факт столь большой и ревностной заботы литератора о единстве, сплоченности «братьев» своего «цеха».

[Умер доктор философии Филиппов...]. Впервые — газ. «Курьер», 1903, 22 июня.

Первые страницы. Впервые, под заглавием «Два момента»,— газ. «Русские ведомости», 1911, 6 ноября.

Серафимович никогда не виделся с Л. Н. Толстым, но о заочных «встречах» с ним он говорит на протяжении чуть ли не всей своей творческой жизни, считая великого реалиста своим учителем, и эти его «впечатления» носят такую силу, какой не найти в воспоминаниях иных литераторов, не раз встречавшихся с великим писателем. Л. Н. Толстой и своим образом жизни, и своим творчеством оказал большое влияние на А. С. Серафимовича. Многие мысли об этом, намеченные в «Первых страницах», писатель в дальнейшем развил и пояснил. «В этом очерке я рассказываю о своей «первой встрече» в детстве с Толстым. Раз речь зашла о Толстом, то позвольте уж мне поделиться с читателем своими дальнейшими «встречами» с Толстым, которые сыграли большую роль в моей писательской судьбе. Я долго был современником Толстого, но никогда его не видел и с ним не беседовал... Толстой оказывал громадное влияние на современных ему писателей. Чем? Своим мастерством, лепкой своих произведений, образцами своей работы. Нельзя было не остановиться в изумлении перед тем, как он умел замечательно кроить характер, вычерчивать своеобразные внутренние черты отдельных людей, пронизывать до дна их психологию и сцеплять отдельные звенья в стройную цепь отношений и коллизий, из которой ничего не выбросишь. При этом не могли не действовать его чрезвычайная простота и искренность. Самые слова Толстого — не книжные, а взятые из живого разговорного

языка. Толстой обогащал внутренний литературный язык, поскольку живой язык гибче, богаче цветами и формами, чем литературный язык...

Не знаю, как другие, но я должен сказать, что из всех писателей, русских и иностранных, наибольшее влияние оказывал на меня *он*. Не то, чтобы я сознательно подражал, садился и начинал писать под Толстого, но его методы, помимо моей воли, впитывались в меня. Да и сознательно, если вдуматься, я учился всегда у Толстого...

Я старался, по Толстому, подбирать наиболее близкие для определения понятия слова, наиболее полные, наиболее плотно прилегающие к образу и наиболее многосторонние, объясняющие данную черту человека, данное его настроение... Я присматривался, с каким пониманием Толстой подбирал наиболее емкие, наиболее красочно определяющие слова...

Гениальность Толстого как литературного творца в том и заключается, что за образами его не чувствуешь языка, не чувствуешь словесного покрова. Забываешь, что книгу читаешь. Книга исчезает, а видишь собственными глазами, как ходят люди, как колышутся листочки на деревьях, как пасутся лошади на пригорке. Буквы, бумага уходят куда-то в тень, а впереди — брызжущий жизнью человек...

Очерк «Первые страницы» я считаю весьма показательным в смысле влияния на меня Толстого с самого детства. От Толстого легко не отмахнешься. До конца дней своих его ощущаешь возле себя, над собою» (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. V, М., ГИХЛ, 1948, стр. 343—346).

Писатель и читатель. Впервые — журн. «Путь», 1913, № 1.

Для Серафимовича вопрос о взаимоотношении писателя и читателя всегда был очень важным и мучительным. «До Октябрьской революции писатель был злонамеренно разобщен с читателем. Между писателем и читателем самодержавие воздвигло глухую стену. Для меня лично это была, можно сказать, трагедия. Я замучил себя вечным вопросом, на который не мог по тем временам получить ответ: «Кто же он, наконец, мой читатель?..» «Мой» читатель был для меня недостижим: я знал, что он забит непосильным скотским трудом, горем и нуждой, что ему подчас не до книги, что он малограмотен.

Читателей при царизме вообще было мало,— несравненно меньше, нежели в наши дни. Читатель тогда считался категорией вредной, «подозрительным элементом» (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. VI, М., ГИХЛ, 1948, стр. 432).

В одной из статей 1913—1914 годов Серафимович писал: «Из десятков, из сотен, [из] тысяч... оставшихся от забвенья вещей только одна идет в века и светит всему человечеству. Трудно представить себе ту безмерно-колоссальную груду произведений человеческого творчества, которая навсегда умерла, истлела в памяти людской.

Кто же судия, кто тот грозный судия, который неумолимо, бесстрастно посылает ошую на тлен и мертвое забвение выстраданные мукой и болью человеческого творения и легким мановением десницы оставляет каплю из этого океана нетленно сиять вовеки?

Кто тот судия?.. читатель, читатель во всей своей массе. То многоголовое чудовище, которому художник и отдает лучшие жемчужины души своей.

Но ведь читатель не представляет из себя определенной величины. Это понятие собирательное. И внутри его чудовищно перепутано невежество, образованность, тончайший вкус и безвкусие, лицемерие и искренность, грубость и нежнейшие душевные оттенки, стадность, гордо сознанная индивидуальность.

Этот многоликий судья судит вкось и вкривь, возвеличивает бездарности, проходит мимо жемчужин творчества, спохватывается, поклоняется до исступления, завтра поворачивается спиной к своему кумиру, топчет его презрением и замалчиванием, создает на художников моду, слепо подчиняется ей, как закону.

Да. Из тысячи умов, из тысячи сердец слагается как бы фильтр, сквозь который медленно, часто запутанно, часто уродливо и болезненно просачиваются произведения человеческого творчества. Но в конце концов весь отброс, вся накипь и плесень, отрава, пошлость и бездарность задерживаются и сгнивают, а проходит тонким сверкающим ручейком только драгоценная чистота человеческого гения и таланта.

...Читатель, честно и строго относящийся к лучшему дару судьбы, к творчеству, скажет художнику: не заигрывай с нами, не унижайся перед нами, но и величественно не презирай нас, ибо ты кость от кости нашей и плоть от плоти нашей. Не кумира из тебя сотворим и не грязью наших сапог будем топтать тебя, а как брата, несущего нам сердце свое, примем тебя...» (А. С. Серафимович. Сборник неопубликованных произведений и материалов, М., ГИХЛ, 1958, стр. 275—278).

Трещина. Впервые — газ. «Известия», 1917, 27 августа (9 сентября).

«Эту классовую трещину — вернее, пропасть — я отмечал в газете уже в августе 1917 года, т. е. до Октября,— вспоминал в 1948 году писатель.— Я уже тогда отдавал себе ясный отчет, что трещину ничем не заполнить и что социальная революция будет доведена большевиками до конца...» (А. С. Серафимович. Собр. соч., 1948, т. VIII, М., ГИХЛ, стр. 427).

Пауки и кровососы. Впервые — Собр. соч., т. VIII, М., ГИХЛ, 1948.

Очерк является частью брошюры «Рабочее движение в России». Выпущенная в 1917 году московским издательством «Книга и жизнь» в серии «Популярная общественно-политическая библиотека», эта брошюра стояла в одном ряду с другими агитационными брошюрами Серафимовича, написанными по заданию Московского Совета рабочих депутатов в предоктябрьские месяцы 1917 года.

По свидетельству самого Серафимовича, этот «очерк» («Рабочее движение в России».— *Г. Е.*) «в дни Октябрьской революции... имел широкое хождение среди рабочих московских заводов и фабрик, а также на фронте» (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. VIII, М., ГИХЛ, 1948, стр. 426).

В капле. Впервые — газ. «Известия», 1917, 12(25)декабря, под рубрикой «Впечатления».

Наказ красногвардейцам, едущим на Дон. Впервые — газ. «Социал-демократ», 1917, 15 (28) декабря.

Прокламация была написана Серафимовичем по поручению Московского комитета РСДРП.

Осиное гнездо. Впервые — газ. «Известия», 1918, 23(10) февраля.

Сам писатель так прокомментировал этот очерк: «Мой старший сын Анатолий, погибший потом на врангелевском фронте гражданской войны, учился в Московской гимназии Адольфа. Его там травили как сына большевика. Я написал этот рассказ с целью разоблачить контрреволюционный характер этого учебного заведения» (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. VIII, М., ГИХЛ, 1948, стр. 427).

Как мы читали Карла Маркса. Впервые — журн. «Творчество», 1918, май, № 1.

Сосланный на далекий Север, в глухой заштатный городок Мезень, Серафимович сблизился с отбывающим там же ссылку рабочим-революционером Петром Моисеенко. Вместе с ним и еще несколькими ссыльными поселенцами они создали коммуну, столярничали, зарабатывали на жизнь, а в свободное время штудировали «Капитал». «Ссылка была для меня «вторым университетом». Изучение Маркса на всю жизнь определило направление моего писательского пути» (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. VIII, М., ГИХЛ, 1948, стр. 428).

Из мрамора творящий жизнь. Впервые — журн. «Творчество», 1918, май, № 1, под псевдонимом «Курмаярский».

К. А. Тимирязев. Впервые, под названием «Пророчество»,— газ. «Правда», 1919, 17 августа.

Работники земли советской. Впервые — газ. «Правда», 1921, 25 декабря.

«Тогда открывался в торжественной обстановке IX съезд Советов,— вспоминал Серафимович.— С большим докладом выступил товарищ Ленин. Редакция «Правды» поручила мне дать «впечатления» о съезде. Я горжусь теперь тем, что мой очерк был напечатан в газете под общей «шапкой» перед докладом Ильича. Этот очерк мне дорог, как память об Ильиче, о его широком убеждающем жесте, о его ораторской силе, которая внушала веру и бодрость в самые трудные моменты существования советской власти, когда нам сжимали горло «цивилизованные» варвары» (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. VIII, М., ГИХЛ, 1948, стр. 430—431).

В этой связи представляет большой интерес и запись Серафимовича о выступлении В. И. Ленина на VIII Всероссийском съезде Советов.

«22 декабря 1920 г.

...Ленин. Торопливо, немножко неуклюже. Слегка хриповатый, картавый голос, и странно убедительный, и обаятельный. И в этой картавости странный аристократизм.

Движения и жесты тоже неуклюжи, часто некрасивы и в то же время страшно обаятельны, ибо удивительно сливаются с сущностью речи. Некоторая гортанность говора тоже.

Принуждение на убеждении.

Голос как будто и не особенно громкий и ненапряженный, а слышно в самых далеких углах, и интонация живая, не подавляемая напряжением, усилием» (А. С. Серафимович. Сборник неопубликованных произведений и материалов. М., ГИХЛ, 1958, стр. 492).

Т. Г. Шевченко. Впервые — «А. С. Серафимович. Сборник неопубликованных произведений и материалов», М., ГИХЛ, 1958.

Это черновой набросок выступления А. С. Серафимовича на вечере памяти Т. Г. Шевченко 20 марта 1921 года в связи с шестидесятилетием со дня смерти великого украинского поэта.

Анисимович. Впервые — газ. «Правда», 1923, 2 декабря.

Кружковое занятие рабкоров. Первая публикация не установлена. Впервые сб. «Прожитое», М., 1938.

В основу статьи легла беседа А. С. Серафимовича с рабкорами, которая состоялась 16 декабря 1924 года.

Предисловие к «Мятежу» Дм. Фурманова. Впервые — в книге «Мятеж» Д. Фурманова. М., ГИЗ, 1925.

Федор Гладков и его «Цемент». Впервые, под заглавием «Цемент» (роман Ф. Гладкова)»,— газ. «Правда», 1926, 16 февраля.

«С Гладковым мы встречались в 19—20-х годах в «Кузнице»,— вспоминает Серафимович.— Мы с ним близко сошлись. Он рассказывал мне, что начинает работать над «Цементом».

Побывав в «лаборатории» писателя, я получил возможность поближе его узнать. Он поразил меня необыкновенным упорством и своим нервным «подъемом» в работе...

Мне он читал «Цемент» кусками, по мере того как писал. Делился со мною своими творческими радостями и огорчениями. Я старался рассеять его страхи и сомнения и поддержать в нем бодрость.

Наконец он кончил. «Цемент» был напечатан, и я дал отзыв. Характеристику, данную тогда, я и теперь считаю совершенно правильной. Удельный вес Гладкова — большой. Яркий художник, своеобразный художник. И огромная в нем сила обобщения» (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. X, М., ГИХЛ, 1948, стр. 457).

Умер художник революции. Впервые — газ. «Правда», 1926, 17 марта.

Предисловие к «Донским рассказам» М. Шолохова. Впервые — в книге «Донские рассказы» М. Шолохова, изд. «Новая Москва», 1926.

Автор «Тихого Дона» и «Поднятой целины» всегда с теплотой отзывался о Серафимовиче, который первым из писателей поддержал его в начале литературной деятельности и сказал ему «слово одобрения». Встречи с Серафимовичем оставляли в сердце Шолохова теплоту и радость.

«Это настоящий художник, большой человек, произведения которого нам так близки и знакомы. Серафимович принадлежит к тому поколению писателей, у которых мы, молодежь, учились,— вспоминал Шолохов.— Лично я по-настоящему обязан Серафимовичу, ибо он первый поддержал меня в самом начале моей писательской деятельности, он первый сказал мне слово ободрения, слово признания...

Мы знаем и ценим Серафимовича как одного из тех писателей-большевиков старшего поколения, которые сумели пронести сквозь тьму реакции всю чистоту и ясность своей веры, оставаясь преданными революции и рабочему классу в самые тяжелые годы, когда немало людей изменило пролетариату» (Михаил Шолохов. Собр. соч. в восьми томах, т. 8, М., изд. «Правда» (Библиотека «Огонек»), 1975, стр. 68—69).

Есенин. Впервые — в книге «А. С. Серафимович. Сборник неопубликованных произведений и материалов», М., ГИХЛ, 1958. Ориентировочно дата написания — 1926 год.

После самоубийства Есенина 28 декабря 1925 года в печати появилось большое число статей, стихов и воспоминаний о нем. Попытка Серафимовича написать статью о Есенине, видимо, и была вызвана шумихой вокруг имени поэта.

Вечера рабочей критики. Впервые — газ. «Правда», 1927, 25 февраля, с подзаголовком «Ленинградский союз металлистов».

«Я всю жизнь учился и теперь учусь у рабочих и простому выразительному языку и их трезвой, основанной на большом опыте, оценке явлений социального порядка,— подчеркивал Серафимович.— По их выступлениям я чувствовал, что в восприятии и понимании некоторых явлений у них своеобразная точка зрения — и более правильная, чем у меня» (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. X, М., ГИХЛ, 1948, стр. 457—458).

Читатель и писатель. Впервые — журн. «На литературном посту», 1927, № 22—23 (ноябрь—декабрь), с подзаголовком «Из выступлений и ответов на вопросы на вечерах рабочей критики в Ленинграде 11, 12 и 13 февраля 1927 года».

Откуда повелись советские писатели. Впервые — газ. «Правда», 1927, 7 ноября, под заглавием «Откуда повелась пролетарская литература».

Из дневника писателя. Впервые — журн. «Октябрь», 1929, кн. I.

Тисса горит. Впервые — газ. «Правда», 1929, 21 марта. Статья посвящена роману Белы Иллеша «Тисса горит».

Живой завод. Впервые — газ. «Правда», 1932, 21 февраля. Статья посвящена роману В. П. Ильенкова «Ведущая ось» («Октябрь», 1931, №№ 10—12).

Рассказ о первом рассказе. Впервые — газ. «Коммуна» (Воронеж), 1933, 1 ноября, в статье «Слить свою работу с работой масс», с подзаголовком «Рассказ о первом рассказе».

Является частью выступления на литературном вечере в Доме Красной Армии Воронежа 21 октября 1933 года.

О писателях «облизанных» и «необлизанных». Впервые — «Литературная газета», 1934, 6 февраля, в порядке дискуссии к намеченному I съезду писателей. После появления в печати этой статьи в «Литературной газете» 14 февраля было напечатано «Открытое письмо А. С. Серафимовичу» М. Горького (см. М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах, т. 27, М., ГИХЛ, 1953, стр. 147), а 1 марта — ответ Серафимовича А. М. Горькому (см. наст. том, стр. 401).

Ответ А. М. Горькому. Впервые — «Литературная газета», 1934, 1 марта.

Радиоперекличка писателей. Текст выступления А. С. Серафимовича по радио 6 ноября 1934 года, в канун годовщины Октября, которое называлось «Единственная в мире социалистическая литература». Впервые напечатано в Собр. соч., М., ГИХЛ, 1948, т. X.

Две встречи. Впервые — журн. «Октябрь», 1936, № 12.

Написано так, что запоминается. Выступление Серафимовича на заседании Президиума Союза советских писателей в квартире Н. А. Островского 15 ноября 1936 года, посвященном обсуждению первой книги романа «Рожденные бурей». Впервые напечатано в журн. «Молодая гвардия», 1937, кн. 2.

Художник слова. Впервые — газ. «Литература и искусство», 1943, 25 сентября.

Очерк о творчестве С. Н. Сергеева-Ценского написан в связи с выдвижением его кандидатуры на соискание высокого звания академика АН СССР.

Мои встречи с Лениным. Впервые — в книге «А. С. Серафимович. Сборник неопубликованных произведений и материалов», М., ГИХЛ, 1958.

Писатель-патриот. Впервые, под заглавием «Народный писатель»,— газ. «Комсомольская правда», 1945, 27 февраля.

В гостях у Ленина. Впервые — журн. «Красноармеец», 1946, № 2.

«Робость, что ли, природная или застенчивость всю жизнь не позволяла мне добиваться встреч с великими моими современниками... Так бы, верно, я и у Ленина не побывал. Но большевики трогательно внимательны к людям — и Ленин позвал меня к себе, прислав за мной машину.

Свидание с Лениным оставило во мне неизгладимый след на всю жизнь. Внимание и поощрение великого вождя оказало влияние на всю мою дальнейшую писательскую судьбу»,— вспоминал Серафимович (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. X, М., ГИХЛ, 1948, стр. 455).

Москва. Впервые — в книге «А. С. Серафимович. Сборник неопубликованных произведений и материалов», М., ГИХЛ, 1958.

В о с п о м и н а н и я о Г о р ь к о м. Впервые — собр. соч., т. X, М., ГИХЛ, 1948.

Очерк составлен автором из ранних публикаций 1931—1946 годов в газетах и журналах. В настоящем издании дается с незначительными сокращениями.

«Горький в истории мировой литературы — это целый период, это целая школа, которая помогла выдвинуть русскую литературу на первое место в мире»,— говорил Серафимович в 1948 году (А. С. С е р а ф и м о в и ч. Собр. соч., т. X, М., ГИХЛ, стр. 463).

М и х а и л Ш о л о х о в и е г о «Т и х и й Д о н». Под этим заглавием в Собр. соч. 1948 года писатель объединил статью «Тихий Дон» (впервые была напечатана в газ. «Правда», 1928, 19 апреля, а затем, под названием «Вместо предисловия», была помещена в издании «Тихого Дона» 1928 года — «Роман-газета», № 12(24) и биографический очерк «Михаил Шолохов» («Литературная газета», 1937, 26 ноября).

«С Шолоховым нас связывает более чем двадцатилетнее знакомство и дружба. Я обратил внимание на его орлиный талант, когда еще был редактором журнала «Октябрь» и стал впервые печатать в этом журнале его «Тихий Дон»... Позднее мы много встречались, и каждая встреча оставляла в сердце моем теплоту и радость» — так комментирует сам писатель свой очерк (А. С. С е р а ф и м о в и ч. Собр. соч., т. X, М., ГИХЛ, стр. 458).

И з и с т о р и и «Ж е л е з н о г о п о т о к а». Впервые напечатано в издании «Железного потока», 1930, под заглавием «Как я писал «Железный поток».

С в ы с о т ы в о с ь м и д е с я т и п я т и л е т. Речь писателя, произнесенная 14 января 1948 года на собрании московских писателей, посвященном чествованию А. С. Серафимовича по случаю его 85-летия. Впервые напечатано в Собр. соч., т. X, М., ГИХЛ, 1948.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

произведений А. С. Серафимовича, включенных в 1—4 тома Собрания сочинений

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

ОЧЕРКИ, СТАТЬИ, ФЕЛЬЕТОНЫ, ВЫСТУПЛЕНИЯ

Александр Серафимович
СЕРАФИМОВИЧ

Собрание сочинений
в четырех томах

Том IV

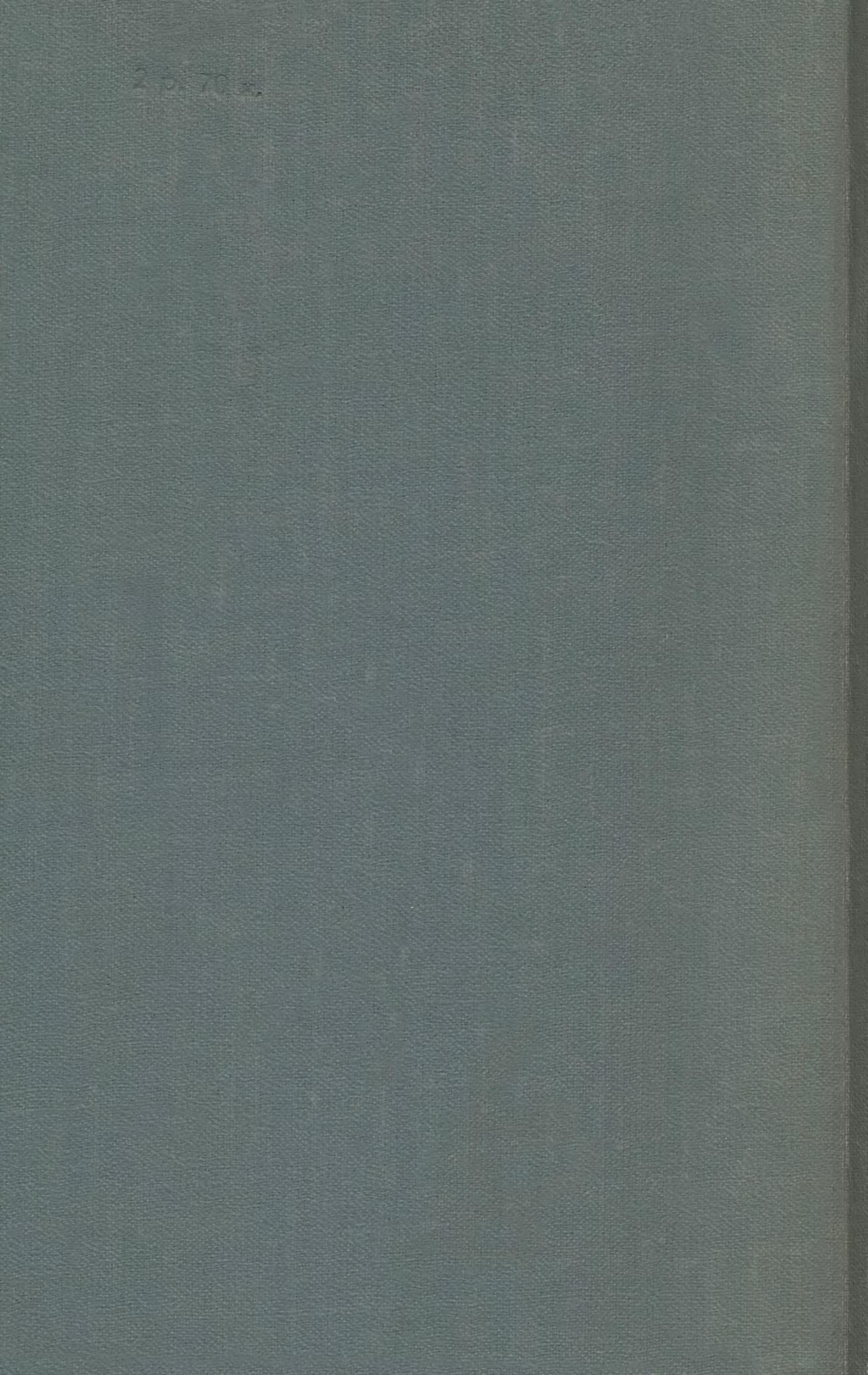
Редактор тома
Н. Г. Цветкова

Оформление художника
Е. В. Шворака

Технический редактор
А. И. Шагарина

Сдано в набор 22.03.80. Подписано к печати 25.06.80.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 27,30. Уч.-изд. л. 27,09. Тираж 600 000 экз.
Изд. № 1723. Заказ № 1975. Цена 2 р. 70 к.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
125865, Москва, А-137, ГСП. ул. «Правды», 24.


2 р. 70 к.